Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений



Азбуковник



Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Под общей редакцией

В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Москва
Азбуковник
2015

Максимилиан

ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Том тринадцатый

Письма 1925–1932

Книга вторая

1929–1932

Москва
Азбуковник
2015

ББК 84(2Рос=Рус)-4
УДК 821 161 1-95
В68

**Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук**

Составление
А. В. Лаврова

Подготовка текста
*А. В. Лаврова, И. Н. Палаш,
Г. В. Петровой, Р. П. Хрулевой*

Комментарии
А. В. Лаврова, Г. В. Петровой

Художник
В. Н. Сергутин

Выпускающий редактор
С. Феоктистова

Редактор
М. Зубакова

ISBN 978-5-91172-106-0 (т. 13, кн. 2)
ISBN 5-902152-4

ПИСЬМА
1929–1932

1929

379. Е. В. ГЕНИЕВОЙ

1 января 1929 г. Коктебель[1]

1 I 1929.

Милая Леля,

поздравляем тебя с Р<ождеством> Х<ристовым> и с Нов<ым> Годом и нежно целуем.

Твое отсутствие этим летом очень чувствовалось. Мы тебя все время, особливо осенью очень поджидали. Это был беспокойный год, исполненный всяких неприятностей и огорчений. Волна современного быта захлестнула и нас наконец.

Макс.
Маруся.

[1] Текст на обороте акварели

380. В. Я. ЭФРОН

1 января 1929 г Коктебель[1]

1/I 1929.

С праздниками и с Новым Годом, милая Вера. Мы совсем не виделись в истекшем году. Это был для нас несчастливый год. Год дружеских предательств, административных неприятностей, и заканчивается он не хорошо. Против наших псов – Хны и Юлахлы (Пулемет издох) начато шантаж-

ное дело: они будто бы растерзали 12 овечек. Марусю вызывали в суд и приговорили к 90 руб. штрафу.[2] Вся деревня издевалась: «Что, припаяли Вам дельце? Любите собачек? прикармливаете? Ну что ж, и заплатите». Это всё те, кого Маруся лечила. У нее заболела до этого печень, и ей предписали полное моральное спокойствие. Так и до нас доплеснула волна современного быта.

Как твое здоровье?

Макс.
Маруся.

[1] Текст на обороте акварели. Штемпели на конверте: Коктебель. 2. 1. 29; Москва. 5. 1. 29.

[2] См. примеч. 4 к п. 371, п. 372, п. 373, п. 378.

381. Е. Я. ЭФРОН

1 января 1929 г. Коктебель[1]

1/I 1929.

Милая Лиля,

поздравляю тебя с Нов<ым> годом и с праздниками. Как твое здоровье и как ты живешь?

Крепко тебя обнимаю и целую.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 13 X 1928».

382. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

2 января 1929 г. Коктебель

2/I 1929.

Дорогой Викентий Викентьевич,

поздравляю Вас с Новым годом и наступающими праздниками. Наши осложнения с домом ликвидированы окончательно.

Об этом мы узнали только теперь. Но сейчас же началось новое дело. Наши собаки (трусливейший Юлахлы и 3-хногая Хна – Пулемет издох) – обвиняются в том, что они разорвали в одну ночь 12 барашек.[1] Это для собак дело немыслимое. Только волки способны на это. Но у волков нет хозяина, кот<орому> можно предъявить иск. А пастухи эту ночь играли у Дарьи Юнге в карты, чабанских собак не было. Нужно сорвать. Ма-р<ью> Степ<ановну> вызывали в суд в Ст<арый> Крым, и Станков ее приговорил к 90 р. штрафа.[2] Деревня вся гоготала: «Припаяли Вам собачек-то? Любите прикармливать, вот и заплатите». Отвратительное чувство. Долгополов гарантирует нам оправдание во II инстанции. Тем не менее – гнусно. Только гости, нежданно приехавшие на Рождество (молодые Платоновы и Извеков), несколько разогнали сгустившуюся духоту.

Всего, всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] См примеч. 4 к п. 371.
[2] См. примеч. 3 к п. 378.

383. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ и К. В. КАНДАУРОВУ

2 января 1929 г. Коктебель[1]

2. I. 1929.

Мои милые Юлия Леонидовна и Константин Васильевич, поздравляю Вас с праздниками и с Нов<ым> годом. Спасибо за хорошее и большое письмо. Нам не везло в истекшем году: едва окончилась наша история с домом, как началось дело против наших собак (Юлахлы и Хны – Пулемет издох), обвиненных в том, что они растерзали в одну ночь 12 овец.[2] Овец-то съели волки, но пастухи в эту ночь играли в карты у Доды Юнге, а у волков нет хозяина. Поэтому иск предъявили нам. Марусю вызывали в Ст<арый> Крым в Нарсуд и приговорили к 90 р. штрафа. Вся деревня злорадствовала: «Что, припаяли Вам собачек-то? Прикармливаете, вот и заплатите?» А подавали в суд и гоготали те самые крестьяне, которых она

столько лет бесплатно лечила. Гнусно. Вот и до нас дохлестнула волна «быта», которого мы до сих пор не знали.

Макс. Маруся.

[1] Текст на обороте акварели. Помета· «MW 1. I. 1929».
[2] См. примеч 4 к п 371, п. 372, п. 373, п. 378, п. 380, п 382.

384. К. М. ЗЕЛИНСКОЙ

2 января 1929 г. Коктебель[1]

2/I 1929.

Дорогая Кина Михайловна, с Новым Годом. Спасибо за Вашу посылочку, за черн<ый> хлеб, за крупу, за нитки. «А о конфетах — скажи: напрасно», — говорит Маруся. Она чувствует себя неважно: объявилась болезнь печени. Д<окто>р прописал полное спокойствие. А тут новое несчастие: Пулемет издох, а против Юлахлы и Хны возбуждено уголовное дело: они обвиняются в том, что растерзали в стаде 12 барашек.[2] Марусю вызывали в суд в Стар<ый> Крым (29/XII) и приговорили к 90 р. штрафа. Вся деревня была там, издевалась: «Что, припаяли Вам собачек? Любите прикармливать? Ну что ж, заплатите за собачек-то...» и т. д. Маруся вернулась нравственно совершенно растоптанной после этого гоготания и злорадства. К счастью, приезд маленьких Платонов<ых>[3] и одно<го> знакомого из СПБ.[4] несколько разогнал это тягостное чувство обиды и шантажа. Секрет в том, что пастухи играли в карты у Дарьи Юнге, собак чабанских при стаде не было, а сию минуту бродят волки. Но у волков нет хозяев, с которых можно требовать убытки. Маруся все время вяжет Вам кофту и скулит, что не успеет к праздникам. Но дело стоит уже на последнем рукаве, и она скоро Вам ее отправит. Привет Каю.[5] Вас не затруднит прилагаемые акварельки передать Вяземским (Колпачный 4)? Всего лучшего в новом году.

Макс.
Маруся.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «2/I 1929».

[2] См. примеч. 2 к п. 383.

[3] К. К. Платонов и Г. Н. Платонова приехали в Коктебель из Харькова 31 декабря 1928 г. (Труды и дни-2. С. 410).

[4] Имеется в виду профессор Борис Иванович Извеков (1891–1942), геофизик и метеоролог, приехавший в Коктебель 2 января (Там же. С. 411).

[5] К К. Зелинский, сын К. М. Зелинской

385. М. В. ДОРОГОВОЙ

7 января 1929 г. Коктебель[1]

7/I 1929.

Дорогая Мария Вадимовна, шлю Вам привет из зимнего Коктебеля и поздравляю Вас с праздниками и с Новым Годом. Вы правы: прошедший год был очень тяжел: смерти, смерти, человеческие недоразумения, ссоры, обиды, покушения на наш дом; и когда все это уладилось при помощи Москвы, – нам еще навязали вымогательское судебное дело. Юлахлы и Хну (Пулемет издох раньше) обвинили, что они в одну ночь растерзали 12 барашков.[2] Марусю требовали в Нарсуд в Стар<ый> Крым, и там, при общем ликовании всех болгар, присудили к 90 р. штрафу. Обвинения были голословны, – это было дело явно волков, которые здесь бродят зимами. Но пастухи всю ночь играли в карты у Дарьи Юнге, а чабанских собак при стаде не было. У волков хозяина нет, а с нас можно «содрать». Всю дорогу от Ст<арого> Крыма болгары издевались над Марусей. «Что, припаяли вам собачек? Любите? Прикармливаете? Вот и заплатите... Вы богатые». Теперь еще предстоит кассация и др<угие> судебные мерзости и унижение... Очень гнусно...

Но на праздники к нам приехали гости: сперва Долгополов, который нас защищает,[3] потом маленькие Платоновы – Кот и Галка, потом метереолог <*так!*> Извеков из СПБ – и развеяли настроение.[4] Сегодня они все разъехались. Вас очень не хватало весь год, милая Мария Вадимовна. Ждем Вас этим

летом непременно. Люблю. Любим, помним, желаем тишины и ясности духа.

Макс. Маруся.

[1] Текст на обороте акварели («Пейзаж с заснеженными скалами»). Помета: «MW. 5/I 1929».

[2] См. примеч. 2 к п. 383.

[3] М. И. Долгополов приезжал из Симферополя в Коктебель в конце декабря 1928 г. в связи с иском чабанов к Волошиным. Он предполагал вмешаться в разбирательство дела в ходе кассации.

[4] См. примеч. 3, 4 к п. 384.

386. С. Н. ДУРЫЛИНУ

7 января 1929 г. Коктебель

7/I 1929.

Дорогой Сережа,

сегодня 1<-й> день Рождества и сегодня разъехались все, кто с нами встречал Новый год (нов<ый>) и сочельник. Поздравляю тебя за тридевять земель с этими днями Рожденья Солнца и Года. Приезд гостей (малень<ки>е Платоновы Кот и Галка и Извеков – метереол<ог> <*так!*> из СПб.[1]), совсем нежданный, развеял наше уныние. Прошлый год завершился в стиле всего года. Против нас болгары начали шантажное дело: обвинили Юлахлы и Хну в том, что они разорвали в одну ночь 12 барашек.[2] Разорвали их, конечно, волки, которые бродят зимами, но у волков нет ответственного лица. Поэтому привлекли Марусю: она добрая – всех собак кормит, и потом они богатые – сколько у них народу живет – пусть заплатят. Марусю 29/XII вызывали в Ст<арый> Крым в нар<о>д<ный> Суд и там, не входя ни в подробности, ни в возможности, присудили к 90 р. штрафа. Назад ей пришлось возвращаться среди болгарского обоза, и вся деревня издевалась над ней несколько часов: «Что, припаяли Вам собачек Ваших? Любите? прикармливаете? Вот и заплатите теперь». И всё это те же люди, которых она несколько лет лечила безвозмездно. (Среди истцов была одна болгарка, которой Маруся 1½ года – ежедневно

массировала руку и спасла ее ей).[3] Естественно, что на душе было очень гнусно. Но нежданный приезд милых людей развеял тоску и сделал праздники праздниками.

У нас была ёлка – в Крыму вещь редкая – прислала Дада[4] из Харькова совсем неожиданно. Украшена она была только ватой и бертолетовой солью и тонен<ь>ким<и> церковными свечечками – других не было. Но все было по-настоящему.

Спасибо за письмо и за твою книжку о Гоголе[5] – они пришли как раз к сочельнику. Книгу мы п<р>очли только начало. Она очаровательна. Даже постылая «экономическая база» так тонко и психологично дана, что привела меня в восторг и захватила.[6]

Окончившийся год был обилен разными узлами, туго затягивавшимися и разрешавшимися благополучно. Так разрешился узел с домом, благодаря Москве (все коктебельцы поднялись и каждый сделал, что мог). Но все-таки чувствую (и в собачей истории), что именно «принцип бесплатности» рождает озлобление и зависть вокруг дома, в соседях, и она укореняется и растет.

В декабре умерли: Лиля Васильева (Черубина) в Ташкенте от рака и Рашель Мироновна Гольдовская в Москве от удара. Два человека, которые оба были мне очень близки.

До сих пор все эти события, тревога, горести и обиды, и радости о людях, мне совсем не давали молчания и времени для стихов. После «¼ века» я так ничего и не написал. Чувствую тоже и неизбежность «Мемуаров», но тоже не было времени и тишины до сих пор.

Этим летом мне случайно довелось познакомиться с письмами Натальи Дмитриевны Фонвизиной к Ив<ану> Ив<ановичу> Пущину.[7] Их оригиналы гостили летом в Коктебеле. Они еще не изданы. Они напоминают письма Беттины (в старости),[8] но осложнен<н>ые необыкновенным психологическим случаем расчетверения сознания, подобным случаю Miss Бьючем, описанному Мортоном Пренсом.[9] В ней живет 4 различных лица, о которых она говорит как об объективно существующих. (Этого совсем не понял Шенрок, котор<ый> принимал их за отдельных лиц[10]). Над этими письмами работает проф<ессор> Белецкий, кот<орый> гостил летом.[11] И

кроме всего они обаятельны. Если тебе в твоих исследованиях попадется это имя – обрати внимание. (У нее есть еще переписка с Достоевским, когда он был на каторге[12]).

Зима у нас мягкая и влажная. Только сегодня задул первый северовосток и температура спустилась до нуля. Крепко обнимаем тебя и Ирину.[13] Ее «экономическая база» тоже оказалась небезынтересна, п<отому> ч<то> у нас все значительно дороже, хотя и лучше с хлебом пока, чем на севере.

Крепко тебя обнимаем, любим и всегда вспоминаем, когда молимся.

Макс.

[1] См примеч. 3, 4 к п. 384

[2] См. примеч. 2 к п. 383.

[3] С Н. Дурылин пересказал эту историю в письме к Е. В Гениевой от 20–21 января 1929 г., добавив от себя: «История эта всюду может случиться, с заменой Маруси, болгар, барашков, собак и пр. действующих лиц другими исполнителями» («Я никому так не пишу, как Вам...» Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.. Центр книги Рудомино, 2010. С. 286).

[4] Л. В. Тимофеева.

[5] Имеется в виду книга Дурылина «Из семейной хроники Гоголя Переписка В А и М. И. Гоголь-Яновских. Письма М. И. Гоголь к Аксаковым» (М., 1928).

[6] Дурылин привел этот отзыв Волошина в цитированном выше письме к Е. В. Гениевой: «Ужасно рад, что Гоголь мой Вам понравился. Все хвалят за него Гудзий, Звягинцева, Макс <...>» («Я никому так не пишу, как Вам...» С. 287).

[7] Н. Д. Фонвизина вышла замуж за И И. Пущина в 1857 г.

[8] Имеется в виду немецкая писательница Беттина фон Арним (урожд. Элизабет Катарина Людовика Магдалена Брентано; 1785–1859), создательница произведений уникального жанра – интеллектуальных романов в эпистолярной форме, основанных на письмах реальных, но подвергнутых творческой трансформации.

[9] Речь идет о книге доктора Мортона Прайнса (Prince) «Разъединение личности» («La dissociation d'une personnalité», 1911). Сохранился набросок рецензии Волошина на нее (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 633)

[10] Имеется в виду статья В И. Шенрока о Н. Д. Фонвизиной «Одна из жен декабристов» (Русское Богатство 1894. № 11. С. 100–136; № 12. С. 54–92).

[11] Публикацию писем Н.Д. Фонвизиной к И.И. Пущину или работу, основанную на этом документальном материале, А. И. Белецкий (насколько можно судить по библиографическому перечню его трудов в кн : *Гудзій М. К.* Олександр Іванович Білецький. Кіев, 1959). не осуществил Письма Фонвизиной к Пущину хранятся в архиве И. И. Пущина (РГБ, ф. 243, карт. 4, ед хр. 33), письма Пущина к Фонвизиной в полном объеме опубликованы в кн : *Пущин И. И.* Сочинения и письма: В 2-х т. / Издание подготовлено М. П. Мироненко, С. В. Мироненко М.. Наука, 1999—2001.

[12] Известны одно письмо Ф. М. Достоевского к Н.Д. Фонвизиной из Омска (конец января – 20-е числа февраля 1854 г. // *Достоевский Ф. М* Полн. собр соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1985 Т. 28, кн. 1. С. 175–177) и одно письмо Фонвизиной к Достоевскому, относящееся к ноябрю 1853 г. (опубликовано по копии с черновика. *Кайдаш Светлана.* Достоевский и Фонвизина // Вопросы литературы. 1981. № 5. С. 311–313, подлинник: ГАРФ, ф. 1706, I, № 38).

[13] И.А Комиссарова.

387. Е.Л. ЛАННУ

9 января 1929 г. Коктебель

9/I 1929. Коктебель.

Дорогой Евгений, шлю тебе земной привет из Коктебеля. Поздравляю с Нов<ым> годом. Только в конце декабря мы узнали окончательно и достоверно, что дело с нашим домом ликвидировано Кр<ымским> ЦИКом.[1] Спасибо всем друзьям и тебе особенное. Но год все-таки не мог кончиться благополучно: Юлахлы и Хна (Пулемет издох) привлечены к уголовной ответственности.[2] Этот кроткий вегетарианец и эта стареющая кокетка обвиняются в том, что они растерзали 12 овец в одну ночь, и присуждены к штрафу в 90 р<ублей>. Марусю вызывали ответчицей в Ст<арый> Крым,[3] и вся деревня издевалась: «Припаяли собачек? Любите, прикармливаете? Вот и заплатите... Вам ничего — дом большой, наживетесь летом...». Конец года был очень гнусен и, кроме этих бытовых анекдотов, омрачен смертью Черубины[4] и Р. М. Гольдовской[5] — двух людей, мне очень близких лично. Напиши о себе.

Макс. Маруся.

P. S. Подписи, свидетельствующие о «бесплатности» дома, все же необходимы к лету.[6]

[1] См п. 346.
[2] См. п. 380.
[3] См. п. 378, примеч. 3.
[4] Е. И Васильева. См п. 369, примеч.1
[5] См. п. 367, примеч. 1, п. 368.
[6] См. примеч. 1 к п 346.

388. Е. К. ГЕРЦЫК

10 января 1929 г. Коктебель[1]

Дорогая Евгения Казимировна, поздравляю Вас и всех киммерийских изгнанников с Новым Годом и желаю Вам всего-всего лучшего. Ушедший год был темным годом. Еще в декабре из близких умерли – Лиля (Черубина де Габриак) и Рашель Гольдовская (Хин).[2] А едва ликвидировалось наше дело с конфискацией дома,[3] как начался ряд шантажных дел против наших собак. Юлахлы (этот вегетарианец, философ и непротивленец) обвинялся в том, что он раздирает овец в стадах десятками. По этому делу мы уже приговорены к 100 р<ублям>, а ожидается еще несколько. И это наглое вмешательство. Все это совершенно нарушает тишину нашего зимнего уединения и не дает работать. Нервы – особенно Мар<ии> Степановны – в ужасном состоянии. Писание стихов уже несколько раз срывалось. О мемуарах – нечего и думать.[4] А я об них думаю много и чувствую всю неизбежность этой работы, которая требует меня. Дневник Блока я читал с волнением.[5] Но он совсем не удовлетворил меня. Мы много говорили о нем летом с Сергеем Соловьевым.[6] В Блоке была странная пустота. Может, она и порождала это глухое лирическое эхо его стихов. Он проводит *часы*, вырезая и наклеивая картинки из *«Нивы»*![7] Как отклик того же в другие годы интересен роман Вагинова («Козлиная Песнь»).[8] Приветствие всем моим кисловодским друзьям.

Максимилиан Волошин.

[1] Датируется по кн.. Труды и дни-2. С. 412.

[2] См. п. 369, примеч. 1, п. 367, примеч. 1.

[3] См. п 346, примеч. 1, п. 354, примеч. 1.

[4] В письме от 16 декабря 1928 г. Е. К Герцык просила Волошина: «Ах, у меня такой завет к Вам. пишите, пишите мемуары. Ведь так много надо рассказать Вам, что жизни не хватит. Начните этой зимой. Возьмите хоть отрывочно кого-нибудь – Александру Михайловну – я все думаю об ней с грустью – если вы не напишете о ней – она уйдет безвозвратно» (*Герцык Евгения.* Лики и образы... С. 518–519). Упоминается А. М. Петрова.

[5] Речь идет об издании: Дневник Ал. Блока. 1911–1913 / Под ред. П. Н. Медведева. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. Волошин откликается на слова Е. К. Герцык· «...я вся под впечатлением "Дневников Блока" – больно, и как-то пронзительно» (Там же. С. 518).

[6] С. М Соловьев приехал в Коктебель 27 июля 1928 г., уехал – 10 августа (см.: Труды и дни-2. С. 392–393).

[7] Речь идет о популярном петербургском еженедельнике «для семейного чтения» «Нива» (1869–1918).

[8] Имеется в виду роман К К. Вагинова «Козлиная песнь», вышедший в свет в Ленинграде в издательстве «Прибой» в 1928 г.

389. Б. М. ОВЧИННИКОВУ

10 января 1929 г. Коктебель

10/I 1929. Коктебель.

Дорогой Борис Михайлович,

только праздники и связанный с ними приезд друзей – неожиданный и тем более желанный, помешали мне ответить тотчас же на Ваше прекрасное письмо о покойной Рашели Мироновне, написанно<е> Вами из Кисловодска (21/XII 1928).[1] Я ведь Вас также хорошо знаю и не только <по> рассказам Миши Фельдштейна, но и по многим еще человеческим нитям, нас связывающим. Я ведь даже и с дочками Вашими встречался (в ноябре 1922 г. в Ялте). Не упомню сейчас, кто – мне советовал непременно послушать стихи Вашей младшей дочери, как мне говорили, очень талантливой девочки. Такое она на меня и произвела впечатление, когда я ее видел тогда у моих род-

ственников — Шмелевых. Какова ее судьба теперь? и осуществила ли она возлагавшиеся на нее литературные надежды?[2]

Я имел за это время несколько писем из Москвы с описанием болезни и агонии Рашели Мироновны. Мне подробно писала Надежда Ивановна.[3] Под всеми Вашими словами о Р<ашели> М<ироновне> я охотно подписываюсь. Вместе с ней порывается живая связь с классическим расцветом Рус<ской> Литературы. Та духовная и культурная преемственность, которую она так одиноко поддерживала последние годы. Ко мне эта литературная и человеческая утрата пришла не одна, потому что 5/XII — в тот самый день, когда удар вывел Р<ашель> М<ироновну> из числа живых, ушла из жизни в ссылке в Ташкенте, в больнице Ел<изавета> Иван<овна> Васильева, оставившая в русск<ой> поэзии блестящий след как поэтесса *Черубина де Габриак*, мне очень близкая как человек.[4] А в прошлом году ушли А. Ф. Кони, Ф. Сологуб, Б. Кустодиев. Всё близкие, по-разному яркие люди, унося с собой целые главы русской жизни и ее культурного развития. И эти вести почему-то всегда приходят зимой, когда в Коктебеле начинается наша полярная зимовка и наш дом, такой переполненный летом, пустеет совершенно месяцев на 6, если не считать случайных приездов на Рожд<ество> и на Пасху на несколько дней.

Я сам очень редко теперь выезжаю за пределы Коктебеля. Но считаю совершенно ненормальным, что, живя одновременно в Крыму столько лет, мы до сих пор не встречались с Вами. И если Вы найдете в себе желание и возможность навестить меня — я буду очень благодарен судьбе. И для того, чтобы в Вас жило и укреплялось желание посетить эту землю, так непохожую на остальной Крым, посылаю Вам напоминание о Коктебеле в виде акварели, а две другие прошу передать Вашим дочерям, с которыми я когда-то встречался.

Максимилиан Волошин.

[1] Б М Овчинников обратился к Волошину с письмом из Кисловодска от 21 декабря 1928 г. в связи с кончиной Р М Гольдовской-Хин (с оговоркой: «Незнакомый лично, я привязан к Вам тысячами духовных нитей — и не только в обаянии творчества Вашего, но и невольным заочным участием в общении с Вами многих общих дру-

зей и знакомых»): «...сегодня 9-й день кончины Р. М. Хин <...> она для меня еще в молодости моей стала второй матерью и вторым университетом. Близкий товарищ Миши <М. С. Фельдштейн – *Ред.*>, я стал с годами гораздо ближе к самой Рашели Мироновне и пользовался, совершенно незаслуженно, ее трогательной заботливостью и нежностью. <...> Ведь так тихо и незаметно увела смерть не только женщину несравненного духовного обаяния, но в ее лице и одного из замечательных русских людей. Думаю, что это особенно ясно Вам, постигающему русскую стихию – в созидательных бурях и распадах темных глубин и в прозрачном горении высот нашего духа. И Достоевский и Тургенев *и* Гершензон – все это разные языки одного и того же пламени. И как никто, Р. М. это удивительно понимала, а как ее мучительно жег этот пламень – Вы сами знаете. В самых задушевных моих разговорах с Р. М. я знал, как исключительно глубоко она любила Вас – и не только за Ваш талант Ваш последний приезд в Москву – наполнил ее огромной радостью.. Вот поэтому-то мне так и захотелось в этот момент пожать Вашу руку» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 905, л. 1–1 об.).

[2] В ответном письме из Симферополя от 16 января 1929 г. (Там же, л. 3–4 об.) Овчинников сообщил, что не младшая его дочь (Нина), а старшая (Ирина) «учится теперь в Москве на Литерат<урных> Курсах (быв<ших> Брюсова)» и что в Ялте Волошин видел детей его однофамильца.

[3] Н. И. Ивановская писала Волошину 18 декабря 1928 г.: «С Рашель Мироновной в среду 5-го в 11 час. утра случился удар. <...> 6 суток велась отчаянная борьба, чтобы отстоять Рашель Мироновну Но доктора сразу поняли всю безнадежность <...> Болезнь свою она переносила с ангельским терпением – она, такая бурная и властная и нетерпеливая, – стала сама тишина, сама покорность. В эти 6 дней нечеловеческих страданий распластанная, как рыба – она успела напоить и сплотить нас своей любовью. Она каждому из нас сказала столько прекрасного – и показала все величие, всю глубину своего духа. <...> Схоронили ее на Введенских Горах – рядом с Онисимом Бор<исовичем> <Гольдовским. – *Ред* >» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 589, л. 5–6)

[4] См. п. 369, примеч. 1.

390. А. В. ПОТОЦКОМУ

10 января 1929 г. Коктебель[1]

Дорогой Аркадий Васильевич.

С Новым годом!

Простите, что в свое время не ответил на Ваше милое и заботливое письмо, вызванное ложной тревогой.[2] Вся осень и половина зимы ушла на мелкие дела: сперва надо было отстаивать дом, что и удалось при помощи москов<ских> друзей. А на праздники наш Юлахлы «Жилец Гробов» был отдан под суд за то, что съел (лично) 12 барашков в стаде. И мы с ним. Суд нашел нас виновными, хотя мы все трое вегетарианцы.[3] Собачья жизнь!!

Крепко обнимаю.

Максимилиан Волошин.

Напишите о своих и театральных делах.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW. 10/I 1929».

[2] В письме к Волошиным от 6 сентября 1928 г. А В. Потоцкий и Е. К. Збруева просили «сообщить, в срочном порядке», не отразилось ли на них «бедствие, о котором пишут газеты» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 101)

[3] См. п. 383–385.

391. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

15 января 1929 г. Коктебель

15. I. 1929.
Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

одновременно с этим письмом высылаю тебе заказною бандеролью пакет с акварелями этого года. Всех там 40 штук. 20 более крупных предназначены для выставок (там сзади есть заглавия — для каталога, выставочная цена, имя и адрес). А остальные 20 для розыгрыша в лотерею,[1] если СПБ<ург>ские

коктебельцы захотят это сделать. Цены, конечно, никакой не назначаю, но высказываю пожелание, чтобы она была не меньше червонца за акварель. Но, прежде всего, прошу тебя выбрать *для себя* лучшую изо всей этой пачки. И если ты мне напишешь общее свое впечатление от моих работ этого года (которых ты еще совсем не видела), то я буду тебе очень и очень признателен. Я в этом году начал писать море против света — это мое последнее приобретение. Но ежели ты найдешь нужным что-нибудь модифицировать (оценку? распределение?), то я заранее даю тебе все права и со всем соглашаюсь.

Маруся так расстроена всеми историями прошлого года, что никому писать не может. Мы так мало писали в СПБ потому, что не имели никаких окончательных сведений о нашем деле, т. е. о реквизиции дома.[2] А как только узнали достоверно, что дело ликвидировано, началась собачья история, о которой я писал тебе в письме от 7.I.[3] Теперь дело подано на кассацию, и нас это больше касаться не будет. Заглазно решат, было ли правильно постановление Нар<одного> Суд<а> или нет? Мучительно в этом, конечно, не штрафы и не приговор, а необходимость иметь дело с этими людьми. Марусины нервы напряжены и расхлябаны до крайности. Феодос<ийский> врач (Славолюбов) еще нашел у нее болезнь печени и рекомендовал полное спокойствие. У нее почти непрерывно ноет печень, а от каждого порыва негодования становится горько во рту (желчь).

Истекший год был для нас темным годом. До сих пор мы были какой-то невидимой завесой изолированы от современного быта. Казалось, что нам удалось создать некоторый иной строй человеческих взаимоотношений, который незримо принимался каждым вступавшим в наш круг. Но вот дружеская измена, моральное предательство (Андерсы[4]) открыло брешь в этом магическом круге, и через нее хлынули все мерзости современности: скандалисты, хулиганы, воровство.[5] И, главное, исказилось отношение окружающих обывателей к нашему дому. Мы неожиданно почувствовали себя окруженными кольцом враждебности. Вдруг деревня перестала верить нашему бескорыстию. Все смотрят на нас явно как на дельцов,

ловко обделывающих свои делишки: мы для вида отдаем дом бесплатно, а сами наживаемся. Те самые болгары, которые приходят к Марусе занимать деньги (их не отдают годами), подтверждают легенду о нашем богатстве. Поэтому сельсовет обкладывает нас в 10 раз больше других и т. д. Этот человеческий муравейник, от которого мы до сих пор были изолированы, не дает нам зимой покоя и отдыха от летней человеческой страды.

Дай Бог, чтобы все это наваждение окончилось с 1928 годом.

Какое счастье, что Серг<ей> Вас<ильевич> поедет за границу.[6] Мы невольно опасались, что его открытие благодаря своей важности закроет ему пути на запад. Как хорошо, что это не так.

До свиданья, дорогая Анна Петровна. Мы оба шлем вам с Сергеем Васильевичем самые горячие пожелания. Ради Бога прости меня за обузу акварелей моих.

Макс,
Маруся.

[1] Видимо, Волошин рассчитывал на проведение лотереи в пользу его дома, по аналогии с той, которая была проведена в Ленинграде в конце 1927 г См. п. 269, примеч 6.

[2] См. п. 346.

[3] Упоминаемое письмо не обнаружено. См. п. 378, примеч. 3.

[4] См. п 269.

[5] Имеется в виду кража, произошедшая в доме Волошина. См. п. 358.

[6] О планах С. В Лебедева сообщала Волошину А. П Остроумова-Лебедева в письме от 29 декабря 1928 г.· «В конце декабря он должен был ехать за границу, но до сих пор не получил разрешения, как только получит, сейчас же соберется; он едет только в Берлин на 10 дней. Ему дали денег на расширение каучуковой лаборатории и во всем, что касается его дела, с ним очень предупредительны и его берегут» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 47 об.).

392. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

18 января 1929 г. Коктебель

18/I 1929. Коктебель.

Дорогой Костя,

История с нашими собаками[1] не только не кончилась, но продолжает развиваться: они становятся объектом постоянного шантажа. Сегодня утром нас разбудил приход нового чабана. «Так что вот, сегодня Ваши собачки у меня ночью двух овечек съели, сам видел, палкой их бил».

– Да вот же они – на цепи сидят.

«Так это вы их нарочно перед моим приходом сами и посадили».

А собаки (т. е. Юлахлы) действительно уже месяц как с вечера садятся на цепь, и т<ак> к<ак> он сидит на террасе непосредственно под моим окном, то я всю ночь слушаю, как он вздыхает, поворачивается, бредит во сне, скулит, просится на двор. Свое узничество он переносит с честью и обнаруживает все более и более собачьи (чтобы не унижать его словом «гуманные») черты характера: лижет руку, сажающую его на цепь, подает лапу клевещущим на него, отворачивается от положенного перед ним бараньего мяса. Словом, высоко держит знамя вегетарианства и непротивления. Но слава кровожадного чудовища обвила его голову таким прочным ореолом, что самые бородатые и жадные чабаны при виде его бледнеют, а когда он доверчиво протягивает им лапу, чуть не падают навзничь.

Явно, что общественное мнение требовало бы уже давно его крови, если бы его жизнь не представляла таких неоспоримых выгод: Юлахлы платит за всех овечек, съеденных волками (и, б<ыть> м<ожет>, самими чабанами). И не успели мы покончить с одним процессом, и вот уже у нас в перспективе новый.

Наша жизнь тоже стала «собачьей» – мы живем весь день (и всю ночь) только их интересами. Маруся находится непрестанно в состоянии нервного исступления, доказывая всем проходящим и заходящим всё внутреннее благородство Юлахлы – с пеной у губ и со слезами на глазах. Моя работа в эти

немногие месяцы нашего человеческого отъединения тоже срывается каждый день. Словом, нам необходимо Юлахлы на время, пока не улягутся страсти, удалить из Коктебеля. Не могли бы ты <*так!*> принять Юлахлы к себе во внутренний двор до весны? Мы могли бы за его содержание платить рубля 3 в месяц. Мы в очень затруднительном положении: нам нельзя обратиться ни к кому ни из местных, ни из соседних людей, потому что он тогда станет еще более предметом шантажа и клеветы. Предать такого доброго и благородного пса (чистокровно пролетарского происхождения) было бы свинством и подлостью. Я думаю, что Тайту и Шарик, если Маруся им расскажет, как она только умеет, его злосчастную судьбу, согласятся принять его временным компанионом.

Если же для тебя это окажется совсем, совсем невозможным, то, может быть, ты дашь идею, к кому можно обратиться в Феодосии с такою просьбой, и наведешь справки (Барсамов?). Сейчас это для нас вопрос первостепенной важности.[2]

Нервное состояние Маруси мне внушает самую сериозную тревогу.

Привет наш Жозефине Густавовне.[3] Спасибо за твое письмо.[4] Его указаниями не пришлось воспользоваться, т<ак> к<ак> Долгополов избрал совершенно иную тактику.

Макс.

[1] См. п. 383–385.

[2] 25 января 1929 г. К. Ф. Богаевский отвечал Волошину: «...все это время подыскивал охотника принять собаку на содержание; принять же ее к нам, как ты просишь, совершенно не представляется возможным по некоторым обстоятельствам, а главное потому, что в ближайшее время у наших собак начинается бурный период ухаживания и уж тут третья собака в закрытом дворе никак не приемлема. Не берут собаку некоторые из обитателей Карантинной слободы либо потому, что не имеют закрытого двора или имеют уже достаточно собак, либо потому, что 3 р. находят недостаточным и просят 5 р., – да и это еще не наверное. < ..> Однако предвижу, что весной, когда вы обратно возьмете Юлахлы, начнутся те же вымогательства чабанов и конца у вас этим историям не будет. С собакой нужно совсем расстаться, как это ни трудно для вас. Просил Барсамова – также отказывается» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 267, л. 57–57 об.).

[3] Ж. Г. Богаевская.

[4] В недатированном письме к Волошину (Там же, л. 62–62 об.), касаясь обстоятельств судебного разбирательства с чабанами, Богаевский передавал совет Антона Густавовича Дуранте (брата Ж. Г. Богаевской) «требовать от суда назначения экспертизы» и с этой целью обратиться к местному старокрымскому агроному.

393. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

19 января 1929 г. Коктебель[1]

19/I 1929. Коктебель.

Милый Сережа, спасибо за твое сердечное и дружеское письмо.[2] Оно пришло как нельзя более вовремя. Потому что вчера утром мы были разбужены новым визитом чабанов: «Так что вот: ваши собачки этой ночью у нас еще двух овечек зарезали. Сами своими глазами видели. Следом вот за им так и шел по следу». – Видите, он на цепи сидит. Уже месяц, как его с цепи и не спускаем. – «Да это Вы его нарочно перед нашим приходом сами и посадили». Словом, не закончен еще первый процесс о 12 овцах, как против Юлахлы начинается новое дело. Тут идет явное <*так!*> и беззастенчивый шантаж. Этот вегетарианец и типичный непротивленец – Юлахлы вырос до размеров «Бескервильского Пса». Я уже вчера писал Богаевскому просьбу принять его к себе на пансион, чтобы дать страстям и ужасам успокоиться.[3] Жизни Юлахлы, конечно, ничего не грозит, потому что ни у одного чабана не подымется рука на того пса, который щедро платит за всех съеденных (волками или чабанами же?) овечек в округе. Жизнь его священна. Но ужас его расцветки заставляет бледнеть самых смелых и падать навзничь бородатых мужчин с ружьями. Передай все наше сочувствие и симпатии Блюменау.[4] Мне бы очень хотелось иметь список его «Фрола Скабеева», чтобы прочесть его глазами.[5] Поговори о нем (когда это *станет удобно*). Привет Вас<илию> Дмитр<иевичу>, Леле[6] и всем. Помним, любим. ЖДЕМ.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 20.1.29; Москва. 24.1.29.

[2] 11 января 1929 г С. В. Шервинский писал Волошину: «Какая нелепость произошла у вас с собаками, овцами и судьями? Уж не сам ли ты съел стадо баранов, наскучив молочной диетой? <...> Я совершенно уверен, что Симферопольский суд отменит приговор аборигенов, если же и нет, – то все-таки Марусе не стоит об этом волноваться, не стоит свое спокойствие котировать так низко. Когда нужно будет расплачиваться, черкни об этом мне или Валькирии <В. П. Остроумова. – *Ред.*>. А что касается общего положения с вашей дачей, то мы искренне радуемся, что опасность пока миновала <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр 1296, л. 21–21 об.).

[3] См п. 392

[4] В цитированном выше письме Шервинский сообщал об А. А. Блюменау-Ильинском: «Его обвинили в какой-то грязной истории “развратительского” порядка, арестовали, потом выпустили на поруки, и скоро, по-видимому, будут судить. Я очень надеюсь, что его оправдают, ибо следствие уже кончилось и, как будто, улик, достаточных для осуждения, не имеется». Здесь же Шервинский извещал о самоубийстве некого Бехтемира – воспитанника Блюменау.

[5] Речь идет, видимо, о сделанной Блюменау-Ильинским переработке «Повести о Фроле Скобееве» («История о Российском дворянине Фроле Скобееве», XVII в., по другим данным – XVIII в., обнаружена и опубликована в 1853 г.). «Фрол Скобеев» в переработке Блюменау нам неизвестен.

[6] В. Д. Шервинский, Е. В. Шервинская.

394. Е. В. АРЦИМОВИЧ

22 января 1929 г. Коктебель[1]

Для Китти.

С Новым годом!

Милая Китти, не забывайте, что мы Вас очень помним, крепко любим и всегда ждем.

Макс
Маруся Волошины.

[1] Датируется по почтовому штемпелю Текст на обороте акварели с датировкой (вероятно, ошибочной)· 2/VI 1929.

395. Б. М. ОВЧИННИКОВУ

26 января 1929 г. Коктебель

26/I 1929. Коктебель.

Дорогой Борис Михайлович,

спасибо за дружеское письмо.[1] Почти одновременно получил я письмо от Лизочки Ходжаевой, где она много говорит о Вас (не называя и не подозревая о нашем письменном знакомстве).[2] Рассказывает, как Вы читали у них моего «Аввакума».[3] Все это делает, что я уже смотрю на Вас и на Ваших дочек, как на старых знакомых. Как же это однако вышло в Ялте такое недоразумение с моим знакомством с ними – параллелизм и возраста и фамилии?[4] Да, Вы правы – говорили мне о них, кроме Миши – конечно, Левандовские, которых я часто видел в Севастополе осенью 1922 г., а теперь совсем потерял из виду. Где они и что с ними? Иринины[5] стихи, конечно, очень юны, но в них есть «певучее пламя». Больше этого и требовать нельзя. Требовательность к себе и музыкальная стихия – это все, из чего рождается поэт. Если к этому присоединить требование краткости («чтобы словам было тесно, – мыслям просторно»[6]), то с этими данными можно пройти весь путь искусства до конца. Значит, «Брюсовский Институт» еще существует?[7] Это приятно слышать. Кто же там остался из преподавателей? Я думал, что он погиб вместе с его инициатором. Но мне очень хотелось бы познакомиться с Вашими девочками «в подлиннике» (а не в ялтинских кон<т>р<а>факциях). И я надеюсь, что они меня навестят как-нибудь летом, ко мне симферопольская литературная молодежь иногда заходит в путешествиях. Не знаете ли что-нибудь о судьбе двух *очень талантливых* симферопольских поэтесс: Нади Рыковой и Юлии Каракаш? Стихи последней были прекрасными образцами «poèsie de Terroire».* В них очень верно и подлинно отражался интимный Крым (ф<р>уктовых садов, степных склонов Яйлы). К сожалению, для меня лично эта зима (а я пишу только зимой) – проходит совершенно бесплодно, из-за глупых судебных историй: наши собаки (самые

---

* «Почвенной поэзии» (*фр.*)

пролетарские дворняги) стали объектом «вымогательства» — их обвиняют в том, что они вдвоем загрызли 12 овец в одну ночь. И т<ак> к<ак> Народн<ый> суд «классовый и пристрастный» признал нас (в перв<ой> инстанции) виновными,[8] то теперь на них валят все овечьи убытки за эту зиму все окрестные чабаны. Словом, в первый раз за всю жизнь я вынужден судиться и увяз в этом очевидно плотно и еще не выработал в себе достаточно отрешенного отношения. Помогает мне в этих делах мой друг Митр<офан> Исид<орович> Долгополов, которого Вы наверное знаете по Симферополю.[9] Все это меня совершенно лишает того уединения и отрешенности, которые мне совершенно необходимы для поэтической работы.

Если Вам, Борис Михайлович, удастся навестить меня зимою,* то я буду очень, очень счастлив. Летом в нашем доме часто бывает такой людоворот, что у меня не хватает ни времени, ни сил. Но это июль и август преимущественно.

Привет всей Вашей семье.

Максимилиан Волошин.

Прилагаю мое стихотв<орение> «Четверть Века», которое, очевидно, еще не дошло до Вас.[10] Если же имеете, то верните список. У меня их мало.

[1] Имеется в виду письмо Б. М. Овчинникова из Симферополя от 16 января 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 905, л. 3–4 об.).

[2] В письме к Волошину из Кисловодска от 22 января 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1239, л. 16–19 об.) Е. Э. Ходжаева сообщала: «...в декабре жили здесь и часто бывали у нас два адвоката, оба очень внутренне интересные люди, особенно один, Б. М. О., он живет сейчас в Симферополе, несмотря на то, что он лично не знает Максимилиана Александровича, он прекрасно знает почти все его произведения, и, как-то, в один из вечеров, мы специально собрались для того, чтобы послушать "Протопопа Аввакума", он его знает почти всего наизусть и читает прекрасно, доставил всем нам огромное удовольствие и так живо напомнил чудесный прошлый год (чудесный, конечно, только в смысле встречи с Вами)».

* Автобус Симферополь — Феодосия согласован с автобусом Феодосия — Судак, так что, выехав утром, вы можете быть в Коктебеле в полдень <*Примеч. Волошина*>.

[3] Подразумевается поэма Волошина «Протопоп Аввакум» (1918 // Т. 1 наст. изд. С. 295–317).

[4] См. п. 389, примеч. 2. В упомянутом выше письме Овчинников предположил, что о его дочери Ирине Волошину говорили «вероятно, кроме Миши <М. С. Фельдштейн. – *Ред.*>, – и Левандовские?».

[5] Ирина Борисовна Овчинникова (1909–1979), дочь Б. М. Овчинникова от первого брака, музейный работник.

[6] Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Подражание Шиллеру. II. Форма» («Форме дай щедрую дань...», 1877).

[7] См. примеч. 2 к п. 389. Имеется в виду Высший литературно-художественный институт им. Валерия Брюсова, основанный в 1921 г. Первый ректор – В. Брюсов, после его смерти – В. П. Полонский, проректор – М. С. Григорьев. После ликвидации Института в июне 1925 г. Григорьев организовал на его базе Высшие государственные литературные курсы.

[8] См. примеч. 3 к п. 378.

[9] С помощью М. И. Долгополова была составлена кассационная жалоба М. С. Волошиной в Главный суд Крыма (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 26, л. 2–3). Аналогичный характер имеет следующее заявление Волошина (Там же, л. 6–7):

Прокурору Крымской республики,
копия Прокурору РСФСР

Поэта Максимилиана Александровича ВОЛОШИНА, проживающего в дачном пос<елке> Коктебель Феодос<ийского> района

Заявление

29 декабря прошлого года Народный суд 4 участка Феодосийского района, находящийся в г. Старом Крыму, рассмотрел гражданское дело по иску пастуха овец гр. Перонкова к моей жене, Марии Степановне Волошиной, за якобы зарезанных ее собаками в ночь с 17 на 18 декабря 1928 года овец, и внес решение о взыскании с нее в пользу истца 90 рублей.

При рассмотрении этого дела Народным судом 4 участка, председателем коего является житель деревни Коктебель, было допущено ряд незаконностей, как например, дело заведено по заявлению не собственников овец, а пастуха, в повестке о вызове в Суд не было точно указано, кто вызывается: я или моя жена, по какому делу и в качестве кого. Рассматривая дело по существу, Народный суд не выяснил даже тех моментов, на которые указывалось в моем заявлении,

направленном в Суд с повесткой и свидетельскими показаниями к моменту судебного заседания, и, кроме того, Суд даже не приобщил к делу моего заявления, а вернул его мне через Коктебельский сельский совет спустя полмесяца после рассмотрения дела.

На это, а также на ряд других неправильностей, допущенных Судом при рассмотрении иска гр. Перонкова, моя жена указала в своей кассационной жалобе, направленной в Главный Суд Крыма через Народный суд 4 участка.

К кассационной жалобе было приложено в копии мое заявление от 28 декабря 1928 года, но Народный суд почему-то упорно уклоняется от приобщения его к делу. копию он также вернул мне с резолюцией, что она к делу не относится

Неправильное разрешение изложенного дела повело к тому, что 18 сего января утром явился ко мне другой пастух овец, гр. Клинчев, и заявил, что опять-таки в ночь с 17 на 18 января 1929 года (спустя ровно месяц) собака моей жены разорвала две овцы из его стада. Между тем, в эту ночь собака находилась на цепи, и даже в момент прихода пастуха не была еще спущена.

Будет ли предъявлен новый иск или гр. Клинчев изберет иные пути для пополнения своего бюджета, я не знаю, но созданная для меня здесь остановка заставляет меня обратиться к Вам с просьбой об устранении подобного рода явлений, для чего прошу ознакомиться с первым делом, ныне находящимся в Главном Суде, и поручить расследовать вопрос, как содержащее явные признаки вымогательства.

Прокуратуре Крымской республики коктебельские нравы известны по делу об избиении жены писателя Вересаева, и потому, — повторяю, — я вынужден прибегнуть в данный момент к защите прокуратуры.

К настоящему заявлению прилагаю копию заявления в Народный суд 4 участка с резолюцией. Повестку и показания Воробьева и Чикалова приложить не могу, т<ак> к<ак> они мне судом возвращены не были.

26 января 1929 года.

В еще одном заявлении Волошина на имя прокурора Крымской республики (текст сохранился не в полном объеме) сообщаются дополнительные подробности и обстоятельства, послужившие поводом для судебного разбирательства (Там же, л. 9–9 об.):

«По протоколам суда можно подумать, что я держу каких-то породистых собак, особенно свирепых и сильных. Между тем как это самые обычные деревенские дворняги, которых летом обычно подкармливают дачники, которые зимой бродят голодные и которых

стыдно не накормить, если есть малейшая возможность, что обычно моя жена и делает. Они не являются даже сторожами, потому что приветствуют каждого, кто их кормит, и когда летом у нас в доме была большая кража, то ни одна и не залаяла даже. Словом, они в доме не слуги, а только нахлебники.

Обвиняемых собак три: пятимесячный щенок, трехногая сучка и серый пес, похожий мастью на волка (в чем его единственная вина и заключается), настолько вялый и добродушный, что его “любая овца залягает”.

Ночь, в которую были загрызены 12 баранов (по первоначальному обвинению), была 18 декабря, около 11 часов ночи. Шел дождь, было совершенно темно, при стаде собак не было. Пастухи в это время сидели в винодельне б<ывшей> Юнге и играли в карты. Услышав панику в стаде, вышли. Но было слишком темно, чтобы что-нибудь разобрать. 18 декабря — это самая долгая ночь в году. Только через семь часов, когда рассвело, увидали растерзанных барашек К нам пастухи пришли в 4 часа дня в сумерки, то есть через шестнадцать часов после происшествия, говоря, что следы от последней зарезанной овцы привели их прямо к нам и что это вина наших собак (хотя, по ихнему же заявлению, дождь сейчас же замывал все следы). На предложение назначить третейскую комиссию с участием представителя сельсовета они не пошли, а прямо подали в суд. Таким образом установление тождества ими прослеженных следов с лапами наших собак установлено не было На вызов в суд, присланный неизвестно кому, я не поехал, так как для меня каждое посещение Ст<арого> Крыма сопряжено с тяжелым припадком астмы, а поехала моя жена».

[10] См. примеч. 3 к п 283. 29 января 1929 г. Овчинников отвечал Волошину: «За “Четверть века” я горячо Вас благодарю, у меня этой вещи не было Экземпляра с Вашей подписью я Вам, конечно, не возвращу, а, располагая пишущей машинкой, обязуюсь копиями по требованию в любом количестве» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 905, л. 5 об.–6).

396. Л. В. КАНДАУРОВУ

28 января 1929 г. Коктебель

28/I 1929. Коктебель.

Дорогой Леонид,

большое тебе спасибо за «Астрономический Ежегодник»[1] и еще большее за внимание и память. Мы тебя летом поминали и жалели, что тебя нет. Минувший год был нам неблагоприятен: были и человеческие неприятности – с нашими гостями, что до сих пор еще в нашей практике не бывало, и обокрали нас летом (унесли все зимние вещи), а осенью собирались реквизировать дом и нас выселять из Крыма. Но когда все это кончилось благодаря вмешательству Москвы, как началась трагикомическая история с нашими собаками. Нашего добродушнейшего Юлахлы (вегетарианца!!) и треногую Хну обвинили в том, что они в одну ночь загрызли 12 овец. И Народ<ный> Суд «классовый и пристрастный» нашел это обвинение вероя<т>ным и приговорил нас к штрафу в 100 р. А вслед за этим чабаны всех окрестных стад начали валить на счет Юлахлы всех овечек, съеденных волками и самими пастухами.

И вот собаки сидят на цепи, надрываю<т> душу воем и скуленьем, нас таскают по судам и по «инстанциям», а Марусины нервы напряжены всем этим до исступления. Словом, та волна современного быта, от которого мы так долго были отъединены, захлестнула, наконец, и нас.

С непривычки это очень мерзко и унизительно. Но надо терпеть и не быть предателями своих псов...

Посылаю тебе привет и самые дружеские пожелания на Новый год и два акварельных напоминания о Коктебеле – тебе и твоей жене.[2]

Макс.

Мар<ья> Степан<овна> тебя приветствует, благодарит и поздравляет с Нов<ым> годом.

[1] Имеется в виду кн.: Астрономический ежегодник СССР, год 8. 1929. М.; Л.. Изд-во Академии наук СССР, 1928.

[2] По получении письма и акварелей Кандауров писал Волошину из Твери 1 февраля 1929 г: «Картинки очень хороши и свежи <...> Передавай мое соболезнование бедным псам, которые столь оклеветаны» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 40).

397. Б. М. ОВЧИННИКОВУ

5 февраля 1929 г. Коктебель

5/II 1929. Коктебель.

Милый Борис Михайлович,

Спасибо за Ваше дружеское письмо и предложение.[1] Очень за него благодарен, но сию минуту не воспользуюсь им. Сейчас мы отделены не только расстоянием, но и заносами. Кассация должна была разбираться 2 февр<аля>.[2] Но Долгополов в это время, очевидно, уже выехал в Москву. Вы, очевидно, выедете до прихода этой открытки, а *Мар<ия> Степ<ановна>* (моя жена) уже неделю вые<з>жает в Харьков – лечиться и выехать не может из-за заносов.[3] Этот затяжной отъезд сейчас нарушает всякий порядок в жизни и в переписке. И я пишу эти строки в своем кабинете, являющем все симптомы отъезда с разверстыми чемоданами, которые мы таскаем каждый <раз> к «напр<а>сному» автобусу и мерзнем около них на шоссе во власти всех северо-восточных и северо-западных бесов метели.

Обнимите от меня в Москве Фельдштейнов.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме из Симферополя от 29 января 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 905, л. 5–6 об.) Б. М. Овчинников предлагал Волошину содействие в его «злосчастных судебных делах»: «Сам я довольно узкий специалист – уголовный защитник и за 20 лет своей работы чувствую себя порою забрызганным кровью с головы до ног, но приписываемые Вашим церберам подвиги столь кровавы, что они способны и меня вдохновить в скромных рамках цивильной защиты».

[2] Ср. помету Волошина в записной книжке (2 февраля 1929 г.): «Кассация в Главсуд» (Труды и дни-2. С. 414). Подразумевается кас-

сация по приговору Старокрымского суда, вынесенному 29 декабря 1928 г. (см. п. 380).

[3] Первая попытка выехать из Коктебеля в Феодосию для дальнейшего следования в Харьков была предпринята 30 января (автобус не отправился из-за снежных заносов) Отъезд М. С. Волошиной состоялся лишь 6 февраля (Труды и дни-2. С 414).

398. М. С. ВОЛОШИНОЙ

6 февраля 1929 г. Коктебель

6/II 1929. Вечер 10 ч<асов>. *№ 1.*

Милая Маруся, когда вернулись, проводив тебя (никак не жд<а>л, что уедешь!!),[1] сердце ёкнуло от беспокойства и одиночества. Когда же вечером на почте узнал, что автобус пришел в город только к 4 часам, стало совсем тревожно. А барометр с момента твоего отъезда решительно пополз вверх, т.е. к новым холодам. И выехала ли ты сегодня поездом? Одновременно пишу открытку Нилушке, чтобы узнать, как состоялся твой отъезд.[2] Представляю себе твое состояние духа, когда вы с автоб<усом> стояли в поле 6 часов!! Бедная моя подневольная странница!! Одна надежда на шубу и на валенки.

Сегодня были письма от Всев<олода> Иван<овича> Попова (он лежит еще),[3] от Архиппова, о<т> М.Р. Белецкой и большая посылка от Вяземских (печения «Альберт» — очень хорошие — 5 кило), без всяких комментариев. Еще письмо от дяди Пети, который беспокоится, что о т<ете> Саше нет ни одной весточки со дня отъезда.[4]

Этот день мы провели с нею в домашних делах. Она меня стригла. Потом мыла себе голову. Потом читали вслух. Днем я рисовал. Чай пили оба раза у меня у печки. В доме тепло и уютно, и тем мучительнее думать о тебе, сейчас где-то едущей сквозь морозы и метели. Или стоящей в поле с поездом. Крепко обними Златогоровых. Не забудь о двух «фусах».[5]

МАКС.

[1] См. примеч. 3 к п. 397. Утром 6 февраля Волошин провожал М. С. Волошину на автобусную станцию. По дороге в Феодосию автобус застрял в снегу. Вечером того же дня М. С. Волошина сообщала Волошину. «На 11 версте сидели 4 часа в поле <...> От усталости и холода я почти помешалась <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 362, л. 7).

[2] Н. В. Успенская. Речь идет об отъезде М. С. Волошиной из Феодосии в Харьков для поправки нервного расстройства.

[3] В письме к Волошину («Ночь на 30 янв<аря>») В. И. Попов сообщал о предстоящем ему переезде в кардиологическую клинику (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 993, л. 21–21 об.).

[4] П. Ф. Домрачев и А. Л. Домрачева. 28 января 1929 г. А. Л. Домрачева приехала в Коктебель, чтобы заменить в заботах по дому М. С. Волошину, отправлявшуюся в Харьков (Труды и дни-2. С. 413).

[5] Отрезы кожи, предназначенные для шитья одежды.

399. М. С. ВОЛОШИНОЙ

7–8 февраля 1929 г. Коктебель[1]

7/II 1929. 10½ вечера. Четверг. № 2.

Милая Маруся,

Температура пала – и на дворе, и в комнатах. На дворе – 14°, у меня <в> комнате +6, в мастерской –6°, в столовой – 0°. За весь день повысить ее не удалось, и печка 3 раза тухла. Утром начал неожиданно писать стихи об Аделаиде Герцык и написал строфы 3,[2] но после обеда приехал Манганари. В принципе – я ему очень рад. Но в реальности он мне перебил работу. До самого вечера мы с ним просидели беседуя. Он мне говорил много лестного об акварелях, а завтра обещает сообщить много полезного – рецепты для подготовки бумаги. И читал свои стихи – для чего, по-видимому, и приехал. Мы его устроили в столовой (в музыкальной слишком холодно – стены промерзли – сразу не согреешь). Он привез от тебя мясо и письмо,[3] из которого я так ничего не узнал о том, о чем тревожусь – о тебе. Но вижу, что ты, по-видимому, уехала и, значит, сегодня и сейчас уже находишься под крылом Татьяны Руфовны.[4]

Юлахлы всю ночь выл по тебе, изводя тетю Сашу.[5]

Ажина все время ищет тебя по всем комнатам, перебегая еще чаще, чем принято. Печка капризничает. Писем нет — четверг. Завтра буду ждать от тебя открытки. А ты с утра отправишься к Домрачевым по нашим соображениям. Несмотря на низкую температуру, я не захолодал и не простудился. Сижу в шубе сейчас. В комнате уже +7°. Печка обещает разгореться к утру, а барометр упасть. Целую Златогоровых.

Макс.

8/II 1929. Сегодня с утра еще холоднее. Пресной воды осталось на один день. Никто не везет. Бочки замерзли. Печка горит, но не дает в комнате больше +7. Настроение бодрое. А все-таки хорошо, что ты уехала.

[1] Открытка Почтовые штемпели: Коктебель. 14.2.29; Харьков. 17.2.29.

[2] Имеется в виду стихотворение «Аделаида Герцык» («Лгать не могла. Но правды никогда...», 10 февраля 1929). См.: Т. 2 наст. изд. С. 89–90.

[3] Имеется в виду письмо от 6 февраля из Феодосии — с пометой: «№ 1. 5 ч. вечера» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л. 7).

[4] Т. Р. Златогорова. По приезде в Харьков М. С. Волошина остановилась в квартире Златогоровых.

[5] А. Л. Домрачева.

400. М. С. ВОЛОШИНОЙ

8–9 февраля 1929 г. Коктебель[1]

8/II 1929. 12 ч<асов> ночи. Пятница. *№ 3.*

День мороза. У нас –16°. В деревне считают –25°. Последние остатки пресной воды колол топором. Овощи — все замерзли. Температура в кабинете не подымалась выше 7°.

До вечера сидел за стихами об Ад<елаиде> Каз<имировне>.[2] Весь вечер Манганари читал мемуары о своем деде — декабристе Фролове.[3] Тетя Саша[4] ведет себя героически и уверяет, что совсем не утомляется. Собаки от мороза лежат в ящиках весь день даже без привязи. По нашим соображениям, ты

сегодня обедала с дядей Петей[5] и завт<р>а вышлешь нам оба «фуса». Завтра же пойдешь лечиться к Коте.[6]

Почты сегодня совсем не было. Говорят, придет завтра утром. Ходит слух, что в Харькове 35° морозу.

Лид<ия> Вас<ильевна>[7] больна гриппом. Светлана[8] – нормальна. Ксения[9] приходит с молоком полузамерзшая и пьет у нас по утрам чай.

Вечером сидели все у меня у печки и грелись. Такого ты в Коктебеле еще не видела даже в ту зиму, когда мы жили без дров. Привет Тат<ьяне> Руф<овне>, Тате и Сем<ену> Иван<овичу>.[10]

Макс.

9/II 1929. 10 ч<асов> утра. Суббота.

Ночью кончился ветер. Печка погасла. Но на дворе потеплело. На террасе –2½°. Барометр упал. Это для нас главный вопрос. Пресной воды (т. е. льду) хватит только сегодня (на чай). Тетю Сашу это не тревожит. Это доставляет мне глубокую радость. Манганари уезжает завтра. От тебя до сих пор ни одного письма! Крепко тебя обнимаю. Сегодня ты начинаешь лечение (я думаю)...?

Мах.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления· Коктебель. 9.2.29.

[2] См. примеч. 2 к п. 399.

[3] Александр Филиппович Фролов 2-й (1804–1885) – подпоручик Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян (1825); автор мемуаров. Его дочь Надежда (1849–?) – в замужестве Манганари. См.: Декабристы. Биографический справочник / Издание подготовлено С. В. Мироненко. М.: Наука, 1988. С 187–188.

[4] А. Л. Домрачева.

[5] П. Ф. Домрачев.

[6] К. И. Платонов, невролог.

[7] Л. В. Щепотьева.

[8] Светлана – вероятно, Фаина Федоровна Синицына (1920–2006) – внучка священника М. В. Синицына, впоследствии врач.

[9] Ксения Влахова, коктебельская крестьянка.

[10] Т. Р. и С. И. Златогоровы, их дочь Татьяна Семеновна Златогорова (1908–1950), студентка, впоследствии киносценарист.

401. М.С. ВОЛОШИНОЙ

9 февраля 1929 г. Коктебель

9/II 1929. Суббота. 12 ч<асов> ночи. *№ 3.*

Милая Марусенька,

Сегодня пришли 2 твоих первых письма (из Феодосии).[1] Это все-таки успокоение о тебе (относительно), как-то ты доехала до Харькова. Сегодня температура сильно повысилась. Весь день было –2° и обильный снегопад и тишина. Мы с тетей Сашей[2] набили снегом бочку и цинковый цилиндр (с балкона), чтобы был запас. А то нас сегодня спасла только Саша,[3] что принесла от себя 2 ведра пресной воды. Почта пришла на лошадях. Автобусы совсем не ходят. Ты уехала на последнем. Манганари завтра не сможет уехать. Вечером дул южный ветер, и темпер<атура> +1. Завтра будет таять. Я дописал стихи об Аделаиде Герцык.[4] Завтра днем отшлифую и пошлю тебе. Сегодня до сумерек – читал, а вечером была Лид<ия> Вас<ильевна>[5] (выздоровела), и Манганари читал весь вечер семейную свою хронику. Местами очень интересно. Такого холода, как эти два дня, в Коктебеле не было много лет. В деревне (в школе) было –25° при сильнейшем ветре.

Сегодня пришло много писем. От Вересаева (перед отъездом в Харьков: непременно повидай его).[6] О<т> Зуммера. О<н> вернулся из Константинополя в Харьков (повидай его в Музее).[7] От Ирины Северцевой, Леон<ида> Кандаурова, Вяземских, Аси.[8] А у меня опять нет времени на письма. Теперь и рисую только по вечерам под чтения. О нашем деле (кассации) никаких вестей. Собаки благополучны. Не улажен только водяной кризис. А погода явно идет к оттепели. За Тебя (если ты уже в Харькове и проехали без заносов) я совершенно спокоен. Я часто мысленно с тобою и всегда по вечерам перед сном. Крепко целую и благословляю.

Привет всем друзьям. Чувствую глубокое душевное успокоение в ровной и радостно<й> атмосфере тети Саши. Пожалуйста, выле<ч>ись, как она. Привет Златогоровым.

Макс.

Фусы??

[1] Письма № 1 (см. примеч. 3 к п. 399) и № 2 (с пометой· «Вокзал»), отправленное из Феодосии 7 февраля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л 8).

[2] А Л Домрачева.

[3] Александра Петровна Якутина (1890–1974), коктебельская крестьянка

[4] См. примеч. 2 к п. 399.

[5] Л В. Щепотьева.

[6] Это письмо, в котором Вересаев извещал о своей поездке в Харьков, в подборке его писем к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331) отсутствует. При встрече в Харькове М. С. Волошина подробно изложила Вересаеву обстоятельства тяжбы с коктебельскими чабанами.

[7] Имеется в виду открытка, отправленная В. М. Зуммером из Харькова 3 февраля 1929 г., с сообщением о двухмесячном («с 3 XI по 6 I») пребывании в Турции (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 578, л. 17).

[8] Р. М. Гинцбург.

402. М. С. ВОЛОШИНОЙ

10–12 февраля 1929 г. Коктебель

10/II 1929. Воскресенье. 5 час<ов> п<о>п<олудни>.
№ 4 (закр<ытое> первое).

Дорогая Маруся, окончил стихи памяти Аделаиды Казимировны,[1] переписал и посылаю сейчас же тебе. Мне кажется, она *похожа*, а этого мне хотелось больше всего. Завтра пошлю их Евг<ении> Казимировне.[2] Пожалуйста, попроси Анну Алексеевну[3] их умножить и раздай их тем из друзей, которым они придутся по душе.

У нас новое бедствие: морозы сдали, но начались заносы. Снег шел вчера весь день, а к вечеру начался южный ветер, и окна в мастерской и в наших комнатах так забиты снегом, что с утра в доме полутьма. Даже в мастерской темно. С вечера был градус тепла, но оттепель не состоялась. Из дому и не выйдешь. Тетя Саша[4] пыталась пройти на почту. Нарядилась в мои ташкентские кожаные штаны и верблюжью куртку и валенки, но снег доходит до талии и лежит ровным слоем. Дальше первых базарных киосков она не пошла и вернулась.

Так моя вчерашняя открытка и не дошла до почтового ящика. Теперь мы изолированы от всего мира до оттепели. Молока сегодня не было уже. Хорошо, что ты уехала ото всех этих бедствий и находишься под гостеприимным и уютным кровом Татьяны Руфовны.[5] Только что я мыл голову. В комнате при закрытых дверях нельзя было температуру поднять выше 10°. Наверху в библиотеке (под Пушкиным) намело сквозь щель глубокий сугроб. То же в сенцах у моей комнаты. Собаки отойти от дому не м<ог>ут, т<ак> к<ак> вязнут с головою.

Перечислю тебе для памяти необходимые поручения.[6]

Гомеопатия: Гельземин 3 в крупинках.
Аурум Муриатикум 3 –"–
Аконит 3 –"–
} по *4 драхмы*, т.е. по 60 к<рупинок>.

Кожи – 2 фуса (через Валеру и Надю[7]).

Пейсне мне. Стекла того же размера и такие же срезанные, но толстые стекла (через дядю Петю[8]).

Очки себе: поправить старые и купить еще пару запасных.

Ошейник и цепь для Юлахлы.

Колечки свои починить (они в очешнике от пейсне в бумажке).

Кошель для тебя (купить).

Купи мне очищенных *квасцов* для акварели и *бумаги*, если есть (спроси Шаронова).

Зубные щетки.

Гребешок (себе).

Вот все, что могу припомнить.

Начала ли ты уже свое лечение у Кота?[9] Смотрел ли тебя Алексей Николаевич[10] и еще кто-либо из врачей? Что говорит Семен Иванович[11] о твоем состоянии?

Напиши мне о стихах и свое мнение, и чужое. Как кому понравится?

12 ч<асов> ночи. Расходимся спать. С т<етей> Сашей расчистили в снегу траншей до моря. В столовой весь день жила дикая утка. Потом ее пустили в море. Опять холодеет. Вчерашнюю открытку так и не удалось послать. Не знаю, как будет с письмом. Долго ли продлится эта изоляция? Перед сном все дни о тебе думаю, молюсь и крещу. Что-то у тебя найдут врачи!

Поблагодари Тат<ьяну> Руф<овну> за Illustration. Привет всем.

Макс.

11/II 1929. Понедел<ьник>. 12 дня.

Главный интерес нашей жизни – погода. Снегу за ночь подвалило. Температура понизилась: –10°. А в комнате +6°. В столово<й> 0. После вчерашнего снега встали поздно: устали от раскапыванья. От деревни, от почты – изолированы совсем. Надо не идти, а прокапывать траншею. Ты уехала в последний момент, когда вообще было возможно уехать. Это провиденциально. Вечером буду продолжать, очевидно, это же письмо. Нежно и долго тебя целую.

11/II 1929. Понедельник. 10 ч<асов> вечера.

Милая Маруся, продолжаю вчерашнее письмо, т<ак> к<ак> все равно его отправить нельзя. Сегодня тихий, солнечный день и, несмотря на 10° мороза, на дворе хорошо, и можно было бы прекрасно гулять. Но выйти некуда – снега глубокие, и нашу вчера прорытую траншею к морю за ночь снова занесло. Тем не менее, к нам из деревни сегодня пробилась Ксения[12] с молоком и с мужем, чтобы нас откопать. Иван[13] нам очистил террасы и лестницу. Но от них мы узнали, что всякое сообщение прервано, ни автобусы, ни почта не ходят, и пекарня хлеба не печет, т<ак> к<ак> кончилась мука. У нас тоже хлеб кончился. Едим пироги и лепешки. Замерзли не только все овощи, но и *мука*. В деревне (за школой с северной стороны) термометр падал до –30° третьего дня. Это уже совсем небывалые холода. А все-таки это большое счастье, что тебе удалось уехать 6-го. Лечась в Харькове, не позабудь *осмотреться у Бранта*. Это *непременно*, хотя бы ты чувствовала, что все здесь благополучно. Это от всяких наваждений в этой области. Когда-то придет твое первое письмо из Харькова? Ведь ты должна бы была начать писать уже с субботы 8-го. И у меня и у тети Саши день переполнен, особенно благодаря присутствию гостя.[14] До вечера я работаю, затворившись у себя. А по вечерам у нас чтение, и Лидия Вас<ильевна>[15] приходит.

3 вечера он читал свои мемуары. Сегодня я ему читал о Сурикове,[16] это, кстати, и т<етя> Саша и Л<идия> В<асильевна> тоже не слыхали.

К холоду в доме мы уже попривыкли. Спим почти не раздеваясь и бегаем смотреть на барометр и на градусник с упованием. Засиживаемся так поздно, что я только успеваю написать вечером письмо – тебе и сейчас же заваливаюсь спать. Вот и сейчас меня клонит ко сну. Крепко и нежно целую тебя, мысленно крещу и сейчас же раздеваюсь. Покойной ночи.

Макс.

12/II 1929. 1 час ночи. Вторник.

Погода та же. Засыпаны снегом. Морозец. Но безветренно и потому мягко. Очень плодотворный день. Все утро работал. Писал об «Старце Епифании»[17] – о бесах и мурашах. Сегодня написал всю первую часть. Завтра буду писать об «урезании языка».[18] Кажется, сразу и закончу всю эту вещь, которая задумана давно в параллель Аввакуму. Помнишь, я тебе читал его «Житие»? Сегодня я написал строк 150 в довольно законченном виде. День очень тесен и переполнен. Теперь уж для акварелей не хватает времени, несмотря на соблазн: Манганари мне показал прекрасный грунт для акварельной бумаги, при помощи которого можно будет, по-видимому, использовать весь запас неудачной бумаги (привезенной Мар<ией> Александ<ровной>[19]). И, несмотря на всю интенсивность работы, часто подступает тоска по тебе. Только бы у тебя было все благополучно, и ты бы вернулась спокойной и здоровой и безо всяких угроз на будущее. С тетей Сашей нам очень хорошо. Вечера мы проводим все вместе (и Лид<ия> Вас<ильевна>) в чтениях и беседах. Никак я не ожидал, что мы будем так изолированы и отделены. Снегу так много, что можно ходить только по прокопанным дорожкам. До оттепели почты и не жди. Никакого сообщения. На дворе мягко, но в доме холодно, потому что стены промерзли во время холодов. Покойной ночи. Целую и крещу тебя.

[1] См примеч. 2 к п. 399.

[2] Е. К. Герцык. См. п. 405.

[3] А. А. Виноградова (1883–?), библиотекарь.

[4] А. Л. Домрачева.

[5] Т. Р. Златогорова.

[6] В приводимом далее перечне сделаны зачеркивания (очевидно, по приобретении указанных вещей и товаров), они здесь не воспроизводятся.

[7] В. П Домрачев и Н П. Домрачева

[8] П. Ф. Домрачев.

[9] К. И. Платонов.

[10] Вероятно, подразумевается врач Александр Николаевич Гехтман (1874–?). Ср п. 406.

[11] С. И. Златогоров.

[12] См. примеч. 9 к п 400.

[13] Плотник.

[14] Подразумевается А. В. Манганари, гостивший в Коктебеле с 7 по 15 февраля.

[15] Л. В. Щепотьева.

[16] Имеется в виду либо неизданная монография Волошина «Суриков», либо статья «Суриков (Материалы для биографии)». См.: Наст. изд. Т. 3. С. 363–451, Т. 6, кн. 1. С. 560–591.

[17] Речь идет о поэме «Сказание об иноке Епифании» (дата окончания – 16 февраля 1929 г.) – поэтическом переложении «Жития» Епифания, ближайшего друга и «соузника» протопопа Аввакума. См.: Т. 2 наст. изд. С 91 – 97.

[18] Истязания Епифания описаны во 2-й части поэмы.

[19] М. А Пазухина.

403. М. С. ВОЛОШИНОЙ

13–15 февраля 1929 г. Коктебель

13/II 1929. 12½ ночи. Среда. *№ 5.*

Милая Марусенька, сегодня проснулся с мыслью, что ввиду отсутствия почты надо тебе послать телеграмму. Чтобы убедиться в том, что ты действительно доехала до Харькова, и чтобы дать тебе знать о нашей полной отрезанности от мира, т<ак> к<ак> ты можешь обеспокоиться, не получая писем. И вот, прежде чем я успел это намерение вы<п>олнить, пришла твоя телеграмма.[1] Сегодня днем таяло. Снег осел, и до почты стал возможен проход. Но последняя почта была, что привез-

ла твои 2 открытки из Феодосии.[2] Привезли ее верхом. Но после и верховой пробраться не мог. Это было в субботу. Сегодня ровно неделя, как ты уехала, а кажется, что прошли месяцы и что тебе давно бы пора вернуться. Как ты не догадалась ни слова прибавить о своем здоровье и лечении. Пожалуйста, используй свое пребывание в Харькове, чтобы снова осмотреться с ног <до> головы по всем статьям у разных специалистов. Особливо же у Бранта. В доме у нас стало, наконец, как будто потеплее. Но холодовка все-таки сказалась: заболели и поясница и плечо. Но, кажется, я болью уже овладел. И тетя Саша[3] мне плечо растирала. Почти весь день сидел и продолжал «Епифания».[4] Надеюсь крепко его в один присест и закончить. Так работал, что даже вечер просидел в одной комнате. Манганари живет в столовой и целый день грунтует мне бумагу – впрок. У него, бедного, такой же полный набор а<р>тритическо-ревматических болей, как и у меня. Рисовал он эти дни мой портрет – вечерами – когда я* читал.[5] Такую мне «морду» нарисовал, что даже Петр<ову>-Водкину не угнаться.[6] Это он хочет сделать приятный сюрприз моим севастопольским друзьям Никитиным[7] и Кореневу «портрет любимого поэта» подарить. В мастерской работать невозможно (–10°), поэтому вся эта кухня творится в «кухне». Она вся уложена сушащимися листами бумаги, но ты не пугайся, т<ак> к<ак> к твоему возвращению вымоется и очистится... Его самого очень смущает, что он так застрял у нас, и стремится выехать с первой же возможностью. Вероятно, это удастся к воскресенью, если оттепель не прекратится. Из поручений: купи мне, пожалуйста, в Харькове *крепкую* палку с крючком, а то у меня ни одной теперь нет. А мне палка *необходима*. (Длина 97 сантиметр<ов>). И мне бы хотелось иметь палку от тебя в подарок. Только надо толстую и крепкую – лучше всего гнутую, из камыша.

Тоскую без писем от тебя и вообще без писем. Тетя Саша бодро и весело справляется со всем хозяйством. Сегодня мы ели дрофу. Чай пьем на снегу. Большим подспорьем при отсутствии хлеба нам служат «Альберты»,[8] присланные Вяземскими.

---

* *В автографе юс малый:* ѧ.

Крепко тебя целую, обнимаю, крещу. Привет Златогоровым.

Макс.

14/II 1929. Четв<ерг>. 10 ч<асов> утра.

Подморозило и ветер. Оттепель не вышла. Кто-то пробрал<с>я из города. От нас до Султановки есть дорога. А дальше снега глубокие. Поезда несколько дней не ходят. Хлеба нет и в городе и у нас. В кооперативе нет ничего (тетя Саша сегодня ходила). Послали войска расчищать пути. Плечо не прошло, но боль уменьшилась. Вчера мне т<етя> Саша вечером растерла «нашей мазью». Я ожил. С утра пишу стихи. Письма посылать не буду сегодня, а буду продолжать вечером. Трубу с моря кто-то принес и положил к нам у калитки. Прямо умилительно.

14/II 1929. Четв<ерг>. 12 ночи.

Дорогая Марусенька, сегодня день <с> обильными событиями. Приехал Кот Поливанов с женой – *Маргаритой* Шпет. Они только что поженились. И пришла, наконец, корреспонденция. Очень много газет, книг и журналов и твои письма (адресованные: Максимилиану Александровичу *Домрачеву*, что очень говорит о состоянии твоего духа).[9] Ну, слава Богу, что ты доехала и уже лечишься. Слава Богу, что ты у Домрачевых. Слава Богу, что ты эти дни холода не переживала в Коктебеле. Пришло письмо и посылка от Кины.[10] В посылке черный хлеб и конфекты – от Кая.[11] «Ты все-таки пошли дяде Максу конфеты, хотя ему и нельзя, но он их, наверное, любит, как и я», – говорил он матери. Манганари уезжает завтра утром с тем же извозчиком, что привез Поливановых. Кот привез потрясающие новости и все матримониального характера, что в его положении понятно. Вот: Хлопин и Анка только что поженились.[12] Это на мой взгляд очень удачно, хотя и неожиданно. А другая еще более сногсшибательна: Виктор Андерс только что женился на итальянке Сильване Чени. Антон<ина> же Кузьминишна[13] уехала в Москву. По словам Виктора, его роман с Сильваной идет уже 3 года. Она живет с

ними. Но никто ее еще не видал. (Видели только ее калоши). Все это похоже если не на мистификацию, то на припадок безумия.

Кот и Маргарита очаровательны. Я до их приезда весь день писал и начерно закончил поэму об Епифании.

Эти приезды и отъезды очень много сумбура вносят в жизнь, но я как-то умудряюсь сохранять свое рабочее настроение... Поливановы приехали уже 3 дня в Феодосию и жили у Липочки,[14] но не могли пробраться в Коктебель. Вчера доехали до Насыпкоя и вернулись обратно. И только сегодня прорвались, наконец.

Пока покойной ночи. Целую тебя долго и нежно и крещу тебя на ночь заботливо.

Пусть тебе будет хорошо и спокойно. Поправляйся, ясней, успокаивайся. До завтра.

15/II 1929. 10 ч<асов> утра.

Сейчас уезжает Манганари. Спешу дать ему письмо. Кот и Маргарита (очаровательные оба) тебя горячо целуют и страшно жалеют, что не застали тебя дома. Будь только здорова.

Сегодня кончаю поэму об Епифании. Несмотря на всю сутолоку в доме – все у меня и у тети Саши спят. А сегодня будем для них музыкальную согревать. День солнечный, но морозит.

Целую тебя крепко и долго.

Макс.

[1] Текст телеграммы не сохранился.

[2] См. примеч. 1 к п. 401.

[3] А. Л. Домрачева.

[4] См. примеч. 17 к п. 402.

[5] Местонахождение портрета Волошина работы А. В. Манганари неизвестно.

[6] Подразумевается портрет Волошина работы К. С. Петрова-Водкина, написанный в Коктебеле в сентябре 1927 г. Отзыв Волошина о нем см. в п. 340.

[7] Профессор Василий Никитич Никитин (1885–1972), гидробиолог, заведующий биостанцией в Севастополе, и его жена Вера Ростиславовна Никитина (ок. 1886–1973), библиотекарь.

[8] Марка печенья (см. п. 398)

[9] Имеются в виду два письма М. С. Волошиной, написанные по дороге из Феодосии в Харьков, и два письма из Харькова от 8 февраля 1929 г; одно из них (открытка) адресовано. «Максимилиану Александровичу Домрачеву» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед. хр. 362, л. 9–15 об.)

[10] К. М Зелинская

[11] К. К. Зелинский.

[12] Н. Г. Хлопин и Иоанна (Анна) Дмитриевна Старинкевич (в замужестве Хлопина; 1904–1996), этнограф.

[13] А. К. Щукина, жена В. П. Андерса.

[14] О. Н. Сербинова.

404. М. С. ВОЛОШИНОЙ

15–16 февраля 1929 г. Коктебель

15/II 1929. 12 ч<асов> ночи. Пятница. *№ 6.*

Сегодня я закончил поэму «Инок Епифаний» и читал ее т<ете> Саше[1] и Поливановым. Она производит, несомненно, впечатление. Вышла длинная – строк 300. Завтра буду ее переписывать на машинке и сейчас же тебе пошлю список. Сдержать обещание, тобой взятое, – не читать ни<ко>му до тебя – никак не мог. Я читаю ведь, чтобы самому услышать нап<и>-санное чужим ухом со стороны. Ты уже прости и не сердись. Я сейчас разошелся и стремлюсь подойти к переплавке «Св<ятого> Серафима».[2] И эту работу начну сейчас же, как перепишу «Ин<ока> Епифания».

Сегодня утром уехал Манганари – с тем же возницей, что привез Поливановых. И очень неудачно. Надо было идти до шоссе. К берегу проезда еще нет. И оказалась не «бричка», как он говорил, а телега без сиденья, наваленная соломой. А у него и ишиас, и туберкулоз таза. Его еле посадили. Возвращаться он не захотел. Его провожала Лидия Василь<евна>.[3] Я писал с утра. Я боюсь, что дорога до города ему будет адским мученьем. Но он уезжал, по словам т<ети> Саши, очень довольный и умиленный. После его отъезда стали убирать его «Авгиевы конюшни». Столовая была в очень грязном виде. Маргарита вымыла пол сама и вымыла очень тщательно с мылом и

содой, и теперь они с Котом там и водворились.[4] Мы все-таки решили совместно, что лучше им устроиться ввиду дровяной экономии в столовой. В музыкальной слишком много дров и времени ушло бы на отогреванье стен, промерзших насквозь. Т<етя> Саша просит тебе написать, что ей в Коктебеле хорошо и разные хозяйственные недочеты она преодолевает с легкостью. После обеда мы пробовали пойти гулять всей компанией. По Коктебелю уже протянулись тропинки. Но немного и очень узкие в глубочайшем снегу. По берегу нет еще прохода. Прибой бьет до самого снега, а снег рыхлый, водянистый по краям. Мы шли в сторону пристани и дошли только до первых обрывов. Покойной ночи. После работы, прогулки и вечернего чтения чувствую себя усталым и сонным. Целую тебя крепко и крещу. До завтра.

Макс.

16/II 1929. Суббота. 1 час ночи.

Милая Маруся, сегодня с утра и до позднего вечера сидел, переписывая и заканчивая «Инока Епифания». По-моему, получилась вещь крепкая и цельная. Посылаю ее тебе. Не знаю, сможешь ли ты ее читать? Сам я еще не нашел для нее верного тона. Местами она очень груба, но еще более трогательна. Пожалуйста, попроси, кого можно, переписать ее. Мне надо экземпляров 20. Ан<не> Алекс<еевне> Виноградовой я сам пошлю с тою же просьбой. Пришла твоя телеграмма. Это не ответ на мою? А мою ты получила. Я тебе пишу каждый день. Но уходят письма, когда могут. Они все перенумерованы. Но я думал, что ты знаешь, что почта не ходит. С того дня, как ты уехала, не было ни одного автобуса. Кроме того, есть еще заносы перед Джанкоем. Из Феодосии отправлена, по слухам, цела<я> дивизия для очистки путей, говорят. А снег все не тает. Настоящей оттепели нет. Сегодня дул пронзительный норд-ост при 5° мороза. Только вечером сейчас я сидел с Поливановыми и т<етей> Сашей за чаем в беседе. Хочу сейчас же без перерыва приниматься и за «Серафима». Пиши мне №№ писем, которые ты получаешь. Напиши мне, какое впечатление производит «Епифаний» и свое собственное.

Сегодня пришла твоя открытка от 11/II, и у меня ощущение, что ты продо<л>жаешь слушать тот же концерт московский, что мы слушали в ночь нашего отъезда в Кисловодск.[5] Вообще, что ничего не изменилось с прошлого года ни в Харькове, ни у Златогоровых. И это сознание очень приятно. Мой день сейчас переполнен. Но как только отрываюсь от дела, как сейчас же щемит сердце по тебе. И в то же время радуюсь: как хорошо, что ты уехала и сейчас в Харькове. Отчего ты ничего не пишешь о Златогоровых и о Тате[6] в частности? Когда же ты увидишь Даду?[7] Лизу Новскую? Сегодня я получил письмо от ст<а>рушки О. Гейер из Ташкента, которая мне пишет о смер<т>и Лили.[8] Очень хорошее письмо. Помнишь: та, которой я писал о сыне. Она его нашла, наконец. И собирается ехать к нему.[9]

Засыпаю от усталости. Целую тебя нежно и крещу. Покойной ночи.

Мах.

Прилагаю письмо Кайкиной матери,[10] пришедшее с посылкой (хлеб).

Верно, ты захочешь ответить. Она уезжает из Москвы совсем.[11]

[1] А. Л. Домрачева. См. примеч. 17 к п. 402.

[2] Основная работа над поэмой «Святой Серафим» (Т. 2 наст. изд. С. 98–127) велась Волошиным в 1919 г

[3] Л. В. Щепотьева.

[4] М. Г Поливанова (Шпет) и К. М. Поливанов.

[5] В открытке, датированной 11 февраля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л 17), М. С. Волошина сообщала, что слушала по радио концерт Липповской «удивительно поет».

[6] Т. С Златогорова

[7] Л. В Тимофеева.

[8] Е. И. Васильева. О ее смерти О. Е. Гейер писала Волошину из Ташкента 29 января 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 400, л. 9–12 об.). «После получения Вашего письма от 17 октября 27 г. я отправилась по указанному Вами адресу <...> и познакомилась с Ел<изаветой> Ив<ановной>, теперь уже покойной... У нас сразу установились дружеские отношения. <...> Я так была Вам благодарна за это знакомство, которое, несомненно, должно было превратиться

в прочную дружбу». Далее О. Е. Гейер рассказывала о своем посещении Е. И. Васильевой во время ее болезни весной 1929 г., заключая: «Через некоторое время после этого свидания я узнала, что Елизавета Ивановна скончалась в больнице имени Полторацкого – бывший кадетский корпус»

[9] В том же письме О. Е Гейер сообщала: «С Гришей все благополучно. Возможно, что я поеду к нему с младшей дочерью, Лизой, если ему удастся заработать нужную для этого сумму и выслать ее нам». Имеется в виду Григорий Иванович Гейер, сын О. Е. Гейер; установить связь с ним помог Волошин, о чем свидетельствует письмо к нему О. Е. Гейер из Ташкента от 2 июля 1927 г.: «Не нахожу слов, которыми могла бы выразить Вам мою глубокую благодарность за известие о сыне моем, адрес которого получен при Вашем содействии. Я не видела его уже 11 лет – долгих лет!.. И потеряла давно всякую надежду его когда-нибудь увидеть <...>» (Там же, л. 3). О содействии в розыске матери и сестер просил Волошина сам Г. И Гейер (в письме к нему из Ниццы от 5 мая 1927 г. // ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 399), напомнив о своем давнем знакомстве с ним (Волошин тесно общался с его отцом, И И Гейером, во время пребывания в Ташкенте в 1900–1901 гг.).

[10] Подразумевается К. М. Зелинская – мать К. К. Зелинского (некоторые ее письма к Волошину подписаны: «Каикина мать»).

[11] Имеется в виду письмо К. М Зелинской к М. С Волошиной от 9 февраля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 566, л. 14–15 об.) с сообщением об отправке в Коктебель посылки с хлебом («хлеб я Вам посылаю в кусках, т<ак> к<ак> дают по 2 кило») и предстоящем отъезде с сыном «после 25/II навсегда в Ленинград».

405. Е. К. ГЕРЦЫК

17 февраля 1929 г. Коктебель

17/II 1929.

Дорогая Евгения Казимировна, простите, что не сразу отвечаю. Но хотел исполнить просимое Вами. И исполнил. Но это вышла не страница мемуаров: это не вышло по многим соображениям, а стихотворение, посвящено<е> памяти Аделаиды Казимировны, которое Вам и посылаю.[1] Если Вы его одобрите, то покажите его кисловодским моим друзьям и делайте с ним, что хотите. Кроме того, посылаю Вам закон-

ченную на этих днях поэму «Инок Епифаний».[2] Это pendant* к «Аввакуму».[3] Его судьба меня давно волновала и трогала. И, кажется, удалось передать это *трогательное* в его вере. *Непременно* покажите эту поэму Всеволоду Иванов<ичу>, Екат<ерине> Алекс<еевне> и Бодянским.[4] Вероятно, они ее и перепишут для себя. Очень меня волнует здоровье Всев<олода> Иван<овича>.[5] Каждое письмо с кисловодским штемпелем вскрываешь с некоторым страхом, боясь прочесть роковую весть.

У нас в Коктебеле жизнь обстоит так: харьковские друзья, обеспокоенные душевным состоянием Мар<ии> Степ<ановны>, прислали к нам нашего друга А.Л. Домрачеву (всеобщую «тетю Сашу») за Марусей и та, собрав и упаковав Марусю, отправила ее в Харьков, а сама осталась (смотреть за мной). Маруся уехала с последним автобусом,[6] а вслед за этим нас занесло снегами и заморозило морозами. Но после отъезда Маруси в дом еще неожиданно свалились – художник Манганари? И наш летний приятель юноша Коля Поливанов, только что женившийся на Маргарите Шпет. И вот мы все сидим как остатки какой-то полярной экспедиции. Что мне не мешает целый день работать над стихами, результат этой работы я Вам и посылаю.

А все неприятности продолжаются. Я уж Марусе и не пишу об этом, чтобы ее не выбивать из рамок лечения. Но в нашей кассации нам отказано. Главсуд нашел, что мы совершенно правильно оштрафованы на 100 р<ублей>, и что наш кроткий пес-вегетарианец Юлахлы действительно съел 12 барашков в одну ночь.[7] И кроме этого пришла новая повестка, вызывающая в новый суд за съедение еще 2 барашков. Но я себя заставляю об этом не думать, чтобы не отвлекаться от работы.

Известие о смерти Марьяны Феодоровны было для меня совершенною неожиданностью.[8] Милая и бедная Марьяна Феодоровна. У нас оборвалась переписка за последнее время, и я был далек от мысли, что ее уже нет в живых. Ритмических барышень на Минутке знаю.[9] У нас была к ним большая сим-

---

* Дополнение, пара (*фр.*)

патия, но мы их встречали только у Всеволода Ивановича, а перед нашим отъездом мы узнали, что они совсем уезжают из Кисловодска в СПб, и я не думал, что они остались. Передайте им наш привет, также как и всем общим друзьям: Поповым, Бодянским, Манджос, Ходжаевым [10]...

Прилагаю несколько акварелей в полное Ваше распоряжение.

Привет Евг<ении> Ант<оновне>, Люб<овь> Алекс<андровне> и Веронике.[11]

Максимилиан Волошин.

Хочется знать Ваше подробное мнение о стихах.[12]

[1] 28 января 1929 г. Е. К. Герцык писала Волошину о том, что друзья в Париже собираются устраивать в марте вечер памяти А. К. Герцык, и просила: «Мне было бы такой радостью, если бы Вы написали неск<олько> слов, кот<орые> были бы прочтены – тоже можно без имени Вашего – я помню, как Вы когда-то хорошо, остро написали о ее играх. Я понимаю, что трудно, не имея стихов или других писаний ее, но, м<ожет> б<ыть>, даже лучше без этого – просто страничка воспоминаний о ней, образ ее из дальних лет Ведь это единственный раз, что соберутся вспомнить ее, и образом ее наполнится целый вечер» (*Герцык Евгения.* Лики и образы... С. 521). Волошин откликнулся на просьбу Е. К. Герцык стихотворением «Аделаида Герцык» (10 февраля 1929 г.). (См.: Т. 2 наст. изд. С. 89–90).

[2] Речь идет о поэме Волошина «Сказание об иноке Епифании» (см. Т 2 наст. изд. С. 91–97).

[3] См. примеч. 7 к п 73.

[4] В. И. Попов, Е. А. Манджос, М. А. и П. В. Бодянские.

[5] Еще 16 декабря 1928 г Е К. Герцык писала Волошину: «Только с Всев<олодом> Ив<ановичем> видаюсь часто, и было у нас неск<олько> хороших разговоров За это время у него было неск<олько> тяжелых припадков, поэтому и разговоры наши касались самых больших вопросов и смерти. Есть что-то трогательное в том, как он переносит свою болезнь, и эта вечная возможность мгновенного конца накладывает особенную печать на их дом» (*Герцык Евгения.* Лики и образы... С. 518). А в ответном письме от 28 января 1929 г. Герцык продолжала делиться с Волошиным своими впечатлениями: «Я сидела около кровати Всеволода Ивановича и в этот раз как-то особенно нежно и навсегда почувствовала его. От пережитых и возвращающихся болей у него делались по временам такие испуганные глаза, и это невыносимо жалостно видеть. Его уложили на десять дней в кро-

вать (у него воспаление мышцы и расширение сердца почти вдвое против нормального), и от этого еще застой в крови, не доходит до ног и ноги затекают» (Там же. С. 519).

[6] М. С Волошина выехала в Харьков 6 февраля 1929 г (см.: Труды и дни-2. С 414)

[7] Речь идет о «собачьей истории», начавшейся в конце 1928 г См п. 378, примеч. 3.

[8] Е К. Герцык сообщила Волошину 28 января 1929 г. о смерти М. Ф Эбергардт· «...знаете ли Вы о смерти Марианны еще летом? <...> У нее были странные боли во всем теле, вроде как у Блока, но в сознании – ясность, четкость и любовность» (*Герцык Евгения* Лики и образы... С. 521).

[9] Отклик Волошина на признание Е. К Герцык в письме от 28 января 1929 г.· «Еще видаюсь с двумя прелестными женщинами – преподавательницами ритмики (м<ожет> б<ыть>, и Вы их встречали, т<ак> к<ак> это друзья друзей) – это тоже одна из удач Кисловодска, туда ходит Вероника и влюблена в них и в "ритмику"» (Там же. С. 520). О ком идет речь, установить не удалось

[10] В. И. и В. Н. Поповы, М. А и П. В. Бодянские, Е. А. Манджос, Э. Б Ходжаев и его семья

[11] Е. А. Лубны-Герцык, Л. А. Жуковская, В В. Герцык.

[12] Своими впечатлениями о стихотворениях Волошина Е. К Герцык делилась в письме от 23 марта 1929 г. «...я с глубоким волнением переживаю различные строчки каждый раз, когда читаю их кому-ни<будь>. <...> самые первые (4) строчки в стихах об Ади мне прозвучали чуждо, *не о ней,* но дальше идет такое внутреннее нарастание, что вся вторая часть стиха (особенно отсюда: слепая к дням ...) как единый, истинно лирический взлет. Правда это – Вы чувствуете сами? И потому так оправдан высокий пафос слов· "что хлеб воистину..", и конец самый – о растворении – звучит так внутренне-музыкально, что ничего другого нельзя было бы сюда. И вместе с тем это *откровение* о ней, и именно угаданное Вами каким-то лирическим, родственным ей порывом. <...> Но в частностях у меня есть некоторые возражения – вот напр<имер>, "паркеты зал" мне звучит неверно в рассказе о ней. Потом я не знаю, понятны ли и говорят ли незнающим, о чем идет речь, строчки: "Ей грамота мешала"?» (Там же. С. 525). О поэме «Сказание об иноке Евпифании» Герцык отозвалась: «Да, Вам удалось передать трогательность доверия к Богородице (напр<имер>, о муравьях), когда он только от застенчивости – не от неверия – не спешил прибегнуть к ней в своей нужде. И Вы очень естественно, как на привычном себе языке, говорите *его* языком. Только отчего все ямбом?» (Там же С. 526).

406. М. С. ВОЛОШИНОЙ

17–20 февраля 1929 г. Коктебель

17/II 1929. Воскресенье. 1 ч<ас> ночи. № 7.

Милая Марусенька, сегодня отправил тебе письмо № 6. Но, кажется, почта не ушла. Вообще сообщение почтовое восстановилось лишь отчасти. Автобусы не ходят. Иногда прорываются верховые. Шоссе не очищено у Султановки, т<ак> к<ак> султановцы чистить даром не хотят: «А нам не нужно». В татарских же деревнях начался голод, и они пробиваются за хлебом, не глядя ни на что. Сегодня, говорят, привезли в кофейню нескольких капсихорцев с отмороженными руками и ногами по дороге. Барометр снова подымается к морозу. На солнце тепло – градуса 2–3, а в тени и на ветре –15°. Сегодня я весь день работал над «Серафимом» (читал), писал письма и рисовал. Я уже неделю не писал акварелей и потому работал с наслаждением, как голодный. Вечером были Шура Павлова и Лид<ия> Вас<ильевна>.[1] Я читал «Епифания» и «Серафима».[2]

Кот и Маргарита[3] – умилительны. Они друг с другом играют в уголках в свои игры и что-то быстро пишут на бумажках и хохочут. Морозы и заносы изводят. В Кооперативе нет подвоза товаров, и он закрыт. Сегодня мы ходили уже за керосином на чердак. Сахара нет. Но тетя Саша[4] с какой-то не<и>стощимой находчивостью находит выход из всех положений. Я чувствую себя очень хорошо. Боль плеча благополучно миновала благодаря атофану. Пожалуйста, не забудь на возвратном пути купить Боржому в Феодосии. Я сегодня начал *последнюю* бутылку.

Очень поздно и большое утомление. Спокойной ночи. Целую и крещу.

Сегодня т<етя> Саша видела радугу на небе.

18/II 1929. Понедельник. 11½ ночи.

Норд-ост. Подмораживает здорово. Зато и луна на снегах блещет великолепно. Но только ходить негде. Все наши тропы снова занесло снегом. По морю нет путей. Прибой бьет во всю ширину. Поливановы через 2 дня уезжают. Т<етя> Саша благодарит твою дальнозоркость хозяйственную (за запасы).

Но, очевидно, мы подъедим все до крошки, пока наступит оттепель.

Лидия Васильевна принесла новость. Ол<ьге> Пав<ловне> Безобразовой после моего письма[5] сейчас же дали пенсию 10 р. Раньше ведь ей отказали совершенно, а дали только Вере Павловне.[6]

Письма приходят очень редко и в очень малом количестве. Сегодня пришла твоя открытка от 14/II.[7] Но ты пишешь так обще. Ты ничего еще не написала ни о Тате и о Татьяне Руфовне.[8] Я ничего не знаю <о> твоем здоровье, кроме сегодняшнего упоминания о носовике и гайморовой полости. Но что говорит Котя?[9] Что сказал Брант? Была ли у Гехтмана?

За молоко заплачено. Псы живут в Асиной комнате.[10] Для них корм привез Сашин муж.[11] Из писем твоих совершенно не вижу, получаешь ли ты мои. Они все под номерами. Но уходят крайне неаккуратно из-за почты. Ты спрашиваешь о воде? Топим снег, а о том, чтобы привезти – и думать нечего: все ключи перемерзли и к ним подхода и подъезда нет, и бочки у всех перемерзли.

Чувствую, что письма мои становятся очень однообразны, так же точно, как однообразны наши дни. Я до самого вечера, не отрываясь, пишу, а иногда и вечером. Потом мы беседуем, читаем стихи и ра<с>ходимся спать. Прогуляться некуда, да и холодно на ветру смертельно. Писем нет. Сегодня было письмо от Е.А. Манджос. Всев<олода> Иван<овича>, наконец, перевезли в санаторий Ленина, и она надеется на его поправку.[12] Все же это время он был между жизнью и смертью – и очень страдал от болей в сердце. Слава Богу! Я каждое письмо из Кисловодска вскрывал со страхом это время.

Глаза слипаются. Сегодня читал Коту и Маргарите Рождественского и Багрицкого. Покойной ночи, целую тебя крепко и крещу с нежностью. Только будь здоровой и веселенькой.

MAX.

19/II 1929. 10 ч<асов> утра. Вторник. Все то же самое. Северо-восток. Метет и заметает снегом. –10°. Опять верно почта не уйдет. Тоска! Как живешь? Как лечишься? Твои открытки меня не удовлетворяют, как и тебя – мои письма. Но

я все-таки пишу изо дня в день. Теперь работаю над «Серафимом». Тоскую по акварели.

Сдам на почту это письмо – сегодня. Еще т<етя> Саша хочет приписать. Кажется, Поливановым завтра не придется уехать.

20/II 1929. Среда. Утро 11 ч<асов>.

Милая Марусенька, наша жизнь в снежном затворе стала очень однообразна. Особливо без тебя – моей милой, являющейся для меня всегда вихрем событий, даже когда их нет. Представь себе, что ни у кого из нас за целых 2 недели не начинался рак, никто не умирал от удара, даже остеомалации у меня до сих пор не было, разве поболит плечо или поясница, и то немного, и пройдет после атофана. Даже псы сыты и никуда не убегают, и для них снежные заносы при отсутствии тропинок непроходимы. Они спокойно живут в комнатке на обеденной террасе с Асиными дровами, приходят к нам питаться 2 раза в сутки и вовсе не наполняют нашей духовной жизни. Тишь да гладь, да Божья благодать. Но скучно. Прежде всего скучно без тебя, потом без солнца, без тепла, без земли, без прогулок. Поливановы должны были уехать сегодня. Но хотя погода и мягче, и ветер слабее, но снега снова подвалило, и дороги нет. Нам необходима радикальная оттепель. Кот – опытный кочегар, и под его руководством – все печи пылают, в доме тепло, а под руководством т<ети> Саши не чувствуется никаких хозяйственных ущербов.

Сегодня прошло 2 недели со дня твоего отъезда. Но, ради Бога, не уезжай из Харькова, пока результаты лечения не скажутся. Тетя Саша говорит, что ей в Коктебеле очень хорошо и что она отсюда не уедет, пока ее из дому не вызовут. Так что все лежит в решении дяди Пети[13] – с ним ты и уговорись о сроках своего пребывания в Харькове. Это все будет зависеть – только от него одного и от событий в домрачевском доме. Ты ничего не писала о болезни и операции Игоря (Платонова). Как его здоровье сейчас?

Судьба тети Саши приводит вслед за нею непредвиденных гостей: ты – сменилась Манганари, Манганари – Поливановыми, а теперь мы с некоторым беспокойством задумы-

ваемся над вопросом, а кто же еще приедет на смену Поливановых?

Написав поэму об иноке Епифании и стихи памяти Ад<елаиды> Герцык, я принялся за «Серафима».[14] Сейчас сижу за <о>бработкой старых материалов и за чтением книг. Группирую и формирую новые главы. Но это работа кропотливая, медленная и невидная. Похвастаться новым ничем не могу пока. Но каждый день жду от тебя (напрасно) ответов на мои большие письма. И не знаю даже, получаешь ли ты их.

Просьба к тебе: собирай, пожалуйста (как собирают в гостях косточки для собак в носовой платок), для меня *апельсинные корки*, чтобы мне сварить варенье или класть их в компот, как делает т<етя> Саша. Это очень вкусно и разнообразит питание. Остальных же поручений повторять не буду. «Фусов» жду не дождусь, потому что теперь именно то время, когда кожаная куртка *необходима*, а я носить ее все-таки не могу. Но сегодня почта не придет наверное из-за заносов, а завтра четверг.

Целую тебя крепко. И на ночь никогда не забываю крестить.

Привет Тат<ьяне> Руф<овне>, Тате и Семен<у> Иван<овичу>. Привет Гуне, Даде, Танечке, Лизе, Коте[16] и всем.

МАХ.

[1] Л. В. Щепотьева.

[2] Поэмы «Сказание об иноке Епифании» и «Святой Серафим».

[3] К. М. Поливанов и М. Г. Поливанова.

[4] А. Л. Домрачева.

[5] См. п. 277.

[6] В. П. Безобразова.

[7] В этом письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 362, л. 19) М. С Волошина сообщала о предстоящей встрече с М. И. Долгополовым, а также: «Фусы купила в частном магазинчике, еле нашла, отдельно не продают, нужно целую кожу, а это случайно».

[8] Т. С и Т. Р. Златогоровы.

[9] К. И. Платонов.

[10] Ася – Р. М. Гинцбург.

[11] Якутин, коктебельский крестьянин.

[12] 12 февраля 1929 г Е А. Манджос писала из Кисловодска о В. И. Попове· «Больше месяца, как слег наш дорогой Всеволод Иванович <...> Мы решили поместить его в Ленинскую Поликлинику. Там нарз<анные> ванны в самом здании, а они всегда помогали Все-в<олоду> Иван<овичу>. < .> Раз В. И. попадет в условия рационального лечения – мое равновесие войдет в свое русло» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 819, л. 3–4 об.).

[13] П. Ф. Домрачев.

[14] См. примеч. 17 к п. 402, примеч. 2 к п. 399, примеч. 2 к п 404

[15] С И. Златогоров.

[16] К. П. Девлет-Матвеева, Л В. Тимофеева, Танечка – неустановленное лицо, Е. А. Новская, К. К. Платонов.

407. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

20 февраля 1929 г. Коктебель

20/II 1929.

Милый Саша, спасибо тебе большое за книгу Зиммеля.[1]

Кот П<оливанов> и Маргарита провели у нас премилую полярную неделю, напоминающую последние дни Шекельтона или Амундсена.[2] Маруся же в Харькове. Харьковские друзья командировали в Коктебель тетю Сашу,[3] которая выгнала Марусю в Харьков лечиться, а сама осталась вести хозяйство. Маруся не могла в течение недели выехать из за морозов и нарушения автомобил<ьного> движения. Но выехала все-таки с последним автобусом 6 февраля. А после ее отъезда мы оказались отрезаны от всего мира, даже от деревни. Раз нас приходили откапывать крестьяне, мы прокопали тропи<н>ку. Но теперь нас занесло снова, и даже до почты добрать<с>я нет возможности. Да и почта прих<о>дит случайно – раз в неделю.

Маруся живет у Златогоровых. Ее лечит Котя Платонов электричеством и гипнозом, лечит от Андерсов, Сельсовета, собачьих процессов. Между тем, собачьи события продолжаются (вне ведома Маруси, котор<ой> уж не пишу об этом). В кассации нам отказано, лежит новый вызов в суд по новому делу:[4] Юлахлы обвиняется в том, что он ровно через месяц 18 янв<аря> снова съел двух овец, хотя в эту ночь и был при-

вязан на цепь. Так что нам предстоит с начала начинать еще один такой же процесс. Ра<з>влечений хватит до лета.

Обнаружилась больша<я> враждебность к нам со стороны деревни «за бесплатность». Оказалось, что за нами следят все время: за каждой посылкой, нами получаемой, за разговорами гостей наших – на улице, у Синопли:[5] все для того, чтобы нас поймать в получении «доходов». «Да они деньгами и не берут, а всё товаром получают. Вот у Синопли ихние гости сами говорили, что все, что им нужно, они им сейчас же из Москвы привозят». Представляешь себе, каким мог быть этот разговор в действительности, и какой смысл он приобретает в устах враждебных сыщиков!!

Поэтому я хочу просить тебя, Саша, а через тебя всех друзей это лето воздержаться от «красивой жизни» и «фокс-трота».[6] Это два явления, постоянно привлекающих к нам общественное внимание, и надо этим летом дать отдохнуть и соседскому любопытству, и Марусиным нервам, которая – ты сам знаешь – переживает все это повышенно остро. Вся цепь неприятностей этого года для меня, несомненно, имеет свое начало в Андерсах и проник<н>овенном язычке Антонины Кузминишны.[7] И идею о принадлежности нашего дома Юнге, и идею о свирепости Юлахлы суфлировала в свое время она, и ее идеи принесли блестящий урожай. Летом мы ничего не знаем, что делается и говорится о нас в деревне, а осенью и зимой мы окружены только ими, как сплошным враждебным кольцом. До сих пор в течение 36 лет болгары не понимали, что у меня в доме делается, и я оставался вне их миросозерцания. А «красивая жизнь» и «фокс-трот» явились им вполне доступными явлениями, т<ак> к<ак> оказались вполне в уровне их понимания жизни. И теперь они *всё поняли* и *всё знают* о нашем доме. Поэтому прошу всех коктебельских друзей: если Вы дорожите нашим домом и нашим зимним спокойствием – откажитесь сами, хотя бы на этот год, от «красивой жизни» и от «фокс-трота». Мне несвойственно и противно налагать запреты и стеснять жизнь других. Но я думаю, что наши друзья сами не захотят провоцировать нас <на> новые беды и неприятности. А до какой степени наша почва

урожайна, можно видеть из опыта Тони, которая, наверное, сама не предвидела блестящего успеха своих инсинуаций.

Крепко целую тебя, Наташу[8] и всех коктебельцев.

Макс.

P. S. Милый Саша, хочу, чтобы ты меня правильно понял: я меньше всего хочу стеснять жизнь в Коктебеле и налагать запреты. И тебя, и Наташу люблю, как близких и милых друзей. Я бы хотел, чтобы Вы сами *захотели* провести мирное идиллическое лето, чтобы дать пройти и угаснуть той волне раздражения против нас, которая возникла из совокупности многих причин.

[1] Имеется в виду книга Г Зиммеля «Гёте» (М.: ГАХН, 1928), вышедшая в переводе А Г. Габричевского и с его предисловием («От редакции»)

[2] Исследователь Антарктики англичанин Эрнст Генри Шеклтон (1874–1922) и норвежский полярный путешественник и исследователь Руаль Амундсен (1872–1928).

[3] А. Л. Домрачева прожила в Коктебеле с 28 января по 11 марта 1929 г.

[4] 12 февраля Волошину доставили повестку с вызовом М. С. Волошиной в суд на 16 февраля по иску Данилы Стамова (Труды и дни-2. С. 415).

[5] Подразумевается коктебельская кофейня «Бубны», принадлежавшая А. С Синопли.

[6] Фокстрот в это время оценивался властями как предосудительный, «буржуазный» танец.

[7] А. К. Щукина, жена В П. Андерса.

[8] Н А. Габричевская.

408. П. Ф. ДОМРАЧЕВУ

20 февраля 1929 г. Коктебель

20/II 1929.

Милый дядя Петя,

из письма Марусиного (14/II) вижу, что она уж знает, что Долгополов уже в Харькове и, следовательно, мое письмо уже

опоздало, и она узнает от него все новые неприятности, от которых она уехала лечиться в Харьков.[1] Ну что ж — такова судьба. Только, чтобы она не вздумала скоропалительно возвращаться, потому что это было бы совсем бессмысленно. Мы сидим, отрезанные от всего мира. Даже из дому выйти некуда — все покрыто глубоким снегом, даже по берегу моря нельзя походить, потому что прибой покрывает весь песок до самого снега. Мы с тетей Сашей[2] живем недурно. Приспособились ко всему. Только скучно от отсутствия почты. Прорвется раза 2–3 в неделю и снова нет. И <о> судьбе отправляемых писем не знаешь ничего. Но у нас гости: на место худож<ника> Манганари, приехавшего при отъезде Маруси, приехал Кот Поливанов с женой Маргаритой Шпет. Они помогают тете Саше по хозяйству и, кажется, не слишком отягощают ее работы по дому: и печки топят, и дрова носят, и в кооператив бегают (напрасное занятие, т<ак> к<ак> там давно уже нет ничего). Живем и питаемся Марусиными запасами и греем снег для воды. Так как возвращение тети Саши всецело связано с пребыванием Маруси в Харькове и ты уже сам решай в Харькове, когда пора Марусю высылать обратно или задерживать еще. Я в восторге от нрава тети Саши и от *кулинарных* способностей ее. Пишу с утра и до вечера стихи. Законченные выслал Марусе. И это всецело подвиг т<ети> Саши.

Только вчера мои заботы и тревоги перебили мою работу и я сел писать письмо прокурору Кр<ымской> Рес<публики> *от себя* вне юридических категорий.[3] Мне показалось, что это будет для него более убедительно. Хотел сперва послать тебе и Долгополову на просмотр, но, прочтя т<ете> Саше и Поливановым, посылаю его прямо, чтобы не задерживать. Пожалуйста, покажи его Долгополову, а если письмо его не застанет, то перешли ему вслед, т<ак> к<ак> ему необходимо его знать. Знаю, что Маруся была бы против этого письма, но на мой взгляд письмо написано с правильной точки зрения и *повредить* никак не может. Т<етя> Саша думает то же.

Что думаете Вы с Долгополовым об неуспехе кассации. Я бы предпочел хоть 2-жды платить штраф, только бы покончить с судебными делами. Но именно уплатить штраф — это значит раскрыть шлюзы новым вымогательствам. Потеря вче-

рашнего дня, написание этого дурацкого письма меня приводит в неистовство.

Ведь правда же то, что я пишу, гораздо важнее для людей, чем все эти грязные человеческие вожделения и делишки, с которыми они лезут ко мне.

Крепко тебя обнимаю. Спасибо за тетю Сашу. Какой у нее дивный характер и как спокойно на душе рядом с нею!

Макс.

[1] См. примеч. 7 к п. 406, примеч. 4 к п. 407.

[2] А Л. Домрачева.

[3] Текст этого письма Волошина (в связи с обвинениями со стороны чабанов) не обнаружен.

409. М. С. ВОЛОШИНОЙ

20 февраля 1929 г. Коктебель

20/II 1929. № 8.

Милая Марусенька, сегодня счастливый день. Только что я отправил тебе письмо – пришла почта. Дорогу пробили. Но почта шла 6½ часов из города. Пришли 3 твои открытки.[1] Из них вижу, что твое беспокойство 12/II, вызвавшее телеграмму 13-го, было до известной степени основательно: в этот день пришла на твое имя повестка: вызов в суд по иску Данилы Стамова. Я повестки не принял, т<ак> к<ак> ты «уехала лечиться в Харьков». Но писать об этом тебе не хотел, точно так же, как о провале нашей кассации, о котором меня известил Митр<офан> Исидор<ович>.[2] Я не хотел тебя в Харькове тревожить и волновать преждевременно, перебивая твое лечение, и сейчас же написал об этом Митр<офану> Исид<оровичу> через дядю Петю.[3] Но он приехал в Харьков значительно раньше твоего письма, и ты оказалась уже в курсе всех судебных дел.

Митр<офан> Исид<орович> хотел, чтобы я написал Кондурушкину, но я наотрез отказался – не хочу Кондурушкина просить о *своих* делах. Но Митр<офан> Исидор<ович> сам

начал хлопоты в Москве, и *сегодня* я получил из Наркомюста (Москва) извещение, что крымский прокурор запрошен уже о нашем деле. Это уже следствие московских демаршей Митрофана Исидоровича. Это опять совершенно меняет всю обстановку дела, и мое личное письмо крымскому прокурору, которое я отправил по своему домыслу вчера, становится как нельзя более уместно (я его текст вчера послал для дяди Пети и Дол<г>оп<олова>[4]). Я сперва хотел посоветоваться, но т<етя> Саша[5] и Кот П<оливанов> уговорили меня не откладывать, особливо ввиду заносов и задержек почты. Сегодня же я отправил тебе еще одну телеграмму (третью!) о том, что мы благополучны. И что я пишу тебе каждый день – как дневник. По-видимому, почта из Крыма еще более запаздывает, чем почта, идущая в Крым. Ты, по-видимому, до сих пор получила только одну открытку, написанную 7/II, т.е. на другой день отъезда твоего. А тебе письма идут регулярно. Первые дни (3) шли открытки, четвертая не ушла. Потому я начал писать закрытые письма вечером и утром, отправляя их по мере отхода почты.

Сегодня прекрасный день. И ветер, и морозец, но прекрасное яркое солнце, и открылся ход по берегу – стих прибой, и можно ходить по ледяным прибрежным скатам, которые поземка посыпала песочком. Это первая возможность отойти от дому за последние 10 дней. Сегодня получил от ЦЕКУБУ извещение, что сестрам Безобразовым помимо 10 р. пен<с>ии в месяц выслано 50 р. единовременного пособия. Это все-таки приятно, что моя бумага оказалась убедительной.[7] Может быть, и мое письмо кр<ымскому> прокурору о собачьих делах окажется таким же убедительным.

К вечеру выяснилось, что Поливановы завтра утром сделают попытку уехать. Иван – Ксениин[8] муж – их везет на санях. Посылаю это письмо с ними, так что оно будет опущено в Харькове и, верно, достигнет тебя раньше других многих.

Мы живем с т<етей> Сашей очень дружно и благополучно. Сию минуту возвращаться и не думай. Ты будешь сидеть неопределенное время в Феодосии.

Уезжай, только когда дядя Петя потребует, чтобы ты вернула т<етю> Сашу, а Котя П<латонов> тебя отпустит, закон-

чив лечение. С провизией, с водой – обходимся благополучно. Собаки тебе кланяются. Целую, крещу каждый вечер. Будь веселенькой и лечись за совесть.

Осмотрись у Бранта и у Гехтмана. А твои печенки? А твои раки?

Макс.

[1] Имеются в виду письма М. С Волошиной от 14, 15 и 16 февраля 1929 г. из Харькова (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 362, л. 19–21).

[2] М. И. Долгополов. 7 февраля 1929 г. он сообщил Волошину из Москвы, что кассационная жалоба М С. Волошиной «оставлена без последствий, другими словами: решение народного суда утверждено», и привел текст заявления на имя Прокурора Крымской республики, которое предложил послать Волошину с целью ускорения прохождения дела в порядке прокурорского надзора (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 509, л. 44–44 об.). На следующий день Долгополов написал Волошину о своей встрече с С. В. Шервинским и А. Г. Габричевским и об их общем выводе о том, что «история с овцами – очередная гадость и потому следует мобилизовать все силы и вывести все на чистую воду»: «Кое с кем из местных судебных деятелей я говорил относительно Юлахлы, но вчера вечером мне напомнили, что большую дружбу к Вам питает Иван Семенович <Кондурушкин. – *Ред.*> и его участие в этом деле было бы весьма желательно <...> напишите ему полу-частное, полу-официальное письмо, изложите в нем все обстоятельства дела и попросите его оказать содействие в скорейшем затребовании дела в Москву, где можно рассчитывать на объективное его рассмотрение» (Там же, л. 45–45 об.).

[3] П. Ф. Домрачев. Ср. п. 408.

[4] См. примеч. 3 к п. 408

[5] А. Л. Домрачева.

[6] Имеется в виду п. 399.

[7] См. п. 277.

[8] Ксения Влахова.

410. М. С. ВОЛОШИНОЙ

22 февраля 1929 г. Коктебель[1]

22/II 1929. № 9.

Милая Марусенька,

Сегодня твоя открытка от 18/II.[2] Ты пишешь, что собираешься вернуться в воскресенье 22 (т. е. 24, конечно). Боюсь, что ты торопишься: и леченья не кончишь, и до Коктебеля не доберешься, а будешь несколько суток сидеть в Феодосии (как Поливановы), ожидая возможности проезда. Сегодня как раз началось снова усиление и морозов и мятели. И за сегодняшний день снова занесло все дороги, очищенные только вчера. А в наших хозяйственных ущербах все равно не поможешь. Впрочем, я надеюсь, что в воскресенье тебя еще не отпустят, и может это письмо еще тебя застанет. Тебе необходимо будет ехать лишь тогда, когда дядя Петя тебе скажет, что присутствие тети Саши[3] в Харькове необходимо. Поливановы уехали вчера. Прислали нам продуктов из города, и кооператив открылся. Так что мы сейчас ни в чем не нуждаемся. Хоть ты (когда будешь возвращаться) купи в Феодосии провизии, но как обычно. Мне было бы очень досадно, если бы ты не получила обоих моих писем со стихами («*Адел<аида> Герцык*» и «*Инок Епифаний*»[4]), не покажешь их друзьям и не дашь списать их. Они посланы тебе 15, 17 и 19 февр<аля>, а восьмое вчера с Поливановыми. Конечно, мне без тебя бывает очень грустно. Но мы живем с т<етей> Сашей очень дружно, и день бывает так переполнен, что скучать некогда, а нужды мы ни в чем не терпим. Так <что> ради нас тебе торопиться нечего. Главное, чтобы ты вернулась лучше попозже, но поздоровее, да повеселее. Тат<ьяну> Руф<овну>, Семен<а> Иван<овича> и Тату[5] целую и постоянно благословляю за любовь и внимание к тебе. Веселей и поправляйся. Крещу и целую.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 23. 2. 29; Харьков. 28. 2. 29.

[2] См.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л. 22.

[3] П.Ф и А.Л. Домрачевы.
[4] См. примеч. 2 к п. 399, примеч. 17 к п. 402.
[5] Т. Р., С. И и Т. С. Златогоровы.

411. М.С. ВОЛОШИНОЙ

25 февраля 1929 г. Коктебель[1]

25/II 1929.

Милая Маруся, сейчас пришли от тебя сразу 4 открытки (19–22/II).[2] Ты пишешь, что хочешь выехать во вторник 26/II. Мы очень просим с тетей Сашей[3] тебя остаться на тот срок, который считает необходимым Котя Пл<атонов>. Я сейчас пойду отправить телеграмму об этом.[4] Ты, вероятно, видела Поливановых, которые хотели тебе телеграфировать о своем проезде. Сегодня утром – таяло. Но скрылось солнце, и снова мороз. Барометр каркает о новом похолодании. Но со дня на день ждем окончательной оттепели. Я очень скучаю без тебя – но, ради Бога, не торопись ради этого. Самое важное довести леченье до конца. Твое спокойствие для меня важнее всего. Нам живется вовсе неплохо, и о нас не беспокойся. Т<етя> Саша уверяет, что не утомляется и чувствует себя хорошо. Теперь мы одни. Читаем вслух. Беседуем. Проводим тихие дни. Крепко тебя целую и крещу. Привет Тат<ьяне> Р<уфовне>,[5] Тате, Коте.

Мах. № 10.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 25 2. 29; Харьков. 28. 2. 29.

[2] Письма М.С. Волошиной от 19, 20, 21 и 22 февраля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 362, л. 23–26).

[3] А.Л. Домрачева.

[4] М. С. Волошина возвратилась из Харькова 3 марта.

[5] Т. Р. и Т. С. Златогоровы.

412. В. П. ОСТРОУМОВОЙ

2 марта 1929 г. Коктебель[1]

2. III. 1929. Коктебель.

Дорогая Валькирия, получил сегодня твой перевод (60 р.). Спасибо большое. Маруси еще нет. Ждем ее завтра из Харькова. Было 2 дня оттепели. Я ей телеграфировал, что дорога открыта. Но неожиданный мороз все снова стянул и метель снова замела все дороги. Не знаю уж, как она завтра доберется до Коктебеля. Она пишет, что поправилась.[2] Здесь ее ждут вести неприятные: сегодня ночью внезапно умер Володя Синицын (внук нашего соседа-священника), это очень потрясет Марусю. Наши судебные дела плохи. Глав<ный> Суд нам отказал в кассации, признав решение Нарсуда правильным и справедливым.[3] Прокурор Кр<ымской> Республики на мои заявления и протесты не отвечает ничего. Марусю уже дважды вызывали в суд по *новому* аналогичному делу,[4] которое кончится, очевидно, таким же образом. Может, Маруся привезет более утешительные новости: она виделась в Харькове с Долгополовым, который был в Москве опять. А я сидел этот месяц изолированный ото всего мира вместе с тетей Сашей[5] и не знаю ничего. Мы замерзали (было −30° при урагане), сидели без хлеба, без воды, без почты, заметенные снегом по горло. Обрадовались было весне. Два дня было +10°. Но март забрал обратно все авансы. Крепко обнимаю тебя, Левушку и Алешку.[6]

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели Коктебель. 3. 3. 29; Москва. 11. 3. 29.

[2] «Думаю, что я поправилась», – писала М. С. Волошина из Харькова 28 февраля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л. 29).

[3] Подразумевается решение Старокрымского суда от 29 декабря 1928 г. о взыскании с М. С. Волошиной штрафа в 90 р.

[4] См. примеч. 4 к п. 406. 27 февраля 1929 г. Волошину пришла повестка с вызовом М. С. Волошиной в суд на 5 марта (Труды и дни-2. С. 418).

[5] А Л. Домрачева.

[6] Л. Е. Остроумов и Алеша Остроумов.

413. Н. И. ИВАНОВСКОЙ

11 марта 1929 г. Коктебель

11/III 1929.

Дорогая, милая Надежда Ивановна,

Мы страшно рады тому, что Вы в Крыму и что мы очень скоро увидим Вас.[1] Не удивляйтесь тому, что между нашими письмами такой большой промежуток. Это закон почты – чем место географически ближе, тем почта идет дольше. В Москву письмо идет 3 дня, а до Симферополя не меньше 8. Кроме того, еще заносы и отсутствие проезда нас совершенно изолирует, и к нам почта приходит очень редко. И наконец, письмо Ваше мы получили в очень тяжелые для нас дни. Вы, вероятно, слыхали, что всю эту зиму против нас идет травля: чабаны обвиняют наших собак в том, что они у них съедают барашек – целыми стадами – по 6, по 12 (хотя наши псы были вообще вегетарианцы). В декабре Марусю вызывали в суд и осудили. И ее пришлось везти в Харьков на месяц лечиться в нервную лечебницу (там наш друг – Марусин товар<ищ> детства – проф<ессор> Платонов). В ее отсутствие пришла повестка на второй суд.[2] А на следующий же день по ее возвращении пришли с новыми обвинениями и третьим судом.[3] Наши собаки уже 3 месяца сидели на цепи. Но чабанам выгодно утверждать, что они сами их видели. У нас же свидетелей, достоверных для суда, нет. Тем, кто у нас в доме живет, суд веры не дает. Никто из феодосийских знакомых наших собак взять не согласился, и нам пришлось их отравить собственными руками.[4] И эти доверчивые, ни в чем не повинные звери нам же лизали руки, умирая. Представляете себе, как переживает это все Маруся, у которой такое гипертрофированное чувство жалости и человеческой вины перед зверем. Все это происходило в эти дни, и мы еще переживаем всю остроту этих часов. Вот по всем этим делам для меня немыслимо принять такое дружеское приглашение Бор<иса> Михайловича:[5] я не могу оставить Марусю, а вместе нам тоже уехать нельзя. Вас же мы очень ждем к себе, как только возобновится автомобильное сообщение с Симферополем. И мы за это время войдем в

нормальную жизнь и приезду Вашему будем безраздельно рады. Мне стыдно Вам – с Вашим горем – писать о наших горестях. Но ведь переживается все это не в сравнении, а абсолютно. Все горести перпендикулярны к линии жизни.

Крепко Вас целуем и ждем.

Максимилиан Волошин.

[1] Отклик на письмо Н И. Ивановской из Симферополя от 27 февраля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 589, л. 7–8 об) с сообщением о том, что Б. М. Овчинников привез ее после смерти Р. М. Гольдовской из Москвы в Крым «на поправку, на солнце, на юг...».

[2] См. примеч. 4 к п. 412.

[3] Третье обвинение волошинских собак в съедении шести овец поступило 5 марта (Труды и дни-2 С. 418).

[4] Кандибобер и Хна были отравлены 6–7 марта. Пса Юлахлы взяла с собой А. Л Домрачева, уехавшая 11 марта в Харьков.

[5] Б. М. Овчинников. Подразумевается его приглашение Волошиным приехать в Симферополь, которое Ивановская передала в письме от 8 марта 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 589, л. 9).

414. Б. М. ОВЧИННИКОВУ

11 марта 1929 г. Коктебель

11/III 1929. Коктебель.

Дорогой Борис Михайлович,

спасибо за Ваше дружеское письмо, за милое предложение гостеприимства,[1] которым мне не придется очевидно воспользоваться. Мар<ия> Степ<ановна> вернулась из Харькова, и на другой же день возобновился шантаж и собаки. Против нас уже ведется 3 процесса.[2] И положенье стало настолько безысходно, что нам пришлось самим отравить наших милых, ласковых, ни в чем не виновных псов, которые, умирая, нам же лизали руки. Сейчас полное ощущение совершенного преступления. И то, что его объектом являются не люди, а собаки, пожалуй, еще усугубляет эту вину. Вам как криминалисту это должно быть понятно. Ведь чувство вины перед зверем всегда есть в нашем отношении к животным.

И если я переживаю это так мучительно, то каково же Мар<ии> Степ<ановне>, у которой чувство вины перед животными вообще гипертрофированно и которая всё переживает в тысячу раз интенсивнее меня. Словом, мне ее оставить никак нельзя. Нельзя и дома покинуть.

Привет Ольге Андреевне[3] и всем Вашим.

Максимилиан Волошин.

1 В письме от 28 февраля 1929 г. Б М. Овчинников предлагал Волошину погостить у него в Симферополе (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 905, л. 7–8 об.).

2 См. примеч. 4 к п. 407, примеч. 3 к п. 413.

3 О. А. Овчинникова.

415. С. Н. ДУРЫЛИНУ

11 марта 1929 г. Коктебель

11/III 1929. Коктебель.

Дорогой Сережа,

Твое письмо от 16/II получили.[1] Маруся вернулась из Харькова 3/III, поправившаяся, успокоившаяся, радостная. Милые Златогоровы и Котя Платонов (психиатр) приложили всю свою любовь, чтобы ее успокоить и поднять любовь в жизни. Коктебель ее встретил морозом и снегом. Накануне ее приезда умер мальчик – Володя Синицын – внук священника. Умер неожиданно: был припадок ап<п>ендицита и нельзя было добиться ни врача, ни фельдшера, а Маруси не было. На следующее же утро явились чабаны: «Так что прошлую ночь Ваши собачки у нас еще 6 овечек съели». – Да они же заперты с вечера в комнате. – «Так это Вы их только что заперли сами». На другой день пришел собственник. «Так что, Марья Степановна, я к Вам по-хорошему: уплатите мне по 18 р. за барашку, я и в суд не буду уже подавать на Вас... А <в> суде у меня дело верное – свидетели есть. А у Вас кто покажет – чи сидели на цепи, чи не сидели». Надо сказать, что по первому – декабрь-

скому делу нас обвинили и в кассации отказали. А с тех пор против нас начали еще 2 таких же дела.

Собаки с того самого времени томились на цепи. Мы напрасно просим наших феодосийских друзей принять их к себе хотя бы до лета. Свидетелей действительно нет — ведь зимой мы совсем изолированы. А свидетельство Лидии Васильевны[2] не принимается судом: «она у Вас живет».

Вообще все проходит под знаком «Ущерба, наносимого крестьянскому хозяйству». Одним словом, третьего дня мы сами собственными руками отравили милую Хну и Кандыбобера. Они глядели <на> нас с ясным собачьим доверием и лизали нам руки, умирая. А сегодня тетя Саша (Домрачева) взяла Юлахлы с собою в Харьков. Пустота в доме стала невыносимая. Маруся томится напряженная и горькая. Я ни у кого не видал такого, как у нее, глубокого сознания человеческой «вины перед зверем». И вместе с нею чувствовал большой соблазн принять пилюлю стрихнину и лечь рядом с Хной головой под лавку с судоргами спинного хребта. Я больше всего боялся этой неизбежности с самого начала собачьих историй, т<ак> к<ак> у Маруси уже тогда вырывались слова: «Сама отравлю собак, а после уйду грех замаливать до конца жизни». Теперь это и случилось... А еще нас будут дважды судить... и не за убийство (что было бы справедливо), а за то, что мы держали «волкодавов» и разоряли крестьянское хозяйство. Это нечестно, но я не могу отделаться от мысли, что вся эта фантасмагория с нашими добрыми и деликатными псами возникла и расцвела с язычка Тони Андерс, которая прошлой зимой всем повторяла: «Ах, эти волошинские собаки — вы увидите, что они непременно кого-нибудь разорвут». И вот это семя проросло. В наши дни всякое зло прорастает с удесятеренной силой. Не думай, милый Сережа, что я не понимаю всей относительности нашего горя и этой травли. Что эта собачья история рядом с человеческими гибелями и смертями? Хотя бы рядом с горем в соседнем доме, где старики совсем надломлены смертью внука и в один день постарели на 30 лет. Но эту относительность сознаешь, а переживаешь все, что случается, — абсолютно. Я-то во всех положениях довольно быстро обретаю утраченное равновесие, а на Марусю страшно смот-

реть, так она томится в опустевшем доме. Ведь собаки были ее единственными друзьями и собеседниками большую часть дня, пока я работаю в своей комнате.[3]

Несмотря на все безобразие и сумбурность этой зимы, я все-таки умудрился написать в антрактах поэму «Сказание об иноке Епифании» – pendent к «Аввакуму» и стихи памяти «Аделаида Герцык».[4] Посылаю их тебе.

Зима у нас полярная. Она несколько раз как будто ослабевала, но только для того, чтобы воспрянуть с новой силой. Нередко бывало, что не только в деревню, но и на почту пробраться бывало невозможно. Автобусы не ходят уже месяц. Почта пробивается раз в неделю. В окрестных горных деревнях голод полный. В кооперативах нет подвоза ни хлеба, ни керосина. Татары едут в город и обмерзают по дороге. При здешних ветрах и при –10° градусах бывает невыносимо на дороге. А термометр падал до –30 град<усов> в Коктебеле. Но все ужасы морозов были *до снега*, когда нас занесло, мороз уже сдал. Вести об окружающем мы сами узнаем только из газет. И почему-то –30° в Риме мне кажется страшнее, чем у нас. Говорят, что Азовское море промерзло до самого дна.

Я думаю, что такие морозы в здешних местах не новость. Ведь после Р<ождества> Х<ристова> Черное море замерзало дважды – целиком, и в один из этих разов Диафант, полководец Митридата, делал ледяной набег на Констанцу и дал битву посреди Черного моря.[5]

«Мурановского сборника» я не имел и за него буду очень благодарен.[6] Недавно с большой жадностью прочел последнюю книгу Мэтерлинка «La Vie des Termites».[7] Прекрасная и поучительная картина строго рационализированного социального строя, выдержанного до конца в духе последовательного марксизма.

Кончаю письмо. Обнимаю тебя крепко и шлю привет Ирине.[8] Буду очень ждать твоей оценки «Епифания».[9] Маруся тебя и Ирину приветствует.

Макс.

[1] В письме от 16 февраля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 525, л. 43–45 об.) С. Н. Дурылин отозвался, в частности, на тяжбу с кок-

тебельскими чабанами, о которой Волошин рассказал в предыдущем письме к нему (п. 385)· «...отвратительная история человеческой неблагодарности, наглости и тишайшей подлости. Какими другими именами можно назвать эту историю с собаками?»

[2] Л. В. Щепотьева.

[3] Ср. отклик Дурылина в письме к Е. В. Гениевой от 26 марта 1929 г.: «Макс прислал отчаянное письмо. У него там *2 процесса* из-за собак, столь же основательных, как и первый – и Маруся в отчаянии отравила стрихнином 2 собак, а одну тетя Саша увезла в Харьков – сама же Маруся мучится теперь укорами совести» («Я никому так не пишу, как Вам...» Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.· Центр книги Рудомино, 2010. С. 301).

[4] См. примеч. 2 к п. 399, примеч. 17 к п. 402.

[5] Диафант – Диофант, полководец понтийского царя Митридата VI Евпатора (132–63 до н э.), подчинившего себе все побережье Черного моря Источник сообщаемых Волошиным сведений не установлен, однако правомерно заключить, что они имеют легендарный характер.

[6] Имеется в виду кн.: Мурановский сборник. Вып. 1. Мураново, 1928. В нем были помещены четыре публикации Дурылина (подписанные инициалами: С Д): «Письмо Е. А Баратынского к С. Л. Энгельгардт» (С. 30–32), «Четверостишие Ф И. Тютчева» (С. 43–44), «Письма Ф. И. Тютчева князю П. А. Вяземскому» (С 45–63), «Эпиграммы С А. Соболевского» (С. 74–85). В цитированном выше письме Дурылин спрашивал Волошина: «Я так и не знаю, послал ли тебе Н. И. Тютчев "Мурановский сборник"? Напиши мне – и я устрою тебе посылку этой книги».

[7] Натурфилософское эссе Мориса Метерлинка «Жизнь термитов» (1928). Книга сохранилась в библиотеке Волошина (Мемориальная библиотека М. А Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.. Центр книги Рудомино, 2013. С. 299).

[8] И. А. Комиссарова.

[9] Отзыв о «Сказании об иноке Епифании» и о стихотворении «Аделаида Герцык» Дурылин дал в письме к Волошину от 21 апреля 1929 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 46–48 об.): «Ужасно ты меня порадовал и тем, и другим. Герцык я знал мало, вернее, встречал у Бердяевых, но всегда на меня производила она впечатление человека, идущего в жизни не шагами и шажка́ми, как все мы, а стопами, тихими, неуклонными стопами: это – прочный, онтологический ход, а не наше психологическое семененье ногами по жизни. Твое впечатление сошлось с моим. Напиши книгу воспоминаний,

своего рода “синодик”, белыми стихами об отошедших. Выйдет у тебя чудесно. Тут особенно уместен нерифмованный, не балованный, стих. “Епифаний” отлично дополняет Аввакума. Епифаниев было больше, чем Аввакумов. Трогателен без конца его “реализм”. эти здоровенные, мужицкие (да еще и олонецкие, особо крепкие!) щелчки по лбу бесам».

416. Е. Я. АРХИППОВУ

12 марта 1929 г. Коктебель

12/III 1929. Коктебель.

Дорогой Евгений Яковлевич,

Вы ничего не пишете о том, что именно случилось с Вами.[1] Очевидно, Вы сокращены? подошли под чистку? На всякий случай посылаю Вам несколько слов к Луначарскому.[2] Это имеет мало значения: я знаю Луначарского давно (по Парижу), но не близко. Его же собственная протекция имеет мало кредита. Но эта записка может просто открыть Вам дверь. А Вы сами уже изложите красноречиво и убедительно обстоятельства собственного дела. Пошлите письмо не по почте, а через кого-нибудь (Усова?), чтобы передал из рук в руки. Относительно Вашей просьбы (план дома) – я исполню это попозже.

Пока посылаю Вам последние стихи мои: «Сказание об иноке Епифании» и памяти «Аделаиды Герцык» – покойной поэтессы.[3] Посылаю Вам переписанный на машинке и первого карандашного «негра» (как французы зовут черновик).

У меня эта зима очень тяжелая. Деревня не выносит соседства моего «бесплатного дома». Бесплатность для нее – признак буржуазности. Первую половину зимы шло дело об конфискации моего дома. Когда это не удалось (Москва заступилась), то начались вымогательства. Был начат ряд (три) процессов против наших собак. Дело в том, что Мар<ья> Степановна не выносит зрелища голодных собак и прикармливает их. Вообще у нее гипертрофированная жалость к животным. И вот местные чабаны (этой зимой падает много овец) во всех

этих потерях винят наших собак. Наши собаки съедают по 6-ти, по 12 овечек за ночь, с чем и волк не управится. А наши собаки даже и мяса-то не едят – вегетарианцы. Суд (местный, крестьянский же) смотрит на меня как на «буржуазный» элемент (за «бесплатность»), нас обвиняют, наши дворняги превратились в помещичьих волкодавов. Мы осуждены за нанесение «ущерба крестьянскому хозяйству». Пеней на нас уже наложено рублей на 300. Положение стало настолько безнадежно, что третьего дня пришлось отравить наших ни в чем не повинных псов. И они, умирая, лизали нам руки и с преданным доверием глядели нам в глаза. Мар<ья> Степ<анов-на>, которую после первого процесса пришлось отправить в Харьков в нервную лечебницу, теперь совершенно разбита и раздавлена. Я совершенно выбит из творческой работы. Это уж такое время. Кто не подвержен пытке и оскорблению *чистки*, того настигают в самом отдаленном углу – иные беды.

До свиданья. Привет Клавдии Лукьяновне[4] и все мое сочувствие.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 28 февраля 1929 г. Е. Я. Архиппов упоминал про «целую вереницу тревог и несчастий». «Сейчас я уже не имею заработка (с 1-го февр<аля>). Хлопоты мои пока все напрасны. А в центре я не имею никого, кому можно было бы написать ..» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л 21).

[2] Текст этого ходатайства Волошина, адресованного А. В. Луначарскому, неизвестен. В ответном письме от 25 марта 1929 г. Архиппов сообщал, в чем его «обвиняет клеветническая статья в газете, а за ней и Комиссии по чистке»: «1) В близости к царскому двору, 2) в противодействии школьным реформам (а я ведь выполнял работу именно по организации школ и был заведующим с 1920 по 1926 г), 3) в сохранении для себя старой орфографии (для чего представлен черновой листок из записной книжки), 4) в написании грубого и антиобщественного стихотворения: “Пушкину”. Вы не только знаете, но можете поручиться, что, ученик Инн. Анненского, *я не могу* писать грубых и пошлых стихов» (Там же, л. 22 об.).

[3] См. примеч. 17 к п 402, примеч. 2 к п. 399.

[4] К. Л. Архиппова.

417. М.А. ПАЗУХИНОЙ

12 марта 1929 г. Коктебель[1]

12/III 1929.

Милая Марья Александровна,

К этому письму Маруси нечего прибавить, кроме фактической стороны: травля против наших собак началась с половины декабря. Нас судили. Марусю вызвали в НарСуд в Старый Крым. Осудили, приговорили к 90 р. штрафа.[2] А потом вся деревня издевалась над Марусей: «Что? присудили? Любите собачек? Подкармливаете? Вот и заплатите?» На Рожд<ество> к нам приезжали гостить Долгополов, молод<ые> Платоновы, Извеков. Весь январь прошел в новых тупых придирках и разговорах. Марусино душевное состояние было таково, что я вызвал тетю Сашу.[3] Она сейчас же приехала и настояла на отъезде Маруси в Харьков. Там ей у Златогоровых было «хорошо, как в раю». В ее отсутствие к нам приезжали снова гости: художн<ик> Манганари, молод<ые> Поливановы и благодаря морозам и заносам застревали. Когда же Маруся вернулась, окрепшая и поправившаяся, разразилось все, о чем она пишет. Суд нам в кассации первого приговора отказал, несмотря на всю уверенность Долгополова. Ни суду, ни чабанам не было никакого дела до виновности наших собак. У чабанов падают овцы (голод, мороз), им надо, чтобы кто-то их оплатил. Наше «богатство» от обилия гостей летом стало деревенской притчей во языцех. Недаром же как резон конфискации дома выставлялось: «Довольно нажились за 8 лет — разбогатели». Для суда — мы собственники-домовладельцы, содержащие для своего удовольствия лютых породистых волкодавов, которые играючись уничтожают целые овечьи стада, «нанося ущерб крестьянскому хозяйству». Мои же письма и объяснения прокурору оставались без ответа и к делу не приобщались. Обвинительный же приговор был указанием для всех чабанов: «Вот где платят за издохших овец!» И они естественно продолжали свое вымогательство. Я с самого начала <ничего> больше не боялся для Маруси как необходимости убить собак. Мы просили всех феодос<ийских> друзей

взять их к себе на время: никто не согласился. Во время последних преступлений они спокойно сидели дома на цепи. Но это знаем мы – и свидетелей этому (кроме живущих у нас, кот<орых> свидетельства суд не принимает) у нас нет. Поэтому совершилось самое страшное: отравление собак.[4] Как переживет все это Маруся – не знаю. Мы стараемся друг друга успокоить.

Надеюсь, что зима к Равноденствию кончится и тогда прекратится хоть эта тяжелая полярная зимовка и наша изолированность: нет ни автобусов, ни почты. Страшнее всего эта тупая, равнодушная, беззлобная мужицкая жестокость. Они даже не понимают, как можно надрываться из-за необходимости убить собак, как и не понимают, как это можно кормить голодных чужих собак, когда кругом – голод и когда они дома и не сторожат.

Маруся, написавши это письмо, горько плачет и мучается до спазм. Расскажите про наши дела всем коктебельцам. Писать подробно каждому я не могу. Известил вкратце Валькирию.[5]

Расскажите Дане, Варв<аре> Дмитриевне,[6] ...

Привет Вас<илию> Алек<сандровичу>, детям и Андревне.[7]

Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к письму М. С. Волошиной, в котором она подробно рассказывала о событиях и переживаниях последнего времени (обвинения против волошинских собак, судебные иски, лечение в Харькове, отравление собак).

[2] См. примеч. 3 к п. 378.

[3] А. Л. Домрачева.

[4] См. примеч. 4 к п. 413.

[5] В П. Остроумова. См. п. 412.

[6] Д Н Часовитина, В. Д. Финкельштейн.

[7] В. А. Пазухин, А. В и В. В. Пазухины, Домна Андреевна Коваленко.

418. М. И. и Б. А. ГРИФЦОВЫМ

13 марта 1929 г. Коктебель

13/III 1929. Коктебель.

Милые Мария Ивановна и Борис Александрович, спасибо Вам большое за нежданную посылку (Маруся уже давно и забыла о챠чернике), которая пришла как нельзя больше вовремя. Эта зима была очень суровой, как везде, и для нас очень людной – за зиму у нас жило 8 человек гостей, и потому наши зимние запасы преждевременно истощились, а зиме еще и конца не предвидится. Но зима была тяжела не только этим: против нас всю зиму велся шантаж местными пастухами, обвиняли наших псов в том, что они съедают по 12 – по 6 овец за ночь в стадах. Суд был на их стороне. В кассации нам отказывали, этим давая повод к новым процессам. Нам пришлось собственноручно *отравить* ни в чем не повинных животных, которые, принимая яд, лизали нам руки, и еще предстоит платить взысканий рублей триста.[1] Это совершенно срывало творческую работу этой зимы. Вообще волна обывательских гнусностей захлестнула и нас в этом году. Ну, что ж, в конце концов и это справедливо. Мы столько лет пользовались безоблачным спокойствием – с самого голодного года. Надо и нам было приобщиться нормальной жизни.

Приветствуем и благодарим.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме к М. А. Пазухиной от 12 марта 1929 г. М. С. Волошина сообщала, что она и Волошин приняли решение заплатить по искам чабанов на предстоящих двух судах, а на судебные заседания не являться (Труды и дни-2. С. 419).

419. Н.И. ИВАНОВСКОЙ

13 марта 1929 г. Коктебель[1]

13/III 1929.

Дорогая Надежда Ивановна,

три дня назад я послал Вам и Борису М<ихайлови>чу большое ответное письмо.[2] Почта приходит далеко не каждый день, но все-таки иногда приходит, и мой ответ задержали не только почтовые неурядицы, но и домашние тяжелые события, которые и нам не позволяют отлучиться из дому. Нас должны еще судить дважды по 2-м процессам.[3] И мы не можем одновременно покинуть дома, мне никак нельзя побывать в Симферополе и познакомиться с Борис<ом> Мих<айлови>чем этой весною. Видаете ли Вы в Симферополе Мит<рофана> Исид<оровича> Долгополова, который когда-то был у Рашели Мироновны[4] от моего имени? Он мой юрисконсульт по всем этим процессам, и меня очень смущает, что я от него не получаю писем и директив вот уже больше месяца. Вашего же приезда, Надежда Ивановна, к нам мы очень ждем и заранее ему радуемся. Через неделю мы приведем уже наши нервы в порядок, и Ваш приезд будет большою радостью.

Привет Борису Мих<айлови>чу и всей его семье. Никогда их не видавши, я чувствую к ним отношение как к людям близким и хорошо знакомым.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Коктебель. 14. 3. 2<9>. Отправлено в Симферополь по адресу Б. М. Овчинникова.

[2] Б. М. Овчинников. См п. 413 и п. 414.

[3] См. примеч. 1 к п. 418.

[4] Р. М. Гольдовская.

420. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

15 марта 1929 г. Коктебель

Многоуважаемый Сергей Феодорович,

посылаю Вам мою последнюю поэму на раскольничью тему.[1] Моя творческая воля была здесь самая скромная: выбрать самое ценное и характерное из подлинника и стих подчинить интонациям живой речи. Передать обаяние старо-русской души тем, от кого она скрыта за семью печатями.

За указание ошибок, которых не может не быть, буду глубоко благодарен.

Максимилиан Волошин.
Коктебель.
15/III 1929.

[1] Приписка, сделанная карандашом на 1-м листе машинописной копии поэмы «Сказание об иноке Епифании». См. примеч. 2 к п. 405.

421. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

17 марта 1929 г. Коктебель

17/III 1929. Коктебель.

Милая Наташа,

Новости, привезенные Поливановым, устарели. Я написал большое письмо Валькирии,[1] чтобы она оповестила всех о наших последних делах, но вижу из твоего письма, что у них скарлатина, и, следовательно, она в карантине.[2] Поэтому повторю вкратце: к возвращению Маруси благодарными крестьянами было приготовлено еще два новых судилища,[3] т. е. вызовы ее в суд по обвинению собак (Хны и Кандибобера) в том, что они уничтожили еще два стада овец. Все мы в указанные ночи были заперты дома. Но у нас нет «свидетелей», т<ак> к<ак> свидетельства *у нас живущих* (Лидии Васильевны[4]) судом не признаются. Мы были вынуждены «уступить

общественному требованию» и ликвидировать собак. Юлахлы увезла тетя Саша в Харьков, а Хну и Кандибобера мы *отравили* собственными руками. Хна, как всегда деликатная и осторожная, три раза выплевывала яд (это было совсем убийство Распутина![5]) и, наконец, съела и, умирая, смотрела преданными милыми глазами и лизала нам руки. Бр-р-р-р.... Представляешь себе, в каком состоянии душевном Маруся после этого.... Заставить отравить ни в чем не повинных зверей! И еще нам предстоит еще 2 раза являться на судебное позорище по обвинению в нанесении «ущерба крестьянскому хозяйству» с заранее предрешенным приговором. В доме без зверей пустота и тоска. И очень гнусное сознание убийства «невинных». В сумме нас приговорят, верно, платить рублей 200, да судебных расходов – всего до 300 рубл<ей>. Но все это имеет мало значения рядом с отравлением Хны.

Теперь голод. Овцы падают, и при этом известно, что волошинские собаки платят за всякую павшую овцу. Соблазн слишком велик... Пока у нас была бы хоть одна собака, она была бы обязана платить за всех овец окру́ги.

Состояние духа у нас не очень приятное. Марусина харьковская поправка пошла сразу насмарку. (Она ведь ездила лечиться после издевательств еще первого суда в Ст<аром> Крыму в декабре,[6] приговор которого Главным судом утвержден, и в кассации отказано). За эту зиму у нас жило неожиданных гостей *8 человек*. Зима голодн<а>я, морозная, длинная, и все осложняется тем, что все Марусины запасы – и дрова, и мука, и припасы – кончаются, а конца зимы даже и на юге еще не предвидится. Опять мороз и метель. Накануне Марусиного приезда у нашего соседа-священника умер неожиданно и случайно внук – Володя.[7] И нельзя было добиться ни одного врача. Вот этот хозяйственно-юридический и драматический комплекс, как «Nach-kúr»* после нервного заболевания, и определяет сейчас наше настроение и течение мыслей. Писать Маруся не в состоянии никому. А воспоминания о прошлом и вообще минувших летах – самое горькое: кто, какую собаку к нам ввел в дом, кто кого обидел, за чьи дела и

* Дополнительный курс лечения, отдых после курса лечения (*нем*)

за чьи слова мы сейчас и всю эту зиму так горько расплачиваемся. Против *тебя* ни у Маруси, ни у меня летом ничего не было, но *за тех, кто от тебя страдал* (хотя бы это было без злого намерения с твоей стороны) было *очень* горько. Ведь мы тебя *любим*, а те, кто тебя любит, должны *тебе прощать очень многое.*

Крепко целуем тебя и Сашу.[8] Посылаю тебе свою новую поэму, которая тебе должна понравиться.[9] Там есть хорошие бесы, которых ты полюбишь. Спасибо, что тебе понравились мои аквар<ели>.[10]

Макс.

За купленные книги Саша должен послать деньги *Евгении Казимировне Герцык. Минутка. Сев<еро>-Кавк<азская> жел<езная> дор<ога>. Надбережная, д<ом> 12.*

[1] В. П. Остроумова. Имеется в виду п. 412

[2] В письме от 5–8 марта 1929 г. (начинавшегося фразой: «Приехали “Молодожены” и привезли последние известия о тебе») Н. А Габричевская сообщала: «У Валькирии Алешка заболел скарлатиной» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 53–54 об.).

[3] См. примеч. 4 к п. 407, примеч. 3 к п. 413

[4] Л. В. Щепотьева.

[5] Г. Е. Распутин был умерщвлен заговорщиками (кн Ф Ф Юсуповым, В. М. Пуришкевичем, вел. кн. Дмитрием Павловичем и др.) 17 декабря 1916 г.; отравленная еда, поднесенная Распутину, поначалу не оказала надлежащего действия, после чего последовала физическая расправа.

[6] См. примеч 3 к п. 378.

[7] См. п. 412.

[8] А. Г. Габричевский

[9] Имеется в виду поэма «Сказание об иноке Епифании».

[10] В цитированном выше письме Габричевская признавалась: «Твои акварели меня ошеломляют. Я думала, что ты меня совсем забыл, а ты еще прислал “*такую*” акварель, что я не знаю, что делать от радости».

422. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

20 марта 1929 г. Коктебель

20. III. 1929. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Прежде всего благодарю Вас за Ваше «Собрание сочинений», которое получил уже давно.[1] Но зная, что Вы едете в Харьков, и зная, что Вы там увидитесь с Марией Степановной,[2] решил погодить с письмом, чтобы не писать лишний раз обо всем «собачьем шантаже» этой зимы. Но вот Мария Степановна вернулась, оправившаяся и окрепшая нервами после издевательств первого процесса, и была сразу встречена новым букетом вымогательств – двумя новыми процессами и вызовами в суд.[3]

Обстановка вымогательств была еще более явная – оба раза собаки были дома и заперты. Словом, было ясно, что пока собаки будут у нас, до тех пор нам будут предъявляться новые иски. А суд обвиняет нас принципиально «за нанесение ущерба крестьянскому хозяйству» как богатых домовладельцев (очевидно, держащих породистых и свирепых собак). Нам пришлось отравить наших милых и заведомо ни в чем не повинных псов, отравить собственными руками. Они доверчиво глядели в глаза честными собачьими глазами, принимая стрихнин в еде, и, умирая, лизали нам руки. Отвратительное самочувствие убийцы. Представляете, каково было Марье Степановне с ее гипертрофированной жалостью к животным!

Теперь нам еще предстоит 2 процесса, но решили в суд не ездить и не защищаться. Ведь у нас нет и свидетелей, годных для суда. Мы зимой никого не видим. А к Лидии Васильевне Щепотьевой, зимующей у нас, еще первый суд отнесся с полным пренебрежением. Чабаны действуют наверняка. А в кассации нам отказано. Так что все это явно абсурдное дело является для нас безвыходным. По искам нам придется платить рублей 200, да еще судебных издержек наберется рублей на 100. Какое прекрасное поощренье для «бесплатного дома отдыха» и для крестьян, у которых овцы дохнут от голода, а чабаны пьют по ночам у Дарьи Юнге и играют в карты. Все

время нам помогал Долгополов, но вот уже месяц, как я не получаю от него ответов из Симферополя, и это так непохоже на него, что, боюсь, не случилось ли что с ним.

Посылаю Вам мои последние стихи: раскольничью поэму «Сказание об иноке Епифании». Она умилительна, строго документальна и, на мой взгляд, очень современна.

Привет Марье Гермогеновне.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Тома Полного собрания сочинений В. В. Вересаева в 12-ти томах (М.: Недра, 1928–1929).

[2] М. С. Волошина находилась в Харькове с 7 февраля до начала марта 1929 г.

[3] См примеч 3 к п. 378, примеч. 4 к п. 407, примеч. 3 к п. 413.

[4] М Г. Смидович

423. А. В. ДОЛГОПОЛОВОЙ

20 марта 1929 г. Коктебель[1]

20/III 1929.

Дорогая Анна Васильевна,

Вот уже месяц, как я не получаю от М. И.[2] ответа ни на одно деловое письмо, ни на телеграмму. Это так на него не похоже, что начинаю тревожиться, не заболел ли он?

Откликнитесь.[3]

Max.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель 22. 3. 29; Симферополь. 24. 3. 29

[2] М. И. Долгополов.

[3] В письме от 18 марта 1929 г. (отправленном Волошину еще до получения настоящего письма) А. В. Долгополова сообщала: «Ваши письма, адресованные М. И. на Симферополь, и телеграмму от 17/III я переслала Мит<рофану> Ис<идоровичу> в Москву, где он находится уже две недели и задержится еще приблизительно столько же, если не останется там совсем на работе» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 510).

424. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

31 марта 1929 г. Коктебель

31. III. 1929. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Большое спасибо за Ваше известие о М. И.[1] Я думаю, что у него самого какие-то неприятности, потому что иначе нечем объяснить себе то, что он, в сущности, бросил нас на произвол судьбы в самом разгаре дела. Очевидно, тут есть какое-то «force majeure».* После моего первого письма о начавшемся шантаже он очень охотно и дружески отозвался, сам к нам приехал[2] и предложил такую комбинацию: «мы должны проиграть дело в первой инстанции – (это не было обязательно, т<ак> к<ак> у нас были и свидетельства, и доказательства), а что он подает кассацию и окончит это дело сам, без всякого нашего участия. Поэтому Маруся должна ехать в Старый Крым одна, без свидетелей и просто отвечать на вопросы суда, не давая никакого направления делу».

Так все и произошло, но он не предвидел, что Маруся, пройдя сквозь злорадство и остроты со стороны крестьян, сопровождавших ее от Старого Крыма до Коктебеля, вернется в полном нервном расстройстве, так что ей придется ехать в Харьков лечиться.

Сперва он присылал мне инструкции – что и куда писать. Но неожиданно выехал из Симферополя за день до кассации. У нас в главсуде не было представителя и нам было отказано. И затем я утратил его адрес и его маршруты и 2 месяца писал впустую. Марусе в Харькове он сказал, что проедет прямо в Коктебель и все наладит, но не приехал. Мы ему тщетно писали и в Харьков, и в Симферополь, и в Москву. Тем временем против нас были начаты еще 2 процесса.[3] Пришлось отравить собак. Никакого иного защитника нам пригласить было неудобно и некорректно, а в юридических делах мы себя чувствовали как в темном лесу. Для меня Ст<арый> Крым место заклятое: я туда не могу ездить, т<ак> к<ак> у меня там делаются сильнейшие припадки астмы. Для Маруси

* Непредвиденное обстоятельство (*фр*).

же ехать снова после бывшего опыта и в таком нервном состоянии тоже невозможно. Мы могли только послать в суд рассматривать оба дела в нашем отсутствии, т<ак> к<ак> все равно у нас нет (и не может быть) никаких свидетелей о том, что в обоих случаях собаки были дома и на привязи.

Я не хочу винить М. И. и думаю, что какие-нибудь неизвестные мне обстоятельства, более важные, чем наше дело, заставили его нас бросить на произвол судьбы. Но мы только ждем возможности заплатить скорее штраф (рублей 250–300?) и развязаться с этой архидурацкой (но для нас действительно трагической) собачьей канителью.[4] У нас нерадостно в доме. Для Маруси собаки были, действительно, близкими друзьями. Она плачет ежедневно. Отравление собак она переживает как настоящее уголовное *свое* преступление. К довершению всех прелестей у нас в эту зиму в ее отсутствие жило 8 чел<овек> гостей и все на нашем иждивении, т<ак> к<ак> ничего нельзя было достать из-за заносов. И вот все Марусины запасы и дров, и муки, и сахара и т. д., все кончилось, а возобновить, благодаря «голода», уже ничего нельзя. Да и зима еще не хочет кончаться в Крыму, а топить уже нечем. Теперешний «голод» начинается при очень мрачных симптомах – хлебные пайки «лишенным голоса» не выдаются совсем. А их в деревне около 70 человек. Да и мы, несмотря на то, что голоса не лишены, хлеба не получаем тоже. (Нам еще ни разу не выдали.) Хотя я еще не очень доверяю серьезности нынешнего голода и думаю, что все разрешится после временной заминки.[5] Вот будущая зима – это страшнее и серьезнее.

Привет Марье Гермогеновне.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] 27 марта 1929 г. В. В Вересаев сообщал Волошину о М. И. Долгополове: «Он больше месяца был в Москве, вчера уехал в Харьков, там живет где-то в гостинице, узнать не мог. Но в Харькове много у Вас знакомых, там сможете его отыскать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 313, л. 54).

[2] М. И. Долгополов приезжал в Коктебель в конце декабря 1928 г.

[3] См. примеч. 4 к п. 407, примеч. 3 к п. 413.

[4] В постановлении прокурора Феодосийского района от 14 марта 1929 г. по рассмотрении двух заявлений Волошина утверждалось,

что «решение Нарсуда вынесено в соответствии с обстоятельствами дела, выясненными в судебном заседании 2-го февраля с. г. и что таким образом нет никаких поводов к принесению протеста как на решение Нарсуда, так и на определение Г. К. К Главсуда», и на основании этого постановлялось заявления Волошина «оставить без последствий» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 26, л. 12)

[5] 8 апреля 1929 г. Волошину было отправлено уведомление на бланке Феодосийского районного исполнительного комитета (за подписями ответственного секретаря Зеленского и делопроизводителя Горницкой): «Феодосийский РИК сообщает, что наравне со всеми трудящимися Вы имеете право на получение хлеба» (Там же, ед. хр. 13, л 5)

[6] М Г. Смидович.

425. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

6 апреля 1929 г. Коктебель

6. IV. 1929.[1] Коктебель.

Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Феодорович,

Низко кланяюсь и благодарю за послание XVII века[2] и стыжусь, что не могу сам ответить Вам на прекрасном языке того времени «за неграмотностью», ибо принимаю его на слух (и на чувство...). Спасибо, что отнеслись благосклонно к моему «Сказанию».[3] И посылаю Вам последнее мое стихотворение, посвященное «Матушке Владимирской»,[4] которое считал своим долгом Ей, считая немыслимым, чтобы русская поэзия ничем не откликнулась на явление Ее *Подлинного* Лика, такого прекрасного и совершенного, что я бы решился его сопоставить только с Сикстинской Богоматерью,[5] но с перевесом в пользу Владимирской.

Максимилиан Волошин.

[1] В автографе проставлена ошибочная дата «16. IV». На конверте почтовый штемпель оправления: «Коктебель. 6 4. 29».

[2] Видимо, речь идет о несохранившемся отклике С. Ф. Платонова на присылку поэмы «Сказание об иноке Епифании» (см п. 420).

[3] См примеч. 2 к п. 405.

[4] К письму была приложена машинопись стихотворения «Владимирская Богоматерь». См.: Т. 2 наст. изд С. 128–130, 675–676. О

впечатлении, произведенном на Волошина знакомством с иконой Владимирской Богоматери, см в его письмах к С А Толстой от 24 мая 1924 г., С. Ф. Платонову от 1 июня 1924 г. (Т. 12 наст. изд. С. 789, 797–799), п. 44.

[5] Имеется в виду картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна», с 1754 г. находившаяся в Галерее старых мастеров в Дрездене.

426. Н. И. ИВАНОВСКОЙ

9 апреля 1929 г. Коктебель

9/IV 1929. Коктебель.

Дорогая Надежда Ивановна,

Вы меня ужасно пугаете – возможностью «не приехать» к нам.[1] Пусть это не будет. Мы Вас ждем с терпением. Можно приехать не предупреждая. Мы никуда не уезжаем. И я, получив Ваше письмо, сегодня же поеду в Феодосию по разным зубным делам, чтобы с этим покончить до начала съезда гостей и до Вашего приезда. Это со мной (отлучки) бывает очень редко. Раза два в год. Хотя этого всего 40 мин<ут> на автомобиле. В случае, если Вы приедете <в> эти дни, Маруся меня сейчас же вызовет. Если у Вас окажется лишний час в Феодосии (хотя едва ли, т<ак> к<ак> Симферополь и Судакские автомобили – согласованы), то на всякий случай справьтесь обо мне у Неонилы Васильевны Успенской (Земская ул., д. 7). Это тот же квартал, где останов<овка> автобусов, но надо обойти его с тылу.

На суд 31/III мы совсем не поехали, т<ак> к<ак> у нас не было ни свидетелей, ни адвоката.[2] Последнее потому, что нашим адвокатом является Долгополов, и мы не считали корректным со своей стороны обращаться к кому-нибудь другому без его ведома. А он уехал на север, и мы даже не знаем ни его адреса, ни в каком он городе. Каков <бы ни> был приговор, но по исполнительному листу (121 р.) с нас уже взыскали, и мы уплатили с радостью и с облегчением душевным и только ждем второго листа (по первому процессу), чтобы окончательно развязаться с этим нудным вымогательством.

У меня в году только 4 месяца для моей (поэтической) работы, остальные целиком заполнены людьми. Поэтому я считаю, что в эти 4 месяца никто не имеет права меня отрывать от работы. Как раз в это время я работал над «Владимирской Богоматерью», которую Вам посылаю.[3]

121 р. за право не прерывать работы — это недорого.

Посылаю стихи не столько для Вас, Надежда Ивановна (потому что Вам все-таки надеюсь прочесть сам все написанное за эту зиму), сколько для Ваших хозяев.

С провиантом у нас дела несколько наладились, и потому Марусиной просьбы (картоф<ель> и прочее) можно и не исполнять, если это Вас затруднит.

Привет Борису Михайл<овичу>[4] и всему его семейству. Ждем Вас.

Маруся сама и напишет Вам, т<ак> к<ак> сейчас слишком захвачена разными домашними и садовыми делами. Крепко Вас целует.

Макс.

[1] 20 марта 1929 г. Н. И. Ивановская писала М. С. Волошиной из Симферополя: «Ужасно боюсь, что не попаду к вам в Коктебель, несмотря на страстное желание видеть вас обоих <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 191, л. 3 об.).

[2] По второму процессу, состоявшемуся в этот день в Старокрымском суде, Волошины были приговорены к штрафу в 240 р. в пользу истцов (Труды и дни-2. С. 421).

[3] См примеч. 4 к п. 425.

[4] Б. М. Овчинников.

427. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

9 апреля 1929 г. Коктебель

9/IV 1929.
Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

громадное спасибо за деньги.[1] Они пришли как раз в нужную минуту. Но в случае, если они не за проданные акварели, а

дружеская фикция (почему-то нам кажется, что ты сама их купила...), то позволь их считать просто займом, потому что нам очень хочется самим справиться с этим штрафом и выплатить его.[2] Из нескольких писем я узнал, что мои акварели выставлены на выставке акварелистов в поощренье и обращают на себя внимание.[3] Я понял, что это, конечно, не без твоего участия (вероятно, из тех, что прислал тебе в декабре?), и приношу тебе глубокую благодарность. Зима эта была для нас очень тяжела, как ты видишь из письма Маруси.[4] Все, что я писал тебе раньше в последних письмах о наших человеческих недоразумениях,[5] — это было только прологом и находится в психологической связи со всем последующим. И попытка отнятия дома, и все собачьи истории — все это следствие Андерсовских разговоров о нас.

Словом, современный быт окатил нас с головы до ног. Эту зиму мы никуда не уехали, чтобы мне получить возможность работать над стихами. Но обстоятельства сложились для работы очень неблагоприятно. Во время писания стихов я всегда нахожусь <в> повышенно нервном состоянии и склонен к припадкам яростного раздражения, обычно мне не свойственным. Поэтому я обычно и стараюсь в это время уединиться и изолироваться от событий. А этой зимой мы попали в самый буран сельских сплетен, судебных повесток, клеветы, наговоров, лжесвидетелей и т. д., вплоть до убийства наших милых, ласковых и ни в чем не повинных собак собственными руками,[6] до такой степени мы были в безвыходном положении. А когда собаки были убиты, то нам некого было и защищать. И мы и в суд не поехали на последние процессы и сложили оружие совсем. Платить штрафы гораздо проще, чем *судиться.* И мы прямо ожили, когда, наконец, дождались исполнительного листа и уплатили половину штрафа (121 р<убль>).

Посылаю тебе последние мои стихи, посвященные «Владимирской Б<ожией> М<атери>».[7] Крепко обнимаю тебя и Сергея Васильевича.[8]

Как его здоровье этой зимою? Как Ваши планы после его поездки за границу?[9]

Макс.

[1] 4 апреля 1929 г. А. П. Остроумова-Лебедева писала: «Посылаю Вам пятьдесят рублей за <...> проданные акварели из тех, кот<орые> мне прислал ты <...> для выставки, кот<орая> еще не состоялась и когда состоится – неизвестно. Больше продать не удалось – туго идет» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 48 об.–49). См. также п. 391.

[2] Речь идет о штрафе, который Волошины по решению суда должны были выплатить за собак, обвиненных в съедении баранов. См. п. 405, примеч. 7.

[3] Подразумевается выставка картин секции акварелистов Общества поощрения художеств в Ленинграде.

[4] Речь идет о письме М. С. Волошиной от 8 апреля 1929 г. (РНБ, ф. 1015, ед. хр. 518).

[5] В. П. Андерс и А. К. Щукина. См п. 269, 358.

[6] Из волошинских собак уцелел пес по кличке Юлахлы. Согласно письмам В. М. Зуммера, он был увезен сначала в Харьков, а затем в Святошин. В письме от 17 марта 1929 г., Зуммер сообщал Волошину· «Вчера один из сотрудников нашего Музея, у которого кстати и еще было дело в Киеве, увез Юлахлы – можно думать, сегодня он уже во дворе в Святошине» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 428, л. 18). В открытке (почтовый штемпель – 20 марта 1929 г.) он уточнял: «Только что вернувшись из Киева, мой юноша заверил меня, что Юлахлы он собственнолично отвез и водворил в Святошине» (Там же, л. 19) 4 октября 1929 г. Зуммер снова рассказывал Волошину о Юлахлы, которому дали новую кличку Серый, и он стал служить комнатной собакой у заведующего в военной санатории (Там же, л. 22).

[7] См примеч 4 к п. 425.

[8] С В. Лебедев.

[9] См. примеч. 7 к п. 391.

428. М. С. ВОЛОШИНОЙ

10 апреля 1929 г. Феодосия[1]

Среда. 10/IV 1929. 10 ч<асов> утра.

Милая Маруся, ты можешь приехать *2 раза*: I-ый на 2 дня, второй на один, чтобы вставить.[2] Я, *мож<ет> быть,* буду свободен завтра, но вернее послезавтра, и сейчас же приеду. Анализ дал *Ландсбергу*, у Славолюбова буду сегодня вечером.[3]

Нилушка[4] очень рада, что увидится с нами в Феодосии, т<ак> к<ак> она хотя в отпуску, но страшно занята и хотела заехать только на день.

Целую тебя крепко.

Max.

P. S. У Бермана очередь небольшая.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления. Феодосия. 10. 4. 29. 9 апреля 1929 г. Волошин приехал в Феодосию для медицинского обследования.

[2] Подразумеваются намеченные посещения дантиста Н. Н. Бермана.

[3] Провизор Эммануил Абрамович Ландсберг (1870–?) и врач Михаил Сергеевич Славолюбов

[4] Н. В Успенская.

429. М. С. ВОЛОШИНОЙ

10 апреля 1929 г. Феодосия[1]

10/IV 1929. Вечер. 9 ч<асов>.

Милая Маруся,

Ну вот: был у Славолюбова. Нашел мое общее состояние хорошим. Головные боли происхождения артритического, а не склероз. Анализ – белок 0,8 %. Кислоты очень уменьшились. Славолюбов говорит, что все это нормально и повышение белка не выходит из нормальных колебаний. Давление крови измерить не удалось, т<ак> к<ак> «груша» во время операции лопнула. Берман обещается все окончить у меня завтра, но приеду я все-таки послезавтра, т<ак> к<ак> автобусы теперь уходят раньше, т. е. в 9½, а не в 11 ч<асов>.[2] Ты должна приехать 2 раза. В первый на 2 дня, во второй – на один.

Липочка[3] хотела завтра ехать в Коктебель, но по целому ряду соображений мы эту поездку отложили. Объясню после. Чувствую себя очень хорошо.

Целую.

Макс.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Феодосия. 11. 4. 29.

[2] Волошин возвратился в Коктебель утром 12 апреля.

[3] О. Н. Сербинова.

430. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

14 апреля 1929 г. Коктебель

14/IV 1929. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

спешу ответить сейчас же на Ваше письмо, а подробную справку о нашем собачьем деле пришлю через 2–3 дня, т<ак> к<ак> ее надо составить и переписать.[1]

За предложение денег очень благодарю Вас.[2] Половину мы уже уплатили (120). Остается еще около 100. Наши летние друзья хотели непременно собрать всю сумму между собой и прислали уже часть. Но эту сумму мы не хотим принимать как дар симпатии и дружбы, на чем настаивают они. А, напротив, хотим все эти деньги добросовестно выплатить в рассрочку всем внесшим свою долю (за исключением, разумеется, денег, вырученных за продажу и розыгрыш моих акварелей). Но сейчас время общего безденежья, и я знаю, что харьковские наши друзья, высылая нам 130 р., заняли их временно у совершенно нам незнакомой акушерки. А такие суммы мы хотим уплатить немедленно. Поэтому я буду Вам очень благодарен, если Вы сможете нам одолжить теперь же 100 рублей, которые мы погасим в течение лета. А ими немедленно погасим наши долги малознакомым и малоденежным.

Что же касается Вашего предложения довести все это дело до газеты, то я очень благодарен Вам за это намерение, но очень прошу Вас этого не делать.

Вы знаете, что я отношусь к *«газете»* и к тем, кто ее составляет, очень отрицательно, к современному же их духу особливо. (Логическое следствие моего отношения к сплетням вообще.) Мне не хотелось бы в этом случае обращаться за помощью к моим постоянным врагам. И кроме того, меня уже приучили к тому, что всякое печатное упоминание моего имени влечет за собою немедленные ушаты помоев, выливаемых на мою голову. И в данном случае я боюсь не только за свою «репутацию», а за существование моего «приюта для писателей и художников», если вести о нем дойдут до прессы: я не имею никаких данных рассчитывать на лучшее отношение с

ее стороны к моему делу, чем со стороны местных чабанов, сельсовета или ресторатора. Тем более, что я «писателей» отнюдь не смешиваю с «журналистами».

Кроме того, мне очень претит попасть в современную полосу самокритики и чистки сов-аппарата.

Дело кончено и никакому пересмотру не подлежит.

Но взятое как совершившийся юридический факт (вне всяких личных претензий и жалоб) я считал бы очень полезным довести его до сведения лиц, организовавших и продолжающих организацию всего нашего судебного аппарата. В этом случае оно может принести свою пользу. Всякое же административное и газетное вмешательство в частный случай гражданского процесса мне представляется вредным во всех отношениях. (Другое дело в процессе уголовном или политическом. В этом смысле я и составлю свою записку о нашем собачьем деле.[3])

Судьей в первом процессе[4] действительно был Станков. Но теперь он уже смещен и, по слухам, будет заведовать в Коктебеле кооперативом. На второй и третий процесс[5] мы не ездили и кто судил, не знаем. Но исполнительный лист, нам предъявленный и уплоченный, был именно по II и III искам.

После первого процесса Мар<ье> Ст<епановне> пришлось возвращаться в коктебельском обозе (возили камень) часа три. Это не были грубости. А скорее добродушные мужицкие шуточки: «Что, припаяли Вам собачек-то? Любите? Жалеете?... Ну вот и теперь и заплатите сто рубликов... Будете еще собачек прикармливать». Это было «не по злобе», но большинство было Марусиных пациентов, которых она года четыре бесплатно лечила и снабжала лекарствами. У Маруси повышенное чувство человеческой вины перед зверем. А у крестьян какая-то обида на то, что «собак кормят». Чабаны и на суде говорили, что наши собаки потому рвут овечек, что они сытые... Тут столкновение двух психологий. Но тут психология не крестьянская, а болгарская. Болгарин ни собаку, ни корову, ни овцу принципиально не кормит. И обижается, если видит, что кто-нибудь кормит. Но для Маруси эти добродушные болгарские шуточки кончились тяжелым нервным заболеванием.

Вы спрашиваете, сколько народу у нас жило эти годы?[6] За сезон 27 и 28 годов проходило по 500 человек, считая тех, что ночевали под нашим кровом. С экскурсиями значительно больше. А в общем с 1923 года через наш дом прошло 2½ (две с половиной) тысячи. Если же считать лишь тех, что жили у нас месяцами, то, конечно, меньше.

Наши суды кончились, и мы этому радуемся глубоко. Никаких пересмотров мы не хотим. Хотим только одного права: не думать и не слыхать ничего больше ни о барашках, ни о чабанах.

Привет Марье Гермогеновне.[7] Спасибо за все.

Максимилиан Волошин.

Прилагаю новое стихотворение.[8]

[1] Письмо В. В. Вересаева к Волошину от 6 апреля 1929 г. содержало предложение: «Напишите мне письмо с подробным фактическим изложением дела с собаками, всего, что Вы знаете о юридич<еских> его неправильностях, о хохоте деревни по поводу приговора, о гражданине из Двухъякорной, о к<отор>ом мне рассказывала в Харькове Мария Степановна, сообщите фамилию судьи (Станков?), сообщите основания новых исков, их результат <...> Я попытаюсь провести всю эту историю в печать, передам Ваше письмо, как материал, Кольцову или Рыклину. Желательна яркая картина во всех деталях, — описание количества и вида Ваших грозных псов, смогших в одну ночь сделать дело, могшее быть под силу лишь десятку волков, вопрос, — как же этому не помешали чабаны? Второе. как же эти самые чабаны, подлежавшие ответственности, вдруг оказались в роли истцов? И вообще все это Желательна копия с постановления суда, — ведь Вы ее должны были получить» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л 58–58 об. В тексте упомянуты Михаил Ефимович Кольцов (наст. фам. Фридлянд; 1898–1940), журналист, публицист, общественный деятель, и Григорий Ефимович Рыклин (1894–1975), журналист, прозаик).

[2] В том же письме Вересаев заявлял: «... я с радостью вышлю Вам 200–300–400 руб., сколько нужно для ликвидации этой подлой истории и для обретения хотя бы некоторого душевного спокойствия».

[3] Вересаев отвечал 17 (? — дата в автографе записана неясно) апреля 1929 г.: «Я ведь предлагал Вам прислать подробное описание Вашего процесса, чтоб попытаться провести его в печать Раз же Вы против этого, то незачем принуждать себя и, преодолевая отвращение, описывать его» (Там же, л. 56).

[4] См. примеч. 3 к п 378.

[5] См. примеч. 4 к п. 407, примеч. 2 к п. 426.

[6] «Сообщите <...>, – писал Вересаев Волошину 6 апреля, – сколько человек прошло через Ваш дом отдыха в последние два года».

[7] М. Г. Смидович.

[8] К письму был приложен машинописный текст стихотворения «Владимирская Богоматерь».

431. М. С. ВОЛОШИНОЙ

16 апреля 1929 г. Коктебель[1]

16–IV–29. Вторн<ик>. 3 ½ <часа>.

Милая Маруся, получил твою открыточку[2] и уйму писем. (Два дня ничего не было). Очень хорошие письма от Звягинц<евой>, Сони Тюлиной, Зум<мера>. Перевод от М. А. Паз<ухиной> (100), Златогоровых, Над<ежды> Ив<ановны>[3] (будет к Пасхе) и Коли Лимарова, кот<орый>, очевидно, твоего письма не получил. У нас все благополучно и нормально: мяучат голодные коты (кормлю), болит поясница, пишу стихи («Серафим»[4]), читаем. Грущу, что на день задерживаешься. Но за Нилушку радуюсь и ей охотно тебя уступаю.[5] Дома не топлю.

Судака доел. До твоего приезда буду голодать.

До свиданья (в четверг утром?).[6] Крепко целую Нилушку на прощанье. Довольна ли она осталась прощальными подарками?

Макс.

Пришло извещение на посылку от Котляревских, но самой посылки еще нет.

[1] Открытка. Почтовые штемпели получения: Феодосия. 16. 4. 29; 17. 4. 29. Отправлено по адресу Н. В. Успенской.

[2] 15 апреля 1929 г. М. С. Волошина писала Волошину из Феодосии: «очевидно, я задержусь и смогу приехать только в четверг. Оказалась лишняя работа с зубами <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л. 34). 14 апреля она приехала в Феодосию для лечения зубов.

[3] Н. И. Ивановская.

[4] Подразумевается завершающая работа над поэмой «Святой Серафим».

[5] Н. В. Успенская. Во время пребывания в Феодосии М. С. Волошина помогала ей укладывать вещи перед переездом в Ленинград (куда уже перебрался ее муж, В. А. Успенский) (Труды и дни-2. С. 423).

[6] М. С. Волошина возвратилась в Коктебель 18 апреля.

432. М. А. ПАЗУХИНОЙ

20 апреля 1929 г. Коктебель

Коктебель. 20 – IV– 29.

Дорогая Марья Александровна,

большое спасибо Вам за посылку, за деньги и за продукты. Но не обидьтесь и не рассердитесь на нас, если мы одновременно возвращаем Вам деньги. Дело в том, что сумма присылаемых нам со всех сторон денег уже превысила сумму, нужную для уплаты по исполнительному листу.[1] Мы же с самого начала решили обратиться к друзьям *только* за займом нехватающей нам суммы. Часть (нами уже уплаченная – 120 руб.) у нас уже была: мне ведь в этом году посчастливилось продать на крымских выставках акварелей на 150 руб. Не уплачен второй исполнительный лист (100–140 р.?). Об этой сумме мы сговорились заранее с тетей Сашей,[2] которая обещала ее собрать в Харькове, а мы вернуть ее в течение лета. Кроме того, еще и Анна Петровна[3] прислала деньги за акварели, проданные в Петербурге. Но сейчас (очевидно потому, что и мы сами никому не писали и не просили) мы стали получать деньги решительно со всех сторон и городов. И нам не остается ничего иного, как с глубокой благодарностью возвращать все лишнее, видя в этом факте только проявление общей дружбы и любви к нам.

Наш голодный кризис был ликвидирован так же быстро, как и денежный: дело в том, что нам перестали выдавать хлеб, сахар и др<угие> продукты одновременно с тем, как Маруся обнаружила полное истощение наших запасов за эту зиму. (Много неожиданного народа, а также широкая рука и непредусмотрительность тети Саши.) Это длилось не больше двух недель. Нас выручили трогательные посылочки Кайки-

ной матери и Аси[4] (корки черного хлеба и фунт сахару и манной крупы). А теперь на нас посыпалось столько со всех сторон (и от Вас, и от Шервинских, и от Котляревских, и от Великановой...), что наши необходимые в Коктебеле запасы не только восстановлены, но и превысили те, что у нас были. Теперь нам уже больше не надо ни денег, ни посылок, т<ак> к<ак> все излишнее от Диавола. И копить на черный день мы не собираемся. Ася и Кайкина мать нам дважды присылали за эту зиму «хлебных корок», за что мы им глубоко признательны. Асе я, конечно, ничего не поручал, но на ее частые письма отвечал краткими бюллетенями о ходе коктебельских дел. Я нисколько не сомневаюсь в добрых намерениях Аси. Но Вы сами знаете, какая она нелепая и бестактная... До Вашего письма нам писала об Асе уже Валькирия.[5] Все ссылки на Д<олгополова> нам непонятны[6] потому, что мы его не видали с декабря, а с конца января и письма мои его найти не могут. Он кратко писал мне из Москвы в марте в ответ на одно из моих январских писем,[7] и это была последняя весть от него, а где он теперь, я не знаю совсем.

Представляю себе, сколько надо наговорить и наделать глупостей!! О том, чтобы она не жила в Коктебеле, и речи быть не может: ее вещи остались у нас, и она уехала в Москву лечиться и возвращается «к себе». В ее добром отношении к нам мы не сомневаемся, а в ее внимательности убедились. Если она таки наделала *непростительных* бестактностей (мы ведь ничего не знаем), то пусть москвичи с нею сами поговорят. Вы ведь знаете, что мы принимаем КАЖДОГО, кто к нам приходит и кому мы нужны. Для нас одна из самых трудных и мучительных задач – это примирять различные интересы или, вернее, симпатии живущих <у> нас. Не заставляйте нас идти против нашего чувства справедливости. Не ставьте нам ультиматумов. Если можете, простите, а если нет, то поговорите сами с нею (но вне Коктебеля).

Не обижайтесь, что мы возвращаем деньги и отказываемся осуждать А<сю>. Крепко обнимаю Вас<илия> Алекс<андровича> и детей.[8] Когда Вас ждать: в начале ли лета или в конце?[9]

[1] Подразумевается уплата штрафов, наложенных Старокрымским судом по искам чабанов.

[2] А. Л. Домрачева.

[3] А П. Остроумова-Лебедева.

[4] К. М. Зелинская (мать К. К. Зелинского) и Р. М. Гинцбург.

[5] В. П. Остроумова. В письме к М. С. Волошиной от 5 апреля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 224, л 61–69 об) М. А. Пазухина высказывалась о Р. М. Гинцбург, выражая общее мнение московских гостей Коктебеля: «. .мы все хотим просить Вас обоих, чтобы хозяйки Кандибобера в этом году у Вас не было, потому, что если Макс<имилиан> Ал<ександрович> ничего не боится, то другие люди – простые смертные этого боятся, и Макс<имилиан> Ал<ександрович> не имеет права рисковать своими друзьями, кот<орые> его искренне любят». Главный аргумент Пазухиной в данном случае – указание на «Бориса Георгиевича» (иносказательное обозначение в узком кругу репрессивных органов): «Особа эта аналогична Бор<ису> Георг<иевичу>, и оба эти факта верны. Всей истории Вашего дома Вы обязаны ей и только ей, и кроме того, она сейчас занята провокацией среди нас – в результате то, что Ваши друзья боятся посылать Вам даже посылки, и мы пришли к одному решению в этом направлении». Сходного содержания – письмо В. П Остроумовой к М. С. Волошиной от 2 апреля 1929 г.: «...сердись не сердись, а позволь тебя и Макса просить не приглашать к себе Асю, на это есть очень веские данные. Все этого не хотят и многие даже не приедут, если эта особа будет у вас. Если увидитесь с Долгополовым, то он расскажет вам причину всеобщего возмущения. Напрасно Макс пишет ей о голоде и прочих вещах, она очень странно себя держит, ко всем лезет и всем навязывается со своими услугами якобы по оказанию помощи вам, в которых никто не нуждается. Ты прости, что я так прямо пишу, но я вынуждена к этому немаловажными фактами» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 218, л. 38–38 об.).

[6] В цитированном выше письме к М. С. Волошиной Пазухина замечала о Р. М. Гинцбург: «Думаю, что Д<олгополов> сообщил и Вам, будучи у Вас, как и нам о том, что он узнал об этой особе, и если Вы и в этот раз не верите, тогда, конечно, Вас ничем не убедишь».

[7] Имеется в виду письмо М. И. Долгополова из Москвы от 20 марта 1929 г., в котором в очередной раз затрагивался вопрос о тяжбе Волошина с коктебельскими чабанами (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 509, л. 46–47 об.).

[8] В. А. Пазухин и сыновья его и М. А. Пазухиной – Александр и Вадим.

[9] Пазухина приехала в Коктебель с сыновьями и еще двумя знакомыми 23 июля (Труды и дни-2. С 433).

433. Н. И. ИВАНОВСКОЙ

23 апреля 1929 г. Коктебель

23 – IV – 29.

Дорогая Надежда Ивановна,

немедленно после получения Вашего письма[1] мы съездили (сперва я, а потом Маруся) в Феодосию, чтобы там справить наши зубные дела[2] (единственное, что нас иногда уводит из дома). Теперь мы оба не собираемся покидать Коктебеля до осени и потому готовы Вас принять каждую минуту. Ждем Вас со дня на день ежедневно вместе с Борисом М<ихайло-ви>чем.[3] Наши провиантские дела теперь совсем поправились: из Москвы получили и здесь нам стали выдавать. Так что те Марусины просьбы – не исполняйте, пожалуйста: у нас все есть. Не могу исполнить сейчас просьбы Бор<иса> Мих<ай-ловича> о «Dmetrius Imperator»[4] – нет списков. Посылаю пока других стихов, что нашлись в дубликатах. Ждем Вас обоих непременно.

Всем привет.

Макс.

[1] В письме к М.С. Волошиной из Симферополя от 7 апреля 1929 г. Н.И. Ивановская сообщала о намерении приехать в Коктебель – «взглянуть на Вас хотя бы одним глазком» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 191, л. 6 об.), а в письме от 21 апреля указывала даже точную дату приезда – 8 мая (Там же, л. 1). Поездка не состоялась: 24 апреля Ивановская сообщила Волошину о своем предстоящем скором отъезде в Москву (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 589, л. 10–11 об.).

[2] См. п. 428, п. 431.

[3] Б. М. Овчинников.

[4] Стихотворение Волошина (1917), опубликованное в его книге «Демоны глухонемые» (1919).

434. Н. И. ИВАНОВСКОЙ

24 апреля 1929 г. Коктебель

24 – IV – 29.

Милая Надежда Ивановна,

позабыл Вам написать:[1] сейчас симферопольский и коктебельский автобусы не согласуются, это было прошлой осенью. Коктебельский автобус выходит из Феодосии от вокзала в 9½ утра и согласуется с поездом, который приходит около 8-ми, и в случае его запоздания ждет. Кажется, с этим же поездом приезжают и из Симферополя – справьтесь. Не теряю надежды на приезд Бориса Михайловича.[2] С продуктами у нас сейчас все благополучно, и поэтому просим ничего не привозить. <...>

Макс.

[1] Добавление к п. 433.
[2] Б. М. Овчинников.

435. С. Н. ДУРЫЛИНУ

30 апреля 1929 г. Коктебель[1]

30. IV. 29.

Х<ристос> В<оскрес>![2]

Милый Сережа, твое письмо пришло сегодня – последний день апреля.[3] Эти дни весна начала робко чувствоваться и в травке, и теплоте солнечных лучей. Словом, наступила нормальная февральская погода, и душа оттаивает. Конечно, это большое счастье, что люди не имеют власти на<д> сезонами. Но некоторое постоянное соответствие между течениями человеческой жизни и отступлениями от норм природы – есть. «Погода» всегда является отдаленным аккомпанементом исторических событий и состояний. И эта зима мне во многом напоминала зиму 20/21 года – зиму «Освобождения Крыма». Завершается 10-летний период.

Никаких цветов еще нет, нет еще ни листвы, ни почек, никакого цветения. Но на душе все-таки лучше.

Приводим себя в порядок самовнушениями (по Куэ. См. стихотворное приложение: Заклинание Марусе[4]). Это я ей читаю ежедневно на сон грядущий, и действует очень хорошо.

Другое стихотворение – это «Владимирская Богоматерь», которую я мечтал написать еще с 1924 г., когда впервые увидел Ее подлинный Лик.[5] Это открытие Ее первичного Византийского Лика XI в. я считаю величайшим событием Европейского Искусства, не считаясь высоким символом для России, и у меня было чувство поэтического долга ответить на него стихами. Удалось ли – судить не мне.

Буду с величайшим напряжение<м> ждать твоей оценки и критики.[6] За все замечания о Епифании громадное тебе спасибо.[7] Я их принимаю все и всё исправлю немедленно. Ведь все это я писал по слуху (вне знания грамматики), и ошибки неизбежны и спросить некого (это об ударения<х>).

Работаю исподволь над «Серафимом».[8] Вот очень важный для меня вопрос. Ставит ли Православие разницу между понятиями Сатаны и Дьявола. Нельзя ли их рассматривать как 2 ипостаси зла, как Аримана и Люцифера, употребляя термины Байрона и Штейнера? Мне кажется, что это было бы правильно и законно. Но в католичестве этого нет. Хотя бы казалось...[9] Поговорю летом с Сережей Сол<овьевым>.[10]

«Мурановский Сборник» получил и <с> большим интересом прочел все подписанное С. Д. Пишу Тютчевым завтра.[11]

Спасибо за вести о моих «неведомых» читателях.[12] На днях мне Вера Клавд<иевна> писала, что встретила в трамвае неизвестного гражданина, который во всеуслышанье заявлял, что признает из поэтов «только Верхарна, Волошина и Уткина (!)», и оказался следователем из Армавира.[13] Всякие вкусы бывают. Но то, что ты мне пишешь, глубоко меня умиляет.

Крепко обнимаю и целую тебя и Ирину.[14]

Маруся тоже. Маслины пришлем непременно.

Макс.

[1] В мемуарно-дневниковом своде «В своем углу» С. Н. Дурылин записал: «Письмо от Макса, с двумя акварелями, – к празднику. Получено в четверг на Святой» – и привел текст этого письма с двумя сокращениями. См.: *Дурылин Сергей* В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 727–728.

[2] Пасха в 1929 г. – 5 мая.

[3] Подразумевается письмо С. Н. Дурылина (пасхальное) от 21 апреля 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 46–48 об.).

[4] К письму был приложен текст стихотворения «Заклинание» («Закрой глаза и разум угаси ..», 21 марта 1929, с посвящением: «Марусе»). См.: Т. 2 наст. изд. С. 126–127.

[5] См. примеч. 4 к п. 425. Икону Владимирской Богоматери, расчищенную от поздних записей, Волошин увидел 15 мая 1924 г. в московском Историческом музее. См.: Т. 12 наст. изд. С. 789–790.

[6] В свод «В своем углу» Дурылин включил свое ответное письмо Волошину от 19 мая 1929 г. (с сокращениями; см.· *Дурылин Сергей*. В своем углу. С. 728–732), содержащее отзыв о «Владимирской Богоматери»: «Порадовал ты меня своими стихами Они не только превосходное создание русского поэта, но и подвиг честного русского человека. Я читал их со слезами. <...> Вообще, к празднику дал ты красное яичко! – давно русская поэзия красного яичка не получала, – и вот, оно из твоих рук!», – а также развернутую критическую оценку двух фрагментов-четверостиший из этого стихотворения с предложениями уточнений и изменений в тексте (С. 728–730). Волошин при доработке «Владимирской Богоматери» указанные фрагменты из текста изъял (см.: Т. 2 наст. изд. С. 627).

[7] См. примеч. 9 к п. 415. Имеется в виду следующий фрагмент из упомянутого письма Дурылина: «Мелкое замечание одно: ты сохранил славянские aorist'ы, но обрушил их ударениями (ради размера), – однако, это не принимается ухом:

Потре́бная в моли́твах. А́з изы́дох.

5-ст<опный> ямб. Но по-славянски не "изы́дох", а непременно "изыдо́х". Никак иначе нельзя сказать.

Мою и твоея не сохранила келейку. И́дох...

Опять: "идо́х" надо, а не "и́дох". И смущает меня еще: "мою и твоея...": какое же здесь соподчинение слову "келейку"?

На площади мне секли. Внидох паки.

Опять надо: "внидо́х"».

В первом и третьем из приведенных Дурылиным фрагментов «Сказания об иноке Епифании» Волошин исправлений не сделал, второй фрагмент в окончательной редакции: «"Келейку // Мою и Твоея не сохранила?" Идох» (Т. 2 наст. изд. С. 92).

[8] Поэма «Святой Серафим».

[9] Дурылин отвечал Волошину 19 мая: «На твой вопрос об Аримане и Люцифере, кажется, нужно ответить, что Люцифера (в Байроно-Штейнеровском смысле) православие не знает (как и католичество) <...> во всех случаях <...> утверждается, что это примирение с Богом невозможно, ибо в Дьяволе нет вовсе света и добра. Лермонтовское определение Люцифера: “Он был похож на вечер ясный: // Ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет” (стало быть, и свет, и день в какой-то доле) – совершенно не приемлется, сколько я знаю, ни догмой, ни преданием, ни прологами, ни даже народными сказаниями: Дьявол – зло сплошное, но разнствующее по *густоте*: от злого губительства до мелкого пакостничества, но по существу – одно и то же <...>» (*Дурылин Сергей.* В своем углу. С. 730–731. Неточно процитированы заключительные строки части I поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон»).

[10] С. М. Соловьев летом 1929 г. в Коктебель не приезжал.

[11] См. примеч. 6 к п. 415. Волошин получил «Мурановский сборник» от внуков Ф. И. Тютчева – директора и хранителя музея в Мураново Н. И. Тютчева и его брата Ф. И. Тютчева.

[12] В упомянутом письме Дурылин сообщал: «Я встретился здесь с человеком, к<оторо>го не видал с 1918 г. И представь, он стал мне сразу читать наизусть твои стихи о России. <...> Таких людей, полузнаемых и вовсе не знаемых, которые, поговорив немного, сразу же начинают читать твои стихи, я за эти 2 года встретил несколько. Брюсов вряд ли мог бы похвалиться такими читателями».

[13] Пересказ фрагмента из недатированного письма В. К. Звягинцевой: «А один человек (случайный) из прокуратуры Армавира сказал, что любит “Верхарна, Волошина и Уткина...” <...> он со мной в трамвае разговорился и объявил о любимых поэтах» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 561, л. 28 об.).

[14] И. А. Комиссарова.

436. Е. К. ГЕРЦЫК

8 мая 1929 г. Коктебель

8. V. 29. Коктебель.

X. B.![1]

дорогая Евгения Казимировна. У нас, наконец, наступила весна, и тепло, и еще никого нет из гостей. Блаженные дни отдыха и растворения. Все зимние истории – морально – при-

забылись, материально — ликвидированы. Штрафы уплачены.[2] Сердце снова готово принять людей, которых пошлет судьба со всеми их горестями, слепотой, неумением жить, неумением общаться друг с другом — со всем, что так мучит нас летом. Спасибо за все слова, что Вы говорите о моих стихах памяти Ад<елаиды> Каз<имировны>, но позвольте с Вами не согласиться относительно двух замечаний.[3] Первые строки о «правде» необходимы. Это первое, что обычно поражало в Адел<аиде> Казимир<овне>. Хотя бы в том, как она передавала другим ею слышанное. Она столько *по-иному видела* и *слышала* людей, что это было первое впечатленье ее необычного существа. Но для *Вас,* конечно, его не было. «Паркетн<ый> Зал» — необходимо художественно как контраст с последними строфами. И, в конце концов, фактически (сколько я помню Ваши московские квартиры разных эпох) не так уж неверно. Эта антитеза обстановки нужна. Посылаю Вам еще стихи написанные позже: «Владимирскую Богоматерь»[4] — стихи мне кажутся значительными в цикле моих стихов о России. Мне очень ценно Ваше мнение о них. Очень хотелось бы, чтобы Вы их переслали В<ере> Ст<епановне>.[5] Как прошел вечер творчества А. К.?[6]

Последнее время у меня частая тоска об общении со всеми отсутствующими и далекими. Я себе все эти годы не позволяю думать, но иногда это прорывается.

Кончаю это краткое письмецо. На сегодня ждет еще много обязательной корреспонденции, которая иногда меня изводит.

Привет, поздравленья и акварелики всем.

Максимилиан Волошин.

[1] В 1929 г. Пасха праздновалась 5 мая

[2] См. примеч. 2 к п. 427.

[3] См. примеч. 12 к п. 405.

[4] О стихотворении «Владимирская Богоматерь» Е. К. Герцык писала Волошину: «... я оч<ень> переживала Вашу хвалу Богоматери. Главное достоинство в том, что, читая и перечитывая, воссоздаешь в себе то чувство, кот<орое> рождалось там, глядя на нее. И именно хорошо, что мало описания *Ее* — даже больше описан Младенец — львенок, между тем из таких "софийных" строчек "Ты ушла по во-

дам синих рек", "ниц лежали кроткие царицы" и т.д. возникает Ее лик. Оч<ень> хорошо, что "из-под риз" и т.д – "заскорузя в скаредной Москве" – вообще очень хорошо показана Москва в противовес Ей, и через Византию, и через Москву пронесшую себя, Софию. Прекрасно посвящение Анисимову» (*Герцык Евгения*. Лики и образы... С. 527).

[5] В. С Гриневич.

[6] Е. К. Герцык сообщила Волошину о вечере в Париже, посвященном памяти А. К. Герцык: «Было оч<ень> многолюдно и все оч<ень> горячо отнеслись, но исполнение было, по мнению близких, не такое, кот<орое> воплотило бы Адю. Стихи ее читала искусная чтица (приятельница Алекс<андры> Вас<ильевны> <Гольштейн. – *Ред.*>, которая была душою всего), но слишком патетически и трагически Очерк о ней и Ваши стихи читал молодой поэт Цетлин, кот<орый> Вас знает и оч<ень> любит, но читал бледно Зато была прекрасная музыка – квартет лауреаток Парижск<ой> консерват<ории>, изящный зал и много, много друзей. Ах, как меня захватывает порой тоска по ним!» (Там же. С. 528).

437. А.С. ВОЗНЕСЕНСКОМУ

11 мая 1929 г. Коктебель[1]

11. V. 29. Коктебель.

Дорогой Александр Сергеевич, очень радуюсь получению Вашего второго письма, потому что с Вашим первым письмом произошла неприятная и непонятная вещь: конверт с Вашим адресом исчез у меня со стола во время предпраздничной уборки, и я не имел возможности Вам ответить, не списав предварительно Вашего адреса, что я имею возможность приютить Вас на июнь и июль.[2] А относительно августа – не знаю, т<ак> к<ак> тогда бывает очень тесно в доме. Но это увидим. Следовательно, буду ждать Вас с женой в июне, только *пораньше*, т<ак> к<ак> у нас к концу июня уже становится людно в доме. Привезите с собою матрацы или мешки для сена (если таковое будет), не забудьте захватить союзные билеты и свидетельства о доходах для самозащиты от налогов курортных. Напишите раньше о дне приезда и известите, если нарушите его. У нас ведь *не учреждение*, и потому соблюдает-

ся только *живая очередь гостей* по их приезду и нам важно знать точно время приезда гостей, для которых мы заранее сохраняем место. Буду очень рад Вас повидать и помню хорошо, как видите.[3]

Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] Письмо наклеено на лист в альбоме А. С. Вознесенского, подпись «Автограф М. Волошина».

[2] В письме к Волошину от 8 апреля 1929 г. А. С. Вознесенский, напомнив о давних встречах с ним «кажется, у П. К. Иванова», спрашивал о возможности для него с женой провести «месяца два в Крыму с 15–20 июня» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 354) Не получив своевременно ответа, Вознесенский повторно написал Волошину 7 мая (Там же).

[3] В ответном письме от 15 мая Вознесенский сообщил о намерении прибыть в Коктебель около 22 июня, но 1 июня оповестил о невозможности приезда из-за болезни жены.

438. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

13 мая 1929 г. Коктебель[1]

13. V. 29. Коктебель.

Милый Саша, спасибо за прекрасное письмо и за все указания.[2] Строфа с «фарватером» – блуждающая почка. Я не знал, где ее подшить. Ты указал точное место. А может, выкинуть? *Фарватер* всем не нравится, а мне жаль строфы.[3]

Впрочем, может тут-то и необходимо выкинуть?

Сейчас у нас зной. Весны не было. Фруктовые деревья не цвели. Очевидно, после морозов готовится засуха. Когда приедете?

Милая Наташа, пожалуйста, привези мне (или пришли с Валькишей[4] или с Катей С<орокиной> – кто раньше поедет) сандалии на лосиной или гуттаперчевой подошве (кажется, называется «гранитоль»), размер: длина 30 с<ан>т<и>м<етров>, ширина 11 с<ан>т<и>м<етров>. Лучше с каблуком плоским.

Милый Саша, привези мне (хотя бы прочесть) том Литер<атурной> энциклопедии, изд<анной> ГАХН'ом, где статья обо мне.[5] И (если возможно) таковую же Госиздата, где я назван «врагом народа».[6] Ты, вероятно, эти издания знаешь и имеешь.

Крепко Вас обоих обнимаем. Сейчас блаженствуем в полном безлюдье, тишине и зное.

Спасибо за письмо.

MAX.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 14. 5. 29; Москва. 17. V. 29.

[2] В недатированном письме (конец апреля – начало мая 1929) А. Г. Габричевский излагал свои впечатления от стихотворения Волошина «Владимирская Богоматерь». «Ты в этой вещи совершил невероятное. Ты расколдовал то Слово, которое стало плотью в иконе, и снова воплотил его в новой стихии и этим бесконечно обогатил и одухотворил нашу словесную плоть <...> здесь дело не только в твоем мастерстве, которое в этой вещи достигает, по-моему, своего высшего и самого напряженного цветения, но в "мудрости" этого мастерства, в его подлинной "умности", т. е. в акте чудесного перевоплощения. <...> Самое сильное и незабываемое – это, конечно, первые строки, посвященные самому образу <...> многие излюбленные тобою исторические слова-образы зажили именно в этой вещи (для меня по крайней мере) новой жизнью Мне кажется, что они только здесь получили свою окончательную поэтическую санкцию, может быть благодаря тому, что ты на них взглянул через Ее взгляд, "в тревоге и печали" <...>» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М : Сов. художник, 1992. С. 171).

[3] Речь идет о строках, впоследствии Волошиным вычеркнутых, между ст. 65 и 66 «Владимирской Богоматери»:

И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,
На порогах киевских ладьям
Указуя правильный фарватер.

(Т. 2 наст. изд. С. 627). «Скажи только, – замечал Габричевский в цитированном письме, – почему у тебя карандашная отметка относит четверостишие, кончающееся словами "правильный фарватер", к концу стихотворения. Это, наверное, описка, т<ак> к<ак> поэма, *конечно*, должна кончаться словами "Откровенья вечной Красоты",

а четверостишье это по смыслу скорее относится к началу описания пути иконы из Царьграда через Киев и т д., т.е после стиха: “Вся прошла перед Твоим лицом”? В чем тут дело – объясни» (Александр Георгиевич Габричевский.. С. 172. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 22 об).

[4] В. П. Остроумова.

[5] Подразумевается статья о Волошине в биобиблиографическом словаре «Писатели современной эпохи» (Под ред. Б. П. Козьмина. Т. 1. М.: ГАХН, 1928. С. 76–77). Книга вышла в свет в августе 1928 г.

[6] Имеется в виду статья о Волошине Г. Лелевича в «Большой советской энциклопедии» (Т. 12. М.: Советская энциклопедия, 1928. Стб. 818–819), содержащая следующие аттестации: «Октябрь разбудил в В<олошине> поэзию политических и социальных мотивов, но новая поэзия, отлившаяся на этот раз в энергичные, хотя несколько и архаические стихи, обрушилась на народ, “прогалдевший”, “пролузгавший”, “пропивший” Россию. <...> В<олошин> не нашел в себе сил для создания своих “Двенадцати”, и его поэзия чужда передовой современности» (Стб. 819).

439. Б. М. ОВЧИННИКОВУ

15 мая 1929 г. Коктебель

15. V. 29. Коктебель.

Дорогой Борис Михайлович,

с чувством глубокого возмущения (которое еще увеличилось, когда я получил устные комментарии) прочел я об Ударе Судьбы, Вас постигшем.[1] Такие вещи глубоко потрясают и возбуждают негодование.

А жизнь и быт таковы, что отовсюду об них слышишь и убеждаешься, что к тебе самому судьба крайне милостива и деликатна.

Очень сочувствую и до глубины понимаю Ваши слова о том, что энергия защищать других есть, а для себя – руки опускаются.[2] Понимаю всю глубину Ваших неприятностей, и те, о которых Вы пишете, и те, о которых не пишете. Желаю Вам всего лучшего и самого благополучного исхода для Ваших дел. Привет Ольге Андреевне[3] и всем Вашим. Очень мы

опечалены, что так и не удалось повидать Н. И.[4] Всего, всего лучшего.

Крепко Вас обнимаю.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 3 мая 1929 г. Б. М. Овчинников сообщал Волошину: «...я лично получил приказ выехать ни в какой иной день, как 5-го мая (выезжаю завтра) для продолжения моей профессиональной деятельности в деревню Булганак. Это – 25 верст от Симф<ерополя> по скверной проселочной дороге (автом<обиль> не проедет), *нет телеграфа*, почта 2 раза в неделю, 140 дворов, жители немцы (я по-немецки не говорю), жить негде, есть нечего. Ссылка? Кара? – Боже избави: honoris causa, как лучшую силу, лицом к деревне и т. д Срок этой меры социальной защиты – 2 месяца. Предлог – циркуляр. Причина – проделка товарищей-“конкурентов”. Санкция – объявление дезертиром и т. д. Мое решение: ехать и отбыть, а уже после уйти с открытым объяснением. Надо брать курс на Москву, пока здесь не съели» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 905, л. 11–11 об.).

[2] Подразумеваются слова Овчинникова из того же письма: «Мне выпало на долю большое счастье: я очень многих людей вытаскивал из беды и за других до сих пор умею бороться против несправедливостей, а вот защищать себя против такого явного глумления – нет никакой энергии».

[3] О. А. Овчинникова

[4] Н. И. Ивановская. Предполагавшийся тогда ее приезд в Коктебель не состоялся (см примеч. 1 к п. 433).

440. М. А. ТАРЛОВСКОМУ

17 мая 1929 г. Коктебель[1]

17. V. 1929. Коктебель.

Милый Марк Аркадьевич,

хорошо Вас знаю по рассказам Шенгели. Спасибо за «Иронический Сад», который очень ценю.[2]

Буду ждать Вас с радостью в июне.[3] Чем раньше, тем лучше. Не забудьте с собою захватить мешок для сена (ущерб матрацев) и документы для самозащиты от курортн<ых> налогов.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Керчь. Джанкой. 17. 5. 29.

[2] «Иронический сад» (М., Л.: Земля и Фабрика, 1928) – первая книга стихов М. Тарловского. Он выслал ее Волошину 13 мая 1929 г.; в сопроводительном письме, упомянув, что постоянно слышал от своих друзей, Г.А Шенгели и Н.Л. Манухиной, о «прелестях Коктебеля», спрашивал разрешения воспользоваться гостеприимством Волошина в июне «недели на три» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1174).

[3] О намеченном приезде в Коктебель «между 28 июня и 1 июля» Тарловский оповестил Волошина письмом от 14 июня 1929 г. (Там же). Он гостил в Коктебеле с 29 июня по 19 августа (Труды и дни-2. С. 431, 437).

441. С.А. ТОЛСТОЙ

17 мая 1929 г. Коктебель[1]

Милая хорошая Соня. Крепко тебя целую. Посылаю стихи.[2] Привет Ольге Константиновне.[3]

Макс.

[1] Приписка к письму М.С. Волошиной от 17 мая 1929 г., в котором она признавалась: «Зима у нас была кошмарная. Сейчас мы себя обрели и помогаем друг другу сохранить <...> Обрели мы покой работой над собой по методу Куэ самовнушения. Историю с гибелью собак я очень тяжело пережила Сейчас готовлю дом к приезду друзей: мою, белю, заколачиваю дырки и т. д.»

[2] Стихотворение «Владимирская Богоматерь» (см. примеч. 4 к п 425).

[3] О К Толстая

442. Б.М. ОВЧИННИКОВУ

19 мая 1929 г. Коктебель

19/V 1929. Коктебель.

Дорогой Борис Михайлович,

поздравляю Вас от всей души со счастливым исходом заболевания (соц<иального>).[1] Последня<я> черепица Вам на го-

лову очень меня взволновала за Вас (в свете полученных комментариев), и весть о том, что она сделала рикошет, очен<ь> для меня отрадна. Мы пока наслаждаемся тишиной и безлюдьем в ожидании нашей обычной человеческой страды.

Привет наш Ольге Андреевне[2] и всему семейству. Всегда будем Вам рады в Коктебеле.

Макс. Волошин.

[1] См примеч. 1 к п. 439 17 мая 1929 г. Б. М. Овчинников писал Волошину из Симферополя. «В один из первых же дней в Булганаке я заболел, и довольно остро: колит и печень. Дело решила местная вода из колодца, хотя и кипяченая – в чаю. <...> Булганакская больница выдала решительную справку, что там место для меня по условиям жизни и моему здоровью – неподходящее. Моя документация заметно поправилась, а здесь я учинил “консилиум” уже с участием офиц<иального> “судебно-медицинского эксперта”» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 905, л. 13–14). В следующем письме (от 28 мая 1929 г.) Овчинников извещал Волошина, что «вчера торжественно бросил профессию» и направляется в Москву (Там же, л. 15)

[2] О.А. Овчинникова.

443. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

6 июня 1929 г. Коктебель[1]

6.VI – 29. Коктебель.

Милый Саша,

в последней открытке я просил тебя привезти мне Литер<атурную> энцикл<опедию> ГАХН'а, где статья обо мне, и Сов<етскую> энцик<лопедию>, где меня обругали.[2] Теперь уже не нужно. Спасибо. Выписку из Сов<етской> энц<иклопедии> мне прислали, а Лит<ературную> энцик<лопедию> мне посылает Ирина К<арнаухова>.

Просьба же Наташе[3] о сандалиях на резиновой подошве (гранитоль, разм<ер> 30 с<ан>т<и>м<етров> на 11 шир<ина> – подошва) остается неизменной. У нас еще <ни>кого нет. Липочка[4] (с товарищи) в Кокт<ебеле>, но питание еще

развертывают. За речкой кишит Дом отдыха. Св<ятую> гору постановили срыть до основания в ближайшие годы.

У нас мир и тишина, и только ночами «курортники» приходят целоваться на берегу против дачи. Слыхал, что у Вас завелся Юра Бобылев о 6-ти пальцах.[5]

В Коктебеле он в свое время оставил нехорошую память в нашем доме.

Целую тебя и Наташу. Когда приедете? Отчего от москвичей ни слуху, ни духу. Ждем со дня на день Катю С<орокину> и Валькирию[6] – и ни слуха, ни духа. Где? Кто? Куда?

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 7. 6. 29; Москва 10. 6. 29.

[2] См. п. 438, примеч 5, 6.

[3] Н. А Габричевская.

[4] О. Н. Сербинова.

[5] Юрий Сергеевич Бобылев (1898 – после 1980), актер.

[6] В. П. Остроумова Она приехала в Коктебель с сыном 8 июня, Е. О Сорокина с дочерью и сыном – 20 июня (Труды и дни-2. С. 428, 430).

444. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

13 июня 1929 г. Коктебель

13. VI. 29. Коктебель.

Дорогой и глубокоуважаемый Сергей Феодорович,

на Ваше (и Кубасова) письмо[1] я уже ответил полным своим согласием и постараюсь Вашу просьбу относительно Пушкинского Дома удовлетворить полностью. Но в связи с этим вопросом мне давно хотелось бы поговорить с Вами лично.

Дело в том, что я являюсь *собственником* дома, мастерской, библиотеки и архива. Дом мой во все времена был и остается «Домом Поэта». Теперь, как и раньше, он был бесплатным приютом для поэтов и художников, и ученых (и их семейств). В годы Революции через него проходили и проходят толпы

разнообразнейших людей. И в общем все русские поэты моего периода прошли и жили под его кровлей за последние 36 лет (я живу в Коктебеле с 1893 года). Мы с женой бездетны, ни наследников, ни родственников у нас нет. И мы часто думали о том, кому наш дом попадет в руки после смерти нашей. И единственное учреждение, которому нам хотелось бы оставить его — после нашей смерти — вместе со всеми коллекциями (худож<ественными>), книгами и архивом это «Пушкинский Дом». Я вовсе не льщу себя иллюзией, что все оставшееся от меня будет представлять интерес исторический, но в моем архиве найдутся письма многих современников, и у меня хранятся бумаги и письма иных лиц, мне оставленных. Моя библиотека (французская) не изобилует ни библиограф<ическими> редкостями, не отличается полнотой, но она для России, по подбору книг, не банальна. У меня много папок с произведениями живописными — чужими и собственными.

Наконец Дом, состоящий из 30 ком<нат>, может дать приют в лето 500 челов<екам> гостей в среднем.

Я так долго и упорно звал Вас к себе эти годы, потому что мне хотелось бы, чтобы Вы все это видели своими глазами, чтобы иметь возможность поговорить с Вами обо всех этих делах. Я уж говорил об этом с моим ежегодным гостем Матв<еем> Никан<оровичем> Розановым, и он меня до известной степени обнадежил в этом направлении. Мне бы очень хотелось, чтобы этой осенью Вы не миновали моего дома, будучи в Крыму, чтобы поговорить с Вами на месте, как и о желательности такого посмертного дара, так и о способах осуществления его. Может, Вы и теперь смогли бы мне ответить, *возможно ли в принципе и желательно ли* осуществление такого плана. Я, разумеется, не хочу и не думаю ни о каких материальных выгодах от такого дара, так же как и теперь, превратив его в приют для поэтов и художников.

Получили ли Вы мое стихотворение о «Матушке Владимирской»,[2] вложенное в последнее мое письмо к Вам?[3]

Максимилиан Волошин.

P. S. Это вопрос частного характера, и пусть он *пока* будет между нами.[4]

[1] Речь идет об обращении С. Ф. Платонова и И. А. Кубасова (в письме от 21 мая 1929 г.) к Волошину с просьбой принять участие в организуемой в Пушкинском Доме постоянной выставке современных русских писателей и прислать для нее творческие материалы: «полное собрание напечатанных стихотворений», «несколько черновых и беловых автографов», «собственноручно написанную автобиографию, «ранние и поздние портреты» и т. д. (Максимилиан Волошин и академик С. Ф. Платонов С. 188).

[2] См п. 425, примеч. 4 В ответном письме от 20 июня 1929 г. Платонов сообщил: «Матушки Владимирской не видал. По-видимому, не дошло» (Там же). Позже, 3 августа 1929 г. Платонов сообщил Волошину, что «начал поиски» и нашел машинопись стихотворения «в Академии, в канцелярском столе» (Там же. С. 189).

[3] Платонов откликнулся на предложение Волошина в письме от 20 июня 1929 г.: «Письмо Ваше от 13. VI. получил и по указанию Вашему содержание его распространять не буду; в августе буду – надеюсь – в Крыму и тогда непременно направлюсь к Вам. От души сочувствую Вашему намерению» (Там же). Приезд Платонова в Коктебель не состоялся, а 7 сентября 1929 г. он признался Волошину: «В современном сочетании условий Ваше дело не вызовет интереса, и по совести скажу, с ним надо повременить» (Там же. С. 191).

445. Е. Я. АРХИППОВУ

14 июня 1929 г. Коктебель[1]

14. VI. 1929. Коктебель.

Дорогой Евгений Яковлевич,

Я очень виноват пред Вами молчанием.[2] Что поделаешь? Зимняя травля сменяется летней страдой. Чувствую себя окруженным все время тайной (и пока бессильной) враждебностью. Гостей у нас *пока* мало. Но очевидно скоро нахлынут в удвоенном количестве. Но пустота дома не создает свободного времени и люди в меньшем количестве отнимают каждый лишь еще больше времени. Я жду из Кисловодска в первых числах июля моего большого друга Всеволода Ивановича Попова[3] и прошу его, если у него будет в Новороссийске свободный час, – навестить Вас. Он будет для Вас симпатичен и интересен. Он не менее Вас бескорыстно предан интересам Русской

поэзии. Он друг многих поэтов. Когда-то читал курс в Томск<ом> Университете по русск<ой> библиографии. Теперь по болезни сослан в Кисловодск (*3-ной* порок сердца) и приедет в июле ко мне. Покажите ему Ваши сокровища и ценности. Вы друг друга сразу поймете. Это человек бесконечно милый, деликатный и отзывчивый. Простите, что ограничиваюсь этой коротенькой открыткой. У меня настроение мрачное, очевидно после налета фининспектора, который говорил со мной как проворовавшимся лавочником, уличенным в подлоге. И все это потому, что я не хочу *эксплуатировать* своего дома и сдавать комнаты за плату. Очень гнусно. Ну что ж — у каждого свое. Дружески Вас обнимаю. Не обижайтесь, что буду отвечать только открытками. Привет Клавдии Лукьяновне.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 15. 6. 29; Новороссийск. 18. 6. 29.

[2] Отклик на письмо Е Я. Архиппова от 27 мая 1929 г., в котором выражалось беспокойство в связи с отсутствием вестей от Волошина. О себе Архиппов в нем сообщал: «Мое положение без перемен с 1 II. Еще до передачи Вашего письма Наркому. <...> Места не дают. Гонят из Новор<оссий>ска и Черноморья, хотя увольнение решением Край-РКИ отменено. Можно ли поступать так? И за что? За чужое пошлое стихотворение, за злобные выдумки, будто я был близок к царскому двору (!!)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л 25).

[3] Приезд В. И. Попова в Коктебель отмечен Волошиным 13 июля (Труды и дни-2. С. 432)

[4] К. Л. Архиппова.

446. А. А. ВЕЛИКАНОВОЙ

19 июня 1929 г. Коктебель[1]

19. VI. 29. Коктебель.

Дорогая Ася, получили твою телеграмму. Очень рад, что все-таки решила ехать. Думаю, что для поправки Гены Коктебель все-таки лучше всяких Уралов.[2] Ведь там лето может быть и холодное и дождливое. А здесь сухость, зной и ветер — гаран-

тированы. Прости, что буду еще надоедать тебе поручениями. Мне необходимо пополнить свою гомеопатическую аптечку, и прошу тебя купить мне следующих гомеопатических средств в *крупинках*, если нет, то в порошках, и только в крайнем случае в каплях. (Невский 82).

Анонит ^{x3} и *Nux vomica* ^{x3} по 4 драхмы (1 унц<ия>).

Остальные по две драхмы (½ унц<ии>).

Arnica x 3	Фосфор 6	Cuprum x 3
Alumina x 3	Gamamelis θ	Plumbum x 3
Moschus x 3	Scutellaria ?	Platina x 3
Digitalis x 3	Belladonna x 3	Opium x 3
Кактус x 3		China x 3

Прости, что затрудняю тебя этими поручениями. Но все<го> этого нет в моих гомеоп<атических> запасах.

Ждем тебя и Гену.[3] Вот уж 2 дня, как в Коктебе<ль> начали приезжать люди. До сих пор было совсем пусто.

Крепко тебя обнимаем и целуем, Генку тоже.

Привет Лиде.[4]

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 20. 6. 29; Ленинград. 26. 6. 29. Из Ленинграда отправлено обратно в Коктебель.

[2] Гена – Г. Н Великанов, сын А. А. Великановой. О предстоящем приезде в Коктебель А. А. Великанова писала Волошину 1 июня 1929 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 329, л. 17–18 об.).

[3] Волошин отметил приезд А. А. и Г. Н. Великановых в Коктебель 27 июня (Труды и дни-2. С. 431).

[4] Л. П. Брюллова.

447. Н. С. БАРСАМОВУ

1 августа 1929 г. Коктебель

Дорогой Николай Степанович,

«Трасы» строят электростанцию[1] и снимают «культурный» слой около пристани. Уже погублен целый ряд погребений в каменных ящиках. Одно из них мы вчера раскопали с Ал. Ал.

Фоминым. Необходимо, чтобы кто-нибудь из археологов имел постоянное наблюдение (ежедневное) за земляными работами, ведущимися сейчас в Коктебеле, независимо от предполагаемой Вами экспедиции, и советую кого-нибудь прислать немедля. На днях начнутся работы рытья фундаментов в более глубоких слоях земли. Напоминаю Вам, что угол для Вас лично в нашем доме всегда найдется, как бы он ни был переполнен гостями и в любое время.

Максимилиан Волошин.

[1] У пристани Трассовых разработок в Коктебеле (минерал для производства цемента) было начато строительство котлована под фундамент электростанции.

448. Е. Я. АРХИППОВУ

11 августа 1929 г Коктебель[1]

11. VIII. 1929. Коктебель.

Дорогой Евгений Яковлевич,

Всеволод Иван<ович> Попов, о котором я Вам писал,[2] проехал к нам через Туапсе и потому не был в Новороссийске и не видал Вас. Теперь он на днях возвращается через Новороссийск.[3] У меня большая просьба к Вам: он очень болен (у него тройной порок сердца), всегда страшно его отпускать в путешествие одного. Не можете ли Вы встретить его на пароходе сами и потом проводить его на вокзал? О дне его прибытия будем телеграфировать. Всегда опасаешь<ся> за него участи Ин<н>ок<ентия> Феодор<овича>.[4] Чтобы Вы его могли признать на пароходе: он высокий молодой человек. Русый бритый с маленькими подбритыми усиками (запятыми). В левой руке он будет держать носовой платок. Вы его уже знаете подробнее из писем Лиды Брюлловой. Простите, что затрудняю Вас этой просьбой.[5] У меня, как всегда в это время, – страда. Народа видимо-невидимо. Здоровье – не ахти... – настроение – великолепно.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель 11. 8. 29; Новороссийск. 19. 8. 29.

[2] См. п. 445, примеч. 3

[3] Волошин отметил отъезд В И. Попова из Коктебеля 14 августа 1929 г. (Труды и дни-2. С 436)

[4] И. Ф. Анненский. Страдавший болезнью сердца, он скоропостижно скончался 30 ноября 1909 г. в Петербурге при входе в Царскосельский вокзал.

[5] 15 июня 1929 г Архиппов написал Волошину о своей готовности увидеть В. И Попова, а также сообщал о себе: «Положение мое (служебное и проч.) пока без перемен. Узнал я, что А В Лунач<арс>кий определил все, что со мной сделано, как “безобразие”, сделал надпись на бумагах. – “тов Страуяну” – а дальше пока ничего не известно . » (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр 207, л. 26–26 об.)

449. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

12 августа 1929 г. Коктебель

12. VIII. 29. Коктебель.

Дорогой Сергей Феодорович,

Ваше письмо меня очень обеспокоило.[1] Я очень рассчитываю на Ваш приезд и буду крайне огорчен, если он почему-либо не состоится. Мих<аил> Мих<айлович> Саранчин, который только что уехал от меня в Гаспру, многое расскажет Вам о моих соображениях. Нельзя ли соединить Вашу поездку в Симферополь с посещением Коктебеля? От Симф<ерополя> до Феодосии автобус идет 3 часа и от Феод<осии> до Кокт<ебеля> 40 минут. Было бы мне очень приятно, если бы Ваш приезд совпал с 17 авг<уста> — днем моих именин, когда в «доме поэта» обычно устраивается праздник, но, конечно, никакие деловые разговоры в этот день и на следующий невозможны. Я думаю, что с деловой стороны Ваше посещение Коктебеля необходимо, и его не следует откладывать. Я, конечно, не могу настаивать на этом, не зная состояния Вашего здоровья. Но думаю, что могу предоставить Вам отдых не хуже, чем в Гаспре. Для меня самого сейчас немыслимо вырваться

из Кокт<ебеля>, но зимой я рассчитываю быть в СПБ. Но хотелось бы, чтобы Вы видели все своими глазами.[2]

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о письме С Ф. Платонова от 9 августа 1929 г., в котором сообщалось: «Я в Гаспре с 1-ого числа, но в таком виде, что не могу до Вас добраться. Приехал туда больным и в такой мере слабым физически, что кроме служебной поездки в Симферополь 12–15 числа, никуда не решусь выехать...» (Максимилиан Волошин и академик С. Ф. Платонов .. С. 190). 15 августа из Гаспры Платонов ответил Волошину: «Я только что вернулся из Симферополя, сделав около 250 верст на машинах, и вижу, что при опасности быть снова вызванным туда, мне нельзя ни обязаться перед Вами поспеть к Вам, ни убедить себя, что мне по силам постоянные поездки...» (Там же).

[2] Планы поездки Волошина в Ленинград не осуществились.

450. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

15 августа 1929 г. Коктебель

Дорогой Константин Феодорович,

направляю тебе моего друга Всеволода Ивановича Попова, с которым я тебя познакомил. Он возвращается в Кисловодск, и, если возможно, приюти его у себя на ночь вместе с его спутником – Левой Бачинским.[1] Всев<олоду> Ив<ановичу> последние дни очень плохо, и Л. Бач<инский> должен его проводить до парохода. Жду тебя, как водится, к 17 авг<уста>.[2]

У нас утомительный людоворот. Привет Жозеф<ине> Густ<авовне>.[3]

Макс.

15. VIII. 29

[1] См. примеч. 3 к п. 448.

[2] День именин Волошина.

[3] Ж. Г. Богаевская.

451. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

20 августа 1929 г. Коктебель

20. VIII. 29. Коктебель.

Дорогой Сергей Феодорович,

ради Бога простите мне мою настойчивость. Я ни в каком случае не хочу обременять Вас лишнею усталостью и передвижениями. Я надеялся, что приезд Ваш станет только приятным эпизодом в прогулке по Крыму.[1] Матв<ей> Никан<орович> Розанов и Мих<аил> Мих<айлович> Саранчин, которые оба бывали у меня в доме Поэта, а сейчас вместе с Вами живут в Гаспре, — могут Вам многое рассказать о Коктебеле. А зимой я употреблю все усилия, чтобы самому приехать в СПБ и поговорить с Вами лично.[2]

Спасибо и простите.

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 449, примеч. 1.
[2] См. примеч. 2 к п. 449.

452. А. А. КИПЕНУ

9 сентября 1929 г. Коктебель.

9/IX 1929.

Дорогой Александр Абрамович,

Одновременно посланы Вам для выставки 42 акварели.[1] Все они ветошь малого формата (экономия бумаги), потому много. Не знаю, сколько вместится на 2½ метра. Решайте сами.

Пожалуйста, отберите для себя одну получше.[2] Не устаю поджидать к себе, но напрасно.

Приветствую. Обнимаю.

Максимилиан Волошин.

Приложение!

[1] Эти работы Волошин выслал для Пятой осенней выставки картин художественного Общества имени К К. Костанди, проходившей в Одессе с 6 октября по 10 ноября 1929 г. (приглашение Волошину: ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед хр. 44, л. 10). На внутренней стороне листа, в который были вложены акварели, – пояснительная запись Волошина:

«Цикл I. "Безмолвие глубоких влумин моря" 14 акв<арелей>.

Цикл II. "Ладья скользит вдоль темных берегов". 12 акв<арелей>.

Цикл III "Море глухо шумит, развивая древние свитки // Вдоль по пустынным пескам" 12 акв<арелей>.

Цикл IV. "Поля из мрамора и горы из стекла". 4 акв<арели>.

Всего 42 акв<арели>.

Цена по 20 рублей за акварель».

[2] 14 октября 1929 г. Кипен писал Волошину: «Спасибо Вам за очередной подарок· не осудите, если я не приму его при всей моей любви к Вам и к Вашей чудесной живописи. Мне просто совестно так злоупотреблять Вашей добротой». В том же письме Кипен сообщал: «Все Ваши работы получены в прекрасном состоянии и, как всегда, будут иметь большой успех. <...> Вот что мы придумали сначала мы выставим 18 Ваших акварелей. Затем, в течение выставки, будем еженедельно заменять непроданные вещи новыми, в расчете на их продажу. Таким образом, все Ваши работы будут показаны Одессе» (*Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп. Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 87). В следующем письме к Волошину (4 декабря 1929 г.) Кипен перечислил 10 проданных его акварелей с фамилиями покупателей и сообщил: «Выставка закрылась, сопровождаемая нападками безграмотных журналистов, обвинениями в отсталости и в отсутствии советской тематики. Вся эта кампания, ведущаяся уже давно, обеспечила нам прекрасную посещаемость выставки и очень недурную продажу картин. Ваши акварели все время были предметом всеобщего восхищения <. .>» (Там же). За проданные акварели Кипен перечислил Волошину 146 руб. Благодаря его письмом от 21 декабря 1929 г., М. С. Волошина сообщала об инсульте, который перенес Волошин, а также добавляла: «М. А *очень* просит Вас *оставить* себе аквар<ель> по собств<енному> выбору и одну подарить от его имени худ<ожнику> Буковецкому Е. О. в память встречи 1919 г.» (Национальный художественный музей Украины в Киеве, ф. 15).

453. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

17 сентября 1929 г. Коктебель

Коктебель. 17. IX. 29.

Дорогой Константин Феодорович,

К тебе большая просьба: из Коз мне пишет Михаил Львович Винавер (помощь политичес<ким> заключенным вместе <с> Е. П. Пешковой) и просит взять ему в Коктебеле 2 билета прямых на Москву в жестком на 27/IX.[1] В Коктебеле это сделать нельзя. Можешь ли ты это сделать в Феодосии? Пожалуйста, сделай. Мих<аил> Львович человек высокой души и сердца, которому за последнее 10-летие принадлежит самая благородная и чистая роль.

Знаю (по слухам), что дело с мастерской уладилось – но как? Напиши подробности хоть 2 слова.

Был слух, что приехал Кандауров. Правда ли? Один? Заедет ли в Коктебель? У меня период крайней физической и моральной усталости после лета.[2]

Привет Ж<озефине> Г<уставовне>.[3]

Макс.

P. S. Прилагаю 50 р., прислан<ные> Винав<ером> на билеты.

[1] Письмо М. Л. Винавера, содержащее эту просьбу, в архиве Волошина, видимо, не сохранилось. Имеется лишь письмо Винавера из Коз от 9 сентября 1929 г., в котором он сообщает о намерении заехать к Волошину «числа 26-го», с тем чтобы 27 сентября выехать в Москву (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 342, л. 40).

[2] Письма К. Ф. Богаевского с ответом на эти вопросы среди его писем к Волошину не имеется.

[3] Ж. Г. Богаевская

454. А. И. СУХАРЕВУ

28 сентября 1929 г. Коктебель[1]

Коктебель. 28. IX. 29.

Дорогой Анисим Иустинович,

с моим большим другом – Верой Яковлевной Эфрон, – приехавшей из Москвы,[2] стряслось несчастие: ее сын заболел скарлатиной в момент отъезда в Москву. В настоящее время и больной и его мать находят<ся> у Вас в Городс<кой> больнице. Ей повезло – ей дозволили остаться вместе с сыном в больнице. Но она живет под страхом, что ее могут выселить каждую минуту. Позвольте обратиться к Вам с просьбой: по мере возможности не нарушать этого положения вещей и дозволить ей ухаживать за своим мальчиком до конца болезни.

Передайте от нас с Марьей Степановной привет Вашей супруге. Заранее благодарю Вас и жму руку.

Максимилиан Волошин.

[1] Адресовано в Феодосию в Городскую больницу.

[2] В. Я. Эфрон с сыном К. М. Эфроном приехали в Коктебель 24 июня 1929 г. (Труды и дни-2. С. 430).

455. М. Л. ВИНАВЕРУ

23 октября 1929 г. Коктебель[1]

Дорогой Михаил Львович, я не могу выразить словами глубину моего восторга и уважения перед Вашим делом во время Революции.

23/X 1929.*

[1] Текст на обороте акварели, датированной: «6/V 1926».

* *Край листа оборван*

456. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

25 октября 1929 г. Коктебель

25/X 1929.* Коктебель.

Милый Сережа,

Поэт Державин приехал и живет у нас.[1] Стихи у него хорошие и характер у него достопримечательный..... Но весьма непригодный для общежития. Мы с ним проводили по часу в день в разговорах о поэзии, к нам он не заходит и ни с кем, кроме меня, не разговаривает. Интимности в нем никакой, и это Марусю приводит в отчаяние. Он весь покрыт щетиной, холоден, корректен, надменен и презрителен. Он живет под мастерской, где жила Лида Брюллова. Не передвинул ни одной кровати. По вечерам сидит в темноте. По приезде он мне заявил, что Коктебель значительно лучше, чем он ожидал, но что он здесь не останется, а уедет сейчас же, как получит деньги от тебя.

В свои дела он меня не посвящал. От тебя я разъяснений по его поводу не имел. Но понимаю, что Вы с Коч<етковым> его нашли необходимым удалить почему-то из Москвы. Это вполне понятно: стоит только поглядеть на него. Сначала он здесь питался в курортной кухмистерской, потом что-то покупал в кооперативе. Теперь закрылось и то и другое. Раз он согласился пообедать у нас. Но сегодня (по нашему расчету, он уже 3 дня не ел ничего) он от обеда отказался и добавил при этом, что он ничего есть не будет до тех пор, пока ты и Кочетков ему не пришлете денег. А от нас он ничего не примет. Так что, вот, нам объявлена голодная забастовка, как <в> тюрьме.

Твою телеграмму о деньгах я получил,[2] и смысл ее (слово «пусть») мне остался темен. Т. е. я его истолковал так: «Пусть сидит в Коктебеле, пока не найдем возможным его обратно принять в Москву и пришлем денег».

Но что же нам делать? Мы совсем не в курсе твоих намерений и его московских дел, а иметь около себя человека, намеренно голодающего 4-й день, – весьма неприятно. Маруся совсем извелась с ним.

---

* *В автографе описка*: 1925

Денег мы ему предложить сами не можем, т<ак> к<ак> Ц.К.У.Б.У. уже 3 месяца не присылает нам, так что можем его только скудно подкармливать, как сами едим, и поить чаем. А ты, отправляя нам такого сложного субъекта, не дал никакой директивы, никакого ключа к его текущей психологии. Пока у него оставались деньги, он пил вино в деревне (по его собств<енным> словам). Вообще такое усложнение жизни после летней усталости очень неприятно.

Ответь нам сейчас же. Лучше телеграммой.

Макс.

Приписка М.С. Волошиной:

Прости, Сереженька милый, но я совершенно не понимаю, зачем ты к нам прислал Вл<адимира> Вас<ильевича>, ни мы, ни Коктебель ему не нужны, а нашу жизнь он очень осложнил, а меня прямо измучил. Прости. Целую тебя и Лелю.[3] Маруся.

[1] В. В Державин приехал в Коктебель в конце второй декады октября 1929 г. по рекомендации С. В. Шервинского, аттестовавшего его в недатированном письме к Волошину: «...направляю к тебе моего большого приятеля (хоть он и много меня моложе), поэта Владимира Васильевича Державина. Я совершенно уверен, что этот юноша будет тобою по справедливости оценен. За его грубым голосом и некоторой странностью ты не замедлишь распознать тонкую душевную организацию, особую остроту глаза и мысли, свойственные совсем выдающимся людям. Он очень нервен, ему до крайности нужен коктебельский простор, твое вниманье, отзывчивость Маруси и сокровища твоих книг. Прошу тебя, приюти его, если можешь, примерно на месяц. Думаю, что этим ты можешь буквально выпрямить его искривившуюся, сбивчивую жизнь. У него очень мало денег; поучи его как-нибудь подешевле устроиться с питанием, а в качестве сожителя он, я уверен, будет Вам по сердцу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 1296, л. 22).

[2] Текст этой телеграммы неизвестен.

[3] Е. В. Шервинская.

457. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

27–29 октября 1929 г. Коктебель

27/X 1929.

Дорогой Сережа,

Вчера Вл<адимир> Вас<ильевич>[1] получил письмо от Кочеткова и на мой вопрос, «не кончит ли он после этого письма голодовку?», согласился на ее окончание. Я повел его обедать после пятидневной голодовки, во время которой мы с Марусей чувствовали себя подлыми тюремщиками и совсем морально измучились. Сегодня пришло твое письмо.[2] К сожалению, оно запоздало. Если бы ты все это написал одновременно с его приездом, то все сложилось бы иначе. А теперь, боюсь, что его отношения с Марусей испорчены безвозвратно. Ты отправил такого сложного и трудного пациента безо всякой инструкции, а он с самого начала стал протестовать против нас и против всего окружающего. Мы с ним ходим гулять и беседуем мирно и хорошо. Но ежели он у нас встречает кого, то презрительно молчит и отворачивается. С Марусей тоже не разговаривает. Его голодовка совсем извела нас. И, кажется, он совершенно так и не понял, что он голодовку устраивал именно нам, а не Кочеткову, как он сам думал. Вообще же он <с> самого начала нам заявил: «У Вас я ни за что не останусь» – и напоминает об этом каждый день: «Я уеду от Вас как только получу деньги»... То, что он теперь каждый день у нас обедает и пьет чай, – тоже не способствует примирению с ним. Марусю раздражает и его тон, и его молчание, и то, что он заражает комнаты собственным табачным запахом, и то, что его нельзя свести в баню и выстирать его костюм и белье. Между нами уже легла тень антипатии, которой могло бы и не быть, если бы мы сразу получили твои инструкции. Но мы наблюдали его сами и постепенно поняли все, но на неприятном опыте голодовки, который Марусю весьма измучил и переутомил. Мне-то этот изворот понятен и знаком, но Марусе – ты сам понимаешь – он враждебен и мало понятен. Я отдаю все уважение его неудачным попыткам усвоить себе тон дэнди – холодный и презрительный, но

этот тон и стиль делают его общественно неприемлемым. И в наши мирные вечерние собрания он врывается жестоким диссонансом.

Но не заключи из этого, что Маруся хоть чем-нибудь дает почувствовать ему свою антипатию и до конца исполняет долг гостеприимной хозяйки. Хотя он сделал все, чтобы отягчить это: он не захотел прописаться и заявиться в кооперативе, так что не получает ни хлебного пайка, ни сахара. А мы уже существуем на крайне урезанном зимнем режиме.

28/X. Сегодня пришли от тебя деньги по телеграфу (15 р.). Я их сию же минуту ему передал. Он на них посмотрел с грустью и сказал: «На них я уехать не могу». Потом спросил Марусю: «Послушайте – а где я здесь могу пообедать?» К нам обедать не пришел, и <с> утра его не было дома. Боюсь, не пошел ли он снова пить... Меня он с большим недоверьем спрашивал: не писал ли я тебе еще после письма о голодовке? Очевидно, он опасается, что ты, я и Ко<че>тков составил<и> заговор удержать его в Коктебеле.

У нас с ним отношения дружеские. Когда я ему прочел несколько своих стихотворений, то он сказал: «Знаете, все мои друзья считают меня гением... Но теперь я в этом начинаю сомневаться... Почему мне Шервинский ничего не сказал о Ваших стихах?»

29 X 29. События идут быстро. В. В. сказал сегодня: «Я от Вас уезжаю. Я достал на дорогу 15 р. еще и могу доехать». – Откуда Вы могли достать денег в Коктебеле? – «Мне одна старушка дала... Так... встретила на улице... говорит – не надо ли Вам денег? Предлагала 30 р. Я взял только 15. Мне хватит. Уезжаю с вечерним автобусом». И действительно уехал. Чувство после его отъезда осталось мучительное. Из его приезда в Коктебель ничего не вышло. Да и не могло выйти. Он слишком городской человек и изживал здесь все время свои городские неустройства и мысли. Сомневаюсь, чтобы Коктебель дошел до его сердца. При отъезде он говорил: «Тут, я знаю, у Вас летом жили люди, настолько мне противные, что я не могу без содрогания думать, что они ходили по этим комнатам, а на залив мне противно смотреть, потому что они в нем купались». У меня хватило духа спросить его: «Кто же это?»

Думаю, что это была неудачная мысль его к нам направить. С одной стороны, он и нас застал в состоянии крайней усталости после лета, а с другой, сам рассматривал свой приезд, как некий *подвох* со стороны Кочеткова и тебя, а на нас смотрел как на каких-то тюремщиков и нам устраивал «голодовку», чтобы заставить нас потребовать его отозвания <?>. – Но ведь я же не могу написать Шервинск<ом>у – «Уберите поскорее от меня этого субъекта», – говорил ему я вчера. «Нет, я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы именно так написали». Его комната, в которую я зашел перед его отъездом, представляла зрелище чудовищное: на полу гора окурков, спичек, бумажек и пустых винных бутылок. В тазу помои, льющие, очевидно, уже давно через край... «Я нарочно ее не убирал... Я боялся, что мне здесь станет уютно и захочется остаться. Я нарочно хотел создать себе атмосферу, в которой нельзя существовать». И действительно, несмотря на открытое окно, в комнате была такая атмосфера, что здесь оставаться было невозможно ни минуты. «Па – слушайте – Вы возьмите рубль – пусть какая-нибудь баба все это приберет...».

Стыдно, что мы ему ничего не могли дать, стыдно, что не могли исполнить твою просьбу, и очень хорошо, что он наконец уехал. Нельзя на Марусины нервы и усталость взвалить такое сложное бремя, когда еще не изжита вся безмерна<я> сложность и усталость лета.

А октябрь был великолепен. Температура + 17° (Реом<юр>), дни солнечные и тихие, тишина и безлюдье в Коктебеле. Вчера впервые пожелтели леса от туманов на Св<ятой> Горе. Вот когда нужно приезжать в Коктебель. Целую тебя и Лелю.[3]

Прилагаемое письмо передай, пожалуйста, Василию Дмитриевичу.[4]

Макс.

[1] В. В. Державин. См. п. 456, примеч. 1.

[2] Имеется в виду письмо С. В. Шервинского от 22 октября 1929 г.: «Дорогой мой Макс! Из письма Державина к Кочеткову я узнал, что ты очень приветливо к нему отнесся. Я тебе за это очень благодарен. Однако, из его последующих коротких и мало вразумительных по-

сланий, я усмотрел, что у него продолжается депрессивное состояние; эта раздраженная душа потеряла, видимо, способность спокойно пребывать на одном месте и пользоваться окружающим. Он, как будто, готов уже покинуть Коктебель, т. е. уехать оттуда, нисколько не отдохнув, не осветившись, не поуспокоившись. А, между тем, я расчитывал, что в Коктебеле он получит ту нравственную протезу, без которой он рискует охрометь окончательно; думал, что морской ветер выдует из него необъяснимую тоску, где, среди слагаемых, есть и неуравновешенность последних юношеских лет, и бедственность положения, и.. доля распущенности, возникающая у людей, о которых много хлопочут. Поэтому, Макс, прошу тебя дружески, настоятельно, и как поэта, постарайся оказать на него благотворное влияние, развлеки его чем-нибудь, познакомь его с твоей библиотекой, словом, не допускай его до преждевременного отъезда, который опять бросит его в психопатическое безделье и угнетенность. <...> А не правда ли, Макс, какие у него превосходные, полные, мощные стихи? И какой это светлый и непосредственный ум! Мы с Кочетковым на днях, конечно, вышлем ему деньги, необходимые для его отъезда, но самый отъезд был бы более, чем неразумным. Ведь он не успел даже повидать киммерийского мира, не насытился ландшафтом, а ведь еще и художник, – и даровитый! Ну что нам с ним делать!?.. А сильно хочется, чтоб он как-то развивался нормально, чтоб его юная жизнь не представляла собою какой-то хронической катастрофы!..» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 23–23 об.).

[3] Е. В. Шервинская.

[4] В. Д. Шервинский. Текст упомянутого письма нам неизвестен.

458. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

28 ноября 1929 г. Коктебель

28/XI 1929. Коктебель.

Милый Сережа,

ты слишком преувеличил «значимость» моих слов.[1] Конечно, лето нас утомляет и иногда очень. Но летом утомляют (меня) больше всего не *друзья*, живущие у нас, а люди, приходящие со стор<он>ы и требующие немедленного приема и внимания. Их очень много. В этом году сентябрь и начало октября

были особенно утомительны. Правда, конец лета утомителен всегда, т<ак> к<ак> идет накопление усталости, доходящее до полной выжатости душевной. Теперь это, например, уже совсем прошло и сменилось деловой и рабочей бодростью. Друзья же – особливо Вас<илий> Дм<итриевич>, ты, Лёля[2] – конечно, нам приносят радость, а не усталость. Маруся несколько иначе: она физически очень устает от постоянных забот по дому. Подумай, ведь все это хозяйство (хотя бы и весьма упрощенное) ведется *без прислуги*, а только со случайными помощницами-поденщицами. А переутомление ей очень действует на нервы, которые у нее всегда в крайне натянутом состоянии. Вот и теперь она не спит целыми ночами из-за нервной боли в руках.

Вл<адимир> Вас<ильевич> попал к нам как раз в моменты нашей наибольшей усталости. Попади он к нам весною, когда мы оба бодрее и радостнее, – все, б<ыть> м<ожет>, было бы иначе. Но надо ему отдать справедливость, он сам себя вел очень нелепо.

Маруся много и искренно приспосабливалась, чтобы «пожалеть» его, но он был крайне неподатлив и упрям. А его «голодовка», объявленная нам, чтобы ты и Кочетков прислали ему денег, это было уже совсем глупо...

Когда я к нему зашел в комнату накануне отъезда его, то даже я ахнул от совершенно невиданного количества мусора и грязи. Он пояснил: «Это я нарочно старался сделать комнату неуютной, чтобы мне не захотелось вдруг здесь остаться». Пред отъездом он настоял, чтобы Маруся взяла у него денег на уборку – для поденщицы. Но после его отъезда оказалось, что ни одна поденщица *не согласилась* убирать такую комнату. И Марусе пришлось прибрать всю эту нарочитую грязь *собственноручно*.

Словом, вся тяжесть его безумия пала на Марусю. Я-то еще имел утешение с ним беседовать, слушать его стихи, ценить его, а с Марусей он <с> самого начала демонстративно не разговаривал. Не мне, а Марусе был нужен писанный комментарий о нем. Тогда, быть может, ей и удалось бы с самого начала форсировать его недоверие и презрение.

То, что ты поместил его в психиатрическую лечебницу, — это очень хорошо и, вероятно, единственный выход в его душевном состоянии.

Он нам неоднократно говорил, что достаточно воспитан и не повесится в нашем доме, чтобы не делать нам неприятностей. А т<ак> к<ак> после его отъезда в комнате его действительно осталась очень хорошая новая веревка, купленная явно для этой цели, и он очень долго отказывался взять с собою свой багаж (подушку), говоря, что он ему не понадобится, то у нас не было уверенности, что он не повесится в первом номере гостиницы, до которого доберется, покинув Коктебель. Поэтому до твоего письма у нас оставалась тревога о нем, и мы не знали, добрался ли он до Москвы. У нас в доме все благополучно. Маруся вяжет по очереди «рейтузы» всем летним младенцам Коктебеля. Я перевожу Флобера.[3] Утомление прошло. Зимний ритм жизни найден. Только денег о<т> ЦКУБУ нет уже четвертый месяц. Но верим, что придут на днях. Привет Леле, Вас<илию> Дмитр<иевичу> (прилагаю ему письмецо) и всем обитателям дома.

Макс.

[1] Имеется в виду письмо С В. Шервинского от 22 ноября 1929 г. (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед хр. 1296, л. 24–24 об.), — ответное на п. 457, — развивавшее вновь тему пребывания В. В. Державина в Коктебеле: «Каждое твое послание с реляциями о пребывании у вас Державина наполняло меня и смущением и досадой. Смущен я был, весьма естественно, тем, что он доставил вам обоим трудные дни и вел себя неподобающим образом. Досадовал же я потому, что и у меня, и у Кочеткова был расчет, что Вл<адимир> Вас<ильевич> именно в Коктебеле сможет встряхнуться, сбросить заедающую его хандру, словом, стать опять человеком для жизни; на деле же получилось бесполезное и нелепое путешествие, только обременившее хозяев. Ты, Макс, сетуешь, что я не предупредил тебя, что он такой "трудный тип". Мне казалось, что сложность его психики так очевидна, что ты, при своем уменьи вникать в людей, тотчас определишь его душевные тона и обертоны. <...> Ты представляешь себе мою радость и изумленье, когда он неожиданно прикатил в Москву, стало быть, освободил вас от своего присутствия; с плеч моих свалилась гора. Дальнейший ход событий принял, на мой взгляд, единственно возможное направле-

ние, а именно: мы устроили Вл<адимира> Вас<ильевича> в психиатрическую лечебницу, может быть, надолго, под наблюдение отличного и мне хорошо знакомого врача Цетлина. <.. > Таким образом, его поездка в Коктебель была последней ставкой, крайней попыткой подействовать на него без психиатрической больницы. А стихи у него всё же высокоталантливые и человек он преумный!..»

[2] В. Д. Шервинский, Е. В. Шервинская.

[3] 24 октября 1929 г. редактор готовившегося в Государственном издательстве Собрания сочинений Гюстава Флобера М Д. Эйхенгольц заказал Волошину перевод новелл «Un cœur simple» («Простое сердце») и «La legende de St. Julien l'Hospitalier» («Легенда о св. Юлиане Гостеприимце») (Труды и дни-2 С. 444). См.: Т. 4 наст изд. С. 793–852; *Флобер Гюстав.* Легенда о Святом Юлиане Милостивом / Переводы с французского. Иван Тургенев. Александр Блок. Максимилиан Волошин / Сост. и послесловие Ирины Приходько. М.: Прогресс-Плеяда, 2007.

459. Б. А. ШПАРО

9 декабря 1929 г. Коктебель[1]

Дорогой Борис Александрович,

сим извещаю Вас, что ак-обеспечение за сентябрь 1929 года я получил сегодня 9 декабря. Будьте добры известить меня, как дела с <?> дальнейшей выпиской <?> ак-обеспечения. Мне это важно на предмет обычной выписки французских газет и журналов, пока же прошу Книжный отдел возобновить мою подпис<ку> на «Les Nouvelles Littéraires»:[2] 1930 года. Прошу тоже выслать мне мой книжный счет за 1929 год, которого я в этом году не получил.

Как обстоят денежные дела Цекубу? Есть ли надежда, что оно будет выплачивать пенсии в течение еще этого года?

Максимилиан Волошин.
9/XII 1929.
Коктебель.

[1] Открытка. Написано в день, когда Волошин перенес инсульт. Осталось неотправленным.

[2] «Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques» – еженедельная газета, посвященная литературе и искусству; выходила в Париже с 1922 г. Как свидетельствует М. С. Волошина, на рабочем столе Волошина «лежали газеты, главным образом французские — "Les Nouvelles Littéraires", которые Макс выписывал до последнего дня < .>» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 146).

1930

460. Е. Ф. ВИХРЕВУ

7 февраля 1930 г. Коктебель

7/II 1930.

Дорогой друг,

Спасибо за Вашу прекрасную книжку,[1] которая доставила мне и многим, кому я ее показывал (художн<ику> Богаевскому, Барсамову, Андерсу), много радости. Тема мне не была незнакома. Еще <в> 1924 г., когда я впервые приехал во время Революции в Москву, мой старый друг художник Н. В. Досекин, в то время заведовавший Кустарн<ым> Музеем,[2] показывал мне палехские вещи с комментариями, и я тогда же оценил все их истор<ическое> культурное значение и проникся восторгом. Поэт<ом>у появление Вашей книги мне показалось сразу и необходимым и радостным событием. Иллюстрационная часть особливо интересна, хотя очень не хватает хотя бы одного воспроизведения в красках. Ваш текст хорош, трогателен и равносилен тому, о чем Вы говорите. Я его читал с замиранием сердца. Стараясь учитывать цензурные компромис<с>ы. Все художники, кому я ни показывал книгу, собираются ее выписывать. Вообще Вам удалось написать книгу очень нужную — необходимую, и вышла она как раз в нужный момент.

Крепко Вас за нее обнимаю и благодарю ото всей души. Она меня застала больным (у меня в декабре был небольшой удар (инсульт) без последствий, от которого я уже почти оправился[3]). И была первым приветом жизни и искусства.

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о книге Е. Ф. Вихрева «Палех» (М.: Недра, 1930), отправленной Волошину с надписью «от ученика и поклонника» (Труды и дни-2. С. 448). В сопроводительном письме из Москвы от 6 января 1930 г. Вихрев признавался: «Я принадлежу к числу тех многих, неведомых Вам людей, которые твердят Вас наизусть и списывают “тайно и украдкой”. Вот эта – очень большая любовь к Вам и заставляет меня послать Вам первую свою книгу – очень еще незрелую – книгу “Палех”. <...> Мне 28 лет, у меня за плечами только рабфак, гражданская война и несколько лет литературной работы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 351. В тексте – цитата из стихотворения Волошина «Дом поэта» (1926); см.: Т 2 наст. изд. С. 81).

[2] Волошин посетил Кустарный музей в Москве 11 марта 1924 г. (Труды и дни-2. С. 214).

[3] Волошин перенес инсульт 9 декабря 1929 г. (Труды и дни-2. С. 446). Подробнее об этом см. п. 462. Ср. сообщение в письме М. С. Волошиной к М. А. Пазухиной от 27 декабря 1929 г.: «Здоровье Макса понемногу восстанавливается, но он очень хрупок. Весь куда-то ушел и о чем-то своем думает. Бродит понемногу, начинает читать, но очень вял, впадает в сонливость» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 244).

461. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

18 февраля 1930 г. Коктебель[1]

Коктебель. 18/II 1930.

Многоуважаемый Анатолий Васильевич,

на днях я получил от С. И. Златогорова письмо, в котором он пишет о Вашем неизменном ко мне расположении.[2] В нем я не имел поводов сомневаться после Вашей прошлогодней телеграммы в Крым-Наркомпрос, которая прекратила сразу все недоразумения по выселению меня из дома.[3] В данный момент письмо Златогорова навело меня на мысль о Вашем содействии моим делам, хотя бы в разговоре с кем-нибудь из представителей ЦЕКУБУ и в освещении моей личности. Сейчас мало кто знает меня в правящих кругах и, вероятно, в ЦЕКУБУ. А прискорбная статья в Советской Энциклопедии,[4]

неверная по освещению моего литературного лица и биографическим фактам, очевидно играет роль моего цивического паспорта. Скоро полгода как я не получаю Ак-обеспечения, которое было моим единственным ресурсом существования. Дом, как Вам известно, я предоставил для бесплатного пользования поэтам и художникам, мои собственные литературные произведения и книги не печатаются, а картины свои по выбору музейных комиссий я тоже бесплатно предоставлял и предоставляю столичным и провинциальным музеям. В минувшем декабре у меня был удар[5] — легкий, от которого я сейчас медленно восстанавливаюсь, но врачи мне настоятельно рекомендуют курс лечения в Ессентуках. Не получая почти полгода Ак-обеспечения, я не решаюсь обратиться в ЦЕКУБУ со своими делами. А после письма Златогорова решил обратиться к Вам с просьбой разъяснить тем, кто мне может помочь, кто я. Может быть, Вы найдете возможным указать мне пути к получению инвалидной пенсии, на которую, думаю, теперь имею право.

Вы знаете, что я всегда стоял в стороне от политики, но в общественные дела всегда вносил свою лепту в виде ли участия в парижских концертах в пользу эмигрантской кассы или во время гражданской войны (процесс Н. А. Маркса). Зате<м в> прошлые годы я, неоднократно имея возможность вернуться в Париж, я предпочел, совершенно сознательно, остаться в России. И сейчас, если я буду лишен Ак-обеспечения и не получу инвалидной пенсии, у меня нет ресурсов к жизни, ни возможности лечиться. В связи с ударом меня волнует и судьба моего дома. На него не прекращаются посягательс<тва> местных организаций, которым совершенно не понятен мой принцип бесплатности. Дом же мой хотят превратить в доходный дом для надобностей курорта. Мне же и моей жене, трудами которой в сущности и держится этот дом, хотелось бы обеспечить его существование и после нашей с ней смерти. Почти сорок лет русской культурной жизни прошло через него, целые поколения поэтов и художников здесь учились, творили и осознавали себя. И каждый оставлял здесь творческие следы своего пребывания.

Вот мне и хотелось бы ввиду моей болезни сохранить его как культурную ценность, не подвергая его всяким случайностям и посмертной реквизиции местных властей.

Мне бы хотелось передать его после нашей с женой моей Марией Степановной смерти каком<у->нибудь многолетнему литературному учреждению, как «Пушкинский дом» при Академии Наук,[6] которая сохранило <*так!*> бы мои традиции бесплатного убежища для художников и поэтов: использовало бы и мою библиотеку (около 8 тыс<яч> том<ов> на французском языке) и литературный архив (рукописи и переписка, начиная с детства), являющиеся ценным документом эпохи.

Максимилиан Волошин.

[1] Сохранился недописанный черновик начала этого письма (Коктебель. 15 февраля 1930 г. // ДМВ):

Дорогой и многоуважаемый
Анатолий Васильевич,

Мой друг С. И. Златогоров на днях описал мне, как вы встретились на банкете микробиологов и говорили обо мне, и отметил Вашу симпатию и дружественность, сомневаться в которых Вы никогда не давали мне повода· Ваша прошлогодняя телеграмма Крым-наркомпросу имела магическое действие и спасла «ДОМ ПОЭТА».

В декабре минувшего года как раз в разгар моей работы над повестями Флобера (заказ Моск<овского> Госиздата) у меня был небольшой удар без сериозных последствий, так что я успел закончить и перевод, и статью к сроку Одновременно (но по-видимому вне всякой связи) ЦКУБУ

[2] Речь идет о недатированном письме Т. Р. Златогоровой к М. С. Волошиной (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 189, л. 19–20 об.) с упоминанием банкета у немецкого посла, на котором был С. И. Златогоров· «...там он встретил Луначарского, с которым долго беседовал, и сообщил ему все о Мак<симилиане> Александровиче. Выслушал он с большим вниманием и сочувствием, выразил недоумение, как могло быть постановление о снятии Макс<а> с золот<ого> обеспечения. Очень удивился, что сам Макс ему не написал С. И. советует Максу ему написать На С. И он произвел хорошее искреннее впечатление, что он по-настоящему расположен и любит Макса». С. И. Златогоров сделал приписку к письму· «Как хотелось бы, что-

бы Луначарский действительно принял участие в Максе. Напишите ему».

[3] Имеется в виду попытка реквизиции дома Волошина в октябре 1928 г. См. п. 345, 349.

[4] См. примеч 6 к п. 438.

[5] См. примеч. 3 к п 460.

[6] Институт русской литературы (Пушкинский Дом) был основан в 1905 г. в Петербурге как хранилище музейного типа и источниковедческий центр пушкиноведения, в 1918 г. вошел в состав Российской Академии наук. Задача Института – изучение истории русской литературы от древности до современности. Директором Пушкинского Дома с августа 1925 г. до 30 октября 1929 г. был академик С. Ф. Платонов, связанный с Волошиным личными взаимоотношениями.

462. С. Н. ДУРЫЛИНУ

24 февраля 1930 г. Коктебель

24/II 1930. Коктебель.

Дорогой Сережа,

Спасибо за письмо и за брошюру.[1] Письмо пришло сегодня. Брошюра дня четыре назад перед моим отъездом в Феодосию, куда я ее захватил с собой, надеясь прочесть у Богаевского. Так я ее еще не прочел. Хотя страшно ею заинтересовался с первых же строк и почувствовал, как она будет мне близка. Спасибо за прекрасное письмо. Я прекрасно сознаю, что если я остался жив и если мои способности восстановились сейчас окончательно: (я пишу и рисую), и сейчас все мои друзья в Феодосии нашли меня после болезни только очень *помолодевшим*, похудевшим и бодрым. То это, конечно, по молитвам всех близких и напряженностью чувства Маруси, которая действительно отдала мне все свои душевные силы. Я не чувствую в себе почти никакой разницы с самоощущением до удара. Я его (удара) и не заметил. Он, очевидно, был днем во время обеда. А я только вечером, гуляя с Марусей, обратил внимание на некоторые дефекты в пальцах <?>, а потом, когда сел писать письма, то оказалось, что это невоз-

можно – рука выводит неразборчивые и совсем кривые каракули. Потом уже в комнате я несколько раз терял равновесие и падал. Не мог встать. Это больше всего перепугало Марусю. Она телеграммой вызвала Богаевского, который приехал на автомобиле с д<окто>ром Славолюбовым, который констатировал «инсульт (= кровоизлияние) в левое полушарие» в места, где нет важных центров. Первые две недели я просидел в кресле, мне не хотелось говорить и было трудно лежать в полудремотном состоянии. Потом всё <?> быстро восстановилось. Я даже смог докончить работу для Госиздата раньше срока (перевод повестей Флобера).[2] Удар случился как раз в то время, когда мне особенно хорошо работалось и гулялось. День был плотно заполнен, и было приятно переходить от одного дела к другому, без промежутков, без напряжения и без усталости, чередуя это с дальними прогулками по осенним холмам и долам и целыми сериями акварелей. Сейчас я могу снова и разборчиво (тебе судить) писать и письма и акварели. О стихах еще не знаю: не пробовал. Наша жизнь этой зимой идет благополучно. Маруся после моей болезни боится нашего уеди<не>ния, и все время у нас кто-нибудь гостит. Сперва приезжали Феодора и Олимпиада Никит<ична>.[3] Потом Виктор Андерс (написал нам очень хороше<е> письмо, узнав о болезни моей) со своей новой женой Аленушкой (редко симпатичной и соответствующей своему имени).[4] Антонина Кузминишна[5] ушла совсем из его жизни.

Потом приезжа<ла> «тетя Саша».[6] Теперь у нас гостит Марусина гимназическа<я> подруга Ксения,[7] которая вносит много гармонии и тишины в нашу жизнь.[8]

Вообще мы и зимой не оставлены людьми, за которых мы судьбе очень благодарны. Но пишут нам очень мало. Очевидно, никто не решается писать ни о чем остром и волнующем. Радуюсь мысли, что скоро кончаются твои сроки.[9] Очень хочется тебя повидать. Допустим ли твой приезд из Томска в Коктебель? Не надо ли об этом списаться заранее с Винавером (Михаил Львович. Москва, Фурманный 18, кв. 14).

Крепко обнимаю тебя и Ирину.[10]

Макс.

[1] В недатированном письме к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л 64–65) С. Н. Дурылин выражал обеспокоенность в связи с известиями о его болезни, а также сообщал: «Посылаю тебе оттиск моей статьи о Достоевском из сборника “Достоевский”, собранного еще в 1926 г, помеченного 28-ым годом, а выпущенного лишь ныне Статья моя – костяк с искривленным позвоночником того, что в ней некогда было. У нее нет конца. <...> Глава о “Карамазовых” – 1/3 того, чтó было. Но *мысль* моей статьи – одна из самых моих заветных. Это – косые лучи». Речь идет о статье С. Н Дурылина «Об одном символе у Достоевского» (Достоевский: Сб. статей. М Труды ГАХН, 1928. С. 163–199).

[2] Перевод повестей Г. Флобера «Простое сердце» и «Легенда о святом Юлиане Странноприимце» был отправлен в Москву, видимо, в начале февраля 1930 г., редактор Собрания сочинений Флобера М. Д. Эйхенгольц сообщил Волошину 12 февраля, что перевод принят (Труды и дни-2 С. 450). В экземпляр книги Флобера (*Flaubert Gustave.* Trois contes: Un Cœur simple; La légende de Saint-Julien l'Hospitalier; Hérodias. Paris. G. Charpentier, 1877) в библиотеке Волошина вложена закладка с его карандашной записью: «Я переводил повести Флобера “Простое сердце” и “Юлиан” по этой книге зимой 1929–30 г. 9 декабря во время работы у меня был удар Максимилиан Волошин. 2/II 1930» (Мемориальная библиотека М А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М. Центр книги Рудомино, 2013. С. 184)

[3] Ф. М. Литвиненко и О Н. Сербинова. Первая приехала из Феодосии в Коктебель 13 декабря 1929 г. и пробыла там до 29 декабря (Труды и дни-2. С. 446, 448).

[4] В П. Андерс с женой приехал в Коктебель 1 января 1930 г. на неделю (Там же. С 448). Упомянутое его письмо не выявлено

[5] А. К. Щукина, прежняя жена Андерса.

[6] А. Л. Домрачева провела в Коктебеле, помогая М. С. Волошиной по хозяйству и по уходу за Волошиным, целый месяц (около 24 января – около 22 февраля // Там же. С 449, 450).

[7] Ксения Эдуардовна Монтвид.

[8] Ср. письмо М. С. Волошиной к М. А. Пазухиной от 8 марта 1930 г.: «Болезнь Макса меня и перепугала, и надломила. Болеть ему пришлось в тяжелых условиях – в том смысле, что я одна только была в доме. < ..> Через полтора месяца приехала тетя Саша, а потом Ксения Монтвид, моя гимназическая подруга. Сегодня она уезжает, а тетя Саша уехала уже две недели назад. За эти полтора месяца я психологически отдохнула и сейчас уже не боюсь опять оставаться вдвоем с Максом, а то было очень страшно. Я всегда ждала, что Макс может

так заболеть – и самую болезнь перенесла, не растерявшись, но перепугана я страшно» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 244–245).

[9] Подразумевается скорое окончание срока ссылки.

[10] И. А. Комиссарова.

463. И. М. БАСАЛАЕВУ

24 февраля 1930 г. Коктебель[1]

24/II 1930.

Дорогой Мемноныч,

Спасибо за ласковый привет и за стихи,[2] которые теперь мне еще больше понравились, чем летом.[3]

Все мои дефекты после удара восстанавливаются, и почерк, и живопись, и способность к движению.[4]

Получил 2 письма от Всеволода Р<ождественского>.[5] Как Вам живется эту зиму? Как Ваше пребывание в Коктебеле запечатлелось в Вашем дневнике?[6] Несколько листков, переписанных оттуда, были бы мне очень интересны.

Приветствую Вас Коктебельским берегом.

Макс В–н.

[1] Текст на обороте акварели «Облака над морем» (помета «MW 19 II 30»).

[2] Имеется в виду недатированное письмо И М. Басалаева к М.С. Волошиной из Ташкента – отклик на известие о болезни Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед хр. 150).

[3] И. М. Басалаев гостил в Коктебеле, видимо, с 5 до 10 сентября 1929 г. (Труды и дни-2. С. 439, 441).

[4] См. примеч. 3 к п. 460, п. 462.

[5] Подразумеваются письма В. А. Рождественского от 20 января и от 10 февраля 1930 г., второе – с припиской Б. И. Извекова (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1028, л. 37–40 об.).

[6] Басалаев оставил о своем пребывании в Коктебеле развернутые записи: «Тетрадь третья. 1929 г. (В Коктебеле у М. Волошина)».

См.: *Басалаев Иннокентий.* Записки для себя / Предисловие А. И. Павловского, публ. Е. М. Царенковой, примеч. А. Л. Дмитренко // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 19. М.; СПб : Atheneum — Феникс, 1996 С. 385–416.

464. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

27 февраля 1930 г. Коктебель

27/II 1930.

Милый Саша,

Спасибо за твою открытку.[1] Мы были очень рады ее получить, потому что ни от кого из твоей компании все это время не было ни слуху, ни духу. И не знали, какая этому причина. Мое состояние восстановилось: я хожу, передвигаюсь, пишу и рисую. Этой зимой акварели мои имели успех в Одессе, где продалось до 30 штук (по 5—10 р.),[2] эти деньги и выручили нас во время моей болезни. Т<ак> к<ак> она застала нас «à sec»*, т<ак> к<ак> Ц.К.У.Б.У. с октября нам совсем перестало присылать деньги. И продажа акварелей был единственный мой денежный ресурс (возможный).

И я очень опасался, что рука не будет мне повиноваться, как она отказалась слушаться в письмописании. Но этого, к счастью, не случилось. Поэтому я никому в этом году не посылал поздравительных акварелек. Но посылаю таковые тебе, Наташе и Елене Васильевне[3] теперь.

У нас лично все благополучно. Гостила тетя Саша,[4] как <в> прошлом г<о>ду, теперь гостит Ксения Мон<т>вид (Марусина подруга по гимназии). Помнишь? Маруся очень изнервничалась. И боится теперь оставаться в доме со мною — одной. Ее очень напугал мой инсульт. Коллективизация и всё с нею связанное тоже не внушает ни радости, ни бодрости. Представляешь, что делается в деревне?

Спасибо за все хлопоты о пенсии.[5] На днях досылаем Шерв<инским> все необходимые документы. Для этого нуж-

---

* Как рыба на суше. О безденежье (*фр*)

но поехать в Феодосию. Контр<ольный> осмотр бывает только раз в неделю.

Обнимаем Наташу и тебя.

Макс.

Привет всем друзьям.

[1] В открытке, отправленной из Москвы 24 февраля 1930 г, А. Г. Габричевский писал: «Не удивляйся нашему упорному молчанию! <...> Все дело в том, что сведения о тебе мы, к счастью, имеем очень часто – от всех тех, кому пишет Маруся» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 382, л. 24).

[2] См. п. 452, примеч. 1, 2.

[3] Н А. Габричевская, Е. В. Габричевская.

[4] А. Л. Домрачева. См. примеч 6, 8 к п. 462

[5] В цитированном выше письме Габричевский сообщал: «Дела с твоей пенсией как будто подвигаются, Каменев бумагу подписал и, насколько я себе представляю, шансов на успех очень много».

465. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

8 марта 1930 г. Коктебель

8. III. 1930.

Милый Левушка,

Спасибо за твое письмо.[1] Пытаюсь сам тебе ответить, а не через Марусю, хотя перо еще плохо сидит у меня в руке и не очень повинуется.

Мы недавно ездили в Феодосию, и я осматривался во врачебной комиссии: я получил инвалидность II-го разряда.[2] Документ в тот же день переправили заказным на имя Сережи Ш<ервинского>, так что он верно уже получен. Путешествие в город очень утомило меня. Я вообще стал очень быстро утомляться от сношения с людьми, от разговоров. И самому «инсульту»[3] предшествовал период смертельного утомления после минувшего лета.

Я очень утомляюсь от чтения вслух. Моя прежняя выносливость при чтении стихов исчезла совершенно, и я, прочтя 4–5 стихотворений, чувствую, что язык мой заплетается от усталости.

Недавно я написал большое письмо Луначарскому, в котором просил его помочь моим друзьям в хлопотах о пенсии. Думаю, что он не откажет, т<ак> к<ак> мое письмо было написано после письма С. И. Златогорова, который мне писал, что он недавно пр<о>вел с А. В. целый вечер на банкете микробиологов, и что А. В. обо мне говорил с большой симпатией и удивлялся, что я ему ничего не писал о своих делах. Вот я ему после этого и написал подробно.[4] Его прошлогодняя телеграмма сослужила мне хорошую службу: меня не только оставили в покое тогда, но и в этом году, при всех крымских высылках и разгромах, меня ставят в стороне, не трогают и даже имени моего не упоминают. Писал я тоже недавно и Матвею Никаноровичу, благодарил его за все хлопоты и инициативу.[5] Материально нам неплохо. Ц.К.У.Б.У. нам не платит с октября, но я получил гонорар за перевод Флобера из Госиздата и к моменту заболевания из Одессы за продавшиеся в этом году акварели.

Сейчас стараюсь себя снова взять <в> руки и проверяю творческую работоспособность: пишу акварели и пробую начать мемуары. Как будто здесь нет большого творческого ущерба. Стихов еще не писал это время. Твои дела и голод в городах производят издали впечатление кошмарное.[6] И как Вы все там еще живы при всех этих обстоятельствах?! Крепко обнимаю тебя, Валькирию, Алешку,[7] всех друзей. Спасибо.

Макс.

[1] В недатированном письме к М С. Волошиной Л. Е. Остроумов сообщал «Я был сейчас в Кубу у Шпаро и узнал следующее: надо Максу хлопотать о единовременном пособии, для этого пусть он заполнит анкету <...>. Размеры пособия можно не указывать, Кубу само назначит сообразно серьезности болезни, материальному положению и количеству иждивенцев. Чем больше иждивенцев укажете, тем лучше < ..> Все это сделать необходимо, потому что на академическое обеспечение надежда очень слабая. теперь снимают с обеспечения тех ученых и писателей, у которых нет печатной продукции, а т<ак> к<ак> Макс давно не печатался, Шпаро побаивается, удастся ли сохранить за ним обеспечение. Поэтому настоятельно необходимо пристроить его также и на постоянную пенсию. Розанов и Сережа Шервинский послали ему на подпись курикулум вите, пусть подпишет

как можно скорей, высылайте, сейчас момент подходящий. Но только ради бога пусть Макс не распространяется о том, что “мешал людям убивать друг друга” и об идеалистичесском своем образе мыслей. Все это и без того знают и ценят, как должно, но в официальных документах в наше время указывать на это не следует, т<ак> к<ак> это лишает возможности его друзей, гл<авным> образом партийных, поддерживать ходатайство» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 217).

[2] Волошин был в Феодосии 5 марта, получил там «удостоверение» Врачебно-контрольной комиссии при Феодосийском райздравотделе, определяющее, что он «одержим склерозом мозговых сосудов, миокардитом, воспалением почек и общим ожирением» и «по состоянию здоровья подходит под инвалидность второй группы» (Труды и дни-2. С. 451–452).

[3] См. примеч 3 к п. 460, п 462.

[4] См. п. 461, примеч. 2

[5] М. Н Розанов. 11 декабря 1929 г. он писал Волошину «Инициативная группа Ваших московских друзей, возбуждающая дело о назначении Вам пенсии, просит Вас подписать прилагаемую бумагу (Curriculum vitae) и вернуть ее нам возможно скорее <.. > Мне очень хотелось, чтобы Вы получили перевод Флобера, издание которого редактируется моим учеником Эйхенгольцем. Он дал мне обещание и, думаю, уже исполнил его» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 1030, л 13–14).

[6] 4 марта 1930 г. Л. Е. Остроумов писал Волошину о своих литературных делах: «Начиная с октября я только и делаю, что усиленно отбиваю яростные атаки своих недоброжелателей. В результате мне вернули даже те рукописи, которые были посланы в типографию. Грызня идет самая ожесточенная, причем издательства захвачены людьми мало мне симпатизирующими. За последнее время начал восстанавливать положение, но так медленно и с таким трудом, что является опасность протянуть ножки с голоду. <...> Становлюсь модным автором: мою книгу “Черный лебедь” так облаяли в 4 газетах, что она идет нарасхват. Тем не менее враги ожесточаются, предстоит два конфликтных разбирательства. Сейчас пишу повесть о текстильщиках и проклинаю судьбу, т<ак> к<ак> трудно писателю угнаться за “темпами современности”. Не сомневаюсь, что ко времени напечатанья книга уже устареет» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 917, л 38–39). Упоминаются книги Л. Остроумова «Черный лебедь. Новые приключения Макара-Следопыта» (<Харьков.> Пролетарий, <1930>) и, видимо, «Фабрика разговоров: Роман» (М.: Федерация, 1931).

[7] В. П. Остроумова, А. Л. Остроумов.

466. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

13 марта 1930 г. Коктебель[1]

Дорогой Иван Михайлович,

очевидно, что какие-то из наших писем затерялись.[2] Большое спасибо за книги и за гомеопатич<еские> лекарства. Я писал и благодарил Дм<итрия> А. Юнгмейстера. Получил ли он мою открытку? По Вашей «рецептуре» я понял, что соли Трунейчика включены в гомеопатию. Можно ли сделать раствор готовых солей и в какой потенции их принимать? Не дадите ли Вы мне какого-нибудь гомеопатического средства «от ожирения»? Я сильно похудел после болезни. Теперь вешу меньше 100 кило (98... 99?), но хотелось бы прогрессировать. С весною силы заметно восстанавливаются. Принимаю арнику для ликвидации инсульта. Как Вы себя чувствуете? Что же, собственно, было с Вами? Кровоизлияние в желудок – это вид инсульта?[3] Очень жду Вас летом. Всего, всего лучшего. Спасибо за память и внимание.

Привет Софии Настасьевне.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Текст – на обороте листа с письмом М С. Волошиной к И М. Саркизову-Серазини от 13 марта 1930 г, в котором сообщалось, что Волошин «делается бодрее и лучше Сейчас он почти нормален – гуляет, понемногу работает, но от всего быстро устает. И часто стали бывать перебои сердца. Но речь уже восстановилась и рука и нога тоже в порядке».

[2] 13 марта М. С Волошина писала Саркизову-Серазини. «...мне очень досадно, что Вы не получили моего письма, а я Вам писала 8/I и 14/II, и в последнем закрытом письме М. А. делал приписку и благодарил Вас за присланные книги». В недатированном ответном письме, сообщая правила приема высланного гомеопатического средства, Саркизов-Серазини добавлял: «Очень печально, что пропадают письма Прошу Вас ответить, получили ли посылку или нет» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 1084, л. 47–47 об.). Саркизов-Серазини высылал тогда Волошину новейшие издания исторической и мемуарной литературы.

[3] В письме от 14 января 1930 г. (Там же, л. 46–46 об.) Саркизов-Серазини сообщал о своем пребывании в больницах в течение двух с половиной месяцев: «желудочное кровотечение», «диагноз не уста-

новлен». В ответном письме он добавлял «Что было у меня – один Аллах ведает До сих пор нет диагноза»

[4] С. А. Саркизова

467. Н. Н. БУРЛЕЙ

22 марта 1930 г. Коктебель[1]

22/III 1930. Коктебель.

Милая Надя, большое спасибо за «Дон-Кихота» – прекрасное и очень изящное издание, которое мне очень хотелось иметь.[2] Сегодня равноденствие, первый день астрономической весны. И действительно весна – жарко, + 18° на балконе. Прилетели жаворонки и физически, и гастрономически – Маруся испекла<?> как по традиции на севере – античные просфоры Венеры (Венерины голубки) в их ритуально-символической форме.

Я очень люблю эти пережитки античности в нашем мире. От них чувствуешь себя более юным (более древним). Спасибо за предыдущую сладкую посылку. Нет ли в Симферополе сухих фруктов? Т<ак> наз<ываемые> «сушки». Если есть, то пришлите. Здесь совсем нет в этом году. Как Вы живете, Надя? Как прожили эту зиму? Приедете ли в этом году? Хорошо ли Вам ездилось по Волге? Ведь Вы, кажется, от нас прямо туда поехали?[3]

Доходили ли до Вас вести о театральных триумфах Воли Вишневского?[4] Мы очень за него вчуже порадовались. Ему дали за пьесу орден Кр<асного> Знамени.

Макс.

[1] Текст – на обороте акварели (помета: «MW 26 II 30») с надписью: «Милой Наде – привет от Макса, Маруси и Коктебеля».

[2] Видимо, речь идет об издании: *Сервантес М.* Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Пер. под ред., с вступит. статьями Б. А Кржевского и А. А. Смирнова. Т. 1. Л.: Academia, 1929. В письме к Волошину из Симферополя от 24 марта 1930 г Н Н. Бурлей, напоминая о встречах в Коктебеле (« ..хорошо помню Ваши слова – “Самое ценное в человеке – его диапазон”. А ведь я только счетовод. Но

с Вами <...> можно говорить о таких вещах, в которых иногда страшно сознаться самой себе. Ведь Вы все поймете!»), замечала: «Быть может, “Дон-Кихот” Сервантеса напомнит иногда о девочке, для которой Ваше рукопожатие, Ваш теплый взгляд – многое в жизни» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 301)

[3] Н Н. Бурлей, как бухгалтер, была командирована из Симферополя в Коктебель и появилась у Волошиных 21 марта 1929 г (Труды и дни-2 С 420)

[4] 10 февраля 1930 г. М. А. Тарловский писал Волошину из Москвы. «Всев<олод> Вит<альевич> Вишневский, с которым мы познакомились в этом году у Вас в Коктебеле, написал пьесу “Первая Конная”, которая сразу его сделала знаменитостью. О ней пишут восторженные статьи, она идет сразу в нескольких театрах (вернее, скоро пойдет) – в Москве и Ленинграде, – он читал ее здесь с большим успехом в нескольких местах Отрывок ее я читал недавно в “Правде”. Судя по отрывку, пьеса, действительно, боевая» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 1174, л 7 об –8) Имеется в виду пьеса В. В. Вишневского «Первая Конная», заказанная автору Театром Красной Армии и публично читанная им в Москве (в Доме Герцена, в Доме печати, в ЦДКА). В декабре 1929 г. комиссия Реввоенсовета под председательством С. М. Буденного постановила признать пьесу «чрезвычайно художественно ценной, построенной на исторически правильном материале и идеологически выдержанной». В День Красной Армии (23 февраля 1930 г) премьера «Первой Конной» состоялась одновременно в Москве – в театре ЦДКА (режиссер П Ильин) и в Ленинграде – в Народном доме им. К. Либкнехта и Р Люксембург (режиссер А Дикий). Отдельное издание «Первой Конной» (М.: Федерация, 1930) Вишневский отправил Волошину 13 июня 1930 г. с надписью «С доброй памятью о Вас шлю Вам эту книгу, где показаны мы, которым в 1918–20 гг в своем Коктебеле Вы оказывали смелую помощь, не боясь белых» (Труды и дни-2. С. 460).

468. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

26 марта 1930 г. Коктебель

26. III. 1930, Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Я Вам не писал всю зиму. Это происходило главным образом от моей болезни. Вы, вероятно, знаете, что зимою (9. XII.

29 г.) у меня был «удар». Инсульт был очень небольшой, но я после него утерял способность писать — водить пером по бумаге. Но это не помешало мне докончить перевод «Повестей» Флобера, заказанный мне «Госиздатом»,[1] что мне материально было необходимо, потому что ЦКУБУ — сами знаете... прекратили платежи.

Это же помешало мне оплатить Вам мой долг до конца. Эти 50 р. за мною, и я Вам их уплачу, как только получу за какую-нибудь работу или ЦКУБУ мне что-нибудь уплатит.[2]

Сейчас же мое письмо вызвано желанием и необходимостью посоветоваться с Вами относительно судьбы моего «Дома поэта». Почти каждый год ему что-нибудь грозит. Но до сих пор я всегда по разным симптомам знал заранее о зреющих угрозах и принимал вовремя меры для их парирования. Так было в прошлом году, когда бывший председатель сельсовета вздумал доказывать, что «каменный флигель» во дворе не мой, а собственность «помещиков Юнге», которые здесь жили 18 лет (!), и что его следует «национализировать». Несколько дней назад ко мне зашел в сопровождении здешнего заведующего курортным трестом некий товарищ, назвавший себя представителем Крымского Наркомпроса и Феодосийского исполкома,[3] и первым его вопросом было: не хочу ли я *добровольно* отдать часть моей дачи в распоряжение Курорт-треста для сдачи внаем (дело в том, что коктебельский Курорт-трест сдал свои помещения на будущее лето двум домам отдыха и у него теперь не хватает дач для сдачи просто приезжим). На это я резонно возразил: цель бесплатности моего дома — нежелание торговать им. Как же я буду добровольно уступать мой дом под «лавочку», каковой является Курорт-трест, которому я не могу этого запретить. Причиной их посещения была некая статья, недавно (как мне говорили) появившаяся в «Красном Крыму» под заглавием «Классовое чутье», касавшаяся Луначарского, что он будто бы роздал в Коктебеле ряд дач разным писателям.[4] Были названы поименно: Дейша, Манасеина, Павлова (?), а по некоторым вариантам и я (Вы не были упомянуты), которые зимой живут в центре, а летом приторговывают комнатами в Коктебеле. Он списал все заявления и мандаты, подписанные Луначарским, но у меня были и другие, с

подписями Калинина, Енукидзе, Сапронова. И все нападки и придирки ко мне со стороны местных властей. Но совсем не обратил внимания на списки живших у меня и их подпись, где они свидетельствуют о «бесплатности» моего дома.

Когда он уходил, я его спросил: «Надо ли мне готовиться к новым придиркам и неприятностям?» Он же ответил: «Нет, никаких неприятностей вам ждать нечего. Я сделаю доклад в Феодосийском исполкоме, мы напишем в Крымский Наркомпрос, а если надо, ваше дело будет решаться в РСФСР и будет решено окончательно». Но я не почувствовал успокоение от этих слов. У меня не было впечатления, что этот т. Мангос — уполномоченный от Наркомпроса и что его впечатления осмотра могли бы дать объективные данные. Тогда ему надо было приехать не в марте, а в июле и побеседовать со всеми у меня живущими. А здесь он поневоле будет во власти моих местных неприятелей и антагонистов. Словом, я опять чувствую себя накануне больших неприятностей и попыток меня выселить из дома и сократить меня. Удивительна эта враждебность «властей» ко всему, что является подлинным коммунизмом. Не является ли мой дом подлинным и осуществленным писательским коллективом? Или это незаконная конкуренция?

Викентий Викентьевич, посоветуйте мне, какие принять предварительные меры? Кому написать, у кого просить защиты? У Союза писателей? У ВЦИК'а? Кому писать? Через кого?[5]

У меня после болезни остались большая утомленность и покорность. Но я не считаю себя вправе так бросить это дело — слишком много людей и семейств в существовании моего дома заинтересованы, и особенно дети — ведь целое детское поколение растет в нашем доме.

В прошлом году одно из важных лиц в республике говорило одному моему знакомому, заговорившему о моих делах: «Надо уметь огрызаться, иначе жить нельзя». У меня эта способность была всегда слаба, а теперь, после удара, кажется, совсем утратилась. Помогите, Викентий Викентьевич.

Ваш М. А. Волошин.

P. S. Все эти дела очень волнуют Марию Степановну, которая совсем надорвана и очень больна.

[1] См. примеч. 2 к п. 462.

[2] В. В. Вересаев отвечал Волошину 3 апреля 1930 г.: «Ваше напоминание о долге (если он есть: мне сильно помнится, что Вы мне уплатили все). Вы себе противоречите. У Вас где-то в “Путях Каина” очень хорошо сказано, что “благодарность” заключается в том, что я взял у тебя, а отдал другому. Это я не так понимаю, чтобы я Вас уполномочивал данную сумму отдать не мне, а кому другому по Вашему усмотрению (найду и сам), – а так, чтоб не записывать в “кредит” и “дебет”, если человек этого не требует, а так же по-братски, по-товарищески принять от другого в трудную минуту помощь, как и оказать ее третьему» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л 61 об. В тексте подразумевается 6-й раздел стихотворения «Бунтовщик» из цикла «Путями Каина», см.: Т. 2 наст. изд. С. 37)

[3] Комиссия из трех человек – командированного Крымнаркомпросом Мангоса и двух понятых – посетила Волошина 21 марта 1930 г. (Труды и дни-2 С. 453)

[4] Обнаружить эту статью в газете «Красный Крым» не удалось

[5] Вересаев отвечал в цитированном выше письме: «Вам, по-моему, не следует все это принимать преждевременно слишком близко к сердцу. Если бы у Вас были грамоты, подписанные только Луначарским, то еще, может быть, были бы основания к беспокойству. Но, сколько я знаю, дачи Вам возвращены Крым-ЦИК'ом и ВЦИК'ом. Аннулировать постановление может только ЦИК, а не Наркомпросс или феод<осийский> исполком. И Союз Писателей, и какое-либо другое учреждение могло бы вмешаться лишь по поводу состоявшейся отмены постановления, а не ходатайствовать об оставлении за Вами дачи, которой, *по слухам*, что-то *может* угрожать. Главное же· набег на Вашу дачу был, очевидно, проявлением того усердия не по разуму и “головотяпства”, которые до статьи Сталина поощрялись, а теперь очень и очень сурово одергиваются. И я думаю, – никаких последствий посещение комиссии иметь не будет; вероятно, цель их была, – попугать Вас, чтобы Вы “добровольно” отдали часть дачи курорттресту Вы не поддались на удочку, и хорошо сделали. И ей Богу же, бросьте преждевременно беспокоиться. Если что случится, тогда и попробуем действовать» (Л. 61–61 об). (В тексте упоминается статья И. В Сталина «Головокружение от успехов», опубликованная в газете «Правда» 2 марта 1930 г., в которой осуждались «перегибы» в сплошной коллективизации).

469. ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

29 марта 1930 г. Коктебель

29/III 1930.

Во Всерос<сийский> Союз С<оветских> Писателей.

Вчера 28/III я получил от правления С<оюза> П<исателей> 50 р., о чем спешу Вас известить, принося Союзу благодарность.

Поэт Максимилиан Волошин.

470. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

30 марта 1930 г. Коктебель

30. III. 1930. Коктебель.

Милый Левушка,

несчастье никогда не приходит одно. После «удара» и закрытия Цекубу[1] у нас опять отнимают дом. У нас была несколько дней назад «комиссия», которая сперва предложила *добровольно* отдать часть нашего помещения в распоряжение Курорт-Треста.[2] На что я ответил: «Если я отдам Курорт-Тресту, то он будет *торговать* комнатами, а я этого не хочу. Эти помещения у меня отдаются *бесплатно* писателям, художникам, ученым и их семьям». «Комиссия» пересмотрела все грамматы <*так!*>, кое-что пер<еп>исала и уходя сказала: «Я сделаю доклад в Феод<осийском> Испол-Коме, потом Ваше дело, если надо, перенесется в Крым-Нарком-прос, а после в Москву».

Они интересовались библиотекой, осматривали мастерскую. А теперь нам передают, что решено отнять у нас оба дома и оставить нам только мастерскую и, мож<ет> б<ыть>, еще одну зимнюю комнату.

У меня болезнь погасила все боевые способности. Писать мне некому, а ехать самому в Симф<ерополь> или в Москву – я не в состоянии физически. Вообще мне запрещено волноваться.

Но сейчас все еще возможно предотвратить: для этого все наши летние гости должны сами коллективно отстаивать в

Москве свои права. Пред кем? не знаю... Енукидзе? Сталиным? Бубновым? Или как коллектив писателей согласится с Курорт-Трестом, чтобы им хотя бы флигель уступили в аренду.

Причиной всему, очевидно, была провокационная статья в «Красном Крыму»: «Классовое чутье», направл<енная> против Луначарского, где говорится, что он роздал в Коктебеле ряд дач будто бы «писателям», которые зимою сами живут <в> центре, а летом «приторговывают» своими дачами.[3] Статьи я не видал и насколько достоверно это сведение – не знаю. Но это правдоподобно. Но дачу я получил не от Луначарского, а постановлением «Крым-ЦИК'а», а грамоты мои не только от Луначарского, но есть и подписанные Калининым и Енукидзе. Но сейчас отстаивать свои права, доказывать свою правоту я не в состоянии. Я думаю, что хорошо бы это все довести до сведения Кондурушкина. Если нужно – я напишу, но жду от тебя указаний.[4] Хорошо бы поговорить и с Винавером (ведь ты его видаешь по своим делам?). Я очень расстроен и подавлен, что весьма страшит Марусю, тревога которой за мое здоровье еще не угасла. Крепко тебя обнимаю и благодарю за все твои хлопоты. У нас сейчас Федора,[5] но завтра уходит она с Ол<ьгой> Ник<олаевной>.[6] Завтра ждут С. С. Заяицкого.[7]

Мах.

[1] См. примеч. 3 к п. 460. Сведения о закрытии ЦЕКУБУ не соответствовали действительности (возможно, Волошин подразумевает прекращение получения им средств от ЦЕКУБУ).

[2] См. п 468, примеч. 3.

[3] См. п 468, примеч. 4

[4] 12 апреля 1930 г. Л. Е. Остроумов написал Волошину о хлопотах по его делу (беседы с И. С. Кондурушкиным, М. Л. Винавером, С. А. Котляревским, обещавшим поддержку А. В. Луначарского, с секретарем М Горького П. П. Крючковым, обещавшим поддержку А. Б. Халатова), а также сообщил. «Третьего дня я был у Начальника Главискусства Феликса Кона и когда объяснил ему, в чем дело, он тут же переговорил по телефону с Енукидзе, а мне посоветовал подать заявление. Вчера я его подал за подписью Матвея Никаноровича <Розанова. – *Ред* >, Вересаева и Вас<илия> Дмитриевича <Шервинского. – *Ред.*> Вчера же оно направилось во ВЦИК с просьбой Кона "дать Феодосийскому Исполкому соответствующие указания". Так

что в благополучном исходе дела я вполне уверен. Копии охранных грамот ты наверное уже выслал <...> Союз Писателей по моей просьбе высылает тебе членский билет. Хуже обстоит дело с пенсией, тянется оно и тормозится» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 40—40 об.).

[5] Ф. М. Литвиненко.

[6] Неустановленное лицо.

[7] С. С. Заяицкий приехал из Москвы в Феодосию 31 марта (Труды и дни-2. С. 454).

471. Л. Н. НЕВСКОМУ

7 апреля 1930 г. Коктебель[1]

Леониду Николаевичу Невскому — Заведующему Центральным Музеем Тавриды. Симферополь.

7/IV 1930.

Уважаемый Леонид Николаевич,

Мой друг — художник К. Ф. Богаевский, которому Вы недавно помогли в защите его мастерской, советовал мне обратиться к Вам в случае подобных угроз моему дому.

По-видимому, такой момент наступил.

Краткая историческая справка: я живу в Коктебеле уже скоро 40 лет (с 1893 года). Мне было 16 лет, когда моя мать переселилась в Крым из Москвы и построила себе на берегу маленький домик на пенсию, полученную за 12 лет службы на М<осковско->Б<рестской> ж<елезной> д<ороге>.[2] Позже, в 1903 г., окончив Феодосийскую гимназию и вернувшись из заграницы, я сам на литературные заработки построил себе тут же художественную мастерскую. Она стала вскоре русским литературным и художественным центром, из которого впоследствии и вырос Коктебель, как курорт — увы! Все писатели, которые создали позже репутацию Коктебеля как литературного сосредоточия (П. Соловьева, Манасеина, Гр. Петров, Вересаев), остались и строились в Коктебеле, вначале приехав ко мне. За 40 лет через мой дом (т<ак> н<азываемый> ДОМ ПОЭТА) прошли все представители всех направлений минувшей литературной эпохи, начиная с В. Брюсова, А. Толстого,

Гумилева, Ходасевича, Марины Цветаевой, Черубины де Габриак, С. Парнок до Андрея Соболя, Шенгели, Шервинского, Е. Ланна, Мандельштама, Эренбурга, С. Соловьева, Л. Остроумова, Заяицкого и кончая конструктивистами: Сельвинский, В. Инбер и т. д.

Недаром В. Брюсов, проводя последние творческие недели своей жизни в Коктебеле, говорил: «Раньше в России была Ясная Поляна, а теперь есть Коктебель... ...С тою разницею, что в Ясную Поляну приходили исповедоваться, а в Коктебель приходят заряжаться творчеством и работать...»[3] Если принять в соображение, что все поэты, жившие в Коктебеле, оставляли матерьяльные следы своей работы, хранящиеся в архивах «Дома Поэта», <и> что многие произведения, ставшие потом классическими, были созданы в Коктебеле, то это делает его памятником в истории русской культуры. Эта известность и была охранной грамотой «Дома Поэта» в смутные годы гражданской войны, а поз<же> его не трогали, потому что он не был реквизирован в первые годы Советской власти.

После смерти моей матери (1922 г.)[4] мы с женой объявили «Дом Поэта» бесплатной колонией для писателей, художников, ученых и их семейств. (Последнее явилось требованием самой жизни, так как скоро выяснилось, что самому писателю легко устроиться на лето в любом доме отдыха, куда не принимают <жен и детей?>) <...> <Что> касается ремонта дома, то мы решительно <...> против нас. Единственно что мы позволили живущим у нас, зимою в центре устроить литературный концерт на ремонт дома. Это дало возможность произвести необходимейший ремонт.

Но самый факт бесплатности частного дома на фоне современного <бы>та курорта кажется настолько необычайным, что нам ежегодно приходится отражать посягновения на наш дом со стороны местных властей, главным образом со стороны Комхоза и Курорттреста, учреждения, которые по неведению считают нас конкурентами. Так в 1924 г. тогдашний представитель Комхоза т. Минаков потребовал от меня, чтобы я в трехдневный срок выбрал патент <для> содержания гостиницы!? иначе он выгонит всех живущих и опечатает дом, и мне

пришлось в августе месяце, когда дом был полн <наро>дом, самому ехать в Симферополь выяснять положение.[5] <Эт>от инцидент вызвал год спустя постановление КрымЦИК'а об утверждении дома за мной (копия прилагается).

В прошлом году я узнал, что против дома готовится новое нападение. Друзья, которым я это сообщил, вызвали вмешательство наркомов: Луначарского, Семашки, Енукидзе, которые <то>гда телеграфно запросили КЦИК о моем положении. Затем я по<луч>ил от КЦИК'а извещение о постановлении местного комитета бедноты, созванного представителем Курорттреста т. Ткачевым, предлагавшим отнять у меня дом. Дело было тогда же ликвидировано благодаря упомянутым телеграммам.

На днях 21 марта ко мне зашла комиссия, состоявшая из теперешнего представителя Курорттреста т. Линденера, члена сельсовета <т. Мав>родиева и т. Мангоса, уполномоченного Кнарпроса и Феодос<ийского> Исп<олкома>, <по> его словам, произвести обследования моего дома. Первый вопрос <был>: «Не желаете ли добровольно уступить часть вашего дома Курорттресту для эксплуатации?» — «Ни в коем случае... писатели здесь живут даром. Я отнюдь не хочу в этом доме устраивать <лав>очку и торговать комнатами. А Курорттрест не может мне обещать, что не будет сдавать комнат за деньги. Я не имею права <ста>вить ему такие условия, как и он их принять. Матерьяльно <я> совсем не заинтересован в эксплуатации этого дома, а морально надеюсь передать его в руки такого учреждения, которое превратит его в музей и будет поддерживать мои традиции: т. е. да<вать> бесплатный приют поэтам и художникам эпохи».

<Т.> Мангос пересмотрел все документы, касающиеся дома, делая заме<чания> и кое-что копируя. На мой вопрос, ждать ли мне новых неп<рия>тностей, он ответил: «На основании моих впечатлений я сдел<аю д>оклад, ваше дело будет разбираться в Феодосийс<ком> Исполкоме, затем в КНаркомпросе, а затем пойдет в Москву, где оно решится и <вас> больше тревожить не будут».

<Держ>ал он себя корректно и сдержанно. Но меня это посещение <взво>лновало и выбило из колеи: если бы КНар-

компрос действительно хотел узнать, как идет жизнь в «Доме Поэта», то он прислал бы своего представителя не ранней весной, когда дом еще пуст, <а в июле или в> августе, когда он наибольше наполнен не только живущими <все> лето, но и проходящими экскурсиями, ищущими отдыха и ночлега, потому что дом мой является постоянной базой для <архе>ологических и научных экскурсий, обслуживая в этом с<лу>чае РОПИК, Карадагскую станцию, Феодосийский музей.[6] Несмотря на все это, мне приходится жить и вести свой дом среди общего непонимания местных жителей и постоянно меняющихся властей. Как и те, так и другие не могут принять принципа бесплатности, лежащего в основании моего дома.*

Я буду Вам очень благодарен, Леонид Николаевич, если Вы по<може>те мне выяснить это дело в Кнаркомпросе и посоветуете <мне,> каким образом оградить себя от постоянных оскорбительных <для меня> подозрений в вещах, органически мне чуждых.

[1] Текст (машинописная копия) частично утрачен, поскольку при печатании был не целиком совмещен с листом копировальной бумаги.

---

* *Далее следует не вошедший в приводимый машинописный текст рукописный фрагмент (ИРЛИ, ф. 562, оп 4, ед. хр 64, л 3–3 об.)·*

Сегодня я получил письмо от В. В. Вересаева, которому я писал, прося вызвать вмешательство Союза Писателей.[7] Он выражает сомнение в том, что т Мангос действовал как представитель Крым-Наркомпроса (он мне не показывал *своих* документов), но я полагался на рекомендацию присутствовавших представителей местной власти. Я предположил, что посещение этой комиссии было естественным следствием статьи в «Кр<асном> Крыму» (я сам ее не видал), где т Луначарский обвинялся в том, что он роздал в Коктебеле ряд дач «якобы писателям», которые живут в центре, а летом «приторговывают» дачами.[8]

Не ручаюсь за точность слов, но мне так передавали содержание статьи Если это так, то автор статьи очевидно не знает Коктебеля, потому что свой дом я получил не от А. В Луначарского, а по постановлению КрымЦИК'а, которое только он и может оспаривать, и получил вне всяких оговорок и условий, а в «собственность», поскольку она сохраняется в СССР Так что *даром* отдавать в пользование дом моим коллегам я-то *имею право.* Тем более что это я делаю не последнее десятилетие при Совет<ской> Власти, а уже 40 лет[1]

[2] Е О Кириенко-Волошина работала конторщицей в больнице Московско-Брестской железной дороги (Москва) с января 1882 г. до весны 1893 г (Труды и дни. С. 11, 26).

[3] Ср. более подробную запись впечатлений Брюсова от Коктебеля в набросках воспоминаний Волошина о нем (Т. 7, кн 2 наст. изд. С. 336).

[4] Е. О. Кириенко-Волошина скончалась 8 января 1923 г

[5] Речь идет о поездке Волошина в Симферополь с 27 июля по 3 августа 1924 г. (см.: Т. 12 наст. изд. С. 807–808).

[6] Российское общество по изучению Крыма, Карадагская биологическая станция, Феодосийский музей древностей и Галерея И. К. Айвазовского.

[7] См. п 468, примеч. 5.

[8] См. примеч. 4 к п. 468.

472. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

14 апреля 1930 г. Коктебель[1]

14/IV 1930. Коктебель.

Многоуважаемый Анатолий Васильевич,

Я Вам писал 18 февраля и тогда же заказным послал письмо на Кремль.[2] Вы, вероятно, его не получили, поэтому посылаю его копию. Новое покушение на мой дом реализовалось: 21 марта ко мне пришла комиссия из трех человек: двух понятых из местного начальства и командированного Крымнаркомпроса т. Мангоса — так он себя назвал. Не показывая ни бумаг, ни мандата, он спросил:

«Не хотите ли добровольно уступить часть вашего дома курорт-тресту для эксплуатации?»

– Конечно, нет, у меня бесплатный дом поэтов и художников, курорт-трест будет их <*так!*> сдавать за плату. Я не хочу свой дом уступать под гостиницу.

Это посещение я понял так: если я добровольно не уступлю флигеля, то меня принудят. Комиссия была заинтересована бумагами, выясняющими мои права на дом, и когда я им представил свои охранные грамоты и постановление КрымЦИК'а о закреплении дома за мною, они себе отметили но-

мера, а частью записали, особенно интересуясь теми, что были подписаны Вами. Потом из местных разговоров я узнал, что появление комиссии, вероятно, было вызвано статьей, написанной здесь прошлым летом и направленной против Вас.[3] Статья будто бы называлась «Классовое чутье», и говорилось в ней, что Вы отдали в Коктебеле ряд лучших дач якобы писателям – Манасеиной, Дейше-Сионицкой (?) и мне, которые живут зимой в Москве, а летом «приторговывают», сдавая их курортникам. Что бывшая у меня комиссия совсем не уполномочена Крымнаркомпросом, а направлена редакцией «Правды» для проверки сведений. Что касается меня, то я был бы очень рад всякой проверке, идущей от Наркомпроса, тем более что я владею дачей не через Вас, а по особому постановлению Крым-ЦИК'а, что комиссия и увидала из предъявленных мною документов.

Но на что она не обратила внимания, это на листы с сотнями подписей, которыми все жившие у меня последние годы свидетельствовали о действительной бесплатности моего дома. Местные власти склонны скептически относиться к этой бесплатности. На тринадцатый год социальной революции для административных лиц удивительно и маловероятно, чтобы существовали люди, для которых первоначальные требования коммунизма являются моральным императивом, не обусловленным никаким приказом. С этим непониманием и вытекающим из него недоверием мне приходится сталкиваться на каждом шагу.

Сейчас, очевидно, никакого постановления об реквизиции моего флигеля в пользу курорт-треста еще нет, но такое предложение написано и идет по инстанциям: Феодосийский Исполком, Крымнаркомпрос, Москва. Какое учреждение будет решать этот вопрос окончательно, ВЦИК или РКИ,[4] – неизвестно. Но на случай неблагоприятного для ДОМА ПОЭТА решения мне необходимо предварительно заручиться заступничеством потому, что здесь такие постановления сразу проводятся в жизнь. Такой случай у меня был лет пять назад: Феодос<ийский> Комхоз предложил мне в трехдневный срок выбрать патент на содержание «гостиницы», иначе он выгонит всех у меня живущих и опечатает дом. А дом был пере-

полнен, мне пришлось выехать в Симферополь, и Крымнаркомпрос сейчас же остановил действие комхоза телеграммой.[5] Теперь я болен, на разъезды не способен и вынужден заранее принимать меры самозащиты. Поэтому я прошу Вас, Анатолий Васильевич, тех моих друзей, которые передадут Вам это письмо, направить по правильному пути.

[1] Текст письма сохранился в двух вариантах – карандашный черновик (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 72, л. 6–6 об.) и беловая машинописная копия (Там же, л. 7–7 об.).

[2] См. п. 461.

[3] См. примеч. 4 к п. 468.

[4] Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти в 1917–1936 гг , и Рабоче-Крестьянская Инспекция, наркомат, орган государственного контроля в 1920–1934 гг.

[5] Эта поездка Волошина в Симферополь состоялась летом 1924 г. – с 27 июля по 3 августа. См.: Т. 12 наст. изд. С. 807–808.

473. С. Н. ДУРЫЛИНУ

21–22 апреля 1930 г. Коктебель

21/IV 1930. Коктебель.

Воистину Воскресе, дорогой Сережа; твое письмо пришло как раз на второй день Праздника, а посылочка в четверг на страстной.[1] Нас умилили и «калужское тесто», и «туесок» с маслом. Масло – прекрасное – на по<л>дороге начало ёлкнуть. Оно пошло в куличи, образцы которых Маруся тебе высылает с цветами и акварелями. Спасибо за предложение о последних – посылаю тебе несколько для этой цели, обозначив сзади желательный «minimum» (по 10 р.).[2] Сейчас, когда Ц.Е.К.У.Б.У. прекратило платежи, акварели нас кормят. Как раз во время моей болезни, когда мы были без денег, мы получили из Одессы небольшую сумму от продажи на выставке, которая и спасла нас.[3] Потом пришли на помощь друзья из Москвы и СПб. и Харькова. Только что мы пережили полосу новых волнений о доме. В марте нас посетила комиссия (ко-

торая предложила мне *добровольно* уступить Дом Курорт-Тресту для эксплуатации).[4] Я ответил, что это «Дом Поэта» и, пока он у меня не отнят, я *торговли* в нем не допущу. Они ушли, сказав, что сделают соответственный доклад. Я ждал самых худших последствий, но стали приходить письма из Москвы, в которых меня уверяли, что сейчас отбирать дом, отданный постановлением Ц.И.К'а, невозможно без ведома того же Ц.И.К'а. Я успокоился. Но в свое время очень переволновался, так что не мог работать. Вообще очень ощутил в себе ущерб сопротивляемости – вероятно, в связи с болезнью и душевным упадком после удара. Но вообще удар больше отразился на состоянии духа Маруси, чем на мне. Я восстановился физически и чувствую только быструю утомляемость – от людей, разговоров, чтения вслух. А на Марусе он сказался некоторым малодушием зимой. Ей было страшно оставаться зимой в доме совершенно наедине со мной. Страх – за меня: если что опять со мной случится, то и позвать некого: зимой ведь никого не было не только в доме, но и вообще на берегу. Так было однажды в декабре – я упал, потеряв равновесие, и не мог встать, а у Маруси не было силы меня поднять. В доме тогда еще были люди, но никто на зов не пришел. Но я нашел силы стать на четверинки, потом на колени и подняться сам, когда Маруся выбежала за помощью. Поэтому мы зимой вызывали друзей к себе: на Рождество приехала к нам Гуна,[5] потом тетя Саша (Домрачева), а потом приезжала Ксения Монтвид (Марусина подруга). Так минула зима. Но сейчас зимнее полное отъединение, которое было для нас радостью, стало несколько пугать нас, и наши планы на будущий год очень связаны с тобою и твоим возвращением в Россию.[6] Именно: мы очень надеемся, что по окончании срока твоей ссылки вы с Ириной[7] приедете к нам и останетесь жить с нами на всю зиму. Это было бы прекрасное во все<х> отношениях решение вопроса о зимовке будущего года и творческой работе. Я думаю, что мы бы оба действовали бы друг на друга бодро и зажигающе. И тебе и Ирине было бы неплохо: у тебя была бы под руками и моя библиотека и море. И мы не были <бы> так безысходно связаны с домом, как теперь зимою, – мы ведь не можем даже отлучиться в Феодосию: дом не на кого оставить.

Подумай об этом, и начнем заблаговременно действовать через М. Л. Винавера, насколько это в его силах: ведь он *политический* Красн<ый> Крест и уже много хлопотал о тебе в первый период твоей ссылки. Я ему напишу о желательности такой комбинации.

Это я начну по приезде нашего друга Вар<вары> Дмитр<иевны> Финкельштейн, которая только что потеряла своего мужа, умершего после почти 9-месячной агонии.[8] В. Д. едет к нам жить надолго. Она друг Винавера и нас с ним свела впервые.

Твой «Народный Календарь» – очень интересен.[9] Знаешь ли ты соответствующий опыт Фр<ансиса> Жамма?[10] Хотя в твоем календаре больше Ремизова, чем Жамма. Но это не укор. Ведь Ремизов на всех путях русского фольклора – его не обойдешь. Да и надо ли?

Я новых стихов с прошлого года не писал. Начал писать отрывки мемуаров,[11] но «комиссия» по раскулачиванию сорвала работу. Мне мерещатся больше стихи о Крыме – Киммерии (Крым... Сумрак... Камень... Крепость. Киммерия... // Всё те же звуки: <*нрзб*>).[12]

Это тема, но что выйдет – еще не знаю.

Рукой М.С. Волошиной:

Воистину Воскресе! Дорогой Сергей Николаевич, и Ирина. Спасибо Вам, хорошие и родные, за всѐ, и за ласку, и за память, и за то, что так нас любите. Вы, дорогой Сергей Николаевич, очень дороги мне тем, что так хорошо понимаете и даже больше, чем я сама свою долю. Конечно, я не знаю и не понимаю, что я делаю, но так часто изнемогаю и от огорчений и от забот и от неудовлетворенности – и чувствую себя маленькой, ничтожной. Хочется ничего не знать, не делать, даже не быть. А заснуть, уткнувшись головой в колени к маме, к кому-то близкому, кто бы все за тебя решил и знал, что надо и не надо. Этот весь месяц опять прошел в огорчениях. О доме я не волновалась, но очень болела и огорчалась за Максино состояние – он как-то после болезни потерял всякую сопротивляемость и к жизни и к внешним событиям. Огорчился и оскорбился на новое посягательство на дом и как-то выбился

из колеи, чего с ним никогда раньше не бывало. Растерялся, расстроился и как-то ничего не хотел воспринимать. Мне очень много нужно было и слов и логики, чтоб его убедить, и только письма друзей его немного успокоили, и теперь он стал опять веселей. Зима эта для меня очень тяжело прошла. Я потеряла всякую радость к жизни, и мне все, все равно. Очень было бы хорошо, если б могли осуществиться наши планы и Вы бы смогли к нам приехать на зиму. Не знаю, как на это смотрите вы, но нам это кажется чудесным. Уединенная жизнь и Феодосия через 40 м<инут> к Вашим услугам, зачем Вам там жить, когда есть мы в Коктебеле и были бы просто счастливы, если бы вы с нами жили. Нам, ради Бога, ничего не присылайте. Вашей посылкой я была больше чем тронута – просто умилена до слез. Масло чудное по качеству, но чуточку стало елкнуть и пошло в куличек – котор<ый> и вышлю вам завтра в сухариках. А тесто Макс ест с чаем. Чай у нас есть, мы его пьем сейчас очень мало. Максу он запрещен, и он пьет землянику, а я тоже стала пить его очень мало. Живем мы очень скудно. Очень трудно в смысле продуктов, все дорого и денег не бывает, но не голодаем – молоко и молошное есть. Т<ак> ч<то>, ради Бога, не присылайте нам ничего, у нас самое необходимое есть все. Крепко вас с Ириной обнимаю и чувствую очень близкими нам. Спасибо за все. Маруся.

Приписка Волошина:

22/IV 1930.

Я что-то еще придумал ночью, что необходимо тебе написать. Но сейчас опять забыл. Сию минуту сяду отбирать акварели для посылки тебе. Да, передай, пожалуйста, от меня одну Ростиславу Ильину, как ответ на его письмо (как его отчество?) вместе с моею благодарностью и признательностью.[13] Напиши мне о нем и его научных идеях, которые для меня не вполне ясны из его письма. Я не вполне уясняю себе термин «этигенология» – в каком она отношении находится к геохимии Вл. И. Вернадского и «Геону» Боровского (или Яворского?).[14]

Макс.

[1] Пасха в 1930 г. – 20 апреля, четверг на страстной неделе – 17 апреля. В недатированном пасхальном письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 57–58 об.) С. Н. Дурылин спрашивал: «Получили ли Вы нашу посылочку, посланную с рассчетом, что Вы получите к празднику? Там масло, но главное там – “калужское тесто” <...> Дошло ли тесто и удобоснедаемо ли оно? Это древнейшее великорусское лакомство».

[2] «...Продаешь ли ты свои акварели? – спрашивал Дурылин Волошина в том же письме. – Если цена не дороже 20 р. – можно бы попытаться здесь продать кое-что. Если тебе это по мысли, и есть работы рублей на 10, на 15, на 20, то пришли, и я продам».

[3] См. п. 452, примеч. 2.

[4] См. примеч. 3 к п. 468.

[5] К. П. Девлет-Матвеева.

[6] Срок трехлетней ссылки Дурылина (в Новосибирск, затем в Томск) истекал 10 июня 1930 г.

[7] И. А. Комиссарова.

[8] Самуил Александрович Финкельштейн скончался в Москве 12 февраля 1930 г. В. Д. Финкельштейн приехала в Коктебель 10 мая 1930 г. (Труды и дни-2. С. 457).

[9] В цитированном выше пасхальном письме Дурылин сообщал: «Пишу я “народный календарь” – о чем писал тебе. Это мифотворчество народное никем почти не было воспринято, как огромный мир поэзии и красоты. Я тут ушкуйник, грубый повольник, не более. Вот тебе образцы моего марания. Из “февраля”». Приведя далее два стихотворения («Зимний Прокоп.. » и «Пустынный ангел, горний человек...»), Дурылин предлагал: «Напиши мне 2–3 слова об этих попытках. Мне очень дорого и нужно твое мнение». О работе над этим стихотворным циклом, начатой еще в 1913 г., Дурылин сообщал М. В. Нестерову 14/27 октября 1929 г.: «...теперь написал “сентябрь” и “октябрь” – разумеется, не все дни, а только некоторые. <...> Когда-то, из уст мамы, няни, разных “Петровн” и “Арин”, среди коих протекло мое детство, – я получал непрерывные отрывные изустные листочки этого “народного календаря”. Я не забыл его отметы, сказания, апокрифы, приметы, обряды. Все это уйдет безвозвратно – и всячески уйдет: исчезнет из жизни и не сохранится в церковных книгах, ибо народный календарь – это далеко не то, что церковный месяцеслов. Тут свои степени почитания, свои “венцы” и “славы”. И вот, как золотое сказание детства, захотелось *для себя* сохранить то, что еще не угасло в памяти» (*Дурылин Сергей.* В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 743). Стихотворения Дурылина «из книги “Венец лета”, сиречь Месяцеслов народный», преподнесенные автором Е В. Гениевой (ч. I. «Сентябрь»; ч. II. «Октябрь»; «Месяц май») опуб-

ликованы И.А. Бордаченковым в кн . «Я никому так не пишу, как Вам. » Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М : Центр книги Рудомино, 2010. С 487–526.

[10] Подразумевается книга Франсиса Жамма (Jammes) «Христианские георгики» («Les Géorgiques chrétiennes», 1912).

[11] Мемуарные записи Волошина, относящиеся к началу 1930 г., не выявлены.

[12] Намеченный в этих строках творческий замысел не был реализован.

[13] Сообщая Волошину в пасхальном письме свой новый томский адрес (Нечевский пер., д. 14, кв. 5), Дурылин добавлял· «Рядом со мной живет Ильин – любитель твоей поэзии и акварелей. Он дважды тебе писал Недавно писал из Томска, узнав о твоей болезни Он любит тебя. Напиши ему 2 слова». В первом письме к Волошину (Томск, 9 мая 1929 г.), написанном по совету Дурылина, Р.С. Ильин сообщал о своей научной специализации – почвоведении – и о значимости творчества Волошина для обоснования своих концепций. «Для меня же Земля всегда была едина; высшим методом восприятия и я считаю эстетическое, – это мой научный метод. В бессонные тюремные ночи я понял то, что на самом деле так просто, как и закон мирового тяготения, а вместе с тем так сокровенно. < > А Ваши рисунки, как ничьи иные, правдиво передают формы Земли. То же я вижу и в Ваших стихах И кроме того Вы понимаете и чувствуете Русскую Землю. Ваши рисунки просятся в учебники» Во втором письме к Волошину (Томск, 10 марта 1930 г.) Ильин признавался «...я как естествоиспытатель много обязан Вам и другим русским поэтам, постигавшим Хаос и Космос. Без русской поэзии я не установил бы своего научного открытия <...> – эпигенологический принцип природы < ..> эпигенологический принцип природы через изучение каждой почвенной ямы (надреза эпидермы Земли) сводит в единую систему построения ряда наук о земле и ее жизни, – геологии, геоморфологии, геоботаники, климатологии, геохимии, геобиологии и т. д.» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 597).

[14] 21 марта 1930 г. Ильин отвечал на заданные Волошиным в письме к Дурылину вопросы: «Сергей Николаевич прочел мне Ваше письмо с вопросами. Теории геона мне неизвестны; у В И. Вернадского я учился <.. >». Развивая далее в подробностях свои построения, Ильин резюмировал· «Эпигенологическим принципом Природы называется закон, сводящий во всех масштабах, – от всего мира до небольшого междуречья, – ее горизонтальные и вертикальные зоны к одной точке, – к водоприемнику – и знаменующий единство взаимнообусловленных факторов почвообразования, ведомых Солнцем» (Там же).

474. В. Я. ЭФРОН

30 апреля 1930 г. Коктебель[1]

30/IV 1930.

Милая Вера,

спасибо за письмо.[2] Скоро ли приедешь? Может, отпустишь с кем-нибудь Кота[3] одного, чтобы он пожил без тебя? У нас пока только Катя[4] с ребятами. Ждем Вар<вару> Дмитриевну со дня на день.[5] Катя мне сказала, что Миша[6] просит моих акварелей: у него есть возможность продать. Я глубоко тронут: сейчас продажа акварелей – мой (наш) единственный ресурс. Получил ли Миша десяток, что я ему выслал? Я их ценю по 15 руб. (minimum). Катины вести о друзьях очень взволновали. С домом, по-видимому, все обошлось. Передай акв<арель> – Лиле.[7]

Крепко целую.

Макс.*

Дорогая Вера, Х<ристос> В<оскрес>.

МАХ.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Возможно, имеется в виду письмо В. Я Эфрон к Волошиным с пасхальными поздравлениями (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 1345, л. 36 –36 об.).

[3] К. М. Эфрон – сын В Я. Эфрон.

[4] Е. О. Сорокина.

[5] В Д. Финкельштейн См примеч. 8 к п 473.

[6] М. С Фельдштейн.

[7] Е Я. Эфрон.

* *Далее – приписка на акварели*

475. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

4 мая 1930 г. Коктебель

4. V. 1930. Коктебель.

Дорогой Иван Михайлович,

большое Вам спасибо за полученные книги (все пришли по списку) и сладкую посылку.[1] Мы мало сказать благодарны – мы глубоко умилены Вашим вниманием, памятью, расположением и дружественностью.

С домом, по-видимому, все уладилось: ВЦИК телеграфировал в мою пользу в Феодосию и Симферополь. Брошюру Колли о «Следах древней культуры на дне морском» я Вам посылаю.[2] Я знал покойного Людвига Петровича, который в мое время был преподавателем гимназии, и он мне в свое время дарил все свои брошюры. Что для меня делает эти экземп<ляры> особенно ценными, и мне очень приятно быть Вам хоть чем-нибудь полезным.

С домом у меня, по-видимому, все уладилось так же, как и у остальных (Дейша, Манасеина), на которых было покушение. Но смысл и источники для меня еще не ясны.

Посылаю акварельки – Вам и Софии Анастасьевне[3] вместе с глубокой благодарностью и одновременно бандероль с бр<ошюрой> Колли.

Всего, всего лучшего. Как Ваше самочувствие теперь? Я себя чувствую прекрасно молодым и бодрым.

А все-таки придумайте и напишите мне о гомеопатических средствах против ожирения. Мне необходимо какое-то вспомогательное средство к диете.

Максимилиан Волошин.

М<ария> С<тепановна> шлет привет С<офии> А<настасьевне> и Вам. М. В.

[1] В письме к Волошину от 28 апреля 1930 г. И. М. Саркизов-Серазини сообщал, что выслал ему три пачки книг и «посылку с конфектами» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л 49–49 об.).

[2] В том же письме Саркизов-Серазини просил Волошина прислать ему «на неделю заказной бандеролью 1 брошюру Колли (<...> в

ней описывается о древностях Крыма, находящихся на дне моря или найденных рыбаками)». Подразумевается оттиск статьи феодосийского педагога и историка, хранителя Феодосийского музея древностей Людвига Петровича Колли (1849–1917) «Следы древней культуры на дне морском: Современные положения вопроса о нахождении в море античных памятников» (Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1909. № 43. С. 125–137).

[3] С. А. Саркизова.

476. Б. А. ЛАВРЕНЕВУ

5 мая 1930 г. Коктебель[1]

5 мая 1930 г. Коктебель.

Уважаемый Борис Андреич,

Всеволод Рождественский мне пишет, что Вы заинтересовались ДОМОМ ПОЭТА.[2] Хочу Вас как председателя Лит<ературного> Фонда информировать об его возникновении и положении. Я живу в Коктебеле уже почти сорок лет, моя мать построила здесь в 1893 году, а в 1903 я построил сам дом и мастерскую, с тех пор ко мне стали приезжать друзья, и Коктебель стал постепенно литературным поселком. За эту эпоху через мой дом прошли все поколения русских поэтов, начиная с Брюсова и кончая Сельвинским.[3] После смерти моей матери мы с женой объявили наш дом бесплатной колонией для поэтов, художников, ученых и их семейств. Последнее вызвано требованием жизни: большинству писателей на лето нужен приют не для себя, а для их семейств, которым нельзя устроиться в казенных домах отдыха. Таким образом у нас за эти годы образовалась обширная детская клиентура. Все эти годы нам приходилось отбиваться от покушений местных властей, для которых, привыкших к существованию курорта, непонятен и враждебен принцип бесплатности, лежащий в основе ДОМА ПОЭТА. Должен прибавить, что так как по различным обстоятельствам нам невозможно иметь наемную прислугу, то все хозяйство ДОМА ПОЭТА обслуживается руками моей жены, что утомительно и сложно, так как число посетителей

растет из года в год и превышает человеческие возможности. В ДОМЕ ПОЭТА хранится моя французская библиотека и литературные архивы, выросшие за всю мою жизнь до солидных размеров. Меня очень озабочивает судьба их после моей (нашей с женой) смерти. Мне бы хотелось еще при жизни обеспечить их сохранность, завещав после нашей смерти какому-нибудь солидному и долговечному учреждению. Литературный Фонд мне друзья рекомендуют как таковой. Я сам, насколько мне известна его история, ничего не имею против. Но мне бы очень не хотелось превращать ДОМ ПОЭТА в «дом отдыха» в казенном смысле этого слова. Поэтому я предлагаю Литературному Фонду направлять к нам отдельных писателей, преимущественно поэтов. Но считаю нужным предупредить, что большую часть жизни я провел в Париже и являюсь человеком латинской культуры и на ДОМ ПОЭТА смотрю как на очаг литературной культуры, которой в России всегда было слишком мало. Мне передавали, что Вы сами собираетесь быть в Коктебеле. Тогда приезжайте прямо ко мне и сами все увидите.[4] В данный момент ДОМУ ПОЭТА ничего не грозит, но всякого рода угрозы повторяются ежегодно. У нас в доме всегда много места весною и осенью, июль же и август всегда переполнены, и если кто едет в это время, нужно заранее списаться, иначе может не быть <места>.

[1] Текст письма сохранился в двух вариантах – черновик от 4 мая 1930 г. (ДМВ) и машинописная копия (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 69). Печатается по машинописной копии

[2] 29 апреля 1930 г В. А. Рождественский писал Волошину: « ..мне удалось заинтересовать судьбою “Дома Поэта” Ленинградское Отделение Литературного Фонда Вопрос поставлен на повестку дня ближайшего заседания. Председатель Литфонда, Бор<ис> Андр<еевич> Лавренев, который бывал в Коктебеле и знает зрительно “Дом Поэта”, очень поддерживает мысль о создании там Дома отдыха для писателей и ученых, а так как он имеет большое влияние в литературных кругах, даже московских (административно нам без Москвы не обойтись), то есть все основания думать, что дело идет на лад <...> самое лучшее было бы, не теряя ни дня, обратиться тебе с личным письмом по этому поводу непосредственно к Борису Андреевичу Лавреневу < ..>» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 1028, л. 48).

[3] В. Я. Брюсов гостил в Коктебеле в августе 1924 г., И Л. Сельвинский – в конце мая и начале июня 1927 г.

[4] 15 мая 1930 г Б А. Лавренев отвечал Волошину: «Правление Литфонда в принципе согласно поставить на доме свою марку, причем только марку Все распоряжение жизнью и обиходом дома должно остаться целиком в Ваших руках. Правление также согласно с Вашим пожеланием, чтобы в дом направлялись преимущественно поэты. Это наименее обеспеченная категория наших членов. <...> Обо всех подробностях и формальностях мы переговорим лично по моем приезде в Коктебель Я буду, вероятно, к 10-му июня уже в Коктебеле. Очень признателен Вам за любезное приглашение приехать прямо к Вам, но я буду жить у своего кузена. Я человек до смешного любящий полное одиночество и покой, а у Вас всегда масса людей и шума. А я по характеру одинокий киплинговский кот, который гуляет сам по себе» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 744). М С. Волошина в мемуарном очерке «История дарения дома» вспоминает в этой связи о Лавреневе: « . тот ответил, что приедет весной сам в Коктебель и будет у своего родственника, двоюродного брата. А двоюродный брат его был местный фельдшер – и он, и жена его известны здесь были, как люди очень темной и даже уголовной репутации. Так что нам стало страшно Лавренев не приехал, и как-то незаметно для себя, и не сопротивляясь вышло, что мы передаем дом С<оюзу> П<исателей> в Москве» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С 158)

477. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

6 мая 1930 г. Коктебель[1]

Дорогой Эрик Феодорович,

получил Ваше письмо о смерти А. Я. Головина[2]. Конечно, я хочу принять участие в сборнике его памяти и пришлю Вам страничку воспоминаний.[3] К какому сроку? Я не писал Вам потому, что в декабре у меня был удар, и я ½ года не мог *писать*.[4] Теперь я, кажется, уже совсем оправился. Осталась только быстрая утомляемость. Особенно от разговора и чтения вслух.

У меня были неприятности с домом: опять местные власти делали попытку отнять его, и опять за меня вступилась

Москва, и теперь все обошлось.[5] Не приедете ли Вы в этом году? Привет Танечке Хижинской, вы, верно, встречаетесь?

Всего наилучшего! Привет от Мар<ии> Степан<овны>.

Максимилиан Волошин.

[1] Датируется по почтовому штемпелю: «6.5.30».

[2] 19 апреля 1930 г. Э. Ф. Голлербах писал Волошину: «...очень давно не имею от Вас “рукописных знаков”: слыхал о том, что Вы были больны, что теперь, слава Богу, здоровье вернулось к Вам. <...> Сегодня мы похоронили Александра Яковлевича Головина. Вы знаете лучше, чем кто-либо, кого потеряла наша художественная культура. <...> Лучисто-ласковый, бесконечно милый и простой, талантливый в каждом своем движении, тонко-ироничный и нежный, Александр Яковлевич не был ли одним из самых прекрасных людей, которые когда-либо жили в нашей России? Неизбывно-щедрый, великолепный талант, большое и умное сердце. Он похоронен по мудрой случайности недалеко от могилы Александра Иванова на Новодевичьем кладбище. Именно Александра Иванова он особенно чтил и ставил его едва ли не выше всех русских художников прошлого века. У нас организуется комитет по увековечению памяти А. Я.; возможно издание сборника, и очень хотелось бы, чтобы Вы приняли в нем участие» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 428, л. 33–34). Этот замысел не осуществился.

[3] Намерение Волошина реализовано не было.

[4] См. примеч. 2 к п. 449.

[5] См. п. 346.

478. М. С. АЛЬТМАНУ

10 мая 1930 г. Коктебель[1]

10/V 1930.

Дорогой Моисей Семенович,

эти строки – ответ на Ваше письмо от 15/IX.[2] Слишком поздно. Вы, вероятно, знаете, что у меня в декабре 9/XII был удар. К счастью, небольшой. Я от него совсем оправился (осталась только быстрая *утомляемость*). Но я не мог всю зиму писать писем. Теперь пишу Вам только, чтобы напомнить,

что я жду Вашего приезда, когда бы Вы ни собрались. Но лучше пораньше.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 13. 5. 30; Ленинград. 19. 5. 30.

[2] См.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 175.

[3] М. С. Альтман отвечал 22 мая 1930 г.: «Очень тронут Вашей обо мне памятью и благодарю за любезное приглашение. Этим летом я *твердо* надеюсь к Вам приехать. <...> Узнав о Вашей болезни, я собирался к Вам “на минуточку” зимой, но мне отсоветовали, говоря, что это, может быть, будет для Вас утомительно» (Там же). Альтман приехал в Коктебель 24 июня и отбыл оттуда 23 августа 1930 г. (Труды и дни-2. С. 460, 467).

479. О. Н. АННЕНКОВОЙ

14 мая 1930 г. Коктебель[1]

14 V 1930.

Дорогая Леля! Пишу тебе на этой акварели, чтобы напомнить тебе, что в Коктебеле тебя ждут: мы тебе наметили <*нрзб*>, а Варв<аре> Дмитриевне [2] прохладную и тенистую комнату на море с уединенной террасой (под «палубой»[3]). Тебе будет вполне хорошо. Только не запаздывай. Теперь лучшее время.[4] О <*нрзб*>, а Вар<вара> Дмитр<иевна> тебе уже писала.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] В. Д. Финкельштейн (приехала в Коктебель 11 мая // Труды и дни-2. С. 457).

[3] См. примеч. 4 к п. 257.

[4] Лето 1930 г. О. Н. Анненкова провела в Коктебеле.

480. Е. А. БАЛЬМОНТ

14 мая 1930 г. Коктебель[1]

14 V 1930.

Дорогая Екатерина Алексеевна, с чувством глубокого возмущения узнал о Ваших квартирных историях.[2] И первое желание было написать это возмущение знакомым полит-каторжанам. Но В. Д.[3] остановила меня, говоря, что Вы должны остерегаться поднимать шум. С нетерпением ждем этим летом к себе Ол<ьгу> Ник<олаевну> [4] и наметили для нее исключительно тихую и тенистую комнату. Тут прохладно все лето. Крепко целуем.

Волошины.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] В чем в данном случае заключались «квартирные истории» Е. А. Бальмонт, Волошину рассказала, по всей вероятности, В.Д Финкельштейн (см. примеч. 2 к п. 479). Суть конфликта нам прояснить не удалось.

[3] В. Д. Финкельштейн.

[4] О. Н. Анненкова См. п. 478, примеч. 3.

481. К. В. КАНДАУРОВУ

28 мая 1930 г. Коктебель[1]

Дорогой Костя,

узнал о твоей операции от Костеньки, кот<орый> только что был у меня с Жозеф<иной> Густавовной[2] и отсюда тщетно пытался тебе послать телеграмму.

Глубоко уверен, что все сойдет благополучно и что ты воскреснешь для жизни и работы. Я себя чувствую прекрасно. Все последствия удара исчезают с каждым днем. Только что похоронили Н. И. Манасеину, которая умерла от повторного удара тотчас же по возвращении в Коктебель.[3] Тотчас после ее смерти была сделана попытка местными властями завладеть ее домом и выселить дочь.

Весть о продаже моих картин за границей и о том, <что> ты пошлешь их в Лондон, меня радует и окрыляет безмерно. Привет Феод<ору> Конст<антиновичу> и Екат<ерине> Иванов<не>.[4] Маруся приветствует и желает здоровья и радости.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели, помета: «MW 23 V 30».

[2] К. Ф и Ж. Г. Богаевские были у Волошина в Коктебеле 27 и 28 мая

[3] Н. И. Манасеина умерла в Коктебеле на своей даче 21 мая, похороны состоялись 25 мая (Труды и дни-2. С 457, 458)

[4] Ф К. Радецкий, Е. И. Оболенская

482. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

30 мая 1930 г. Коктебель[1]

30/V 1930.

Дорогая Юлия Леонидовна,

На днях у нас в Коктебеле были Богаевские (2 дня).[2] Это посещение редкость. Мы видимся очень редко. Он зимой много работал, сейчас был озабочен вестью об операции К<онстантина> В<асильевича> и телеграфировал Вам. Не могу сказать, как меня порадовала Ваша весть о продаже моих акварелей за границей.[3] Это меня окрыляет: как раз сегодня у нас кончались деньги. И мы получили 50 р. из Томска, где продано 5 моих аквар<елей>, и Ваше письмо. Зимой гонорар за акварели из Одессы[4] спас нас во время моей болезни. Последствия удара исчезают с каждым днем, и силы непрерывно восстанавливаются. С Домом все ликвидировано — телеграммой ВЦИК'а.[5] С персональной пенсией тоже как будто налаживается. Благодаря хлопотам друзей. Луначарский обещал М. Н. Розанову все сделать. Очень беспокоюсь о К<онстантине> В<асильевиче>. Напишите, как только будут ясны результаты операции.[6] Мах.

[1] Текст на обороте акварели, помета: «MW 26. V. 30».

[2] См. п. 481, примеч 2.

[3] 24 мая 1930 г. Ю. Л. Оболенская писала Волошину: «В день нашего последнего посещения Коктебеля мы говорили Вам о том, что некоторые из Ваших акварелей нами сданы в ВОКС (Вс<есоюзное> О<бщест>во культурной связи с заграницей) для заграничных выставок. Теперь нас известили, что у Вас была продажа. Я извещаю Вас затем, чтобы Вы не удивились, получив деньги неожиданно» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 903, л. 18).

[4] См п. 452, примеч. 2.

[5] Подразумевается прекращение посягательств местных властей на дом Волошина по получении директивного распоряжения из Москвы.

[6] В цитированном выше письме Оболенская сообщала о К. В. Кандаурове: «Завтра К. В. после долгих мытарств ложится наконец в больницу для операции <...>».

483. Е. А. МАНДЖОС

30 мая 1930 г. Коктебель[1]

30/V 1930.

Дорогая Екатерина Алексеевна,

Спасибо за Ваше такое ласковое бодрящее письмо, несмотря на то, что Вы пишете в нем об очень грустных вещах.[2] Посылаю Вам акварельку, как напоминание, привет и призыв. Очень грустно все о Всеволоде[3] – надеюсь, что он соберется к нам летом. У нас еще мало людей, но сезон начинается. Я лично себя чувствую очень хорошо. С каждым днем проходят последние последствия удара и возвращается «радость бытия». Несмотря ни на что, меня очень ободряют мои живописные успехи: только что получил малый гонорар за акварели, проданные в Томске и извещен, что <?>* у меня есть продажа за границей на выставке Vox'a.[4] Сколько и где, еще не знаю. Это очень важно, потому что ЦКУБУ уже год как прекратил мне высылку ак-обеспечения. Привет от нас с М<арьей> Ст<епановной> всем кисловодским друзьям. Я в Эс-

* *В автографе* где

сентуки не еду. Шервинский не советует (утомление пути).[5] Когда в Коктебеле я могу в общем получить то же без утомления дороги.

Крепко Вас обнимаю.

Макс Волошин.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] В письме к Волошину от 23 мая 1930 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 819, л. 22–23) Е. А. Манджос благодарила за присланные акварели («они мне всегда дают много радости и сил на борьбу за тот *свет*, котор<ый> я в них вижу»), а также признавалась: «Зима была во всех отношениях дико трудная. <...> Мою любимую работу: *лечить человека*, его тело и душу, *как я умею и могу* – делают утомительной, безобразной работой, котор<ая> меня не удовлетворяет. <. .> Кроме наших условий работы в эту зиму “общая атмосфера” была убийственная!»

[3] В. И. Попов. В том же письме Манджос замечала о нем. «Меня очень огорчал своим здоровьем наш любимый Всеволод Иванович. Условия работы у него хуже, чем мои! Я его очень люблю и лишить себя его общества мне очень больно, но все же скажу: “*Ему надо уходить отсюда*”».

[4] См примеч. 3 к п. 481.

[5] В письме к М. С. Волошиной от 6 марта 1930 г. В. Д. Шервинский полагал, что Волошину «предпринимать <...> поездку в Ессент<уки> нерационально. Если М. А. сейчас еще устает от небольших усилий, то переезд на Кавказ представит немало испытаний его силам, и производить такой опыт, по моему мнению, не показано. Организму М. А. надо предоставить полный покой и правильный режим, – это необходимые условия для его постепенного поправления» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр 267).

484. К. В. КАНДАУРОВУ

31 мая 1930 г. Коктебель[1]

Милый Костя, только сегодня дошла до моего сознания сериозность твоей болезни и рискованность операции. Богаевский был как всегда мрачен и лаконичен.[2] Но сегодня была в Коктебеле Ант<уанетта> Густав<овна>,[3] которая рассказала подробно (очевидно, из разговоров же с Богаевским) о твоем

здоровьи зимой. И потому я хочу еще сказать тебе несколько слов, кроме тех нескольких легкомысленно оптимистических, что я написал уже тебе. Мне хочется тебе сказать, что я все время с тобою и мыслию, и волей, и молитвой. И твердо надеюсь, что все пройдет благополучно, что операция принесет реальную помощь и что Коктебель еще увидит тебя к осени бодрым и помолодевшим. Крепко тебя целую.

Макс.

Маруся во всем присоединяется.

[1] Текст на обороте акварели. Помета· «MW 31 V 30».
[2] См. п. 481, примеч. 2.
[3] А. Г. Тубино

485. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

1 июня 1930 г. Коктебель[1]

Дорогая Юлия Леонидовна,

Только вчера из рассказа Ант<уанетты> Густав<овны> я понял всю сериозность положения К<онстантина> В<асильевича>.[2] Поэтому посылаю ему еще несколько слов. Сам могу только непрестанно о нем думать и *молиться* о его здоровьи. Очень волнуюсь и убедительно прошу известить меня об исходе операции лично. С Богаевскими мы видимся очень редко.

Привет Екатерине Ивановне и Парису.[3]

Max.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 6. V. 30». Датируется по связи с п. 484.
[2] А. Г. Тубино и К. В Кандауров.
[3] Е И Оболенская и Ф. К. Радецкий

486. В КРЫМНАРКОМПРОС

7 июня 1930 г. Коктебель[1]

Симферополь. Крым-Наркомпрос.

Поэта и художника Максимилиана Волошина

Заявление:

Прошу Вас обратить внимание на тот произвол местных сельских властей, под которыми я нахожусь, живя постоянно в деревне Коктебель.

Вчера 6 июня мне была прекращена выдача хлеба и была отнята хлебная карточка, причем председатель кооператива т. Мутиев заявил: «Устраивайтесь как хотите, мы вас кормить не обязаны. Постоянные жители хлеба не получают, а только рабочие и приезжие». При этом т. Мутиев отказался[2] даже прочесть прошлогоднюю справку о выдаче нам хлеба от Феодос<ийского> Исполкома. Не считая нужным беспокоить Москву такими мелочами, прошу Вас сообщить коктебельскому кооперативу, кто я и в какой категории следует меня рассматривать, потому что они при выдаче пайка рассматривают меня как середняка и в кооперативной книжке пишут род занятий: неизвестно; очевидно, профессия поэта и художника им не знакома.

Надеюсь, что Вы дадите им обо мне нужное разъяснение, и не надо будет обращаться в Москву с такими местными мелочами.

Матерьяльно я являюсь членом ЦКУБУ по четвертой категории, т. е. как писатель, имеющий Европейское значение.

[1] В архиве Волошина сохранился черновой текст этого документа (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 13, л. 9–9 об.).

[2] В черновом автографе. «Т. Мут<и>ев был исключительно груб и отказался» — и т. д

487. В ФЕОДОСИЙСКИЙ ИСПОЛКОМ

7 июня 1930 г. Коктебель[1]

Феодосия. Исполком.

Максимилиана Волошина, художника и поэта

Заявление.

Прошлой зимой (1929 г.) я обращался к Вам с просьбой дать в Коктебельский Сель-Совет разъяснение о выдаче мне хлебного пайка, что Вами и было сделано тогда же. Хлеб мне выдавали регулярно до 6 июня сего года. Но с 6 июня мне хлеба не выдают, карточки хлебные отобраны, пред<седатель> коопер<атива> т. Мутиев сказал моей жене: «Мы вас кормить не обязаны, будем кормить только рабочих, а вы выворачивайтесь сами».

Я член кооператива с самого основания, не лишенец, всегда живу в Коктебеле и собираюсь проводить зиму в нем, и такое отношение меня крайне беспокоит. И совет т. Мутиева «выкручиваться самим» меня совсем не устраивает. Поэтому прошу Вас как-нибудь урегулировать этот вопрос, тем более, что т. Мутиев отказался даже прочесть прошлогоднюю справку от Вас, предъявленную ему, и был груб, не разъяснив даже, в чем дело. Должен ли я об этих домашних делах писать в Москву? Или Вы найдете возможным поставить на вид т. Мутиеву неправильность его действий.[2]

[1] В архиве Волошина сохранился черновой текст этого документа (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 13, л. 8–8 об.).

[2] Это и другое одновременное обращение (п. 486) возымели действие. В архиве Волошина имеется копия письма заместителя председателя Феодосийского Районного Исполнительного комитета Велиева председателю Коктебельского сельсовета от 14 июня 1930 г.: «РИК предлагает немедленно затребовать объяснение от Председателя п/о т. Мутиева, на каком основании отобрана хлебная книжка у поэта Волошина и лишен права на получение хлебного пайка, посколько Волошин не занимается сельским хозяйством и не лишен избирательных прав. Хлебная книжка должна быть возвращена ему и продолжать по-прежнему отпуск хлеба» (Там же, л. 10).

От Крымского Наркомпроса Волошину был направлен 15 июня 1930 г. ответ за подписью управделами Тамариной: «...по поданному Вами заявлению нами приняты решительные меры» (Там же, л. 11).

488. В. А. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ

7 июня 1930 г. Коктебель[1]

7/VI 1930.

Дорогой Всеволод,

очень огорчен вестью о твоей болезни и радуюсь поправке.[2] Даты твоего лета запомню и буду тебя поджидать. С домом все обстоит благополучно. Для приезжих в Коктебеле открылась столовая. Пока порядочная и очень недорогая.

Жду Казмичева на днях.[3] Если у тебя в датах будут изменения, извести. Все вести из городов — наводят уныние.

Крепко обнимаю, целую.

Привет Вите.[4]

Макс.

[1] Открытка. Почтовый штемпель получения: Ленинград. 14.6.30.

[2] О своей болезни («желудочно-кишечное заболевание вроде тифа, но не тиф») В. А. Рождественский написал Волошину 3 июня 1930 г.; в том же письме он сообщал о запланированной поездке «в район Днепра» в составе «бригады писателей»: «Маршрут свой я кончаю в Керчи в 20-х числах июля. Из Керчи думаю проехать навестить Тебя <...>», – а также о скором приезде в Коктебель М. М. Казмичева (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1028, л. 51).

[3] Казмичев прибыл в Коктебель 22 июня (Труды и дни-2. С. 460). Он писал оттуда В. А. Мануйлову: «Макс и М<ария> С<тепановна> ко мне очень приветливы. Также и стихи мои здесь очень хорошо приняты» (*Казмичев М. М.* Стихи / Публ. Т. М. Двинятиной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007 С. 568).

[4] В. А. Мануйлов.

489. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

7 июня 1930 г. Коктебель

7. VI.*1930.

Дорогой Иван Михайлович,

спасибо за книжки и за гомеопатию (вперед). Радуюсь Вашему летнему маршруту: признак, что Вы поправились и обрели прежнюю бодрость.[1] У нас все благополучно. Народу мало. Вести с севера приводят в большое уныние

Всего лучшего. Привет от Марии Степановны и от меня Софии Анастасьевне и Юнгмейстеру.

Макс.

P. S. Когда Вас ждать? Очень трогательна Ваша история о Колли.[2]

М. В.

[1] В недатированном письме к Волошину И. М Саркизов-Серазини сообщал: «...собираю для Вас “мемуарную” литературу < ..> Передал список гомеоп<атических> средств при ожирении Д А Юнгмейстеру и просил его переслать их В<ам>. В начале июня направляюсь на Урал <.. >, потом Волгой и ж<елезной> д<орогой> на Минер<альные> Воды, Грузию, Армению (Эривань и др), Абхазию, а затем в Крым, где буду в августе. Несказанно рад за Вас, что Вы совершенно поправились. Я себя чувствую тоже хорошо» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 50–50 об).

[2] См примеч. 2 к п. 475 Подразумевается рассказ о Л П Колли в цитированном выше письме. «...мальчишкой я продавал ему по 3 копейки различные монеты времен Пантикапеи и Гиреев Однажды, играя в “крепость” с детьми своего возраста, я отрыл в земле кувшинчик, наполненный медными монетами числом около 100 штук. Это было в районе теперь уже исчезнувших ветряных мельниц за “Митридатом” на возвышенности против Форштадта. Сколько было радости для меня и моих товарищей, когда Людвиг Петрович вместо 3 рублей дал мне 3 р. 50 коп Монеты были древнегреческие. В моей памяти запечатлелся размер их (как царские 3 копейки) и изображение головы красивой женщины или юноши с венком на голове. В свой последний приезд в Феодосию я нашел его могилу с разбитой карточкой в кресте»

---

* *В автографе описка* VII

490. В. Я. ЭФРОН

14 июня 1930 г. Коктебель[1]

14/VI 1930.

Милая Вера,

Спасибо за письмо.[2] У нас еще тихо. Погода была холодная, но теперь выровнялась. Живут Сорокины, Валькирия,[3] невестка М. Н. Розанова с детьми.[4] Несколько новых персонажей. Сегодня приехали Шаховские и Лимпопо.[5] Что Миша?[6] Надеюсь, что ты и он все-таки попадете в Коктебель этим летом.[7] Привет Коту. Очень тронут его любовью к Коктебелю. Жизнь здесь наладилась и с питанием сносно. Хотя бывают перебои со столовыми и в столовых. Питательных дам[8] и кухни этим летом нет. Как дела с акварелями, посланными Мише? Я слыхал, что его первоначальный план сорвался.[9] Обнимаю. Привет от Маруси.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели Приложена акварель с надписью К. М. Эфрону· «Милому Коту – привет из Коктебеля – лучшего места на земле. Макс».

[2] Возможно, имеется в виду недатированное письмо В. Я. Эфрон, на обороте которого – письмо К Эфрона: «Я бы с удовольствием приехал к вам, но мама меня не пускает» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед хр. 1345, л. 37–37 об) Ср. п. 474.

[3] Прозвище В. П. Остроумовой.

[4] Татьяна Валентиновна Розанова (урожд. Кожевникова; 1898–1958), жена Вс. М. Розанова (сына М. Н Розанова), мать троихдетей.

[5] Прозвище Е Я. Тараховской.

[6] М. С Фельдштейн.

[7] В. Эфрон с сыном приехала в Коктебель 30 июня, жила там до 11 сентября (Труды и дни-2. С 461, 470).

[8] Подразумеваются О Н. Сербинова, Ф. М. Литвиненко, Л. Г. Шкарина, обеспечивавшие питанием гостей дома Волошина

[9] Возможно, имеется в виду участие М. С. Фельдштейна в хлопотах по предоставлению для Волошина пенсии

491. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

15 июня 1930 г. Коктебель[1]

15. VI. 1930.

Дорогая Юлия Леонидовна,

С чувством глубокого умиления и сочувствия получил Ваше письмо.[2] *Всё* о К<онстантине> В<асильевиче> я уже знаю из письма Рагозинского к Б<огаевск>им (вплоть до Вашего неведения). Об этом письме мне рассказала Ант<уанетта> Густав<овна>[3] уже после отъезда Б<огаевск>их из Коктебеля. Всем сознанием я сейчас с К<онстантином> В<асильевичем> в больнице и ежедневно горячо молюсь о его исцелении. Я верю в *реальную помощь* молитвы везде, где есть несколько возможностей и выбор между ними. Для меня это не слепая вера, а много раз проверенный опыт. То, что Вы пишете о Ц<ераских>, глубоко возмущает. Но я ясно помню время, когда они сами так же беспомощно стояли около постели своего больного,[4] и у меня является невольное подозрение, нет ли в Ваших словах неправильного толкования и несправедливой оценки. Милому Косте дружеский привет от нас обоих.

Очень рад за Л. Редлих и Ж. Ребикову, что они так хорошо себя выявили.[5] Приветствую их.

Max.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 15. VI. 30».

[2] В письме к Волошину от 11 июня 1930 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 903, л. 20–21 об.) Ю. Л. Оболенская сообщала о К В. Кандаурове: «День операции еще не назначен. < ..> К. В. впрыскивают вакцину кишечной палочки, и это будут делать еще несколько дней. <...> У него мучительные боли, особенно по ночам, в остальном он бодр, и я стараюсь его поддерживать».

[3] А. Г. Тубино Ср. п. 484, 485. В цитированном письме Оболенская замечала: «...в письме одной приятельницы (писавшей его кому-то у меня и перевернувшей страницу для прочтения) — мне бросилась в глаза фраза “она и не подозревает, что у него рак”. Мне пришлось идти к нему как ни в чем не бывало, и я всегда с ним весела, хотя весь день собираю для этого силы и не могу ни есть, ни спать, ни работать».

[4] Подразумевается В. К. Цераский В том же письме Оболенская сообщала. « .обе Церасские вдруг повели против меня агитацию Вероятно, мой уход за К<онстантином> В<асильеви>чем и моя 17-летняя непрерывная привязанность к нему вдруг показалась им нарушением каких-то их родственных прав. Они не стесняются при мне убеждать К В. в негодности врача, больницы, ухода, советуют перед самой операцией поискать другого врача, и т п. <...> Эти злые женщины мне глубоко безразличны, но какое-либо соперничество у постели такого тяжело больного мне кажется таким позором, что я уступила бы и ушла, если б только это не убило его <...>».

[5] Отклик на слова Оболенской из того же письма: «Если бы не помощь Лизы Редлих и Е. Н. Ребиковой, я не знаю, что бы с нами было. Эти люди удивительны».

492. М. С. АЛЬТМАНУ

16 июня 1930 г. Коктебель[1]

16/VI 1930.

Дорогой друг. Шлю Вам привет и призыв тихих коктебельских дней и благодарность за Ваши присылки и книжные, и рукописи. И те, и другие я очень оценил и наслаждался. Поговорим обо всем при встрече. Обитель – мастерская Вас ждет. Книга о Достоевском меня интересует несказанно.[2] Помните ли Вы статью Вячеслава о символике имен в «Бесах».[3] «Видение Германа»[4] мне очень понравилось и кое-что (экскурс к Епанчину) было совсем неожиданно и убедительно.

Очень Вас жду (и Ваши беседы).

Обнимаю.

Max.

Привет от М<арии> С<тепановны>.

[1] Текст на обороте акварели Помета «MW 25 II 30».

[2] 22 мая 1930 г М. С. Альтман писал Волошину из Ленинграда «.. я много занимался Достоевским. Пишу о нем книгу. Одна глава предполагалась о собственных именах, но она разрослась и будет сама целой книгой. Без ложной скромности, но и без самонадеянного преувеличения, такой еще книги критической *никогда* не было <.. > Вам к письму прилагаю статью "Видение Германа". это не из книги,

но попутно. Маленький экскурс» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед хр. 175). Изложенный замысел был реализован в виде монографии десятилетия спустя (см.: *Альтман М. С.* Достоевский. По вехам имен. <Саратов:> Изд-во Саратовского университета, 1975).

[3] Подразумевается статья Вяч. Иванова «Основной миф в романе "Бесы"» (Русская Мысль 1914. № 4. Отд. II. С. 111–117; *Иванов Вячеслав* Борозды и Межи· Опыты эстетические и критические М.· Мусагет, 1916 С 61–72).

[4] Рукопись статьи М. С. Альтмана «Видение Германа (Пушкин и Достоевский)» опубликовано в пражском журнале «Slavia» (1931 Т. IX № 4. С 792–800).

493. В.Я. ЭФРОН

23 июня 1930 г. Коктебель[1]

23/VI 1930.

Милая Вера,

очень рады, что ты можешь приехать в Коктебель.[2] Твоя комната свободна и ждет тебя. Если можешь, привези мне гомеопатических лекарств. Аптека на Никитской рядом с консерваторией налево с той же стороны. Именно Nux Vomica x 3, Sulfur 3, Plumbum x 3 в порошке по 2 унца. Привет Коту и Мише.[3]

Max.

P. S. Перед отъездом, пожалуйста, узнай подробно о здоровье Кандаурова.[4]

[1] Текст на обороте акварели. На конверте почтовые штемпели: Коктебель. 23.6.30; Москва 27.6.<30>.

[2] См. примеч. 7 к п. 490. 19 июня 1930 г. В Я. Эфрон писала Волошиным. «. .имеете ли вы что-нибудь против моего приезда к Вам в конце июня или в начале июля? Надеюсь выехать из Москвы наконец» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, л 43).

[3] К. М Эфрон и М С. Фельдштейн

[4] В цитированном выше письме В. Эфрон сообщала: «Кандаурову делали вчера серьезнейшую операцию, 2 часа продолжавшуюся Операция прошла благополучно. Как сегодня, еще не знаю».

494. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

29 июня 1930 г. Коктебель[1]

29/VI 1930.

Дорогая Юлия,

за эти дни пришла телеграмма: «Операция прошла благополучно».[2] Но она ничего не разъяснила. Т<ак> к<ак> мы не знали последовательности градаций. И только из Вашего письма мне стало ясно положение вещей.[3] Сейчас у нас период быстрого переполнения дома. Но все свободное время – когда у меня нет экскурсий, я мысленно бываю с Вами и с Костей. Как хорошо, что Вы можете молиться и молитесь за него. Это сейчас единственное действительное средство. А «расхождение с веком» – это резон слишком малозначащий по сравнению с великой силой и значением молитвы.[4] Она (молитва) имеет значение и не персональное, как сосредот<оч>ие воли, направленной к определенной цели, и еще большее значение имеет молитва, обращенная персонально. Относительно Ц. у меня не было ни малейшего сомнения в правильности и в правдивости Вашей, но мне хотелось предотвратить все зло, ими нанесенное, и напомнить Вам об их собственной неизжитой потере.[5] Крепко обнимаю милого Костю и буду с ним и за него все время. Привет Ек<атерине> Ив<ановне>.[6] Маруся шлет привет любовн<о> и молитвен<но>.

Мах.

[1] Текст на обороте акварели Помета: «MW 27 VI 30».

[2] Подразумевается хирургическая операция, перенесенная К В. Кандауровым.

[3] В письме от 21 июня 1930 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 903, л. 22–23 об) Ю. Л. Оболенская сообщала Волошину: «I-я операция сделана: мочеточники проведены в прямую кишку. Если не произойдет заражения почек, то через 2 недели II-я операция – удаление пузыря Меж тем он так измучен. Бедное распластанное тело лежит уже 4-й день, не реагируя на внешний мир, а душа его чудесная точно где-то вблизи в сторонке».

[4] В том же письме Оболенская признавалась: «Я сидела и бросала ему почти заклинанья и молитвы, хоть это на меня и не похоже,

быть может? Но большего ведь я не могла. Мой век ведь не признает этого, а я хочу жить с моим веком Но это было выше моих сил, я молилась и внушала ему жизнь и здоровье всю ночь».

[5] См. примеч. 4 к п. 491 21 июня Оболенская отвечала Волошину: «Вы мне не поверили по поводу Ц. – я и не рассчитывала, что мне поверят. Все ее знают и любят, и мне не следовало рассказывать то, что было. Она нанесла мне непоправимый вред, но теперь это уже не имеет значения. Я написала тогда для облегчения, как крик острой боли».

[6] Е. И. Оболенская.

495. АНДРЕЮ БЕЛОМУ

3 июля 1930 г. Коктебель[1]

3/VII 1930.

Дорогой Боря, твоему письму и будущему приезду очень радуюсь.[2] Чем раньше ты соберешься, тем лучше. Место для ночлега всегда будет: мой кабинет в мастерской. Но чем ближе к августу, тем больше народу и усталости. Мне бы хотелось с тобой поговорить, не будучи утомленным людьми до полусмерти. И другие друзья тоже жаждут тебя повидать: Варв<ара> Дм<итриевна>, Марина,[3] и др.

Страшно рвусь прочесть «На рубеже», которую знаю лишь по отрывкам, напечатанным в «Новом Мире».[4] Но книга никак не дается в руки. Маруся и я шлем тебе и Кл<авдии> Ник<олаевне>[5] свой привет и ожидание. Желаю тебе тишины и плодотворной работы.

Чем надольше приедешь, тем будет радостнее. С питанием здесь условия благоприятные: рядом недурная и недорогая кооперативная столовая.

С большой радостью и дружбой

Макс.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 27 VI 30».

[2] 25 июня 1930 г Андрей Белый писал Волошину из Судака, куда он приехал вместе с К. Н. Васильевой 14 июня· «...мы с К. Н. не воспользовались Твоим добрым приглашением в Коктебель, который

так нам говорит У Тебя народ; а я на народе умею лишь балагурить, а когда работаю, то избегаю людей <. > Сильно хотим увидеть Тебя И собираемся приехать к Тебе: Тебя повидать, и заранее просьба у Тебя и у Марии Степановны· разрешить нам у Тебя переночевать, ибо в обыденку не совершить этого путешествия» (*Лавров А. В* Материалы Андрея Белого в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л.: Наука, 1981 С 71–72)

[3] В.Д Финкельштейн, М.К. Баранович.

[4] Имеется в виду книга воспоминаний Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (М : Земля и Фабрика, 1930) Предварительные публикации глав из нее были осуществлены в 1929 г не в «Новом мире», а в журнале «Красная новь» (№ 7 – «Апостолы гуманности», № 9 – «Кариатиды и парки»; № 10 – «Тимирязев и Анучин»)

[5] К. Н Васильева

496. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

13 июля 1930 г. Коктебель[1]

13/VII 1930.

Дорогая Юлия Леонидовна,

Получил Вашу потрясающую записочку[2] Всей душой с Вами и с больным, поскольку хватит сил. А их очень мало, и я утомляюсь очень быстро и катастрофически А каждый день у меня экскурсии из «Домов Отдыха», с которыми нужно беседовать, рассказывать о Крыме, читать стихи, объяснять акварели

Ради Бога, распоряжайтесь ими как хотите. Или надо прислать для Д<окто>ра?[3] Тогда напишите – вышлю немедленно. Но думаю, что и в Москве найдутся. Сейчас уже наспело время посылать на выставки (Севастополь, Одесса).[4] С волнением думаю о судьбе К. В. Ведь в какую-то сторону сейчас его болезнь разрешилась. Операция ведь была назначена на 9<-е>.[5] Целую его и Вас крепко.

Маруся тоже.

Макс В.

[1] Текст на обороте акварели. Помета· «MW 5 VII 30».

[2] В письме от 7 июля 1930 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр 903, л 24–24 об) Ю Л. Оболенская сообщала Волошину о К. В Кандаурове· «Вот уже 5 дней он в жару, и нельзя делать операцию <...> Предположительно операция назначена на 9-е, но у меня мало надежды. Такая тоска».

[3] Подразумевается лечащий врач К В Кандаурова В том же письме Оболенская добавляла о Кандаурове· «. он вчера просил меня Вам написать и попросить Вас уступить одну из Ваших акварелей для подарка этому врачу (Н. Ф. Микули), которого он так полюбил».

[4] Намеченная в 1930 г осенняя выставка картин художественного Общества им К. К Костанди не состоялась Выставка Севастопольской ассоциации художников прошла в июле–августе 1930 г. (согласно приглашению, отправленному Волошину 9 июля 1930 г., открылась 17 июля // ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр 45, л 5). См.: Каталог Юбилейной выставки картин крымских художников, приуроченной к 10-летию власти Советов в Крыму. Севастополь, 1930.

[5] Речь идет о повторной операции Кандаурова.

497. С. И. ЛОБАНОВУ

23 июля 1930 г. Коктебель[1]

23/VII 1930.

Дорогой Сергей Иванович.

Спасибо за письмо от 15/VII и известие и хлопоты.[2] Посылаю Вам «доверенность» – пришлось задержаться на 2 дня, благодаря отсутствию штемпелюющего органа «Сель-совета» – печать куда-то ездила.

Спасибо за вести о К. В.[3] Знаю уже, что вторая операция была и сошла хирургически благополучно. С волнением жду результатов.

Дом у нас переполнен, несмотря на трудные времена. Верно, везде одинаково плохо с продуктами, и люди предпочитают голодать под южным солнцем. Продажа акварелей – это единственное, что постоянно выручает нас (меня) весь этот год. Т<ак> к<ак> Ц.К.У.Б.У. прекратил Ак-обеспечение.

Привет Аленушке Рыловой.[4] Если соберетесь в сентябре — будем очень рады. До этого Дом забит.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели Помета «MW 23 VII 30».

[2] В письме из Москвы от 30 июля 1930 г. (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед. хр. 791, л 9—10) С. И. Лобанов сообщал Волошину о продаже трех его акварелей и просил прислать доверенность на получение денег, а также извещал о том, что он представил акварели Волошина в Третьяковскую галерею, «где их осматривала Специальная Комиссия по приобретению для Цустрах'а (для домов отдыха)»

[3] О состоянии здоровья К В. Кандаурова Лобанов сообщал в том же письме. « ему — то лучше, то значительно хуже < ..> Нужна вторая операция, котор<ую> однако нельзя делать из-за поднимающейся температуры Ему страшно надоело лежать в больнице, откуда он стремится при первой возможности бежать В общем — не весело»

[4] Елена Константиновна Рылова (1903—?) — научный сотрудник московского Музея нового западного искусства.

498. АНДРЕЮ БЕЛОМУ и К. Н. ВАСИЛЬЕВОЙ

24 июля 1930 г. Коктебель[1]

Дорогие Боря и Клодя,

жду Вас — когда бы вы ни собрались.[2]

Я переполнен интереса к твоей текущей работе, и если ты захватишь с собой первую главу «Зари века», что ты заканчиваешь, — буду тебе несказанно благодарен.[3]

Твоего приезда очень жаждет твой старый коктебельский знакомец — д<окто>р Саркизов-Серазини, который только вчера свалился ко мне с Урала.[4] Твоя книга «На рубеже» наконец попала мне в руки, и я ее читаю с увлечением. Недавно у меня были молодые Танеевы и просили передать тебе привет от детей «Лилиши».[5] Наш привет Клавдии Николаевне.

Макс

Эту записку тебе занесет поэт Альтман, друг мой и Вячеслава.[6] Он филолог и ученик Н. Мар<р>а.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 24 VI 30». На конверте – адрес: Судак. Дача Эггерт.

[2] Белый и К. Н. Васильева гостили у Волошина в Коктебеле с 9 по 11 сентября 1930 г. См. письмо Белого к Волошину от 4 сентября 1930 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л.: Наука, 1981. С. 72–73).

[3] Подразумевается книга воспоминаний Андрея Белого «Начало века» (М.; Л.: ГИХЛ, 1933); работу над ней, начатую в середине июля 1930 г. в Судаке, Белый закончил в декабре 1930 г., но впоследствии (в феврале – мае 1932 г.) занимался доработкой текста по требованию издательства (см. комментарии А. В. Лаврова в кн.: *Белый Андрей.* Начало века. М.: Художественная литература, 1990. С. 555–557).

[4] И. М. Саркизов-Серазини приехал в Коктебель 23 июня (Труды и дни-2. С. 463).

[5] Лилиша – Елена Владимировна Танеева (в замужестве Щелкан; 1872–1957?), дочь В. И. Танеева.

[6] Вяч. И. Иванов. М. С. Альтман общался с Вяч. Ивановым в Баку во время своего обучения на историко-филологическом факультете Азербайджанского государственного университета (1920–1923) и оставил развернутые записи бесед с ним (см.: *Альтман М. С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым / Составление и подготовка текстов В А. Дымшица и К. Ю. Лаппо-Данилевского. Статья и комментарии К Ю. Лаппо-Данилевского. СПб.: ИНАПРЕСС, <1995>).

499. А. И. ЯРОЦКОМУ

5 августа 1930 г. Коктебель[1]

5/VIII 1930.

Дорогой Александр Иванович.

У нас в этом году переполнение, несмотря на из рук вон плохое питание.[2] В доме питания нет. Есть кооперативная столовая. Вначале – недурная. Но недавно побывала инспекция, и питание сразу ухудшилось. Но главное там приходится ждать очереди по 5–6 часов. Все продукты идут в Дома Отдыха. Есть один «Нарком-Проса и Всерабиса» – Дом Карадаг. Там питают очень недурно. Ежели Вам удастся запастись путевкой туда, то приезжайте смело. Ваша обычная комнатка

на большой террасе будет к 15 авг<уста> свободна. С Д<омом> О<тдыха> надо выяснить в Москве, т<ак> к<ак> отсюда попасть сейчас очень трудно. (Хотя летом кое-кто и попал).

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 5. 8. 30; Москва. 9. 8. 30.

[2] 31 июля 1930 г. А. И. Яроцкий писал Волошиным о своем намерении побывать в Коктебеле: «Можно ли приехать в Коктебель без опасности умереть от голода? Приехать я хотел бы и могу с 15-го августа <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1368, л. 17).

500. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

7 августа 1930 г. Коктебель[1]

7/VIII 1930.

Дорогая Юлия Леонидовна,

Знаю, что вторая операция[2] прошла благополучно и что сейчас наступают самые решительные и пассивные моменты, в которых все лежит в общем настроении и воле к жизни. Я глубоко верю в то, что смерть приходит только тогда, когда человек сам дает на то свое внутреннее согласие. Но в любви и в воле К. В. я не сомневаюсь. Сейчас все зависит от Вас, Юл<ия> Леон<идовна>. Надо, чтобы Вы сами до конца полюбили жизнь, и смерть не посмеет коснуться Вашего порога. Крепко Вас обнимаю и молюсь за Вас, чтобы у Вас хватило силы и веры.

МАХ.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Речь идет об операции К. В. Кандаурова.

501. К. В. КАНДАУРОВУ

15 августа 1930 г. Коктебель[1]

15. VIII. 1930. Коктебель.

Дорогой друг, получил твой оклик из почти иного мира.[2] Он был мне радостен и близок. А призыв к жизни подействовал ободряюще. Я себя физически чувствую хорошо, но бывают минуты такой усталости духовной, что чувствуешь на губах вкус небытия, и твои слова заставили меня подобраться и выпрямиться. Костенька уехал на Днепрострой.[3] И мыслию и молитвой все эти дни я с тобой и с Юлией.[4]

Приехала Женя Р<ебикова>, много рассказала о Москве. Сейчас мало ее вижу, т<ак> к<ак> время наибольшего переполнения Дома и Коктебеля. Через 3 дня мои именины, которые друзья собираются праздновать обычным тарарарамом и спектаклем.[5] Крепко тебя обнимаю и люблю — много и подробно. Целую Юлию.

Мах и Маруся.

[1] Текст на обороте акварели. Пометы: «MW 8. VIII. 30»; «Письмо к Косте (неотправленное)».

[2] Письмо К. В Кандаурова к Волошину от 2 августа 1930 г., продиктованное Ю Л. Оболенской и привезенное в Коктебель Е. Н. Ребиковой (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615, л. 26–28 об.). В нем он признавался: «Дорогой друг, гранит нашей долголетней дружбы хотя и прикрылся последние годы каким-то налетом, но твое письмо <п. 484. – *Ред.*> очистило его, и он опять засверкал своей поверхностью» — и рассказывал о своем состоянии после перенесенной второй операции: «В болях, в муках прошло много дней, и я проблесками стал чувствовать, что крепко еще держусь за жизнь. <...> Я почувствовал, что победа клонится на мою сторону. Это чувство торжества в полном смысле воскрешения. Все стало на место, все вещи приняли свои формы и цвет <...>. Дорогой, береги себя, в жизни нам предстоит очень много нового, интересного, любопытного, и в настоящую минуту мы должны всеми силами стараться дольше протянуть нашу нить жизни». В приписке к этому письму Оболенская добавляла: «Вот первое письмо, продиктованное Котом после операции· оно к Вам, — первое движение его было Вам написать. Я ничего не исправляла, писала точно, как он говорил. Подписался он сам. Ему

предстоят еще долгие дни в больнице, даже если все пойдет благополучно. Вот уже 4-й день, как я, приходя с обычным страхом, нахожу на койке настоящего К<онстантина> В<асильеви>ча, каким я знала его всегда, только истощенного и худого до крайности — но его суть не в этом. Глаза цветут и блестят по-настоящему, и он узнает меня. До сих пор это было маленькое измученное существо с остреньким отчужденным взглядом полуприкрытых глаз, которое вызывало у меня раздирающую жалость».

[3] К. Ф. Богаевский. В письме к С. Н. Дурылину от 4 ноября 1930 г. он сообщал: «Свою поездку на Днепрострой я <...> совершил по настоянию своего умершего друга Кандаурова, и очень об этом не жалею. Конст<антин> Вас<ильевич> чувствовал, что там я найду для себя новый материал и новые темы, близкие темам “города будущего”. К сожалению, я пробыл там не более 3-х недель и потому материала в смысле зарисовок собрал немного <...>» (*Бащенко Р. Д.* К. Ф. Богаевский. М.: Изобразительное искусство, 1984. С. 139). 29 января 1931 г. он же писал Я. П. Бирзгалу: «Сейчас я много работаю над картинами на тему “Днепрострой” <...>» (Там же).

[4] Ю. Л. Оболенская.

[5] В именинный спектакль, разыгранный вечером 17 августа по шараде «Максимилиан», входили сценка «Мак», балет «Сим и Лия», пьеска «Мисс Нетти» и хоровая «Превыспренняя кантата» (см.: Труды и дни-2. С. 466).

502. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

21 августа 1930 г. Коктебель[1]

21/VIII 1930.

Дорогая Юлия Леонидовна,

только 17/VIII в день моих именин я узнал о смерти Кости.[2] Телеграмма Миши — Вере пришла раньше, но ее от меня скрыли, потому что весь дом был занят приготовлениями к обычному празднеству. Был вопрос о том, чтобы его совсем отменить, но решили, что скрыть возможно и что слишком большие приготовления уже сделаны.[3] Но 17-го было очень много гостей со стороны, и от них я всё узнал в течение дня (Нина Айвазовская знала о телеграмме Богаевским). Словом, я узнал обо всем еще до спектакля, и для меня явилась другая зада-

ча – скрыть это от Маруси до конца празднества. Что я и сделал, и только ложась спать, мы узнали, что знаем и скрываем друг от друга одну и ту же вещь.[4] Так что телеграмма Вам послана была без моего ведома, и я к ней присоединяюсь post factum. По получении письма от Кости я сейчас же написал ему несколько строк (благодаря почтовым интервалам это было уже после его смерти). Письмо не было отправлено.[5] Но я его Вам все же пересылаю. Из него Вы увидите, что, несмотря на всю радость, меня в эти дни не оставляло чувство смерти и небытия. Это было *чувство*, но не знание, так что когда я все узнал, это было в известной степени освобождением, т. е. перенесением во внешний мир того чувства, что мне казалось событие<м> своего собственного отношения к жизни.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 8. VIII. 30».

[2] К. В. Кандауров скончался в Москве 12 августа.

[3] Телеграмма М. С. Фельдштейна к В. Я. Эфрон. М. С. Волошина пишет в мемуарном очерке «Макс в вещах»: «В 1927 г. 17 августа, в день Максиных именин, ему готовили спектакль. Он был очень оживлен и радостен, как всегда в этот день. Но вот в час дня пришла телеграмма о смерти Константина Васильевича Кандаурова, который тяжело болел. Это был большой друг Макса. Участники волновались, делать спектакль или нет. А работали они над ним долго. Зная Максино отношение ко всякого рода творчеству, я все взяла на себя: “Делайте спектакль, я телеграмму Максу не покажу до завтра”. Так и решили. На спектакле я видела, что Макс присутствует только внешне. Никто не заметил этого. Я видела, что и мысли его, и весь он где-то» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примечания Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 103).

[4] В том же очерке, передавая свою ночную беседу с Волошиным («– Отчего ты был такой странный на спектакле, словно тебя не было на нем? – “Я тебе скажу завтра”», и т. д.), М. С Волошина добавляет: «Мне было очень больно, что Максу сказали в такой день. Это вышло случайно: приехавшая из города Нина Александровна Айвазовская, думая, что Макс уже знает, сказала ему. Он просил никому не говорить, чтобы не нарушать общего праздника, а сам весь день скорбел» (Там же. С. 104).

[5] См. п. 501.

503. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

21 августа 1930 г. Коктебель

21. VIII. 1930. Юл. Об<оленск>ой.

Дорогая Юлия Леонидовна,

Пишу Вам с запозданием, т<ак> к<ак> узнал о смерти позже, чем должен бы узнать, подробности Вы поймете из двух записок на акварелях (что прилагаю),[1] и сейчас сосредоточиться очень трудно, потому что начался разъезд летних гостей и меня ежеминутно прерывают.

Это не мешает мне быть всецело под впечатлением и ощущением нашей потери. Из письма Миши же Ф<ельдштейна> к Вере[2] знаю подробности о кремации.

Меня беспокоит Ваше душевное состояние. Вашу телеграмму получила Ж<озефина> Г<уставовна>,[3] п<отому> ч<то> сам Богаевский сейчас на Днепрострое, куда его послал «вдохновляться» Крым Нар-Образ.[4]

Пишу Вам неприлично спутанно и торопливо, но сейчас самые суматошные дни моего лета.

Сейчас меня перебили – надо было проводить отъезжавшую линейку[5] (20 гостей).

Простите всю бестолочь жизни, сейчас меня окружающей, и отсюда бестолковость письма.

Я Вам напишу сейчас же, как смогу немного помолчать и побыть с самим собою. Думаю, что Костя[6] это бы понял глубже, чем кто-либо другой.

Привет Ек<атерине> Ив<ановне>.[7] Пишите о себе и о своем душевном состоянии.[8]

Мах.

[1] Имеются в виду п 501 и 502.

[2] В. Я. Эфрон.

[3] Ж. Г. Богаевская. Подразумевается телеграмма, извещавшая о кончине К. В. Кандаурова.

[4] См. п. 501, примеч. 3.

[5] Конная повозка с расположенной вдоль скамейкой, на которой пассажиры усаживаются спинами друг к другу.

[6] К. В. Кандауров.

[7] Е. И. Оболенская.

[8] Оболенская отвечала Волошину 27 августа: «Вы спрашиваете о моем самочувствии. Нехорошо оно, неблагообразно. И сама я нехороша: замкнутая, злая. Может быть, много виновата больница – после смерти она дала мне такие впечатления, которые не снились и более крепким людям. <...> Бесконечные претензии Церасской преследовали и после смерти. Но все это далеко, все уходит дальше и дальше, покрывается слоем пыли – и в этом для меня величайший ужас: ведь и его дорогое лицо может стать неясным, его образ – исказиться в моей несовершенной памяти» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 903, л. 27–27 об.).

504. В ГЛАВИСКУССТВО

30 августа 1930 г. Коктебель

В Главискусство

Максимилиана Волошина

Заявление.

Прошу Главискусство содействовать получению мною права на персональную пенсию.

В русской литературе я принимаю участие около 30 лет (с 1900 года), как поэт и художественный критик. Литература всегда была моим единственным заработком и источником жизни. Много лет (в общем 15) я прожил в Париже. В Париж я попал из ссылки в Средней Азии, куда был выслан в 1900 г. за участие в студенческих беспорядках 1899 г.[1] (был председателем Исполнительного Комитета Московского университета, сменившего старый Союзный Совет[2]). В Средней Азии пробыл около года. Принимал участие в изысканиях Оренб<ург>-Ташкентской ж<елезной> д<ороги>. В эти годы мне приходилось часто встречаться с тогдашними политическими эмигрантами, т. е. теперешними членами Коммунистической партии, и оказывать им услуги. Так, например, из года в год я участвовал в устройстве литературных вечеров в пользу «Эмигрантской Кассы» – тогдашний псевдоним партии. Думаю, что никто из тогдашних эмигрантов (напр<имер>, т.т. Каменев, Луначарский) не откажется это подтвердить официально.

Перед войной я был подвергнут всероссийской травле со стороны буржуазных газет, во главе с «Русским Словом»,[3] и для меня были закрыты большинство редакций, во время войны мое отрицательное отношение к ней не позволяло мне писать в газетах и книги мои не принимались книжными магазинами.

При советской власти в 1919 г. вышел мой сборник избранных стихов («Иверни») в Москве, издат<ельство> «Творчество», и моя книга переводов Верхарна, а в Харькове (изд<ательство> «Камена») книга «Демоны Глухонемые» (стихи о войне и революции);[4] в последующие годы были напечатаны в журнале «Красная Новь» отдельные главы из моей книги «Путями Каина» и <в сборнике> «Недра» была напечатана моя поэма «Россия».[5]

Свою дачу в Коктебеле, оставленную в моем распоряжении постановлением Крым-ЦИК'а, я предоставил в БЕСПЛАТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ русским писателям, поэтам, художникам, ученым и их семействам, и через нее за годы революции прошло более двух тысяч человек. Так что от дачи у меня не может быть и не будет никакой материальной выгоды. Подтвердить это могли бы все за эти годы жившие в моем «доме», начиная с покойного В. Брюсова и кончая проф<ессором> В. Д. Шервинским.[6]

Что касается до моего отношения к Советской власти, то могу только указать, что, имея много возможностей выехать в Париж – город мне близкий и знакомый, где для меня работа всегда обеспечена, я не только этого не сделал во времена белых на Юге, но и при Советской власти в 1922 г., когда мне был предложен заграничный паспорт, – я от этого отказался категорически, сознательно предпочитая остаться в СССР. Кроме того, могу сослаться на то, что во время гражданской войны я неоднократно выступал защитником красных, находившихся под судом у добровольцев.

Упомяну только о слишком известном деле красного генерала Н. А. Маркса,[7] которого белые хотели расстрелять в 1919 г. и который был спасен только тем, что я поехал вместе с ним в Керчь, во время белого террора, и только моим личным присутствием предотвратил его расстрел и добился, чтобы он был

препровожден в ставку (Екатеринодар) для военного полевого суда над ним; когда же суд признал его виновным в службе у красных (он в 1919 г. стоял во главе Крымского Просвещения), генерал Деникин по моему письму[8] приказал его освободить.

Ссылаясь на это дело, как на очень громкое на Юге России, я не упоминаю про множество других случаев, когда мне приходилось выступать защитником красных при добровольцах, но думаю, что многие из крымских подпольщиков того времени (1919 г.) не откажутся подтвердить эту сторону моей деятельности в эту эпоху. В частности, могу указать на члена партии Каменского Леонида Захаровича (позже зав<едующего> Укр<аинским> Махортрестом), хорошо меня знавшего в те годы в Феодосии, и Левковского, бывшего комиссара при Симферопольском Университете. Указанным лицам я личных услуг оказать не имел случая, но они хорошо знали меня и мою деятельность в те годы.

Эта сторона моей деятельности была хорошо учтена добровольческой армией, все мои стихи были запрещены как «большевицкие», и мне в течение этих лет приходилось отсиживаться в Коктебеле, так как белое офицерство грозило со мною расправиться своими силами.

При советской власти я все эти годы добровольно отказывался от всякой художественной собственности, предоставляя государству целиком и бесплатно все мои художественные и литературные произведения.

Из всех моих акварелей, находящихся в Государственных музеях в Русском Музее в Ленинграде, в «Третьяковке» в Москве и в музеях на Юге России – ни одна картина не была мною продана, но все были подарены, что указывает на то, что коммунизм мною принят не как политическая директива, а как моральный императив.

После занятия Крыма в 1920 году я был на советской службе по охране искусства[9] и всю суровую зиму провел в разъездах по Крыму, что для меня окончилось тяжелой болезнью, тянувшейся два с половиной года, от которой я до сих пор не вполне оправился, что мне, однако, не мешало в те годы читать курсы в Нар<одном> Университете, в ИНО[10] и на Командных Курсах в Феодосии.

Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, я продолжаю нести общественную нагрузку, систематически принимая у себя экскурсии из коктебельских домов отдыха: за одно лето 1930 г. у меня перебывало более 500 человек.

Последнюю зиму я работал над переводом Флобера по заказу Московского Госиздата.[11]

Максимилиан Волошин.[12]

[1] В действительности Волошин не был выслан в административном порядке в Среднюю Азию, а отправился туда в начале сентября 1900 г. вместе с инженером В. О. Вяземским на изыскания трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги.

[2] На самом деле положение Волошина в студенческом движении Москвы было более скромным: 13 февраля 1899 г. он был избран заместителем представителя Крымского землячества (студента-естественника П Н. Глобы) в Исполнительном комитете объединенных московских организаций (Труды и дни. С. 63).

[3] Подразумеваются критические выступления в адрес Волошина (февраль 1913 г.), вызванные его позицией в широкой дискуссии, которая возникла в связи с актом вандализма, совершенным над картиной И. Е. Репина «Иоанн Грозный и сын его Иван». См : Т. 3 наст. изд С. 335–355, 538–550.

[4] Упомянуты издания книг Волошина «Иверни (Избранные стихотворения)» (М : Творчество, 1918), «Верхарн: Судьба. Творчество. Переводы» (М.: Творчество, 1919), «Демоны глухонемые» (Харьков: Камена, 1919).

[5] Имеются в виду публикации. «Из поэмы “Путями Каина”» («Меч», «Порох», «Пар») // Красная новь. 1922. № 3. С. 8–14; «Из цикла “Путями Каина”» («Мятеж», «Огонь», «Магия», «Кулак») // Недра. Литературно-художественный сборник. Кн. 2. М., 1923. С. 209–222; «“Россия”. Фрагменты неоконченной поэмы» // Там же. Кн. 6. М , 1925. С. 71–78.

[6] См примеч. 3 к п. 476. В.Д. Шервинский жил в Коктебеле в конце августа – сентябре 1928 г.

[7] Подробно об этом см.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 400–418.

[8] См. черновик письма Волошина к А. И. Деникину (Т 12 наст. изд С. 227–229).

[9] В ноябре 1920 г. Волошин был назначен заведующим охраны памятников искусства и библиотек в Феодосийском уезде.

[10] Институт народного образования.

[11] См. примеч. 3 к п. 458, примеч. 2 к п. 462.

[12] Текст этого заявления сохранился в архиве Волошина в черновом карандашном автографе и в машинописных копиях (ИРЛИ, ф 562, оп. 4, ед. хр 27). На обороте чернового автографа — автограф незаконченного заявления:

В Г. А. Х. Н.
Союз Писателей
Федерация Писателей

поэта Максимилиана Волошина

Заявление.

Подавая одновременно в Глав-Искусство о выдаче мне *персональной* пенсии, прошу Вас не отказать мне поддержать мое ходатайство в соответственных инстанциях, памятуя об основанной мною и руководимой уже десятый год «Домом Поэта» — бесплатной летней колонии для поэтов, художников, ученых и их семейств в Коктебеле

505. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

31 августа 1930 г. Коктебель

31. VIII. 1930.

Дорогой Иван Михайлович,

я глубоко тронут Вашим письмом и заботой обо мне.[1] Спешу, следуя Вашим указаниям, направить Вам все требуемые бумаги. Как это ни мучительно для меня, но в моем заявлении на имя Главискусства[2] я перечислил с наивозможной полнотой и ссылками на свидетелей все то, что можно назвать (cum grano salis!*) моими *заслугами* перед Сов<етской> властью (несмотря на все инстинктивное отвращение к таким приемам).

Хочу Вам еще указать одно лицо, являющееся в Наркомпросе большим другом «Дома Поэта», – это Ксения Александровна Врачинская. Она у нас жила два лета и просила меня в случае нужды обращаться к ней. Она в хороших отношениях с Ф. Коном и не откажется все сделать, что нужно, для пенсии.[3]

У нас дом пустеет, людей уже мало.

---

* С крупинкой соли (*лат*), т е. иронически, насмешливо, с известной оговоркой

Я чувствую себя недурно, но остается *утомляемость*, меня смущающая.

Да еще – о моей пенсии: Вы, может быть, не знаете, что весною многие предварительные ходы были уже сделаны акад<емиком> М. Н. Розановым, который собрал много подписей на ходатайстве о выдаче мне пенсии как в Акад<емии> наук, так и среди коммунистов, и все эти документы были переданы Луначарскому, который все дело взял на себя и обещал и направить его сам.

Но лето помешало, и, верно, все теперь возобновится. Поговорите с Матвеем Никаноровичем, который, верно, скоро уже вернет<ся> в Москву из Гаспры (адрес: Новинский бульв<ар>, 103, кв. 34). Он даст Вам все сведения.

А потом, я думаю, Кс<ения> Александр<овна> Врачинская может во многом помочь – она близкий Ф. Кону человек.

Кстати, Зоя Лодий, уезжая,[4] взяла у меня несколько листов с моими подписями для «заявлений», если понадобится, все это будет у Ксении Александровны, с которой Вы, должно быть, сразу познакомитесь: она редко милый и хороший человек.

Как Ваше здоровье после лета? Как Софья Анастасьевна?[5] От Юнгмейстера – так ничего и не получил,[6] но нашел в Вашей рецептуре указание на grolit как на средство от ожирения. Но сейчас ищу средство *от слабости* и общей *усталости*. (??) Укажите, если гомеопатия знает что-либо в этой области.

Все требуемые Вами бумаги написаны, переписаны на машинке и прилагаются к этому письму, и прошу Вас их разослать по указанным учреждениям.

Мне же отсюда неудобно их посылать ввиду почтовых условий.

Макс. Волошин.

Спасибо за все! Привет от Мар<ии> Ст<епановны>.

[1] В письме от 22 августа 1930 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 54–54 об.) И. М Саркизов-Серазини извещал Волошина: «Сегодня утром ко мне заходил один из видных работников Главискусства, который между прочим упомянул, что он получил от Ф. Кона бумагу проф. Дейши-Сионицкого, где последний упоминает о необходимости назначения Вам персональной пенсии Воспользовавшись

этим обстоятельством, я присоединил свои горячие просьбы помочь Вам и взял с него обещание сделать все возможное для Вас. Для успешности всего дела, по словам моего гостя и друга, необходимо *немедленно сделать следующее*:

I. Подать заявление в Главискусство, в котором указать: а) стаж литературной деятельности, подчеркнув, что литература для Вас является профессиональным трудом и единственным источником жизненных доходов; б) указать, какие книги и статьи были напечатаны во время советской власти <...>; в) укажите на Ваше тяжелое материальное положение и полное отсутствие каких бы то ни было материальных источников дохода; г) отметьте, что Ваша дача является бесплатным пристанищем для нуждающихся писателей, художников и пр., что Вы ни одного гроша не получили, не получаете и не думаете когда-либо получать с приезжающих в Коктебель <...> д) укажите на Ваше не только лояльное отношение к сов<етской> власти, но и Ваше ходатайство и заступничество за красного генерала Маркса, за отдельных партийцев во время белых в Крыму Причем, если Вам все это неудобно писать в заявлении, *то напишите в виде письма ко мне*. Чем подробнее Вы опишете свое участие во всех вышеупомянутых делах, тем легче будет проводить Ваше ходатайство в коллегии Главискусства. Ваше письмо я передам своему другу, который и будет о Вас делать доклад в Главискусстве, ибо все дела о персональном назначении пенсии проходят через его руки. Я знаю, что по своей скромности Вы умалчиваете о многих жизнях, спасенных Вами во время Врангеля и Деникина, другой бы теперь сделал на прошлом карьеру, поэтому ради элементарной справедливости, а не ради ненужного выпячивания своей фигуры, необходимо остановиться подробнее на фактах прошлого. Письмо ко мне будет неофициальным материалом и как таковое оно сослужит большую службу по обеспечению Вашей будущей жизни, тем боле<е> что Ф. Кон – начальник Главискусства — знает и ценит Вас как крупнейшего поэта России и еще недавно ходатайствовал о Вас перед Совнаркомом

II. Одновременно Вы посылаете два или три заявления в следующие организации: а) в Академию Художественных Наук, в) во Всероссийский Совет Писателей и с) в Федерацию писателей. В этих заявлениях Вы просите поддержать Вашу просьбу, посланную в Главискусство, указав на свое тяжелое материальное положение и полное отсутствие средств существования. Ходатайство этих общественных организаций подчас приобретает решающую роль. Чтобы облегчить задачу этих организаций, завтра мой друг переговорит с т. Леоновым – председателем Всеросс<ийского> Союза Писателей и с т Канатчиковым в “Федерации” < ..>. В Академии обратитесь к Гроссману,

Когану и особенно Михаилу Владимир<ов>ичу Морозову – вице-президенту, старому партийцу, поэту и прекраснейшей души человеку, умеющему разбираться в вещах, меньше всего считающемуся с травлей и проч.».

[2] См. п 503.

[3] В ответном письме от 9 сентября, сообщая, что делами Волошина займется Илья Маркович Рубановский, Саркизов-Серазини добавлял: «Врачинская – маленький технический работник в Главискусстве, которая абсолютно ничего не значит и даже оказать косвенное влияние не сможет. Я наводил о ней справки. Луначарскому будет звонить сам Рубановский. <...> По утверждению Главискусством, дело Ваше переносится на утверждение коллегии Наркомпроса (Бубнов, Эпштейн)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л 56–56 об.).

[4] З. П. Лодий уехала из Коктебеля 29 августа (Труды и дни-2. С. 467).

[5] С. А. Саркизова.

[6] В ответном письме Саркизов-Серазини извещал, что «Юнгмейстер на днях вышлет лекарства. Последнее время у него ряд тяжелых обстоятельств тормозил эту пересылку»

506. Л. С. ШМЕЛЕВОЙ и Е. С. ЛЯМИНОЙ

Август (?) 1930 г. Коктебель[1]

Шмелева Любов<ь> Сергеевна.
Лямина Елена Сергеевна. Ялта. Боткинская 20.

Дорогие Люба и Леля,

Рекомендую Вам моих друзей — Левушку Остроумова (Лев Евгеньевич) и Надю Литвинову (Надежда Викторовна), которые едут из Коктебеля в Ялту на несколько дней.

Если можно (не знаю Вашего положения), приютите их на несколько ночевок. Крепко целую Тамару и Витю.[2]

МАХ.

[1] Текст на обороте акварели. Помета на акварели: «MW 13 II 30». Датируется предположительно по времени пребывания Л. Е. Остроумова в Коктебеле: приехал туда 29 июля 1930 г. (Труды и дни-2. С 463).

[2] Дети Л. С. Шмелевой – Т. В. Шмелева и В. В. Шмелев.

507. Е.Я. АРХИППОВУ

Не позднее 10 сентября 1930 г. Коктебель[1]

Дорогой Евгений Яковлевич! Пользуюсь отъездом моего старого друга – Евгении Николаевны Ребиковой (племянницы композитора[2]), чтобы послать Вам привет и акварель. У меня сейчас Всеволод Рождественский,[3] от которого знаю, что Ваши дела устроились. <*нрзб*> мне трудно писать (после удара) <*нрзб*> К счастью, это не отразилось на живописи. Сейчас устраиваю большую ретроспективную выставку за 5 лет, в СПБ.[4] Женя Вам все про меня расскажет.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 3. VII. 30». Датируется по дню отъезда Е. Н. Ребиковой из Коктебеля – 10 сентября (Труды и дни-2. С. 469).

[2] Композитор Владимир Иванович Ребиков (1866–1920).

[3] Вс. А. Рождественский прибыл в Коктебель из Туапсе 4 сентября (Труды и дни-2. С 469)

[4] Задуманная выставка не состоялась См. примеч. 2 к п 512.

508. Н. Н. БУРЛЕЙ

12 сентября 1930 г. Коктебель[1]

12/IX 1930.

Милая Надя,

большое спасибо за письмо и дары.[2] Из дома нас не выгнали, и лето было не такое людное. Но очень хорошее. Воля В<ишневский>[3] так и не приехал, но вместо жила Лида Аренс (Марусина гимн<азическая> подруга), его мачеха. Очень не хватало Вас – не забывайте, что Ваш приезд – особенно в зимние месяцы – для нас всегда будет радостен. Всего лучшего и счастья во всех Ваших учебных предприятиях, вы вовремя исчезли из Коктебеля.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели. На акварели – надпись· «Милой Наде – напоминание, благодарность, привет. Волошин».

[2] Имеется в виду письмо Н. Н. Бурлей из Симферополя от 17 августа 1930 г., с приложением подарка к именинам Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр 301).

[3] Бурлей упоминала о нем в том же письме «О Воле Вишневском читаю в каждом № лит<ературной> газеты все новое и новое. Купила себе “Первую Конную”, мне нравится Он теперь совсем герой. Большой герой».

[4] Н. Н. Бурлей находилась в Коктебеле в конце марта – апреле 1930 г.

509. А. А. ВЕЛИКАНОВОЙ

16 сентября 1930 г. Коктебель[1]

16 IX 1930.

Дорогая Ася!

Оба твои письма получил в свое время и не ответил только из-за перегруженности.[2] Летом у нас были все, кроме Габричей.[3] Заезжал Андрей Белый,[4] теперь все отхлынули. На этих днях уехала Вера Дмитриевна и твоя кузина Женя.[5] Погода дивная. Ресторан-кооператив открыт и, может, будет функционировать всю зиму. Теперь твой и Генин[6] приезд и возможен, и удобен, и желателен. Мы с М. С. чувствуем себя превосходно и бодро и жаждем тебя и Гену увидеть у себя.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Имеются в виду письма А. А. Великановой к Волошиным от 11 августа 1930 г. и недатированное (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 329, л. 24–27).

[3] А. Г. и Н. А. Габричевские.

[4] См. примеч. 2 к п. 498.

[5] В. Д. Финкельштейн и, возможно, Е. Н. Ребикова.

[6] Гена – сын А. А Великановой Геннадий Николаевич Великанов (1913–1941, погиб на фронте), учащийся школы, затем студент-математик.

510. ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

16 сентября 1930 г. Коктебель

16/IX 1930. Коктебель.

Всероссийскому Союзу Писателей

поэта Максимилиана Александровича
Кириенко-Волошина

Заявление.

Согласно Вашего предложения об уступке Вашему Литературному Музею моего архива, сделанного мне в августе 1930 года,[1] отвечаю полным моим согласием с тем, чтобы архив мой поступил в Ваше распоряжение лишь после смерти моей и моей жены Марии Степановны. Сейчас же он необходим мне для работы над литературными мемуарами.

Комиссию же, назначенную Вами для выяснения его содержания и объема, буду рад принять у себя в октябре сего года.

Максимилиан Волошин.

[1] 8 августа 1930 г. П. А. Павленко направил Волошину письмо на бланке правления Всероссийского Союза Советских Писателей (его подписали также председатель правления В. Т. Кириллов и член музейной комиссии С. Есенина — т. е. С. А Толстая), в котором сообщалось, что Московское отделение ВССП готово взять на себя все расходы по передаче и доставке волошинского архива (Труды и дни-2. С. 465).

511. ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Сентябрь 1930 г. Коктебель

Во Всероссийский Союз Писателей

поэта Максимилиана Волошина

Заявление.

Подавая одновременно в Глав-Искусство просьбу о выдаче мне персональной пенсии,[1] прошу Вас не отказать мне

поддержать мое ходатайство в соответственных инстанциях, памятуя об основанной мной и руководимой уже десятый год — Домом Поэта — бесплатной летней колонией для поэтов, художников, ученых и их семейств в Коктебеле.

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 504.

512. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

17 сентября 1930 г. Коктебель

Милый Костя,

в пятницу[1] у тебя будут наши друзья из Коктебеля.

Тамара Сергеевна Салтыкова, Данько Наталья Яковлевна и Иосиф Израилевич *Рыбаков*. Очень рекомендую тебе последнего. Он человек богатый с большим вкусом, коллекционер. Друг «Мира искусства». Сейчас он устраивает в СПБ. мою персональную выставку.[2] Очень любит Киммерию и твое искусство. Покажи ему все, что у тебя есть. Он прекрасный человек, заслуживающий всякого доверия.

Привет Жозефине Густавовне.[3] Как твои очередные неприятности?

MAX.

P. S. Посылаю эту записку с Ал<ександром> Вас<ильевичем> Поповым, чтобы ты случайно не ушел из дому в пятницу.

М.

[1] 19 сентября.

[2] См. примеч. 4 к п. 507. Для задуманной выставки в Ленинграде Волошин вручил И. И. Рыбакову 100 своих акварелей. 18 февраля 1931 г. Т. С. Салтыкова написала Волошину, что устройство выставки невозможно, и в иносказательной форме сообщила об аресте Рыбакова (Труды и дни-2. С. 482).

[3] Ж. Г. Богаевская.

513. С. Н. ДУРЫЛИНУ

29 октября 1930 г. Коктебель

29/X 1930.

Дорогой Сережа,

это очень грустно, что тебя оставили все-таки далеко от полуденного края.[1] Но Винавер не заехал осенью ко мне, и я был лишен возможности с ним об этом столковаться и не знаю, сколько бы он здесь мог помочь. Его возможности сейчас ограничены. Лето у нас против всех ожиданий прошло очень хорошо. Тихо и любовно. Последнему «к сожалению!» очень способствовало отсутствие Г<абричевских> и их компании, которые все не покидали летом Москвы. Это сделало лето более бесцветным, но зато жизнь более интимной — не было обиженных и Марусино сердце не надрывалось. Я оправился — только осталась очень быстрая утомляемость и я потерял возможность читать стихи без устали, как раньше.

Мое дело с «пенсией» до сих пор не выяснено.[2] Говорят, что принципиально оно решено, но до исполнения еще далеко, хотя есть друзья, которые хлопочут не покладая рук.

Относительно тех 20 руб., что у тебя остались за продажу акварелей: я прошу тебя мне не возвращать.[3] Я даже хочу просить тебя позволить мне прислать тебе еще несколько акварелек, чтобы ты их продал в свою пользу (от 5 до 10 руб.). Вознесенск должен быть в художеств<енном> отношении очень интересный город. Ведь с ним соседствуют Палех и Холуй, которые продолжают и теперь свою изумительную деятельность.[4] См. прекрасную книгу Вихрева «Палех».[5] Верно, и в самом Ив<аново>-Вознесенске есть в каком-нибудь музее образцы этого современного Ренессанса. Я их видел в Москов<ском> Кустарн<ом> Музее,[6] и это было одно из самых радостных впечатлений искусства за последние годы. Крепко обнимаю тебя и Ирину[7] и посылаю Вам обоим по акварельке, а остальные для продажи.

Уступаю место и перо Марусе.

Max.

Приписка М. С. Волошиной:

Милый и дорогой Сергей Николаевич, как грустно, что все-таки не с нами. Но теперь все так. Напишите подробно, как вам живется в новых краях. Я сейчас пишу наспех, чтобы перекликнуться с Вами и Ириной ласковым словом. У меня много письменных долгов скопилось за лето, и сейчас я разгружаюсь, а потом напишу Вам хорошее письмо. Это лето было совсем не утомительное, хотя, как всегда, многолюдное. Максанька оправился – осталась только быстрая утомляемость. У меня болят руки от переутомления, я не могу держать <?> тяжелого, а так бодра. С продовольствием очень трудно – ничего нет, а как вы? Мы-то живем скромно, т<ак> ч<то> заметных перемен нет, но мне приходится трудно, измышлять, что сделать, когда ничего нет. Погода у нас дивнейшая, тишина и тепло и полная пустыня, вчера уехала Мар<ия> Ал<ександровна>[8] с детьми. И мы остались почти одни, во флигеле живет семья художника, а так дом пуст. Крепко вас обоих обнимаю. Простите короткость письма. Пожалуйста, 20 р. не присылайте, Вам на новом месте они нужнее. Всего доброго.

Маруся.

[1] 2 сентября 1930 г. С. Н. Дурылин получил уведомление о том, что ему «дан минус 6 с прикреплением на 3 года» (т. е. запрет жить в шести крупнейших городах СССР после отбытия срока ссылки с предписанием находиться в определенном городе и периодически отмечаться в спецкомендатуре), и выбрал для дальнейшего пребывания город Киржач Владимирской области, где проживали тогда П. А. Рачинская и ее муж А К. Рачинский («Я никому так не пишу, как Вам...» Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С 390–391. Комментарии И. А. Бордаченкова). Дурылин прибыл в Киржач к Рачинским 13 октября 1930 г В письме, отправленном из Москвы 22 октября 1930 г., Дурылин сообщал Волошину· « ..переехал в крошечный городок Киржач, Ивановской промышл<енной> области, Пролетарская 10. Здесь сухо, мягкий климат, сосновый бор, песок, река Остальные условия – томские» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 63).

[2] См. примеч 1 к п. 505.

[3] Отклик на слова из цитированного письма Дурылина: «Я тебе должен еще 20 р. за акварели. Надеюсь, прибавив к ним еще ск<оль-

ко>-ниб<удь>, послать через неделю – полторы, а, м<ожет> б<ыть>, и две».

[4] Поселки в Ивановской области, центры русского народного искусства. Палехская и холуйская миниатюра – вид миниатюрной живописи темперой на лаковых изделиях из папье-маше, возник на основе местного иконописного промысла.

[5] См. примеч. 1 к п. 460.

[6] См. примеч. 2 к п. 460.

[7] И. А. Комиссарова.

[8] М. А. Пазухина.

514. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

29 октября 1930 г. Коктебель[1]

29. X. 1930.

Дорогой Иван Михайлович,

Ваша дружба и забота обо мне неутомима. Если дело с пенсией провалится, то это будет всецело моя собственная вина, потому что друзья сделали для меня не только все возможное, но и гораздо больше.[2] Сейчас мои материальные дела стали лучше: Севастопольский музей приобрел на 150 руб. моих акварелей на выставке,[3] а в декабре в Петербурге устраивается ретроспективная выставка моих картин «Киммерия». Выставка будет в очень хорошем помещении на Фонтанке в бывш<ем> Шуваловском особняке в залах Инженерного клуба.[4]

Писать еще раз самому о своих правах и заслугах для меня нож вострый, и я напишу Григорьеву только в крайнем случае – если пенсия по литературной линии провалится безвозвратно.[5]

Написавши – пошлю на Ваше имя для цензурного просмотра и передачи.

А пока спасибо за все.

Матв<ей> Никан<орович> Розанов меня известил одновременно с Вами о всех мытарствах моих бумаг и о том, что они прямо пойдут во ВЦИК.[6]

Привет Софье Анастасьевне.[7]

Напишите мне список гомеопатических средств от тучности.

Я кончаю разборку и классификацию своих архивов, которые у меня просит Союз писателей.

Эта громадная и кропотливая работа сейчас подходит к концу.

Мах.

[1] Неотправленный вариант текста письма (беловой автограф) сохранился в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 115). Существенных отличий от текста, посланного адресату, он не содержит.

[2] И. М. Саркизов-Серазини хлопотал о назначении Волошину пенсии через начальника Главискусства и члена ВЦИК Ф. Я. Кона, о котором сообщал в письме от 1 октября 1930 г.: «Выяснилось, как он мне передавал, что уже однажды вопрос шел о Вас и о назначении Вам пенсии <...>, но был разрешен отрицательно. И сейчас в делах имеются сведения из Феодосии, дискредитирующие Вас как лектора, дающего объяснения экскурсантам и освещающего те или иные факты, неприемлемые с точки зрения советской установки (протесты слушателей и пр.). <...> Все может разрешить только один Ф. Кон. Его личное отношение к Вам и оценка Вас как крупного поэта дает и мне и Р<убановскому> уверенность, что весь вопрос разрешится для Вас в благоприятную сторону. К сожалению, Анат<олий> Васил<ьевич> <Луначарский. – *Ред.*> никакой роли не играет в настоящее время, превратившись в мирного редактора “Зифа”, и с ним так же не считаются, как не считались в лучшие для него времена» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 58–58 об.). О дальнейшем течении событий Саркизов-Серазини оповестил Волошина 26 октября: «Ф. Кон категорически отказался войти с представлением о Вас в Совнарком. Причиной такого отказа, несмотря на все его желание помочь Вам, были обстоятельства, от него не зависящие. Поступили дополнительные сведения от соответствующих учреждений, которые и оказали свое влияние на благоприятно складывавшуюся для Вас обстановку. < > Точных сведений о этих причинах в Главискусстве я не мог собрать, по обстоятельствам вполне понятным. Одно несомненно, что они носят ярко политический характер, обвиняющий Вас в резко антисоветской позиции. Между прочим случайно я узнал, что не последнюю роль, якобы, сыграло и распространение Вами в списках и личных письмах к знакомым антисоветских стихов и пр. <.. > Сидя в коридоре в Главискусстве, я слышал через полуоткрытую дверь раз-

говор о Вас и между прочим о вышеизложенном» (Там же, л. 59–59 об.).

[3] Подразумевается выставка Ассоциации севастопольских художников (август 1930 г.).

[4] См. примеч. 4 к п. 507, примеч 2 к п. 512.

[5] В недатированном письме к Волошину Саркизов-Серазини сообщал: «На днях я говорил о Вас еще т. Григорьеву А. В., возглавляющему “Союз Советских Художников” Если дело почему-либо не пройдет по линии Наркомпроса, то он, может быть, двинет его по художественной. <...> Хорошо было бы, если бы Вы ему написали, ссылаясь на меня. <...> Он партиец, талантливый пейзажист» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 57–57 об.).

[6] В письме к Волошину от 18 октября 1930 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1030, л. 21–22 об.) М. Н. Розанов сообщал: «Ходатайство о назначении Вам персональной пенсии, подписанное многими деятелями науки и искусства, было вручено мною лично Луначарскому еще 27 апреля в Кремле. Через неделю он сообщил мне по телефону, что, поддерживая ходатайство, он также подписал его (подпись Л. Б. Каменева была добыта мною раньше) и направил в соответствующее ведомство». После этого, по словам Розанова, ходатайство «уподобилось “пропавшей грамоте”: ни в Ученом Совете СССР, в котором председателем состоит сам Анатолий Васильевич и куда он мне обещал направить дело, ни в Комиссии по персональным пенсиям Наркомата по социальному обеспечению – его не оказалось. След его нашелся только на днях. Выяснилось, что оно застряло в какой-то предварительной комиссии Наркомпроса, которая не нашла возможным дать ему дальнейший ход Чтобы распутать это дело, жду возвращения Луначарского <...>». Розанов сообщил также, что он был 15 октября на приеме у председателя Главискусства Ф. Я. Кона: «К вопросу о Вашей пенсии он отнесся вполне сочувственно, но, вместе с тем, посоветовал все дело направить непосредственно к Енукидзе, обещая всяческую поддержку со своей стороны. Таким образом вопрос о пенсии пойдет прямо в Совнарком и будет рассматриваться в порядке высшего управления, без свойственной ведомствам волокиты. Так как Енукидзе оказал уже Вам существенную поддержку в вопросе о “доме поэта”, то, думаю, и в данном случае можно надеяться на успех». Позже, в письме к Волошину от 28 октября 1930 г. Розанов сообщил, что Луначарский, при личной встрече с ним, согласился, что дело о пенсии Волошину «всего целесообразнее направить прямо во ВЦИК и согласился лично передать его Енукидзе» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1030, л. 23).

[7] С. А. Саркизова.

515. А. В. ГРИГОРЬЕВУ

Около 29 октября 1930 г. Коктебель[1]

Уважаемый тов<арищ>
Алекс<андр> Владимир<ович>.

По совету нашего общего друга д<окто>ра Саркизова обращаюсь к Вам за дружеским содействием.[2]

Дело идет о персональной пенсии, хлопоты о которой взял на себя Ив<ан> Мих<айлович>.[3]

Писать о своих правах и заслугах очень неприятно.[4] Но я думаю, что они есть. Первые 1½ десятилетия XX века жил в Париже, работа<л> по живописи и по худож<ественной> критике. В те годы мне приходилось встречаться с многими эмигрантами тех лет, теперешними деятелями «большевизма». Меня знают <?> хорошо Каменев, Луначарский, которые мне при встрече напоминали о моих услугах партии в смысле устройства вечеров <в> пользу эмигрантской Кассы — тогдаш<ний> парижский псевдоним партии. Во время гражданской войны я неоднократно выступал перед Добровольческой армией ходатаем за арестованных красных, которым грозил расстрел, сошлюсь на громкое на юге дело красного генерала Маркса, арестован<ного> в Феодосии в 1919 году, для которого я добился у Деникина полного освобождения.

[1] Незаконченный карандашный черновик. Было ли отправлено это письмо адресату, неизвестно. Датируется по связи с п. 514.

[2] См. примеч. 5 к п. 514.

[3] См. примеч. 1 к п. 505.

[4] Далее Волошин в краткой форме повторяет содержание своего обращения в Главискусство (см. п. 504).

516. В ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

6 ноября 1930 г. Коктебель

В ПРАВЛЕНИЕ В.С.С.П.

Поэта Максимилиана Волошина

Заявление.

По вашему письму я ждал в начале октября комиссию для осмотра и приема моих архивов.[1] Сейчас Е. Н. Чеботаревская подробно ознакомилась с моими архивами,[2] приведенными мною в порядок, и я могу говорить более определенно.

Повторяю мои условия:

Я согласен уступить ВССП мои архивы с тем, чтобы до моей смерти они оставались в моем распоряжении. После моей смерти они переходят в распоряжение ВССП, но с тем чтобы права моей жены, являющейся законной наследницей всего моего литературного наследства, согласно существующим законам о литературной собственности, были бы соблюдены и чтобы она имела право голоса при посмертном опубликовании и использовании моего архива.

Матерьяльные условия таковы: в принципе мне очень претит «продавать» мой архив, но ввиду трудности матерьяльного положения и того, что я уже второй год не получаю академического обеспечения, я признаю справедливым получить денежное вознаграждение за мой архив, который представляет определенную ценность. Я предпочел бы не единовременную сумму, а некоторое ежемесячное вознаграждение в размерах прожиточного минимума. Размеры предлагаю определить Правлению ВССП при участии Е. Н. Чеботаревской. Кроме архива, у меня в доме имеются различные художественные ценности в виде коллекции картин, книг и изданий, представляющих целый музей, который я бы хотел тоже оставить ВССП.

Весь мой дом, представляющий конгломерат пристроек за 40 лет моей жизни в Коктебеле, я уже давно превратил в совершенно бесплатный дом отдыха («ДОМ ПОЭТА») писателей, художников и их семейств. Последнее особенно важно, как показали требования жизни. Но я озабочен мыслью о

том, в чьи руки перейдет это учреждение после моей смерти, так как мне хотелось бы, чтобы принцип бесплатного приюта для современных поэтов в моем доме сохранился. Поэтому я был бы рад, если бы ВССП взял бы на себя труд быть моим наследником, а пока в текущем я могу предоставить помещение из трех комнат для членов ВССП. Со своей стороны надеюсь, что ВССП будет оказывать мне всяческую помощь в условиях современной жизни.

Оговариваю права моей жены Марии Степановны Волошиной после моей смерти, так как я не хочу, чтобы она была выселена из дома, в том случае, если она переживет меня. Она должна быть заведующей ДОМОМ ПОЭТА.

Через мой дом в течение этих сорока лет прошли представители всех литературных традиций и кончая конструктивистами.[3] Покойный В. Брюсов, проведший здесь последние сознательные дни своей жизни, говорил: «Раньше в России была Ясная Поляна, а теперь есть Коктебель, с тою разницею, что в Ясную Поляну шли исповедоваться, а в Коктебель идут учиться творчеству и работать».[4]

Максимилиан Волошин. 6/XI 1930. Коктебель.

[1] См. п. 510, примеч. 1.

[2] Е. Н. Чеботаревская была командирована в Коктебель Правлением Всероссийского Союза Писателей.

[3] Конструктивисты (В. М. Инбер, К. Л. Зелинский, И. Л. Сельвинский) побывали в доме Волошина в конце мая – начале июня 1927 г.

[4] Ср. суждения В. Я. Брюсова о Коктебеле (август 1924 г.), приводимые Волошиным в его мемуарных фрагментах о поэте (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 336).

517. А. А. ДЕМИДОВУ

13 ноября 1930 г. Коктебель

13/XI 1930. Коктебель (Крым).

Уважаемый коллега,

с удовольствием могу приютить Вас зимой, предоставив Вам *бесплатно* комнату в моем доме.[1] Комната теплая, но отапли-

вать ее придется Вам самим. Дров можно купить в деревне по пудам. А кормить Вас берется одна женщина (минут 10 хода из дому). Цену обеда сейчас трудно определить, но надо исходить от цены около 1–1½ рубля за обед.

Зима в Коктебеле обычно бесснежная, но возможны всякие отступления. Бич зимы здесь сильные северные ветра. Самые суровые месяцы – январь и февраль. Весна начинается в марте – апреле. Солнечная и студеная.

Но обычно зимы – мягкие. Напишите предварительно.

М. Волошин.

[1] В письме к Волошину от 3 ноября 1930 г. А. А. Демидов, сообщая о том, что он является автором романов «Жизнь Ивана» (1923), «Вихрь» (1926), «Село Екатерининское» (1929), просил ответить: «...могу ли я один или с женой занять одну из комнат под Вашей кровлей, и, если да, то где я мог бы питаться — у Вас или где в другом месте? Комнату занять я желал бы не менее чем на месяц, и потому мне хочется знать, во-первых, сколько за нее платить, а во-вторых, сколько будет стоить питание, и, если у Вас его нельзя получать, то легко ли найти где-нибудь поблизости от Вас? Приехать мне удастся или в январе на месяц или ранней весной месяца на два» (ДМВ, № НВ–6893).

518. А. А. БЕЛЕЦКОМУ

17 ноября 1930 г. Коктебель[1]

Милый Андрей,

если не трудно, пришлите мне ту переделку «Песни о Вещем Олеге», что Вы мне читали летом.[2]

Максимилиан Волошин.
17 XI 1930.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 4 XI 30».

[2] Рукопись переделки А. А. Белецким «Песни о вещем Олеге» А. С Пушкина (1822) в архиве Волошина отсутствует. В воспоминаниях Андрея Белецкого «Макс, Коктебель, Карадаг (1927—1932)» (Новое литературное обозрение. 1996. № 21. С. 209–219. Публ., предисловие и примеч. В. Купченко) о ней ничего не сообщается.

519. А. А. КИПЕНУ

19 ноября 1930 г. Коктебель

19/XI 1930.

Дорогой Александр Абрамович,

Посылаю Вам одновременно несколько акварелей для Вас и для Е. О. Буковецкого. Мне было очень грустно, когда в этом году я не получил в обычный срок извещение об очередной выставке и понял, что она пала жертвою экс-решительных мер против искусства.[1] Но это было мне компенсировано одновременно предложением устройства моей персональной выставки в СПБ этой зимой, ретроспективной за последние 5 лет, которая, верно, и состоится в декабре.[2] А продажей акварелей дело неожиданно сладилось. Севастопольский музей у меня купил акварелей на 150 р., что для меня спасение, т<ак> к<ак> других ресурсов жизни я лишен: академическое обеспеч<ение> я не получаю уже год. Персональная моя пенсия тоже по всем данным провалилась.

В прошлом году во время удара меня спасла только неожиданная одесская продажа.[3] А затем у меня была продажа за границей через Vox – не знаю, где.[4]

Но мне так странно ничего не посылать в Одессу – осенью, что я решил уплатить прошлогодние свои обещания.

Посылаю Вам 2 акварели и 1 – Буковецкому. Кроме того, в это письмо влагаю еще 3 миниатюры для Вас лично.[5]

Не могли ли Вы мне устроить продажу таких маленьких акварелей среди тех, что и в прошлом году покупали мои акварели с выставки. Я их ценю совсем дешево от 10 до 20 руб. Думаю, эта дешевизна может кое-кого соблазнить, а мне материально в этом году очень туго.[6]

До свидания, дорогой Александр Абрамович.

Как жаль, что Вам так и не удалось меня до сих пор навестить в Коктебеле.

Максимилиан Волошин.

[1] Художественное Общество имени К. К. Костанди было закрыто в 1929 г., очередная 6-я осенняя выставка, предполагавшаяся в 1930 г, не состоялась.

[2] См. примеч. 4 к п. 507, примеч. 2 к п. 512.

[3] См. примеч. 2 к п. 452.

[4] Имеется в виду ВОКС – Всесоюзное Общество культурной связи с заграницей. Оно организовало в Риге (17 ноября – 31 декабря 1929 г.) выставку русской графики, на которой экспонировались акварели Волошина.

[5] «Спасибо Вам, родной, – отвечал Кипен в недатированном письме, – за чудесный Ваш подарок, за сердечную Вашу дружбу, которую и я, и Евгений Иосифович <Буковецкий. – *Ред.*> ценим бесконечно. <...> Мы оба считаем Вас <...> самым расточительным из художников, и без того всегда расточительных по самой своей природе. Знаете ли Вы, что Вашим акварелям цены нет, что такой акварельной техники, такой изумительной артистичности нет ни у одного из наших акварелистов?» (*Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 90).

[6] В том же письме Кипен извещал Волошина о невозможности продажи его акварелей в Одессе («Все сидят без денег, так как жалованье выплачивается по столовой ложке, частями, чеками и т. п.») и выражал надежду на продажу в других городах: «...если удастся что-нибудь наладить, с радостью это сделаю» (Там же С. 89, 90).

520. С. Е. МОТОЛЯНСКОМУ

19 ноября 1930 г. Коктебель

Коктебель (Крым). 19/XI 1930.

С. Мотолянскому – М. А. Волошин:

Дорогой друг,

простите, что до сих пор не высылал Вам акварелей:[1] у меня зимой ретроспективная выставка в СПб. (персональная),[2] и я все отправил туда, все, что было. И одно время не располагал материалом для раздачи совсем.

Влагаю Вам в конверт еще 3 маленьких акварельки.

Для таких полуватман, который получил с благодарностью,[3] очень хорош, но для бóльших мне все-таки удобнее александровская. Неужели ее совсем нельзя достать. А ведь еще недавно она была всюду – она ведь российского производства.

Всего лучшего.

Жду Вас все-таки в Коктебель,[4] потому что рано или поздно меня отсюда выпрут.

Приезжайте, пока есть возможность. Буду всегда очень благодарен за бумагу.

Максимилиан Волошин.

P. S. Как Ваше имя-отчество, для общения это необходимо.

М. В.

P. P. S. Мои материальные дела идут очень туго: меня лишили год назад Ак-обеспечения и не дают пенсии. Не нашлось бы среди Ваших знакомых желающих купить мои маленькие акварельки вроде прилагаемых по 10–15 рублей?

[1] Начиная с мая 1930 г., Волошин высылал С. Е. Мотолянскому в Одессу свои акварели неоднократно (о получении акварелей Мотолянский сообщал в письмах к Волошину от 25 мая, 6 июня, 26 июня 1930 г. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 858).

[2] См. примеч. 4 к п. 507, примеч. 2 к п. 512.

[3] В письме от 25 мая Мотолянский предлагал Волошину присылать то, что ему «трудно достать в Коктебеле и что не составит никакого труда – раздобыть в Одессе». В следующем письме к Волошину (6 июня), выполняя его просьбу, Мотолянский сообщал: «...сегодня раздобыл 10 листов полуватмана, которые завтра Вам вышлю. Ватмана не удалось найти. Общее мнение, что полуватман, высылаемый Вам, лучше лучшей александрийской, о которой Вы писали <...> позвольте взять на себя В<аше> бумажное снабжение, это не составит для меня никакого труда».

[4] 10 августа 1930 г. Мотолянский писал Волошину из Новороссийска: «...вторично “по объективным причинам” срывается моя поездка к Вам, почти на пороге В<ашего> дома» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 858).

521. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

25 ноября 1930 г. Коктебель[1]

25/XI 1930 Коктебель. (Крым).

Милый Казик,

Когда на сегодняшней почте я вскрыл конверт Вашего письма и прочел наверху страницы Вашу фамилию, что я успел

забыть за эти годы (мы, говоря о Вас, всегда называли Вас «Казик» – так Вы у нас и остались), я сказал Марусе (жене): «Это, должно быть, Казик!..»[2]

Мы неоднократно вспоминали Вас эти годы[3] и гадали о Вашей судьбе, но о Вас ничего не доходило. Еще на днях, благодаря случайному совпадению имени, вспомнили Вас. С Наташей Кедровой мы вначале переписывались,[4] но после, ког-д<а> она попала за границу, – я перестал ей отвечать, т<ак> к<ак> из предосторожности не поддерживаю никакой переписки с заграницей. С Чуковскими мы эти годы не видались, и только в этом году весною получили от Корнея Ивановича раздирающее письмо о болезни Мурки.[5]

Словом, мы ждали вестей о Вас, – Вас вспом<и>нали и к Вашему письму были готовы.

Его появление и содержание не удивило меня: я хорошо помню п<р>екрасного и восторженного юношу и теперь вижу, что он не изменился, что жизнь его сложилась вполне сообразно его характеру: разнообразно и богато – взлетами, падерьями и зи<г>загами, неожиданными и талантливыми.

Ваш оклик был мне очень радостен и глубоко меня тронул.

Моя же жизнь шла ровно без взлетов и без больших катастроф. Когда мы с Вами виделись в 1924 году, был полдень моей жизни. Теперь начались часы послеполуденные и предзакатные, но еще не вечерние.

В прошлом году у меня был удар,[6] к счастью, небольшой и не оставивший сериозных последствий – ничего, кроме очень быстрой утомляемости.

Я не могу уже читать стихов без устали и в таком количестве, как раньше.

Одновременно с этим меня лишили академического обеспечения. Так что я оказался в затруднительном, но не безнадежном материальном положении. Т<ак> к<ак> «друзья», которых у меня всегда было много, нас поддерживают. Но у меня, как последствие удара, явилась очень большая пассивность, и вся материальная тяжесть жизни ложится на Марусю, которая всячески меня оберегает и охраняет.

Материальной поддержкой мне сейчас служит и продажа моих акварелей, которые имеют успех на выставках, и даже было несколько продаж за границей через «Vox»,[7] но не знаю, где именно.

Кроме того, покупают и музеи. Раньше я, пока получал ак<адемическое> обеспечение, принципиально отказывался от всякой оплаты. Теперь – нет.

Стихов я не печатаю потому, что каждый журнал, который просит моих стихов, мне сообщает, что <в> таком-то стихотворении нельзя напечатать по цензурным условиям 10–20 строк. А т<ак> к<ак> это с моими стихами идет давно, и ни одно из правительств 2-х десятилетий не хотело печатать мои стихи целиком, то я нахожу, что печатать их при этих условиях нечестно.

Спасибо за добрые слова, симпатию и расположение.

Приезжайте навестить меня в Коктебеле, когда у Вам окажется свободное время. Лучше всего весной: март–апрель. Это для нас самое удобное время, потому что летом тесно, и я уто<м>ляюсь от людей.

Впрочем, когда бы Вы ни приехали, мы всегда Вам будем рады.

Макс<имилиан> Волошин.

Привет милой Асе Г<инцбург>.

P. S. Спасибо за письмо и за предложение.[8] Пишите мне, буду отвечать Вам с удовольствием.

Max.

Глубоко тронут Вашим *сыновним* предложением. Сейчас у меня серые и дождливые дни, когда *такие* слова особливо согревают.[9]

M.

[1] В архиве Волошина сохранился черновик этого письма, датированный 22 ноября 1930 г.

[2] В письме к Волошину от 18 ноября 1930 г. К М. Добраницкий напоминал о своем знакомстве с ним и рассказывал о себе: «...если Вы вспомните Ленинград 1924 года, вспомните Чуковских, вспомните Наташу Кедрову, может быть Вы вспомните и меня – худого, восторженного подростка, ожесточенно спорящего с Вами и стремя-

щегося сделать из Вас коммуниста. Теперь мне кажется это смешным, я улыбаюсь, когда вспоминаю это, но тогда я считал, всей настойчивостью своих 19-ти лет, это возможным и очень стремился к этому. В то время Вы ко мне очень хорошо отнеслись, и до сегодняшнего дня я с благодарностью вспоминаю о каждом Вашем слове. Я не приобрел Вашего миросозерцания, но, благодаря спорам с Вами, мое миросозерцание стало чище и глубже. <...> Через месяц у меня открылся в скоротечной форме туберкулез, меня отправили в санаторий в Австрию. <...> За три года – Австрия, Чехо-Словакия, Германия, Польша, Эстония, Бельгия, Англия, Соединенные Штаты, Барбадос, Бразилия, Уругвай, Тринидад, Куба... В 1927 г. опять Москва, карета скорой помощи, Институт Склифосовского, где меня списали оттого, что я отравился, и потом послали в психиатрическую лечебницу. Потом началась моя русская работа: научная работа, доцент (конечно, по общественным предметам) в 24 г<ода> и профессор в 25 лет. И, наконец, последнее, – мобилизация меня ЦК партии на укрепление научных кадров провинции. Выбрал Казань. Приехал сюда с отчаяния. Познакомился с Даяном. Его дочерью – Асей <Р. М. Гинцбург. – *Ред.*>. Она читает мне свои стихи. И в стихах, слабых, неумелых, я чувствую Ваше влияние. Говорю о нем. Она изумляется – Вы знаете Максимилиана Александровича? Она показывает мне "Иверни", показывает мне Ваши акварели. Я не могу оторваться от одной из них – "Сновидения", и мое желание написать Вам превозмогает мою робость» (ДМВ, № НВ – 6964).

[3] Волошиным зафиксированы визиты к нему Добраницкого в Ленинграде 6 и 8 мая 1924 г. Знакомство их, видимо, состоялось на обеде у Чуковских 2 мая (Труды и дни-2. С. 223, 222).

[4] 7 октября 1924 г. Н. К. Кедрова писала Волошину из Везине (под Парижем): «А я переписываюсь с Казиком, помнишь этого юношу? Он, бедный, болен чахоткой и живет сейчас в Австрии Он, бедный, все еще страдает манией величия и пишет мне нежные письма, на которые очень трудно отвечать. Жаль, если он умрет» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 640, л. 34 об.). О своей заболевании Волошину сообщил сам Добраницкий в недатированном письме из Москвы, относящемся, видимо, к концу мая — началу июня 1924 г.: «Ужасно был рад возможности поехать в Коктебель и увидеть опять Вас, но не пускают меня родители <...> у меня неожиданно оказался туберкулез легких и в какой-то очень прогрессирующей форме <...> уже окончательно решен мой отъезд с матерью на 1½ года за границу. <...> В конце июня мы едем» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 504).

[5] Мура – Мария Корнеевна Чуковская (1920–1931), младшая дочь К. И. Чуковского В письме к Волошину от 4 августа 1930 г.

Чуковский сообщал о ее болезни (костный туберкулез) и просил навести различные справки о «костной санатории для детей» в Алупке. См.: *Чуковский Корней.* Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра – Книжный клуб, 2009. Т. 15. С. 187.

[6] См. п. 460, примеч. 3, п. 462.

[7] См. примеч 4 к п. 519.

[8] В цитированном выше письме Добраницкий предлагал Волошину материальную помощь: «Я знаю, что материально Вы живете скверно. Я зарабатываю больше, чем мне нужно. Я бы не решился говорить об этом с кем-нибудь другим, но с Вами могу». Сохранился текст телеграммы Волошина: «Милый Казик деньги получил бесконечно тронут. О Вас думаю с нежностью письмо идет обнимаю Макс» (ДМВ).

[9] В цитированном письме Добраницкий признавался: «Мой отец, которого я любил больше всего на свете, бросил меня, бросил мать, с которой он прожил 25 лет, и пошел, старый, лысый, беззубый человек, строить себе новую жизнь. У меня нет отца. Максимилиан Александрович! Мне хочется (я давно, с тех пор относился к Вам по-сыновнему), чтобы Вы разрешили мне быть не только знакомым Вашим, но разрешили заботиться о Вас, радоваться Вашим радостям и огорчаться Вашим огорчениям. Я знаю много интересных, много талантливых людей. Но *гениального* человека я знаю только одного. Вы – единственный человек в мире, знакомством с которым я горжусь. Напишите мне, Максимилиан Александрович, и позвольте мне быть Вам больше чем знакомым. Хорошо?». Отец К. М. Добраницкого – Мечислав Михайлович Добраницкий (наст. фам. Мейер; 1882–1937), участник революционного движения в Польше, юрист, дипломат; директор Гос. публичной библиотеки в 1930–1936 гг. См. о нем статью В. Д. Чурсина в кн.: Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры. Биографический словарь. Т. 2. СПб., 1999. С. 257–261; также: *Чудакова М. О.* Осведомители в доме Булгакова в середине 1930-х годов // Седьмые Тыняновские чтения. Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. С. 455–456.

522. Е. А. БАЛЬМОНТ

7 декабря 1930 г. Коктебель[1]

7 XII 1930.

Дорогая Екатерина Алексеевна! Шлю Вам привет и все киммерийские сновидения. Спасибо за Вашу память. Благо-

дарю и целую с нежностью. Как и где Вы живете этой зимой? Передайте мой привет Леле [2] и <*нрзб*>.

Макс.

Как Марк Алексеевич?[3] Знаете ли что-нибудь о Маргоре?[4]

[1] Текст на обороте акварели.
[2] О. Н. Анненкова.
[3] Неустановленное лицо.
[4] М. В Сабашникова. Ответного письма Е. А. Бальмонт в архиве Волошина не выявлено.

523. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

9 декабря 1930 г. Коктебель

9/XII 1930.

Дорогой мой Казик,

Только что я сам принес с почты Ваше письмо от 1/XII (спешное) и прочел его на ходу.[1]

Оно меня тронуло и пот<р>ясло. Хочу тотчас же ответить Вам. События жизни Вашей горестны и повседневны. «Такова жизнь», – сказал бы рядовой моралист. Этим я не хочу умалять всего их значения, но они сами по себе имеют характер беллетристический, а не трагический. Я ненавижу таких моралистов. Когда они говорят про себя: «Я знаю жизнь, я знаю людей». То это в их устах имеет только тот смысл, что они заранее всех людей считают негодяями и подлецами. От их присутствия и ихних суждений становится душно и тоскливо. Для них такие факты становятся поучительными баснями о том, как жизнь *отрезвляет* молодых романтиков. Но Ваш случай не таков.

В нем есть «трагическое». Если бы Ваши попытки на самоубийство удались, то он остался бы в полосе «faits divers»* – т. е. несчастных случаев газетного характера. Но Ваши письма ко мне <с> трогательными поисками отцовства (recherche de

* Происшествия, разные случаи, которые помещаются в газетной хронике (*фр*)

paternité) Вас реабилитируют как «неотрезвленного» романтика.

Вы помните, Казик, очаровательную и глубокую притчу Платона о юноше, в раннем детстве похищенном разбойниками.[2] И вот он, выросши, всю жизнь идет из края в край и от шатра к шатру в поисках своих родителей. И он их постоянно находит. И люди его принимают — в античном мире эти случаи похищения детей были очень часты. И готовы его усыновить, но он, который помнит о своей семье только одно, что все там были счастливы и мудры, увидав их житейские недостатки, сам покидает их и идет по свету дальше искать своего отца и свою семью. И так без удовлетворения и без достижения. Это уже исход трагический, т<ак> к<ак> здесь есть «очищение» — катарзис, без которого трагедии быть не может.

По Вашим письмам я совсем не чувствую, чтобы Вы изменились — напротив, я чувствую Вас таким же юным и незапятнанным никаким «житейским опытом». Вы не поверили в житейские *правды*, а сохранили свою трагиче<с>кую и очистительную веру в единую *П Р А В Д У*. Вы не изменили своей судьбе.

О Вашей второй истории — о разочаровании Вашей женитьбы[3] — разговор более сложный. Мне вспоминается одна беседа с А. Ф. Кони, о которой я, б<ыть> м<ожет>, Вам и рассказывал в свое время, потому что это относится к 24 году — т. е. к нашей с Вами первой встрече.[4] Кони рассказывал об одном случае его судей<с>кой практики, который послужил Толстому темой для «Воскресенья».[5] К Кони, как к прокурору, обратился один молодой человек — прототип Нехлюдова из «Воскресенья» — с жалобой на прокурорский надзор, который нала<га>ет запреты на его переписку с невестой, заключенной в тюрьме. История та же, что в «Воскресенье» — он был в числе присяжных, судивших и осудивших проститутку, замешанную в дело убийства. Он ее узнает и решает на ней жениться.

Кони прибавлял: «Я его всячески отговаривал. Ведь Вы молодой человек. С блестящим будущим. Ведь Вы ее не сможете ввести в свою семью — познакомить с сестрами, с матерью. Вы не сможете и сами с нею быть весь день. Вы будете

заняты. Она возобновит свои старые связи и знакомства. И в Ваш дом войдет против Вашей воли струя кабацкой жизни. И Вы же окажетесь жертвой. Но в жизни случилось все иначе: она заболела в тюрьме и умерла от тифа в блаженном бреду. А мне случилось лет 20 спустя рассказать эту историю при Льве Николаевиче. Он написал «Воскресенье», и вот в результате это<го> благородного, но нер<аз>умного порыва русская литература обогатилась шедевром, а день<ги>, вырученные от продажи «Воскресенья» Марксу,[6] пошли на переселение духоборов в Америку и спасли жизнь тысяч людей.

Вот непосредственные результаты этого благородного, но неразумного порыва, от которого нужно было удержать того юношу».

Кони тоже был «моралистом», но моралистом глубоким и виде<в>шим морал<ь>ные последствия поступков более глубоко и широко, чем обычно. Таких моралистов и такую мораль я люблю и ценю глубоко.

Крепко Вас обнимаю и люблю, милый Казик.

MAX.

P. S. Прила<га>ю Вам акварельку и выписываю на ней мои старые стихи о платонов<с>ком юноше, которых Вы, верно, не помните.[7] В рассказе Кони никакой аналогии с Вашей историей нет. Но мою мысль Вы, вероя<т>но, поймете. Мне этот рассказ кажется важен потому, что в нем очень хорошо передано, что моральный порыв никогда не остается бесплодным.

[1] В письме из Казани от 1 декабря 1930 г. К. М. Добраницкий признавался. «Я ведь теперь совсем не такой, каким Вы меня себе представляете. Я был таким – порывистым, восторженным, доверчивым. Но жизнь убила все это. <...> Во всем мире я верю, – верю по-настоящему, полностью и беззаветно, – двум людям – Елене Карловне (маме моей) и Вам. Вы для меня в жизни прошли, как сказка. И я прошу Вас разрешить мне, – не имеющему отца, – заботиться о Вас, как я бы стал заботиться об отце, думать о Вас, как я бы думал о нем, знать, что всегда, что бы ни было Вам нужно, Вы обратитесь ко мне, как обратились бы к своему сыну. <...> И если Вам может только пригодиться 25-летний старик, сломленный, но все еще мечтатель, фантазер и романтик и прежде всего и всегда искренний человек, то помните, что я буду Вам самым верным, самым послушным,

самым преданным сыном, какой только может существовать» (ДМВ, № НВ – 6965).

[2] Далее следует вольное переложение рассуждения о подкинутом ребенке, вырастающем в богатой и знатной семье, в диалоге Платона «Государство» (Книга седьмая, 538 bc). См.. *Платон.* Соч.: В 3 т. М . Мысль, 1971. Т. 3, ч. 1. С 350–351.

[3] 1 декабря 1930 г. К. М. Добраницкий писал Волошину: «Была у меня жена — Ванда. Красивая, молоденькая девушка. Я очень любил ее, очень баловал ее и был счастлив. И через два месяца нашего брака я узнал, что она любит другого, является его женой, а за меня она вышла, потому что я много зарабатывал, имел положение, связи и т. д. Так кончилась моя вера во второго человека».

[4] Волошин посещал А. Ф. Кони в Ленинграде трижды – 7, 13 и 18 апреля 1924 г. (Труды и дни-2. С. 218–220).

[5] О том, как он рассказал Л Н. Толстому в Ясной Поляне в июне 1887 г. судебную историю Розалии Они, послужившую сюжетной основой романа «Воскресение» (1889–1899), сам Кони написал в «Воспоминаниях о Льве Николаевиче Толстом» (впервые: Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к «Ниве». 1908. № 9; под заглавием «Лев Николаевич Толстой» вошло в кн.: *Кони А. Ф.* На жизненном пути. Т. 2. М., 1916. С. 31–37). См.: *Гудзий Н. К.* История писания и печатания «Воскресения» // Толстой Л. Н. Полн. собр соч. Т. 33. М.: Художественная литература, 1935. С. 329–332.

[6] А Ф. Маркс был издателем петербургского еженедельного журнала «Нива», в котором на протяжении 1899 г. печатался роман «Воскресение». Марксом было выпущено в 1900 г. и первое в России отдельное издание романа (два издания, идентичных по тексту).

[7] Имеется в виду стихотворение «Как некий юноша, в скитаньях без возврата ..» (1913 // Т. 1 наст. изд. С. 142). Изложенная выше притча в большей мере основывается на образном строе этого стихотворения, чем на исходном фрагменте диалога Платона.

524. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

14 декабря 1930 г. Коктебель

14. XII. 1930.

Дорогая Юлия Леонидовна,

я Вам не писал всю осень с августа. Вчера я вернулся из Феодосии, где был у Конст<антина> Феод<оровича>.[1] Как все-

гда, был рад этому свиданию и особенно тому, что у них в семье все сравнительно благополучно. Мы переночевали несколько ночей в мастерской. И проговорили 2—3 вечера с Костенькой очень хорошо за обеденным столом о вещах важных и вечных.

Мне очень грустно бывает в Феодосии особливо в той части города, где живут Богаевские. Для меня нигде нет таких опустевших кварталов, как эти.

Этой осенью я проделал большую работу: разобрал все мои архивы, т. е. раскла<сси>фицировал мою переписку за 30 лет. Это необходимый труд для моих предполагаемых мемуаров, за которые я думаю-таки приняться этой зимой.

О смерти Леонида Леонидовича[2] я узнал только из газет, и невольно ёкнуло сердце при мысли о Вас и Ек<атерине> Иван<овне>.[3]

При разборе архивов я отложил письма К<онстантина> В<асильевича>,[4] которых оказалось немало, и Ваши, Юл<ия> Леонид<овна>, которых набралась совсем солидная пачка. Когда К<онстантин> Ф<еодорович> был у меня осенью по возвращении с Днепростроя,[5] он мне только сказал отрывисто и сурово, как всегда:

«Какого мы с тобой друга потеряли!..» – и ни слова не прибавил. Уход К<онстантина> В<асильевича> оставил большую пустоту в художественной жизни Москвы. Вам никогда не приходило в голову, Юлия Леонидовна, принять на себя историческое наследство в художественной жизни, утратившей без него свое средоточие? Я думаю, что это было бы вполне в Ваших силах и возможностях. И очень бы наполнило Ваше сердце и жизнь любимым и трепетным делом, которое каждым изгибом души напоминало бы Вам – его ушедшего, закрепляя в памяти друзей его образ и его речи, такие нужные и такие живительные.

Шлю Вам на память <?> маленькую акварельку из тех, что я называю «Коктебельскими камушками».

Передайте мой привет Екат<ерине> Ивановне от меня и Мар<ии> Степ<ановны>.

Макс.

[1] К Ф Богаевский. Волошин провел в Феодосии около трех дней.

[2] Л. Л. Оболенский (1872–1930) – брат Ю. Л. Оболенской; директор Эрмитажа в 1930 г.

[3] Е. И. Оболенская.

[4] К. В. Кандауров.

[5] См. п. 501, примеч. 3.

525. М. С. АЛЬТМАНУ

15 декабря 1930 г. Коктебель

15/XII 1930.

Дорогой Моисей Семенович,

Всю осень, пока я ходил в мою обычную прогулку через поле к шоссе, я невольно вспоминал наши перипатетические беседы и невольно тосковал по вас.[1] Теперь, когда нас снова обтянули проволокой и закрыли по зимнему положению все входы и выходы из нашего зимнего концентрационного лагеря, я вспоминаю Вас не так настойчиво, но с неизменной тоской. Теперь, когда все условия для работы сложились благоприятно – нет духовного импульса для нее: не работает мельница бесед и не из чего печь творческий хлеб.[2]

У нас все благополучно – в доме тепло; в подвале есть небольшой запас картошки и капусты, очень небольшой – на зиму для двоих в обрез. Нет только пищи духовной. Мало непрочитанных книг. Я очень тоскую без иностранных изданий.

До самых последних дней в доме била жизнь: долго жили летчики, последней с последним летчиком уехала Тата Шл<ипс>. От нее мы уже получили очень грустное письмо из СПБ.[3]

Теперь у нас в доме только «люди с осликом». Но ослика-то как раз и нет: не купили. Их очень много – их шесть человек: 3 мальчиков и бабушка. Нищета страшная, и с ней специфический аромат ночлежки. Представьте себе, они в Коктебеле умудрились устроить себе спертый воздух. Кроме них еще Лидия Васильевна.[4] Но мы все живем *рóзною* жизнью, встречаемся редко и ни о чем не беседуем.

По вечерам читаю Марусе вслух Диккенса («Барнаби Редж»).[5] Всю осень разбирал свои архивы и привел их в относительный порядок. Но сейчас, когда все приведено в порядок для работы, к самой работе нет духу приступить. Хотя я себе все доводы о ее необходимости перебираю ежедневно. Кажется, буду писать стихи: новые главы к «Путям Каина».[6]

Передали ли Вы Татьяне Руфовне Златогоровой рукопись Сурикова?[7] Я знаю, что она очень ждет. Пожалуйста, передайте поскорее. (Ул. Пестеля 14, кв. 12) или Медицинская академия, где Семен Иван<ович>[8] читает.

Шлю Вам аквар<ельный> привет. Видали ли Тамару?[9]

Не слыхали ли что о моей выставке?[10]

Макс.

Привет от Мар<ии> Степ<ановны>. Поздравляю с рождение<м> солнца и наступлением Сатурналий.[11]

[1] М. С. Альтман жил в Коктебеле летом 1930 г. – с 24 июня по 23 августа (Труды и дни-2. С. 460, 467)

[2] На эти строки Альтман откликнулся в ответном письме от 22 декабря 1930 г.: «Я очень тронут Вашей нескудеющей обо мне памятью и “невольной тоской” по мне. Как действительно жаль, что “мельница бесед” наших не работает круглый год, но верю, что лето в лету не канет и крылатая вновь зашумит» (ИРЛИ, ф. 840, собрание М. С. Лесмана).

[3] Имеется в виду недатированное письмо Т. А. Шлипс, в котором она сообщала о болезни матери и о тяжелом психическом состоянии одной из своих знакомых: «Происходит нечто дикое, неправдоподобное... Мука человечья хлещет мне в лицо, и я, истекая слезами, не знаю, как, как, как помочь?» (ДМВ, № А–1222).

[4] Л. В. Щепотьева.

[5] Роман Чарльза Диккенса «Барнеби Радж» («Barnaby Rudge», 1841). Русский перевод под заглавием «Барнаби Рёдж» – М.: Изд. В. Н. Маракуева, 1888–1889. Т. 1–2; *Диккенс Ч.* Полн. собр. соч. Т. 9. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1896.

[6] Это намерение осталось нереализованным.

[7] Подразумевается монография Волошина «Суриков». Альтман отвечал в цитированном письме: «Вашу рукопись о Сурикове задержал потому, что все хлопотал, не удастся ли ее сдать в печать. Очень мало на это надежд, ибо всем нравится, но трудно (Вам) богатому духом пройти через ушко глухих (“глухонемых”). Передам ее Татья-

не Руфовне <Златогоровой. – *Ред.*>. я ее уж видел и обещал. За две Ваши акварели получил 25 руб. и на днях вышлю».

[8] С. И. Златогоров.

[9] Т С. Салтыкова.

[10] См. примеч. 4 к п. 507, примеч. 2 к п. 512.

[11] Сатурналии – в Древнем Риме ежегодные декабрьские празднества в честь бога Сатурна. Сопровождались карнавалом и пиршествами.

526. А. А. КИПЕНУ

23 декабря 1930 г. Коктебель

23/XII 1930.

Дорогой Александр Абрамович,

Большое Вам спасибо за прекрасное, светлое, бодрящее письмо. Скорблю вместе с Вами о гибели О<бще>ства Костанди.[1] Представляю себе, как это было (и есть!) для Вас горько.

Если попадете в СПБ,[2] то разыщите там Рыбакова (Иосифа Израилевича) (набережная Жореса, дом 12, кв. 5). Это тот милый человек – очень тонкий и редко культурный, который осенью взял мои акварели, чтобы устроить зимой в Ленинграде мою персональную и ретроспективную выставку.[3] Но об ней что-то не слышно <*нрзб*> У него все мои последние работы.

Привет Евгению Иосифовичу.[4] Спасибо за дружбу и за добрые мысли обо мне.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 1 к п. 519. Волошин откликается на слова из недатированного письма А А. Кипена. «Относительно нашего Общества Вы угадали – оно прекратило свое существование в самый разгар своей очень интересной, широкой и полезной деятельности. Для меня это было настоящим горем, таким как если бы хоронил я родного сына. <...> Многочисленные наши друзья в Одессе и в Москве, и в Тифлисе, и в Ленинграде, и в Крыму <...> – все искренне жалели о прекращении нашей живой, деятельной, полезной для всех рабо-

ты» (*Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп. Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999 С. 90).

[2] О намерении в скором времени отправиться в Ленинград Кипен извещал Волошина в том же письме.

[3] См. примеч. 4 к п. 507, примеч. 2 к п. 512.

[4] Е. И. Буковецкий.

527. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

27 декабря 1930 г.

27. XII. 1930. Ответ на письмо от 19. XII.

Дорогая Юлия Леонидовна,

Спешу ответить Вам на Ваше грустное письмо.[1]

Константин Васильевич в душах близких ему людей оставил огромную пустоту. Эта пустота соответствует тому месту, которое К<онстантин> В<асильевич> занимал в их жизни. Столь великое место объясняется совсем не особыми талантами К<онстантина> В<асильевича>, но его большою скромностью – для себя он места не требовал, и необыкновенно горячим и живым отношением к людям.

Думаю, что здесь громадную роль сыграло то, что он не смотрел на себя, как на художника, но в своей преданности искусству он хотел поддержать самый малый из огоньков, тлеющих вокруг него.

Чем он это делал и как – это неважно. Важно, что такова была общая установка всей его жизни. Он об этом жил, и жизнь и живое чувство подсказывали ему слова и действия, которые ему были необходимы в каждом данном случае. Конст<антин> Вас<ильевич> в себе совмещал редкое сочетание идеалиста с жизненно-практическим человеком-дельцом. Это было большим счастьем для многих из его друзей (напр<имер>, для Богаевского). Но важна не практическая помощь, достаточно уже сердечного расположения. Достаточно за каждого, с кем встречаешься и имеешь дело, прежде всего горячо помолиться. О нем, о его жизни, о его таланте, о его росте, и

этим Вы сразу делаетесь ему необходимым. Это передается вне сознания и сразу.

Попробуйте. И Вы сразу почувствуете это.

Не думаю, чтобы у К<онстантина> В<асильевича> было сознательно это, но у него так было много бессознательной благости, симпатии и интереса к людям, особенно к тем, кто казался ему талантливыми, что получалось то же самое.

Попробуйте всё это проделать сознательно, и вы сразу увидите результаты. И пути сразу подскажет сама жизнь. Но главное, не жалуйтесь и думайте о самой себе. Это единственный верный путь из внутреннего лабиринта, в котором так легко заблудиться и остаться.

А для Вас это тем легче, что на этих дверях для Вас всегда будет написано имя К<онстантина> В<асильевича>.

Осенью – в дни смерти К<онстантина> В<асильевича> – мне пришлось много о Вас говорить с Ев<генией> Ник<олаевной> Ребиковой. Я ее много о Вас расспрашивал, и в письме своем Вы подтверждаете о себе многое, что она говорила о Вашем состоянии духа.

Вы напрасно ссылаетесь на свое женское естество для оправдания своего бессилия сравнительно с К<онстантином> В<асильевичем>. Это область именно женская, а не мужская, и К<онстантин> В<асильевич> здесь был исключением из своего пола (как и во многом).

Прила<га>ю еще несколько «Коктебель<ских> камушков». И поздравление Екат<ерине> Ив<ановне>.[2]

Макс.

[1] В письме от 19 декабря 1930 г. Ю. Л. Оболенская делилась с Волошиным своими переживаниями, вызванными смертью К. В. Кандаурова:

«Меня поразили несколько строк в Вашем письме <п. 524. – *Ред.*>, касающихся меня и “наследства К. В. в художественной жизни”. Мне трудно объяснить мое впечатление от этих слов: с одной стороны, мгновенно промелькнула перед глазами какая-то возможность, для которой не нахожу и слов; с другой стороны, это так далеко от действительности, что я даже не вполне уясняю себе, что Вы этим хотели сказать. Что можно было бы сделать для этого? <...> Ред-

кие и мимолетные встречи с художниками на собраниях Проф Союза обнаруживают, что и о К В. никто не вспоминает – меня или избегают, или не упоминают о нем в разговоре. <...> Даже самым близким моим и не снится, в каком аду я живу. Плачу на улицах и в трамваях, ночью и днем; переживаю ежедневно последние страшные минуты; и пламя, которое я всегда ощущала в своей жизни, – теперь только чадит, точно лучина, которую обмакнули в воду.

Я знаю, что это не достойно его, но я не знаю, как из этого выйти – не с кем даже посоветоваться. Пробую возиться с начинающими художниками в память его – ведь это было делом его жизни Но я не могу вложить сюда той чудесной отзывчивости и доброты, какая была в нем – он в этих делах человеческих проявлял настоящую гениальность, а я в лучшем случае – некоторый талант...

Поэтому я думаю, что и принять его наследство (если б я даже понимала, как это сделать) мне не по плечу (и вообще – женщине, говоря между нами) Но я хотела бы уметь сделать что-нибудь, чтобы не мне приходилось упрашивать о внимании к нему, а люди сами искали бы возможности выразить это внимание

Такой, какая я сейчас, вообще, вероятно, лучше не встречаться ни с кем и не писать никому, потому что это очевидно отталкивает от меня.

Относительно писем – моих – как бы я хотела, чтобы Вы их сожгли, за исключением разве последних, где о болезни К. и его смерти. <...> Но это не касается писем К. В., которые я берегу, как и весь его архив. Хотела написать о нем (для себя, конечно), но так тяжело, что не могу» (ДМВ, № НВ-14137).

[2] Е. И. Оболенская.

528. С. Н. ДУРЫЛИНУ

28 декабря 1930 г. Коктебель

28/XII 1930 (ответ на письмо от 20/XII).

Дорогой Сережа,

получил твое письмо и очень опечален твоей судьбой и болезнью.[1] Я думал почему-то, что ты из Томска попадешь сразу в значительно лучшие условия. Я думал, что Кержач – это <?> из городков иконописных центров Ив<аново>-Вознесен<ской> области вроде Палеха или Холуя,[2] и что ты каким-

то образом попадешь <?> в самое горнило этого русского Ренессанса.* Но по твоему письму вижу, что это всё иллюзии.

Меня очень беспокоит твое здоровье. Знаю по себе, какая бесконечно упорная и мучительная вещь воспаление нервов в предплечье, это было у меня перед войной, и единственное, что мне помогло (очень медленно, но радикально), это спиртовые компрессы. Но, разумеется, компрессы не на чистом спирту, а на водяном растворе спирта или водки. Это средство очень действительно, хотя действует медлительно.

Рост<иславу> Серг<еевичу> я правда не писал после приписок в твоих письмах и посылки нескольких акварелей.[3] Мне очень трудно ему послать «Иверни», т<ак> к<ак> у меня осталось 3—4 последних экземпляров и надежды на переиздание нет никакой.[4] Я боюсь, что, раздав последние экземпляры, я совсем останусь даже без образчиков своих книг. Хотя до меня доходил смутный слух, что будто бы мои стихи были переизданы в Оксфорде. Но я даже не знаю, по-русски ли или в переводе.[5]

Никогда еще не чувствовалась такая полная отрезанность не только от заграничных центров, но и от Москвы. Почти никто ни о чем не пишет. А если письма приходят, то они совершенно вне всяких известий не только литературных, но и личной жизни. В нашей личной жизни все благополучно. Мы не болеем, чем-то сыты, откуда-то к нам падают непредвиденные деньги. Но все, что делается кругом <?>, очень тяжело.

М. С. часто плачет целыми ночами... А у меня опускаются руки на всякую художественную работу.

В смысле же здоровья я чувствую себя хорошо, и все последствия прошлогоднего «удара»,[6] кажется, совсем сгладились, но угас восторг о жизни и умиление о людях.

От Жени[7] давно не имеем писем, хотя и ждем деловых ответов на ряд вопросов, поднятых во время ее осеннего приезда.

Вообще я в большом упадке духа и унынии. Чувствую настоятельную потребность взять себя в руки и поднять дух

* *Текст записан полустертым карандашом; прочитывается предположительно*

постом и молитвой и вновь зажечь в себе «творческое горение».

У меня и раньше бывали зимой в Коктебеле такие времена угашения духа, но в этом году особенно.[8]

Мне тебе стыдно об этом писать, потому что твое положение в сто раз хуже моего, и я чувствую, что не имею никакого права на такую хандру. Да вообще самое понятие «хандры» и уныние глубоко противно моему духу, и я на это настроение, конечно, не имею никакого права. И особенно не имею права на него жаловаться и тебя заражать им. Прости меня. Крепко обнимаю тебя и Ирину[9] и от себя и от М. С.

Всего лучшего, мой милый Сережа.

Макс.

[1] 20 декабря 1930 г. С. Н. Дурылин писал Волошину из Киржача: «Приехав сюда, я много болел и, увы, болею. < ..> Я сижу дома, а на 3/4 не сижу, а лежу» (ДМВ, № НВ-7582)

[2] См. п. 513, примеч. 4.

[3] Р. С. Ильин. Предлагая Волошину в цитированном выше письме написать ему, Дурылин добавлял. «Он горячо любит и живет твоей поэзией. Нет ли у тебя лишнего экземпляра “Иверней”? Вот бы послать ему.. Это было бы ему великое утешение».

[4] См примеч. 4 к п. 504.

[5] Возможно, основанием для возникновения этого слуха послужила публикация английского перевода стихотворения Волошина «Святая Русь» в кн.: *Coxwell Charles Fillingham.* Poems from the Russian. With an Introduction by D. S. Mirsky London: C W. Daniel Co, 1929 — или публикация шести стихотворений Волошина в английских переводах в кн.: *Deutsch Babette* and *Yarmolinsky Avraham.* Russian Poetry. An Anthology. 2-nd ed London: Lawrence Publ., 1929

[6] См. примеч. 3 к п. 460, п. 462.

[7] Е. Н. Ребикова.

[8] Ср. запись Волошина (31 декабря 1930 г.) в тетради для стихов: «...угасла сопротивляемость Я впервые ощутил в Коктебеле тоску и скуку» (Труды и дни-2. С. 477)

[9] И. А Комиссарова.

529. Ю. Н. ТЮЛИНУ

31 декабря 1930 г. Коктебель[1]

Милый Юрий Николаевич.

Спасибо за деньги (21 р.), которые получил.

Почему Соня учится в Кисловодске?[2] У кого?

Привет Наде.[3] Мы очень мало знаем о летних друзьях и о многих, не знаю, беспокоимся. У нас лично все благополучно.

Нельзя сказать об окружающих. Это нас очень мучит. Работается плохо этой зимой. Материально кое-как устраиваемся. Счастье не измен<яе>т. Что Ходжаевы?

Спасибо за память и заботу.

Макс.
Маруся.

[1] Текст на обороте акварели Помета. «MW 31 XII 30»

[2] С. В. Тюлина. На талоне к денежному переводу, отправленном из Ленинграда 26 декабря 1930 г, Ю Н. Тюлин сообщал. «С. В. в Кисловодске занимается, я один справляюсь со всем» (ДМВ, № НВ-24880).

[3] Видимо, Надежда Владимировна Литвинова.

1931

530. Т. Д. ЦЕМАХ

2 января 1931 г. Коктебель[1]

2/I 1931.

Милая Татида, получил твое новогоднее письмецо.[2] Спасибо. Твое письмо со стихами тоже получил в августе.[3] Стихи очень понравились: я их вслух читал и говорил: «Вот как Татида хорошо стихи пишет». Не ответил тогда же, потому что осенью дом полон и на письма времени нет. Но теперь к Новому Году собирался писать тебе и написал бы и без твое<го> сегодняшнего письма. Здоровье мое хорошо. Удар сказывается только в том, что с тех пор[4] стала временами подступать к горлу тоска и работается плохо. За прошлый год не написал ни одного стихотворения. Мемуары, которые я думал писать зимой, тоже не пишутся. Материальная жизнь идет кое-как. Маруся очень устает, нервничает от переутомления. Ее очень беспокоит ухо. Мне работается очень вяло без книг и журналов, которых в этом году получаю очень мало. Скучаю по людям, по разговорам.

Напиши мне побольше и подробнее о себе. Я не представляю себе твоей интимной жизни. Встречаешь ли кого из общих друзей?

Часто тебя вспоминаю и крепко целую. И Маруся.

MAX.*

Милая Татида, привет из Киммерии.
Поздр<авляю> с Рожд<ением> Солнца
и Года! MAX.

---

* *Далее — приписка поверх акварели*

[1] Текст на обороте акварели. Помета. «MW 1. I. 31».

[2] В письме от 25 декабря 1930 г., поздравляя Волошиных с новым годом, Т.Д Цемах замечала «Я удивлена и обеспокоена тем, что от тебя нет до сих пор ответа на письмо, кот<орое> я тебе написала летом ко дню рождения. <...> Как ты себя чувствуешь в эту зиму? Было ли все спокойно: без обычных неприятностей?» (ДМВ, № А–1233).

[3] Речь идет о письме из Джанхота (деревушка под Геленджиком) от 10 августа 1930 г., в котором Цемах привела текст своего стихотворения «Максу» («На милой и теплой земле...» // ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1259, л. 44–44 об).

[4] См. примеч. 3 к п. 460, п. 462

531. А. П. БОБКОВУ

8 января 1931 г. Коктебель[1]

8/I 1931.

Дорогой Александр Петрович,

неделю назад мы получили от Вас 50 рублей. Спасибо громадное. Это дало нам возможность в тот же день уехать в город,[2] куда нам давно было необходимо: мне к дантисту – М<арии> С<тепановне> к врачу по внутренним болезням. И, к счастью, все обошлось благополучно. Но в Феодосии стон стоит от налогов, которые теперь падают на городское население. Большинство лишено хлебного пайка. У нас то же, но в городе можно достать хлеб по коммерческой цене. А в Коктебеле его совсем нет. Привет Тат<ьяне > Мих<айловне>.[3] На днях получил письмо от Розановых. Где пишут о Вас.[4] Спасибо!

Волошины.

[1] Текст на обороте акварели Помета: «MW 8 XI 30».

[2] Поездка в Феодосию состоялась, видимо, 2 января.

[3] Т. М. Бобкова.

[4] Имеется в виду письмо Т. В. Розановой к М. С. Волошиной от 7 января 1931 г.: «Недавно у нас был Ал<ександр> Петр<ович> Бобков. Я ему рассказывала о Вашей болезни. Он сказал, что в Феодосии Вам, конечно, не смогут помочь доктора Тут нужен крупный специалист. Очень это тяжело, что Вам невозможно вырваться из Коктебеля. Необходимо было бы с кем-нибудь посоветоваться» (ДМВ, № НВ-16685).

532. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

11 января 1931 г. Коктебель

11/I 1931.

Милый Казик,

спасибо Вам за письмо.[1] Ваши письма меня очень радуют, и в связи с этим Ваш отъезд на 2 недели в Москву меня опечалил: дело в том, что мне очень хотелось Вас повидать лично, и я (безо всякого на то права) подосадовал, что Вы уехали в Москву, а не в Коктебель. Но сильно надеюсь, что если у Вас до лета окажется возможность, то теперь Вы приедете уже к нам.

Мне очень надо повидать Вас лично и не только психологически, но из-за моих личных дел и горестей, которыми хотел бы с Вами поделиться. Но писать о них в письме не хочу и не могу. Перед весною (март–апрель?) для нас психологически самое удобное время для приезда.

Одиночество всей зимы тогда доходит до кризиса, и развивается особая жадность к людям, и в это же время выплывают обычно разные очередные материальные катастрофы.

К тому времени у меня, б<ыть> может, сложатся и новые стихи, которых я последний год совсем не писал. Но за эти годы, как мы не видались, у меня накопилось много нового, что мне было бы нужно Вам прочесть. Я в этом году чувствую себя особенно вялым и упадочным. Нам очень мало пишут друзья, и, очевидно, всюду в городах и центрах царит тоже уныние.

Я себя чувствую очень выбитым из жизни.

Очень мало книг и журналов.

Был бы Вам очень благодарен за присылку таковых. То, что книжный отдел при Ц.К.У.Б.У. прекратил свою работу, мне особенно чувствительно.

Из изданий ЗИФ'а мне бы хотелось иметь их новое издание «1001 ночи» (кажется, вышло тома 2).[2]

Из русских журналов меня интересует больше других «Новый Мир» – кажется, так? ежемесячный толстый, московский литературный журнал, где печатался роман* А. Н. Тол<ст>о-

* *Далее несколько слов вымарано*

го «Дет<ст>во Петра».[3] Из книг же мне бы очень хотелось иметь Бальзака на русском языке (по-фра<н>цузски он у меня есть), но мне надо Бальзака для чтения вслух с Марией Степановной. Он был в большом количестве издан в Пантелеевском издании: «144 иностран<ных> автора»,[4] это издание, кажется, всюду имеется в продаже – я помню, как оно постоянно анонсировалось в каталогах разных букинистов в списке собраний сочинений разных авторов – Жорж Занд, Гюго, Флобера, Гофмана и др. Бальзака там было, помнится, томов одиннадцать, и найти его, верно, нетрудно.

Одновременно посылаю Вам бандеролью мою акварель. А Мария Степановна Вам напишет на днях отдельно.

Напишите мне, когда Вы сможете приехать в Коктебель сами?

Крепко Вас обнимаю и целую, милый Казик. Сама судьба Вас мне посылает на этом тяжелом перекате жизни.

Передайте мой привет милой Асе и ее отцу.[5]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 4 января 1931 г. К. М. Добраницкий, поздравляя Волошина с Новым годом, добавлял· «Простите за опоздание и в ответе и в поздравлении. Дело в том, что я написал Вам большое письмо, оставил его в комнате, а сам, совершенно неожиданно, экспромтом уехал на две недели в Москву. Я был глубоко убежден, что письмо к Вам отправлено, и мне было очень неловко, когда я вчера, вернувшись, нашел его у себя на столе» (ДМВ, № НВ-6972).

[2] Указание на «ЗиФ» (московское издательство «Земля и Фабрика») – ошибочно. Вероятно, имеются в виду начальные тома восьмитомного издания, предпринятого издательством «Academia»: Книга тысячи и одной ночи / Перевод, вступ. статья и комментарии М. А. Салье Т. 1: Ночи 1–38. Л., 1929, Т. 2: Ночи 39–141. Л., 1930.

[3] Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Новый мир» был начат изданием в Москве в январе 1925 г. Книга первая романа А. Н. Толстого «Петр Первый» была опубликована в нем в 1929 (№№ 7–11) и 1930 г. (№№ 1–7).

[4] Имеется в виду собрание сочинений Оноре де Бальзака в 20 томах (СПб.: Изд. Пантелеева, 1896–1899).

[5] Р. М. Гинцбург и М И Гинцбург.

533. М. С. АЛЬТМАНУ

12 января 1931 г. Коктебель

12/I 1931.

Дорогой Моисей Семенович,

в эти дни (одно за другим) получил и Ваше письмо[1] и перевод (25 р.). Спасибо. Ваше письмо меня очень обрадовало и приободрило в моем зимнем унынии. Уныние, главным образом, от судьбы знакомых и молчания друзей.

Я знаю, что «уныние» – грех непрощаемый, борюсь и не всегда преодолеваю. Труднее всего работать и творить в ожидании чего-то... Всякое «пока» для творчества – убийственно. Вероятно потому, что творчество – жизнь. А жизнь требует самоценности каждого мгновения. Сейчас – этой зимой – у меня этой самоценности нет. Киммерийское уединение мне сейчас изгнание, а не радость. И чувствую, что для меня лично всякое катастрофическое событие в моей жизни было бы исходом.

Я только что перечел статьи И. Ф. Анненского «Д<остоев>ский до каторги»,[2] что я Вам давал летом (и Вы их, кажется, не прочли!?) – это очень хорошо, глубоко и соответствует моим чувствам.

Стихи упорно не пишутся, хотя я и набросал за эти дни главу к «Серафиму» о сатане, которой приблизительно удовлетворен.[3] Когда закончу, перепишу для Вас.

Мысль неустанно вертится в треугольник: Пушкин, Д<остоев>ский, Э. Поэ... И жадно впитывает всё в этой области.

Так очень много мне дала (из фактического материала) статья В. Комаровича в долининском сборнике о Житии Великого Грешника.[4]

Ваше исследование о каламбурах у Д<остоев>ского меня очень пленяет.[5] Но у Вас есть очень скверный предшественник = Крученых, который издал целую книгу «каламбуров у Пушкина»[6] – употребляя слово «каламбур» в самом нелепом смысле, и, думаю, что надолго скомпрометировал это заглавие, без которого не обойдешься.

Это очень прискорбно, потому что эта тема в Вашей трактовке меня очень увлекает. Посмотрите эту глупую и в каком-то смысле нестерпимую по пресности книжку Крученых.

Мы очень живем и мучаемся гаданиями о судьбе друзей и мучаемся разгадыванием недоговоренностей в письмах. Это очень много отнимает времени и портит работу дня.

Спасибо за присланные деньги. Не знаете ли чего-нибудь о моей выставке?[7] Ничего *уже* не вышло или только *пока* не выходит?

Как ни трудно, но материально мы пока существуем, но это существование ложится всею тяжестью на плечи Марьи Степановны, которая чувствует себя очень больной (ухо).

Самое тяжелое – это отъединение. Но я надеюсь, что и это преодолею, т<ак> к<ак> уныния духа долго не потерплю и одолею в конце концов.

Крепко обнимаю и благодарю. Маруся шлет привет.

МАХ.

[1] Подразумевается письмо М. С. Альтмана от 22 декабря 1930 г. (ИРЛИ, ф. 840, собрание М. С. Лесмана).

[2] Имеется в виду статья «Достоевский до катастрофы» в двух частях («Виньетка на серой бумаге к “Двойнику” Достоевского», «Господин Прохарчин»), входящая в «Книгу отражений» И. Ф Анненского (СПб., 1906. С. 29–57) См.: *Анненский Иннокентий.* Книги отражений / Издание подготовили Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В. Федоров. М.: Наука, 1979 С 21–35 («Литературные памятники»).

[3] Имеется в виду поэма «Святой Серафим», законченная в 1929 г (Т. 2 наст. изд. С. 98–125). См. стихотворный набросок, приводимый в п 534 а.

[4] Имеется в виду статья В. Л. Комаровича «Ненаписанная поэма Достоевского» (Достоевский. Статьи и материалы. <Сб. 1> / Под ред. А. С. Долинина Пб : Мысль, 1922. С. 177–207).

[5] Речь идет о неопубликованной работе Альтмана.

[6] Подразумевается книга А. Крученых «500 новых острот и каламбуров Пушкина» (М., 1924).

[7] См. примеч. 4 к п 507, примеч. 2 к п. 512.

534. С. Н. ДУРЫЛИНУ[1]

а) 14 января 1931 г. Коктебель

Коктебель 14/I 1931.

Дорогой Сережа,

Мой день начинается борьбой с унынием: хожу по отмелям моря (увы – почти ежедневно дождливым и туманным) и горячо молюсь, глядя на север, откуда всегда тянет холодным русским ветерком. В этих однообразных утренних (гигиенических обязательных) прогулках мне известен каждый камушек, каждая случайность на моей тропе, и я с ними ежедневно переглядываюсь. Как со старыми знакомцами.

Когда возвращаюсь домой, Маруся меня встречает деревенскими новостями – всегда тошными, тесными и душными, которые ей прин<ос>ят бабы с молоком и др<угими> пищевыми (все более скудными) продуктами.

Потом я раскрываю тетрадь со стихами или акварельными красками и продолжаю думать уже с пером или кисточкой в руке.

Когда смеркается, иду опять в ту же прогулку, на ту же молитву. Вечером мы читаем вслух Достоевского, Ключевского, Ин. Анненского (статьи),[2] а Маруся вяжет. Перед сном М<аруся> раскладывает пасьянс или гадает, на кого-нибудь из друзей, о ком мы особенно беспокоимся в данный момент.

Так проходит и заканчивается день. Книги этой зимой стали очень редки, иностранных книг нет <?>, журналов совсем не получаю. Письма очень скудные или пустые. Все онемели от осторожности, уныния – «страха ради иудейска».[3] – Все, что ты пишешь о «блаженном юге»,[4] – мне знакомо по юным годам моей жизни. Эти мысли и привели меня в Коктебель в свое время.

Но увы, благодатный юг зде<сь> начинается с мая, а кончается в ноябре. Теперь зима. Январь и февраль здесь самые зимние и суровые месяца. И весна солнечная и студеная. Впрочем, и текущие дни иногда выпадают. Светлые и солнечные дни с южным ветром: тогда веет и теплом и летом и юностью. Как хорошо ты пишешь о жалостницах и о их значении в жизни. Я это глубоко чувствую и хорошо знаю.

На днях, когда мы оба измучились разными беспокойствами о друзьях и близких, мы постарались себе представить, что такое же несчастье пало на нас самих. И от этого, представь, сразу стало лучше и явились силы и бодрость. Еще немног<о>, и я стану жалеть, что я еще не затронут судьбой в этом отношении.

Шлю тебе еще один «коктебельский камушек» с новогодним и солнечным приветом.

Я тебе хотел написать несколько новых строф <?> «Серафима».[5] Вот они.

На верховных ритмах мирозданья
Зодчий Бог – обмолвился землей.
И под сводом всех противоречий
Сделал примечанье – Человека,
В нем одном стремясь сосредоточить
Кривизны и неувязки мира
Девять есть небесных иерархий –
Человек – десятая. Всех меньше,
Но на нем все упованье мира.
Человек – единая из тварей –
Создан был по образу и по подобью
Господа. Ему дана свобода
Ангел – луч, стремящийся от Солнца,
Человек подобен капле влаги,
Отразившей Солнце – в малом, но вполне.
Божий лик поручен человеку,
Чтобы он пронес его сквозь бездны
Мира преисподнего. И каждый
Сам в себе – темница Лика Божья.
Правда в нем плененная должна
Прокалить, прожечь, преобразить
Толщу стен слепой и косной плоти.
Посмотри на Млечный Путь, – скопленье
Тусклых солнц и стынущих планет.
Этих звезд морозные метели
Только вихри пыльного пожара,
Гасящего жизнь в водоворотах
Безвозвратного небытия.
Весь наш мир склоненья и распада
Создан был предвечно из чистейшей
Славы Божьей. Ни одна частица

Не должна погибнуть и погаснуть:
Мир отпадший – возместится Богу.
Божий Сын был распят на кресте
Тела человечьего. Голгофой
Выкуплен Адам у жадной плоти
Человек же должен плоть рас<плавить>*

б) 15 января 1931 г. Коктебель

Коктебель. 15/I 1931.

Дорогой Сережа,

зимний день мой начинается борьбой с унынием: брожу по морским отмелям (ныне дождливым и туманным), думаю, самовнушаюсь и молюсь, обернувшись лицом на север, откуда всегда тянет х<о>лодным русским ветерком. В этих однообразных и обязательных – гигиенических прогулках мне известен каждый камушек, кажда<я> выброшенная, размокшая и почерневшая за зиму сандалия. Я с ними переглядываюсь и на каждой остановке молюсь за определенных <?> людей.

По возвращении Маруся меня встречает с кофеем и деревенскими новостями – всегда тесными <?>, душными и горькими, которые ей принося<т> по утрам бабы вместе с молоком и другими свежими <?> продуктами.

Потом я раскрываю акварель или тетрадь со стихами и продолжаю думать с пером или с кисточкой в руке. Но эти часы мало производительны.

В сумерки я иду опять в ту же прогулку.

А вернувшись, читаю вслух Марусе, а она вяжет, мы перечли эту зиму «Идиота»,[6] статьи И. Анненского о Достоевском до каторги, статьи В. Ключевского...

Это наше: «Над вымыслом слезами обольюсь...»[7] Перед сном Маруся раскладывает пасьянс или гадает на тех из друзей, о которых мы в те дни особливо беспокоимся.

Новыми книгами жизнь наша очень скудна. Иностранных изданий я совсем этой зимой и не вижу, с тех пор как книжн<ый> Отдел ЦЕКУБУ прикрылся.

---

* *На этом текст обрывается*

Как хорошо ты пишешь о жалости и жалостницах![8] Это элемент русской жизни первостепенной важности.

О «блаженном юге» – это мои мысли, которые когда-то и привели меня в Коктебель.

Сейчас наш юг совсем не блаженный. Февраль и январь – это самые суровые месяцы в году.

Но некоторые дни, когда выглянет солнце, выдаются совсем весенние. И тогда душа бывает переполнена радостью, благодарностью и упованием.

Письменные вести от друзей приходят все реже и реже, и самый характер писем становится совсем иной. Что-то выедает содержание писем, и это не отсутствие лично<й> любви и привязанности, а ущерб более общего характера.

Крепко обнимаю тебя и Ирину.[9]

Единственная беседа теперь доступная – мысленная.

Макс.

[1] Текст представлен в двух вариантах – незаконченном и неотправленном, сохранившемся в архиве Волошина (п. 534 а), и отправленном адресату (п. 534 б).

[2] См. примеч. 2 к п. 533.

[3] Источник выражения – Ин. XIX, 38.

[4] В недатированном письме, обращенном к М. С. Волошиной, Дурылин замечал: «Солнечный привет был в Вашем письме, кусочек солнца-сердца, самого незакатного и горячего, самого верного из всех солнц вселенной. От души еще раз приветствую Вас с Рождением Солнца! – а в сочельник буду слушать Вашу песенку, – и, верно, услышу ее сквозь морозные узоры промерзшего окна, сквозь вой ветра (за ними – поле, сразу поле, затем река и лес, и ветер ударяет наотмашь в стены)» (ДМВ, № НВ-7584).

[5] Ниже приводимый стихотворный текст предполагался Волошиным к включению в поэму «Святой Серафим» (ср. п. 533, примеч. 3).

[6] Роман Ф. М. Достоевского (1868).

[7] Строка из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...», 1830) А. С. Пушкина.

[8] В цитированном выше письме Дурылин обращался к М. С. Волошиной· «...Вы вся, целиком, русская, родная, ласковая, “жáлостивица” (хорошее слово? Слово это *мое*: его нет у Даля, а я как-то сказал – жалостник, жалостивица <. .>)». И далее, благодаря за «доброе

и светлое отношение» к И. А. Комиссаровой· «Ей со мной трудно; это моя жáлостивица и хранительница. Без нее меня хватило бы на месяц, я думаю, не более. Когда она уезжает, вся жизнь останавливается и я непременно заболеваю В последний ее отъезд я чуть не отравился: утром, схватил впотьмах нюхать нашатырь – и залил себе им носоглотку – весь изнутри ожегся...

Я Вам писал, что если есть на земле что-либо нужное – то это *жалость*, и самые нужные – *всем!* – человек, это тот, кто может жалеть, жалостник и жáлостивица.

Любовь? Нет, жалость – яснее, проще, твёрже. И паршивую собаку можно жалеть, и облитого кипятком кота (я вспоминаю здесь свою маму), а любить .. кому-то, м<ожет> б<ыть>, и можно, а нам трудно и несказуемо. А жалеть. . Здесь скрéпа всего бытия. Жалость – шелковая нитка, которою сшивают постоянно рвущиеся швы мировые, природные, человеческие, бесчисленные, жалкие, страшные... И как странно, что мы разучаемся теперь понимать то, что понимала когда-то глухая рязанская баба (а ее поняли бы и Будда, и Христос), что жалеть – это значит любить, это значит – видеть человеческое в человеке, в звере, в растении <...>. Такая "жалость" около Пушкина была "няня", около Франциска Ассизского – Клара, около... да стоит ли перечислять? Горе тому, около кого нет "жалостницы": поистине, он нищ донагá, до смерти...

Вот почему я никогда ни в чем не отделяю Вас от Макса. Вы – Одно, и люблю Вас, как – Одного». (Упомянута св. Клара Ассизская (1193 или 1194–1253); см.: Истоки францисканства. <Assisi: Movimento Francescano, 1996>. С. 927–1041).

[9] И. А. Комиссарова.

535. Е. Я. АРХИППОВУ

27 января 1931 г. Коктебель[1]

Дорогой Евгений Яковлевич! Простите меня за молчание. Помимо меня все время задерживала одна Ваша неисполненная просьба, которую я все время собирался исполнить: нарисовать Вам план моего дома. Но я так ее и не исполнил. О Черубине я ничего не писал. Вероятно, поводом к этому слуху послужило то, что летом одна барышня записала с моих слов рассказ мой о Черубине.[2] Записала очень хорошо. Я писал ей просьбу выслать мне копию ее записи, чтобы проредактиро-

вать, дополнить и закончить, но она до сих пор не собралась. Когда это будет сделано, конечно, Вам пришлю первым делом.

Эта зима идет очень грустно и уныло. После прошлогоднего удара физическое мое здоровье восстановилось, но совершенно угасла всякая «сопротивляемость» современности, и это очень плохо отражается на творчестве – я ничего не могу писать... Это очень удручает. Чувствую себя физически очень хорошо, душевно — очень скверно.

Максимилиан Волошин.

27. I. 1931. Коктебель.
«Заок<еанскую> Депешу»[3] дарю Вам. Она – Ваша.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 11 I 930».
[2] См. «Воспоминания о Черубине де Габриак» Волошина, записанные Т. Б. Шанько летом 1930 г. в Коктебеле (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 451–471, 643–645).
[3] Подразумевается стихотворение Волошина «Доблесть поэта» («1. Править поэму, как текст заокеанской депеши...», 1925). См.: Т. 2 наст. изд. С. 67.

536. А. П. БОБКОВУ

27 января 1931 г. Коктебель[1]

27/I 1931.

Дорогой Александр Петрович,

спасибо за Ваше живое и бодрящее письмо.[2] Этой зимой мы не обременены перепиской с друзьями. Вероятно, в городах так тяжело, что никому не до писем. Мы очень редко получаем вести из Москвы и очень мало знаем о судьбе близких, и письма этой зимы совершенно лишены живого человеческого аромата...

У нас нерадостно: мы, живя в деревне, видим только изнанку социальных реформ, и наш непосредственный опыт мало согласуется с живой и прекрасной мечтой, которую осязают в центре.

Сомневаюсь, чтобы Султановка могла летом остаться кормилицей.[3] Вообще о питании перспективы – мрачные. Мы же существуем кое-как и Слава Богу!

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели. Помета «MW 18/I 31».

[2] Имеется в виду письмо А П. Бобкова к Волошиным от 18 января 1931 г. (ДМВ, № НВ-6700).

[3] Султановка – деревня в Феодосийском уезде в долине ручья Куру-Еланчик (около 6 км от Коктебеля) В упомянутом письме Бобков сообщал: «Нерадостные вести идут и из Султановки, все куры понумерованы, а что же говорить о коровах! А ведь Султановка наша кормилица. Нам, москвичам, пока <жаловаться> не приходится, но ведь мы живем настоящим лишь вполовину, а всё остальное стремится в летнюю даль – Коктебеля. Туманно и нерадостно впереди».

537. М. В. ДОРОГОВОЙ

27 января 1931 г. Коктебель[1]

27/I 1931. Коктебель.

Дорогая Мария Вадимовна. Письмо Ваше нас несказанно обрадовало.[2] Мы ведь до него ничего не знали – ни о Вас, ни о судьбе В<ладимира> Н<иколаевича> и Кир<илла>.[3] Но постоянно Вас вспоминали и молились о судьбе, благополучии Вас всех. Наша жизнь шла разно этически, Вам верно Маруся пишет. В общем все обошлось и обходится благополучно. Работается плохо. Творчество этой зимой погасло. Какое-то невыразимое томление и тоска, – но все-таки существуем кое-как. У меня – как последствие «инсульта» совсем погасла сопротивляемость. Этим я объясняю свое положение этой зимой.

Если у Вас будет какая-нибудь возможность покинуть север, то мы Вас ждем всегда и радостно. Передайте мой привет В<ладимиру> Н<иколаевичу> и Кир<иллу>.

Крепко Вас обнимаем.

MAX.

[1] Текст на обороте акварели «Восход». Помета: «MW 17 I 31»

[2] Имеется в виду письмо от 31 декабря 1930 г. (ДМВ, № НВ-7436) Как сообщала ранее М В. Дорогова в письме к Волошиным от 15 июля 1930 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 515, л 43–44 об.), В. Н. Дорогов был арестован 4 сентября 1929 г., а его и ее сын Кирилл не был принят в студенты – «из-за невыясненности положения с отцом».

[3] В. Н Дорогов, К. В. Дорогов. 31 декабря Дорогова писала о них: «Муж мой работает так далеко, на глубоком Севере, что я смогу поехать к нему только по открытии навигации. Ужасно беспокоюсь за его здоровье, он очень ослаб физически и всегда так легко простужается, – так что я живу в постоянной тревоге и грусти. <...> Помните моего Кирилла? Он сейчас в Питере – в Высшей Военно-Морской Школе, уверяет, что нашел свое призвание, страшно горд, что не поддается морской болезни; думаю, что Коктебельская синяя чаша сыграла большую роль в этом призвании. Он был у меня молодцом: работал днем простым каменщиком, поднимая по 70 пуд<ов> кирпичей, приходил домой, валился как подкошенный, а вечером все-таки бежал на курсы по подготовке в ВУЗ, там не только занимался сам, но и вел группы с неуспевающими по математике и физике, – кончил первым и теперь первый же идет в Училище».

538. Е. Ф. НИКИТИНОЙ

5 февраля 1931 г. Коктебель

5/II 1931.

Милая Евдоксия Федоровна,

спасибо за Ваши милые и содержательные издания.[1]

Посылаю Вам в ответ еще несколько акварелек с приветом из Киммерии.

Их надо окантовать, вставив предварительно в неширокое мутно-серых тонов (дополнительных) пас-пар-ту.

Буду очень благодарен за книги. Из присланных мне особенно была интересна книжка Гроссмана о Достоевском «На жизненном пути».[2]

Спасибо.

Максимилиан Волошин.

[1] Подразумеваются книги, выпущенные в свет московским издательством «Никитинские субботники».

[2] Имеется в виду книга Л. П. Гроссмана «Достоевский на жизненном пути: Молодость Достоевского» (Вып. 1 М.: Никитинские субботники, 1928).

539. М. А. ПАЗУХИНОЙ

9 февраля 1931 г. Коктебель

9 II 1931.

Дорогая Марья Александровна,

Вчера мы вернулись из города, а сегодня получили Вашу посылку, вскрывая которую, оба *прослезились* от радости и умиления.[1] Поэтому Вы можете судить, каково нам приходится здесь.

Наше путешествие в город было очень безотрадно по впечатлениям. Мы останавливались у Липочки[2] и были несколько раз у Богаевских. Всем в городе очень плохо: большая часть жителей снята со снабжения (с хлебного пайка), кроме того все обложены «культурным налогом» сверх головы. Перед большинством перспектива полного разорения. Так плохо с питанием, что первые сутки нам ничего не пришлось есть, а после мы питались теми запасами, что Маруся догадалась по какой-то интуиции захватить из Коктебеля.

Но в смысле хлеба в городе еще лучше – по дорогой («коммерческой») цене там можно купить хлеба у частников, которых много в стороне базара.

Вчера – когда мы вернулись – Коктебель показался нам сравнительно раем. Маруся заходила в городе узнать о нашей судьбе относительно хлеба. Нас успокоили и сказали, что нас лишить хлеба не могут.

Но вчера же Маруся пошла в СельСовет, и нам объявили, что мы ни <к> каким категориям, которым оставлен хлеб, не относимся.

Что теперь будет, мы совсем не знаем. Я написал в КрымНаркомпрос и в РИКК, прося защиты, но когда это будет и будет ли, ничего не знаем.[3]

Сегодня Маруся написала целому ряду друзей просьбу присылать хлеба. И вот Ваша посылка явилась как бы немедленным ответом на письмо.

Поэтому мы и были так ею растроганы. Так она нам ясно сказала о Вашем внимании и чуткости и отзывчивости: Вы точно угадали, в чем мы больше всего нуждаемся, и предугадали самый острый момент нашего существования.

Спасибо за книжку Огнева.[4] Мне она очень интересна. Мы сейчас по вечерам с Марусей перечитываем Достоевского (пока есть еще керосин, но мы его тоже лишены).

Мы ездили в город – показаться врачам, т<ак> к<ак> Маруся и я за нее были в большой тревоге. Но все оказалось благополучно, и Марусины боли – нервные и простудные.

В общем я чувствую себя физически – очень хорошо всю зиму. Маруся же извелась очень. И все подговаривает меня: «Давай повесимся вместе». Но я прошу *пока* отложить.

Недавно мы закончили «Мертвый Дом»[5] и невольно сказали: «А как все-таки даже там было лучше, сытнее и свободнее».

Привет Василию Алекс<андровичу>, Алеку и Дымку.[6] Как мы рады, что они здоровы и что с В. А. ничего не случилось. Мы очень за Вас тревожились, когда не было вестей. Получили ли Марусину посылочку «Дымку от Хохлатки», которую должна была Вам передать одна наша знакомая геологичка проездом в СПБ?

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о продуктовой посылке. Волошины были в Феодосии, видимо, 7 и 8 февраля. 9 февраля 1931 г. М. С. Волошина писала М. А. Пазухиной: «Раскрыв посылочку и увидя французский хлеб, я расплакалась, и Масинька прослезился. У нас совсем нет хлеба. Вот уже 8 дней мы его не получаем, и достать нет никакой возможности. Я ходила, подавала заявления, объясняла – сняты со снабжения, и больше ничего. < ..> Вместе с хлебом нас лишили и керосина, <дают> четверть литра в месяц» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе· Воспоминания. Письма / Сост., подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 245)

[2] О. Н. Сербинова.

[3] РИКК – Районная исполнительно-контрольная комиссия. Автограф заявления в Крымский Наркомпрос сохранился в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 13, л. 15):

8 II 1931.

В Крым-Нарком-прос.

Максимилиана Волошина –
поэта и художника (Коктебель, Феодосия)

Заявление:

Принужден, как и в прошлом году, просить у Вас защиты своих интересов· меня в этом году только что, со 2/II сняли с хлебного снабжения, здесь же нельзя достать ни муки, ни хлеба. С Коктебелем я связан, живя здесь уже сорок лет и стоя во главе мною основанного «Дома Поэта» (бесплатная колония для поэтов, художников, ученых и их семейств). Кроме того, меня, как и прочих жителей, ограничили 1/4 литра керосина на месяц. Должен ли я об этом писать в Москву или это возможно уладить через Вас?

Максимилиан Волошин.

В ответ последовало распоряжение уполномоченного Наркомснаба по Феодосийскому району В. Журавлева (16 февраля 1931 г.) – снабжать Волошина хлебом «по нормам 3-ьей категории (т.е. 300 грамм на душу в сутки)» (Там же, л. 17).

[4] Имеется в виду повесть Н. Огнёва «Дневник Кости Рябцева» (1928) – о советской школе начала 1920-х гг.; имела широчайший успех, выдержала несколько изданий.

[5] Речь идет о «Записках из Мертвого дома» (1862) Ф. М. Достоевского, навеянных воспоминаниями о пребывании на каторге.

[6] Муж и сыновья Пазухиной – В. А. Пазухин, А. В. Пазухин, В. В. Пазухин.

540. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

17 февраля 1931 г. Коктебель

17/II 1931.

Наш милый Казик,

Ваше письмо из Феодосии (в день отъезда от 16/II)[1] пришло не так, как Вы предполагали: оно пришло на сутки раньше. Сегодня, вернувшись с прогулки, – я нашел его распеча-

танным на письменном столе вместе с остальной корреспонденцией.

Так что впервые прочел его сам и умилился наедине. А только что Маруся, вернувшись из сада, где она натружала себе резанные места на кишечнике, перекапывая сад (ее высшее удовольствие, которого она ни за какое здоровье не отдаст), позвала к себе в кухню и сказала: «Я буду крутить форшмак на машинке, а ты мне пока читай». Так мы его перечитывали вторично и вместе умилялись.

Без Вас у нас в жизни большая пустота — некого любить конкретно, а заочно и мысленно мы немного устали за зиму.

Так что опасение Ваше, что мы от Вас отречемся, как от сына, — совершенно неосновательно.[2] Напротив, наши родительские чувства к Вам растут с каждым часом. Особенно у Маруси, которая уже давно мечтала «усыновить» кого-нибудь, но «усыновление» грудного младенца всегда лотерея и очень опасная в смысле выигрыша, так что представляете, какая радость для Маруси обрести такого взрослого и такого удачного сына, как Вы, о котором можно не волноваться: а что из него выйдет? Т<ак> к<ак> это волнение может быть только у родных матерей.

Мне было очень приятно, что Вы в письме «набрались смелости» и стали нас называть по именам.[3] Когда Вы уезжали, я очень думал о том, что мы упустили одно: нам необходимо, кроме всего, перейти на «ты» и, если Вы соберетесь с духом и на это письмо ответите нам так, то мы оба будем очень рады, т<ак> к<ак> это бы вполне соответствовало характеру наших отношений. Но это необходимо начать тебе самому: нам очень легко: я очень легко и со многими сразу перехожу на «ты», а Маруся переходит туго и всегда с трудом. Так что здесь вопрос не за нами, а за тобой — наш милый, милый Казик.

Сегодня великолепный весенний солнечный день. Ветра нет. Воздух еле шевелится, и каждая его клетка пахнет теплой землей, малиной, чобром и еще какими-то травами — благоуханными и мягкими.

А ты сейчас, вероятно (сейчас около 12 ч. дня), едешь по снежным полям и голым аллеям рощ, подъезжая к Харькову.

Жаль, что немного рано: эти подъезды к Харькову удивительно красивы ранней весною, когда брызнет первая прозрачная зелень.

Рукою М.С. Волошиной:

А я продолжаю письмо. Сейчас 7 ч. вечера. Я целый день работала в саду. Обкапывала деревья. На руках мозоли, но я страстно люблю ковыряться весною в земле. Это для меня самое большое наслаждение. Когда стало смеркаться, ходили за молоком по той же дороге, что ходили с Вами. Смотрели на те же самые созвездия, на которые смотрели с Вами. А сейчас затопила печь, готовимся к вечернему чаю. Мася сидит в кресле и читает <книгу> К. Фарера, привезенную Вами. После чая будем купаться, а пока греется чайник, я хочу побыть с Вами. Письмо Ваше получила я сегодня в 11 <ч.> утра, когда работала в саду. Прочла его одна тоже. Поднялась к Масе, а ее нет, она гуляла. Нам очень, очень хорошо от Вашей ласки, дорогой, и Вы знаете, что вошли в наши сердца и крепко, крепко там зацепились, и будет б<о>льно, больно*

[1] Подразумевается день отъезда К М. Добраницкого в Феодосию из Коктебеля, куда он прибыл 11 февраля (Труды и дни-2. С. 481).

[2] Имеется в виду подпись в письме Добраницкого от 16 февраля 1931 г.: «Ваш сын (пожалуйста, не отрекайтесь от меня) Казик» (ДМВ, № НВ–6974).

[3] В том же письме Добраницкий признавался: «Теперь о Вас, – Макс и Маруся, – (как видите, на расстоянии я набираюсь смелости) я очень люблю. Вы, после мамы, самые близкие мне люди. Всё время я смотрю на часы и думаю, что Вы в данную минуту делаете. <.. > Я целую Вас нежно, нежно».

* *Фраза не дописана (возможно, лист с окончанием текста утрачен)*

541. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

22 февраля 1931 г. Коктебель

22. II. 1931.

Дорогой Иван Михайлович,

спасибо за посылку и за мемуары И. И. Панаева[1]. Прочел их (или, *вернее*, перечел[2]) с радостью и наслаждением. Посылки для нас всегда радость. Они нас подкрепляют и духовно, и физически. Только письма и присылки друзей нас подкрепляют этой необычайно тоскливой и грустной зимой.

О пенсии получил на днях окончательный отказ от Наркомпроса. Были только что очень тяжелые минуты: нас лишили хлеба и керосина. Но за нас вступился Крым-Наркомпрос, и мы в этом отношении восстановлены.[3]

Сейчас вокруг нас ликвидируют всех частных дачевладельцев.

Мы в этом году избегаем этой участи. Но явно она не избегнет нас со временем.

Я мечтаю о том, чтобы теперь же передать «Дом Поэта» в руки Союза писателей с тем, чтобы быть нареченным его заведующим, хранителем архивов и библиотеки на постоянном месячном жаловании. Так мне советовали сделать.

Спасибо, дорогой Иван Михайлович, за постоянное внимание к нам, постоянную Вашу заботу о нас.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду кн.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания / Первое полное издание под ред. и с примеч. Иванова-Разумника. Л.: Academia, 1928.

[2] Ранее Волошин был знаком с «Литературными воспоминаниями и Воспоминаниями о Белинском» И. И. Панаева (СПб., 1876), изданными А Я. Панаевой-Головачевой и неоднократно перепечатывавшимися.

[3] См. примеч. 3 к п. 539.

542. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

23 февраля 1931 г. Коктебель

23. II. 1931.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Я только что получил тревожное письмо от Варвары Дмитриевны Финкельштейн, где она рекомендует мне написать подробности о снятии меня с хлебного пайка.[1] Почему я был снят – я совершенно не знаю. У меня впечатление, что это был исключительно личный каприз председателя кооператива. Он уже раз это делал с нами летом, и тогда, как и теперь, мы оставались без хлеба 11 дней. Но летом это легче, т<ак> к<ак> хлеб возможно достать у живущих кругом или через них. Зимой же это приобретает совершенно иной и безысходный характер. Тем более что муки дома нет и не было всю осень никакой возможности ее достать. (У крестьян все убрано и подметено чисто.)

О положении других писателей, живущих в Крыму, ничего не знаю, но, во всяком случае, – это не общее обязательное положение, а все творится par le beau plaisir* местных властей.

Наш кризис миновал благополучно благодаря неожиданному приезду в Коктебель одного моего друга – молодого коммуниста.[2] Ему достаточно было сказать 2 слова с местными властями, и все сразу переменилось – нам стали выдавать хлеб и дали 2 литра керосина.

Сейчас это все еще подтвердилось распоряжением Крымского Наркомпроса, который написал, что такое отношение к писателям «недопустимо». А с нами лично местные власти и разговаривать не хотели. А в моей кооперативной книжке, в графе «занятия», даже отказались писать «поэт», а написали «занятия неопределенные». – «А такого занятия мы и не знаем».

Сейчас сельсовету даны большие права. И отсюда происходит ликвидация всех сохранившихся частных домовладельцев кругом нас. Но это же происходит, очевидно, и в городах. Метод – добивают обложениями, а потом распродают за долги. В таком положении Богаевский. Не знаю, как он вывернется

---

* По доброй воле (*фр.*)

из всей этой истории. Дело осложняется тем, что описывают не его лично, а стариков-родителей его жены, которые живут с ними и на его счет. Мне в смысле дома и обложений, по-видимому, в этом году еще ничего не грозит. Но это — отсрочка до следующей весны. И я сильно озабочен будущей судьбой «Дома поэта», который эти годы стал убежищем не только писателей, но и их семейств. У меня мысль о том, чтобы передать его «Союзу писателей». Что Вы об этом скажете и посоветуете? В пенсии мне Наркомпрос окончательно отказал, ЦКУБУ прислал извещение, что на днях единовременно вышлет 200 р. Но денег пока самих еще нет. Должен ли я Вас благодарить за это, Викентий Викентьевич? Спасибо за сочувствие.

Максимилиан Волошин.

[1] В. Д Финкельштейн писала Волошину 16 февраля 1931 г: «Сегодня Вересаев просил передать Вам следующее: Вам необходимо подробно написать, чем вызвано то, что Вас сняли с пайка Затем, не знаете ли Вы, в каком положении находятся ученые и писатели, живущие сейчас в Крыму. Их тоже сняли с пайка? — Сегодня же Вересаев звонил в ЦКБу. А мне советовал позвонить Леонову, как председателю союза писателей. Я помню, он у Вас бывал в Коктебеле. Может быть, лучше, если Вы сами ему напишете. <...> Я знаю только одно, не надо молчать, надо писать всем, кому только возможно. Завтра посылаем первую порцию хлеба. Не удивляйтесь, дорогие, что отдельными кусками, это потому, что одному лицу разрешается купить только фунт» (ДМВ, № НВ—18549).

[2] Речь идет о К. М. Добраницком, ходатайствовавшем за Волошина 16 февраля 1931 г. в феодосийском правлении Наркомснаба.

543. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

23 февраля 1931 г. Коктебель

23/II 1931.

Милый Казик,

Первые дни твоего отъезда, пока ты ехал в Москву и сидел в заносах, судя по письмам,[1] мы всё жили тобою, точно ты не уезжал. Затем стала подступать действительность, вре-

менно твоим пребыванием из нашей жизни совсем отодвинутая: т. е. стали выгонять из домов наших непосредственных соседей и их выселять.[2]

За время революции я не видал ничего более возмущающего душу, чем эти насильственные выселения. С этим труднее всего примириться. А это повторяется с первого дня и, очевидно, будет неустранимо до конца. На мой взгляд, это мучительная операция, как извлечение улитки из ее скорлупы. Она так же мучительна и часто так же смертельна. Это не только надрыв чувства собственности. Кроме собственности у нас есть еще чувство долга к вещам и явлениям, которыми мы юридически владеем. И вещи и дома, лишенные пастуха, так же погибают без него, как погибают раковины, из которых вынуты моллюски. Еще улитка может выжить без раковины, но раковина погибает неизбежно, как дом, из которого выселены его хозяева.

Это меня невольно возвращает к судьбе «Дома Поэта». После твоего отъезда я получил официальн<ый> отказ в пенсии со стороны «Наркомпроса». Сейчас идет окончательная ликвидация всех уцелевших частновладельческих дач (в первую голову – принадлежащих лишенцам[3]). «Дома Поэта» – это, очевидно, не коснется этой весной благодаря и твоему вмешательству, сейчас еще подтверж<д>енному бумагой из Крым-Наркомпроса (о хлебе и керосине), где очень резко сказано, что *такое* отношение ко мне *недопустимо*. Так что, по-видимому, эта гроза пройдет над нами благополучно. Но необходимо сейчас же передать дом Союзу писателей. И я бы сейчас же написал туда официальное письмо, если бы не был связан обещанием ничего не предпринимать до получения известий от тебя. Поэтому очень прошу тебя немедля повидаться с ними – Союзом с<оветских> писателей и предложить им от нашего имени передачу в их руки и архива, и библиотеки, и дома. С тем, что мы остаемся до нашей смерти его и их распорядителями на известно<м> месячном жаловании (нам хватит, в конце концов, 100 р. в месяц). Это необходимо сделать спешно. И с их стороны необходимо прислать к нам комиссию для выяснения всех подробностей и условий. Необходимы от них сейчас же бумаги и удостоверения. А то они до сих

пор не вернули мне *членского билета*, отосланного им в начале зимы для обмена, и мы пребываем безо всяких документов. Очень просим тебя в первую же голову повидать и переговорить об нас с президиумом «Союза с<оветских> писателей».

Макс.

[1] 17 февраля 1931 г. К. М Добраницкий писал Волошину: «Сейчас я сижу в вагоне. Поезд застрял в снегу где-то между Александровском и Синельниковым Говорят, что простоим еще часа два» (ДМВ, № НВ–6971). О том же он сообщал Волошину и в письме от 23 февраля: «Поезд мой опоздал в Москву на 18 часов. *Пять* часов мы стояли на перегоне между Александровском и Синельниковым, – заносы. Пить хотелось ужасно. Воды не было. Мы набирали кружки со снегом и растапливали его на отоплении. Совсем романтические приключения» (ДМВ, № НВ–6975).

[2] Речь идет о семье священника М. В Синицына.

[3] Лишенцы – неофициальное название граждан РСФСР (СССР), в 1918–1936 гг. лишенных избирательных прав (согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 гг.).

544. С. А. ТОЛСТОЙ

27 февраля 1931 г. Коктебель

27/II 1931.

Дорогая, милая Соня,

твое письмо принесло нам большую радость о тебе.[1] Хотя оно ничего радостно<го> о тебе и не сообщает. Но просто радостно услышать твой голос. Маруся очень хорошо и подробно пишет тебе о нашей зиме и постоянном «чуде», в котором мы живем.[2] Сознание этого чуда огромная радость. Чудо ведь не есть нарушение законов причинности, а момент осознания того, что мир по существу управляется не ими, а прекрасными законами моральной целесообразности. В те мгновения, когда это сознаешь, тогда и переживаешь истинное, возвышающе<е> чудо.

Я всегда утверждал, что экономический закон жизни в том, что каждый существует в меру той любви и симпатии,

которую он рождает в окружающих. И эти годы особенно трудной жизни для нас урок именно такого непрерывного чуда и доказательство того, что мы были правы в таком выборе жизни: мы себя чувствуем окруженными и существующими только любовью наших друзей. А особенно когда подумаешь, что сейчас всем так же точно тяжело в жизни, то становится особенно стыдно за моменты уныния и бездарности, которые у меня длятся всю эту зиму.

У меня большой упадок творческого духа эту зиму. Мне очень непродуктивно работается в этом году, и посещают дни большой тоски. Думаю, что это зависит от оскудения писем: мы ничего не знаем о судьбе очень многих из близких. И имеем данные беспокоиться об их судьбе. И потом зимнее уединение становится мне впервые нудно и тягостно. Я привык эти годы страдать от противоположного.

Поэтому приезд Казика был для нас такою радостью. Правда, он очень много оказал нам реальных услуг: он как коммунист исправил в нашей жизни отношения с местными властями. Но и это не так важно – важнее то, что он в нас оживил чувство умиления перед человеком. Он искренен, порывист и увлекателен. И кроме того дал сим образец правдивого и настоящего коммуниста, о котором мы, закаленные местными уродствами, тосковали бессознательно.

Эти дни я с увлечение<м> читаю книгу Н. Н. Апостолова «Живой Толстой».[3] Очень нужная и прекрасно составленная книга. Он ее прислал с письмом, где пишет, что хочет приехать в Коктебель с мая.[4] Я ему ответил приглашением, в котором прошу между прочим, чтобы он поговорил о Коктебеле с тобою. Крепко тебя обнимаю. Привет Ольге Константиновне.[5]

Выздоравливай скорее: рекомендую тебе самовнушение, которое очень помогает в таких заболеваниях.

Макс.

[1] Подразумевается письмо С. А. Толстой к Волошиным из Москвы от 12 февраля 1931 г., в котором она, в частности, сообщала о перенесенных болезнях – ангина, грипп (ДМВ, № НВ–24861).

[2] В письме к С. А. Толстой от 26 февраля 1931 г. М. С. Волошина рассказывала об условиях жизни в Коктебеле и о приезде К. М. Доб-

раницкого (11–16 февраля): «Голод здесь настоящий, достать и за деньги ничего нельзя. Даже бутылки молока – все законтрактовано. Кругом идет ликвидация всех частных дач с описью и распродажей в один – два дня. Полная беззащитность и изолированность, очень большое напряжение и усталость <...> Словом, смерть казалась радостным избавлением...

И вот к нам приходит юноша – пылкий романтик извне, из большой жизни. Сначала пишет, рвется, пишет прекрасные письма, просится к Максу в сыновья, обещая быть самым лучшим сыном, предлагая беречь и лелеять Макса. И когда мы написали, что нам очень бы хотелось его повидать – в самое напряженное время он к нам прискакал через огромное пространство верст, с сиденьем на станциях, нанимая отдельный автомобиль, п<отому> ч<то> на общий он попасть не мог. Пробыл с нами 5 дней. И снял огромную тяжесть – просто психологически. Прежде всего, он сам полн огня и романтизма и у него огромная вера в хорошее, и как-то все стало по-другому. И хлеб нам выхлопотал, и дом поэта как-то охранил и окружил заботами и дал много, много человеческой радости. <...> И голод ушел (как-то совпало с приездом Казика, что прислали несколько посылок с едой), и деньги прислали. И несмотря на то, что после отъезда Казика пришло официальное известие об отказе в пенсии, мы нисколько не огорчились» (ГМТ, ф. 48).

[3] См.: *Апостолов Н. Н.* Живой Толстой. (Жизнь Л Н. Толстого в воспоминаниях и переписке) / С предисл. Н. Н. Гусева. М.: Толстовский музей, 1928.

[4] О возможности приехать к Волошину в мае 1931 г. с женой и дочерью Н. Н. Апостолов спрашивал в недатированном письме: «Скромность и тишину нашего семейного нрава и требований могли бы Вам подтвердить такие Вам известные лица, как Матвей Никанорович Розанов, недавно бывший у Вас. Нам бы хотелось иметь одну комнату и поблизости обеды, – вот и все. Не откажите в любезности сообщить, в какой мере я мог бы рассчитывать на получение возможности пожить у Вас? И на каких началах?» (ДМВ, № НВ–6607).

[5] О. К. Толстая.

545. К. М. ЗЕЛИНСКОЙ

2 марта 1931 г. Коктебель[1]

2/III 1931.

Милая Кина Михайловна, шлю Вам привет ко<ктебель>ской весны. Мы всячески думаем и молимся, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы Вы могли к нам теперь же приехать. Всею душой с Вами в Ваших трудных делах и потерях.[2]

Я думаю, что в Коктебеле Вам было бы лучше и душевно и во всех отношениях. Все Ваши слова и заботы о других в таких тяжелых личных обстоятельствах трогают до глубины души.

Крепко обнимаю Кая[3] и Вас.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] В письме к Волошиным из Ленинграда от 24 февраля 1931 г. К М. Зелинская сообщала о смерти сестры («Умерла в ужасных мучениях, оставив трех детишек»), о своих житейских тяготах («Я сейчас служу на заводе – счетоводом. Встаю в 6 час. утра и возвращаюсь к 6-ти вечера <...> Я обязана прослужить 1 год на том заводе, куда послала меня биржа за то, что я получала стипендию <...> Если К<орнелий> Люц<ианович> <Зелинский. – *Ред.*> (он обещает) пришлет мне деньги, кот<орые> я отдам бирже труда (стипендию), я смогу уйти с завода; это единственный выход из такого ужасного безвыходного положения»), о своих болезнях («У меня туберкулез I стадии <.. > и плеврит») (ДМВ, № НВ–8261)

[3] Сын Зелинской К. К. Зелинский

546. А. П. БОБКОВУ

7 марта 1931 г. Коктебель

7/III 1931. Коктебель.

Дорогой Александр Петрович,

с большой радостью получил я вчера Ваше письмо.[1] Все мрачное состояние духа рассеялось <в> эти дни. Все обстоятельства жизни за это время повернулись в благоприятную сторону.

Все случилось именно так, как Вы пишете. Нам одно время было почти безвыходно плохо. Но забота наших друзей (именно, как Вы говорите) и несколько новых неожиданно выявившихся – переменили все наше положение. Были очень тяжелые времена, когда мы очень чувствовали враждебность и пренебрежение «власти на местах». Но неожиданное появление на нашем горизонте одного юного коммуниста,[2] которого мы лет восемь назад знали еще мальчиком и который писал мне зимой, прося «усыновить» его. Теперь – в феврале – он приехал навестить нас и, увидев наше положение, – мы в это время как раз были лишены хлеба и керосина – он в двух словах с местным начальством разъяснил мое социальное положение, и отношение к нам радикально переменилось.[3]

В Коктебеле важные перемены: заведыванье курортным поселком в этом году переходит от Курорт-Треста – в руки Сельсовета. Что прежде всего вызвало спешную ликвидацию всех уцелевших частных дач. И несомненно, что «Дому Поэта» грозили бы серьезные неприятности, если бы не этот приезд, который создал ему «иммунитет». Так что «Дом Поэта» этим летом еще будет существовать.

И т<ак> к<ак> с закрытием Кур<орт>-Треста – Вы теперь не знаете, где будете жить, то позвольте нам предложить гостеприимство. Мы об этом сразу стали думать. Появился вопрос: какую комнату Вам заранее предоставить. Какие Ваши необходимейшие требования? Уединение? Второй этаж? Второй этаж – трудно. Если уединение – у нас есть очень подходящая и совершенно тихая комната во флигельке, где жили Сорокины, с другой стороны, но она без террасы дверью прямо в поле. Подойдет ли она Вам?

Рядом есть еще очень большая комната, где жили Домрачевы. Помните? Но в ней очень плохие полы.

Если Вы приедете рано, то Вам, конечно, проще будет выбрать самому. Вы ведь знаете, что у нас густо становится только в июле, и только в это время пред нами встает вопрос о распределении гостей. До июля мы, в общем, ничем не связаны. Но в этом году мы и не ждем большого наплыва приезжих. И повышенные тарифы, и затруднения с питанием свяжут и испугают очень многих.

С питанием очень невыясненный вопрос.

С хлебом вообще в Крыму очень туго. И чем круче захватывает голод, тем большее количество людей лишается хлебных карточек. Еще прошлым летом нас лишали хлеба на некоторые сроки без всяки<х> обоснований. Но «куро<р>тных» кормили аккуратно до самой осени. Но осенью и с ними начались заминки. Вообще, совсем никому не ведомо, что будет летом с питанием и как будет с курортом. Единственное твердое на лето – это «Дома отдыха». Они будут хорошо обставлены, и, если бы Вам удалось сговориться с М.В.Т.У. или со студией Мейерхольда.[4] То Вас это вполне бы уладило на все лето. Думаю, что это не так трудно уладить в Москве предварительно.

Спасибо за посылку и деньги от Барановой. Это имя меня очень смутило, т<ак> к<ак> я никак такой фамилии не мог припомнить среди наших друзей, чем было и вызвано неопределенное письмо, направленное мною по адресу, означенному на посылке.

Мы очень мучительно припоминали. И единственная Баранова, которую мы припомнили, это была племянница Боратынского, которую мы когда-то встретили однажды у Тютчевых. Но соединить с нею посылку и деньги и знание наших бедствий и неприятностей было логически невозможно. Поэтому я и отправил то письмо, которое Вы, вероятно, получили?[5]

Даже адрес мне ничего не сказал: вероятно, Палашёвский пер<еулок> переименовали в Южинский только на днях?[6]

Спасибо Вам за все громадное. Привет Тат<ьяне> Мих<айловне> и Котику.[7]

Волошины.

[1] Имеется в виду письмо А. П. Бобкова к Волошиным от 26 февраля 1931 г. (ДМВ, № НВ–6701).

[2] Подразумевается К. М. Добраницкий.

[3] См. п. 544, примеч. 2.

[4] Указанной аббревиатурой тогда обозначалось Московское высшее техническое училище, но Волошин здесь, скорее всего, имеет в виду Московский высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). Под студией Мейерхольда подразумевается учебное

заведение, называвшееся в 1923–1931 гг. Государственными экспериментальными театральными мастерскими имени Вс. Мейерхольда (Гэктемас).

[5] Упомянутое письмо Волошина нам неизвестно. В письме от 26 февраля 1931 г. Бобков сообщал Волошину о продаже его работ: «Нам удалось продать среди наших друзей еще три картины, и стоимость их мы немедленно Вам высылаем в количестве 70 рублей. Как на посылке, так и на денежном переводе стоит имя Т. Барановой. Это девичья фамилия Тат<ьяны> Михайловны, не удивляйтесь». Татьяна Михайловна – жена А. П. Бобкова. В письме от 19 марта 1931 г. Бобков дополнительно сообщал: «Татьяна Михайловна носит официально фамилию Бобкова-Баранова» (ДМВ, № НВ–6702).

[6] Большой Палашёвский пер. в Москве (у Патриарших прудов) был переименован в 1929 г. в Южинский (по псевдониму проживавшего там А. И. Сумбатова-Южина).

[7] Жена и сын Бобкова.

547. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

7 марта 1931 г. Коктебель

7/III 1931. *Коктебель.*

Наш дорогой Казик,

Твоя дорога до Москвы сквозь заносы и бураны[1] отражалась в Коктебеле бурными катаклизмами: через нас эти дни прошли все бедствия, сквозь которые ты прорывался в поезде. Стены дома потрясались, но выдерживали. Марусины нервы напрягались, она не спала по ночам, а целые дни у нее сильно кружилась голова. Это равноденствие. Вот теперь начнется настоящая весна. Она уже прорывается солнечными днями, но они студенее пасмурных и тихих. Мы до сих пор живем воспоминаниями о твоем посещении: твой приезд сделал эпоху в нашей зимней жизни.[2] Во всем мы чувствуем последствия твоего пребывания: в книгах, что ты оставил, в сравнительном благополучии хлебном, в иммунитете ДОМА ПОЭТА. Несомненно, он обязан тебе существованием теперь. Без тебя он бы, несомненно, подпал под уничтожающие удары, направленные на уцелевших до сих пор домовладельцев. Которые так тяжки и так мало обоснованы, что местный Финотдел был вынужден

вмешаться и запретить *пока* «разбазаривание» уцелевших дач и имуществ.

Учреждениям свойственно преувеличивать размеры данной им власти. Пока еще целы все наши соседи, уже намеченные для распродажи.

С Курбатовым мы не видались – он не заходил после тебя.[3] А в деревню я сам не хожу без крайней нужды. Его положение очень трудное – ведь все запретительные меры идут через него.

Твои сведения о пенсии меня очень порадовали.[4] Одновременно я получил письмо от Мат<вея> Никан<оровича> Розанова, где он мне пишет, что решение Наркомпроса об отказе от пенсии очень давнее. Но что теперь с возвращением Луначарского дело им будет передано прямо во ВЦИК (или в Совнарком?) каким-то ускоренным темпом, и что Енукидзе уже дал свое принципиальное согласие.[5] Теперь только надо восстановить некоторые бумаги, потонувшие в канцелярских трясинах Наркомпроса, чем он сейчас и занят. Я думаю, что тебе было бы хорошо с ним согласовать свои шаги. Его телефон 1-25-19. Адрес: Новинский бульвар 13, кв. 34.

Твое впечатление от Лидина вполне совпадает с моим.[6] К Леонову я питаю симпатию: мы ведь с ним даже в свойстве – через Сабашниковых.[7]

Спасибо за предложение об акварелях.[8] Сегодня же высылаю тебе 20 штук (цены – от 30 до 50 р.), но с тем, чтобы ты и Елена Карловна[9] отобрали себе из пачки по акварели, как подарок.

Фотографии ты уже, верно, получил: Маруся их тебе послала вслед за первыми письмами.[10] Поручения фотографа – Иванка Касперовича очень несложны: ему нужно 500 грамм кристаллической соды. Я думаю, это нетрудно. С нашей же стороны я попрошу тебя прислать нам почтовых конвертов: наши приходят к концу, а достать негде здесь.

Конверты белые в 1/8 листа из плотной бумаги.

Был бы очень тебе благодарен, если бы тебе удалось достать акварельной бумаги: самой простой – александрийской, как в школьных тетрадках для рисования. Крепко тебя обнимаем.

Макс.[11]

[1] См. примеч. 1 к п. 543.

[2] См. п. 544, примеч. 2.

[3] О Курбатове (коктебельском коммунисте) К. М. Добраницкий спрашивал Волошина в письме из Москвы от 27 февраля 1931 г.: «Бывает ли у Вас Курбатов?» (ДМВ, № НВ–6978).

[4] 25 февраля 1931 г Добраницкий сообщал Волошину в связи с отказом ему в персональной пенсии (ДМВ, № НВ–6976): «Я вчера был у Леонова, и мы сговорились о следующем. Союз Писателей от себя обращается к Бубнову с опротестованием этого решения и с требованием его пересмотра. Одновременно с этим я поговорю с Бубновым и еще с кое-кем о том же самом. А пока Наркомпрос не разрешит этот вопрос, Союз Писателей от себя будет посылать тебе ежемесячно определенную сумму, т<ак> ч<то> на какой-то минимум ты можешь определенно рассчитывать. Кроме того, с сегодняшнего дня я начинаю работать и зарабатывать, т<ак> ч<то> я смогу посылать тебе постоянно».

[5] В письме к Волошину от 27 февраля 1931 г. М. Н. Розанов подробно рассказал о хлопотах, предпринятых ради получения пенсии: «Что касается получения Вами от Наркомпроса отказа в пенсии, то это, к счастью, еще не окончательное решение вопроса. До октября 1930 г. дело, действительно, находилось в Наркомпросе и было им решено отрицательно. По канцелярской волоките они только теперь известили Вас об этом. Как я уже писал Вам раньше, в конце октября, по совету Ф. Кона и по соглашению моему с А. В. Луначарским, дело о Вашей пенсии было изъято из Наркомпроса и направлено непосредственно в Совнарком для решения в порядке верховного управления, минуя низшие инстанции. А. В. взялся передать это дело лично Енукидзе, но не успел этого сделать до отправления в Женеву, где пробыл до половины декабря. В январе оно попало, наконец, по назначению. Вчера А. В мне говорил, что, по ознакомлении с вопросом, Енукидзе написал резолюцию: “Удовлетворить просьбу”. Затем, по словам того же А<натолия> В<асильеви>ча, случилось что-то непонятное: дело о Вашей пенсии куда-то запропастилось и его не могут найти в канцеляриях Совнаркома. Поэтому А. В. считает необходимым вновь возбудить ходатайство тем же путем (т. е. через Совнарком) и берет все дело на себя. Меня он просил только доставить ему некоторые фактические о Вас данные, что я и сделаю, конечно, на днях. У А. В. есть какой-то способ, недавно им открытый, ускорить дело; он говорил, что пенсию вдове П. Е. Щеголева он выхлопотал в несколько дней Дай Бог, чтобы и с Вашей вышло так же» (ДМВ, № НВ–16683).

[6] 25 февраля Добраницкий сообщал Волошину: «У Леонова познакомился я с Лидиным. К Леонову я очень хорошо отношусь, а

кое-какие его вещи ("Вор", "Записи Ковякина") очень люблю. Лидина я не люблю как писателя, а как человек он мне ужасно *не* понравился. Чрезвычайно».

[7] Л. М. Леонов был женат на Татьяне Михайловне Сабашниковой, дочери книгоиздателя М. В. Сабашникова. Первая жена Волошина Маргарита Васильевна Сабашникова – троюродная племянница М. В. Сабашникова (дочь его двоюродного брата В. М. Сабашникова).

[8] «Здесь в Москве имеются некоторые возможности продажи твоих акварелей, – писал Добраницкий Волошину 25 февраля. – Если ты согласишься на это, то вышли штук 15–20 на мой адрес».

[9] Е К. Добраницкая.

[10] «Что с нашей фотографией, – спрашивал Добраницкий Волошина в письме от 27 февраля. – Если нужно, я могу отсюда прислать соли или растворы <...>». Во время приезда Добраницкого в Крым в феврале 1931 г. И Касперович сфотографировал его вместе с Волошиными. По получении фотографий Добраницкий писал Волошину (5 марта 1931 г.): «Фотографии прекрасны. Особенно та, где мы втроем и у Макса серьезное лицо. Там он очень настоящий. Впрочем, Макс смеющийся – тоже ужасно милый и родной» (ДМВ, № НВ–6980).

[11] Далее – небольшая приписка М. С. Волошиной о погоде.

548. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

9 марта 1931 г. Коктебель

9. III. 1931. Коктебель.

Дорогой Иван Михайлович,

спасибо за письмо[1] и посылку. За нее я уже благодарил Вас.[2] Письмо, на которое Вы отвечаете, и было, очевидно, ответом на посылку.

Сейчас у нас все обстоятельства обернулись к лучшему: нам выдают хлеб и вообще местные власти к нам переменились. И даже «Дом Поэта» этой весной сохраняет, вопреки периодичности этого сезона, полный иммунитет. Он будет продолжать свое существование и с особенным удовольствием распахнет перед Вами двери, когда Вы приедете в начале (надеюсь!) лета.

Все это переменилось благодаря пустяшному обстоятельству: к нам заезжал в феврале один мой друг – очень юный – коммунист.[3] Он лишь побеседовал с местной властью, и этого оказалось достаточно.

Он же теперь взялся за мое дело о пенсии, и я думаю, что ему многое удастся.

То, что Вы пишете о причинах, вызвавших препятствие в деле пенсии, глубоко неверно.[4] (Только не принимайте за личную обиду с моей стороны). Я просто хочу исправить то недоразумение, которое, очевидно, создалось на мой счет. Я с 1920 года прекратил всякие сношения с моими заграничными знакомыми и друзьями и всякую переписку: что по крымским условиям стало необходимо.

Была эпоха около 1924 года, когда за границей вышло несколько изданий моих стихов и мое имя появилось в списке сотрудников разных заграничных журналов и была большая обличительная статья в журнале «На Посту».[5] Я на это ответил большим письмо<м>, которое было напечатано в «Красной Нови».[6] Все это было тогда же ликвидировано им. И я читал все мои стихи в Кремле (у Каменева) публично.[7] Если бы у меня действительно <были> «антисоветские» стихи, то я бы не стал этого делать. Но «антисоветских» стихов у меня вообще нет по той причине, что я вообще политику не приемлю ни в какой форме, а *морально* считаю себя и являюсь в жизни очень строгим коммунистом. Я все это пишу Вам лишь для того, чтобы Вы сами могли отвечать на подобные обвинения меня, если Вам придется с ними встретиться. Что касается до распространения моих стихов внутри России, то это идет совершенно вне моих намерений и ведома. А списывать их у себя я никому не запрещаю – принципиально.

До свиданья. Крепко Вас обнимаю.

Макс.

[1] Имеется в виду письмо от 28 февраля 1931 г. (ДМВ, № НВ–17063).

[2] См. п. 541.

[3] Имеется в виду К. М Добраницкий. См. п. 544, примеч. 2.

[4] В письме от 28 февраля И. М. Саркизов-Серазини касался причин «провала» хлопот о пенсии для Волошина. «Вы забыли очень хорошую русскую пословицу, распространенную на юге· “Сиди и не рипайся!” А Вы зарипались так, что белогвардейщина в Париже Вас своим стала почитать и стихи Ваши антисоветские печатать. Не знаю, улыбается ли Вам такое внимание их, или нет, но факты вещь упрямая и с ними ничего не поделаешь. А ведь на В<ашей> стороне первое время все вплоть до Ф Кона были».

[5] Имеется в виду статья Б. Таля «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина» (На посту. 1923. № 4. Ноябрь Стб. 151–164).

[6] См. Т 6, кн. 2 наст. изд С. 60–62, 786–787. См. также письмо Волошина, адресованное Б. М. Талю, от 12 января 1924 г (Т. 12 наст. изд. С. 774–776).

[7] Это чтение состоялось 2 апреля 1924 г. (см · Там же. С. 863–864)

549. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

10 марта 1931 г. Коктебель

10/III 31 г.

Рукой М. С. Волошиной:

Милый, милый, родной и хороший, свое сыновнее отношение к нам больше, чем оправдали. Как-то и радостно и смущает, и непривычно такое внимание и забота. Сейчас пишу письмо это на балконе под ярким, ярким солнцем на синем небе, журчит зеленое море, перекликаются скворцы, солнце греет так, что даже жарко, обдувает теплым, теплым душистым ветерком. В ногах мельтешится кошка Зердале.

Хочется послать Вам все тепло солнца – журчания моря и много, много сердечной ласки и горячей признательности и чего-то такого хорошего, что растворено во мне. Не подумайте, что это слова. У меня столько к Вам хорошего, Казик, что словами этого и не скажешь. Сегодня я умилена вот чем. Час тому назад у нас был новый предс<е>дат<ель> Коопера-т<ива>. Пришел познакомиться и сказать, что у него был предс<е>дат<ель> район<ного> парт<ийного> комитета и просил или отдал распоряжение о снабжении нас хлебом и едой и

т. д. Словом, нам дают хлеба не 300, а 500 гр., обещал рису, сахару и что будет в Кооперат<иве>. Такого внимания и благ мы еще ни разу к себе не испытывали и смущены, и удивлены, и обрадованы. И, конечно, это не Наркомпрос сделал, а Вы. Да, да. Стоило Вам приехать, как все изменилось в смысле отношения к нам.[1] Я Вам говорила о том унизительном состоянии пария.[2] А теперь все вежливы и предупредительны, вплоть до визита нового предс<едателя> Кооперат<ива>. Вы мне простите, что я так много останавливаюсь на этом. Но ведь это целое событие в нашей жизни. Прибавили хлеба, сахару нам давали только 300 гр., а теперь дадут кило. Я никогда не думала, что, ожидая Вас, оправдаются мои слова «вот приедет Казик» – пародируя Некрасова.[3] А вышло, вот приехал Казик. Казик сам увидел. Словом, сейчас мы граждане, а не парии. Бумажки и из РИКа приходили и из К<омитета> Н<арком>проса, и нас всегда держали в черном теле. Словом, забота Ваша о нас очень, очень нами ощущается. И мне радостно. Очень, Казик милый, радостно и то, что просто изо дня в день легче, и то, что Вы такой хороший, и то, что Масенька не загнан, а о нем думают; да, словом, всего не перескажешь. Радостно, что есть прекрасное в мире. Вот так спотыкаешься, когда уж очень плохо, а все-таки веришь, что прекрасное есть. Вот сейчас с Вами опять очень-очень хорошо. Пишу-то косноязычно, а чувствую хорошо.

Мася сейчас рисует, а я должна идти работать в сад, но так хочется с Вами поговорить, вернее сказать, что, несмотря на горести и нашу слабость, и непонимание многого, все-таки в жизни очень много хорошего. И сейчас так хорош мир, такой открытый, и хотелось бы Вам в городскую сутолоку послать кусочек всего этого.

Милый, милый Казик, о Вас думаю всегда с любовью, и очень хотим, чтобы Вы были счастливы. Поцелуйте от меня Вашу маму. Получили ли Вы фотографии? Досылаю Вам еще одну. Иду работать в сад: копать грядки и перекапывать деревья. Вас обнимаю крепко и очень люблю. На вышке звонко кричат скворцы. Мася будет продолжать, а я кончаю.

Маруся.

Рукой М. А. Волошина:

10/III 1931. Мой милый Казик, твою сынов<н>юю заботливость чувствуем и тебя сегодня благословляем сильнее, чем обыкновенно. Только в те времена, когда в 1924 г. был дан приказ по партии, чтобы к нам хорошо относились и не обижали, я чувствовал такое любезное и предупредительное отношение к себе. Каким образом ты достиг того же эффекта? Не знаю, как тебя благодарить? Но шлю тебе всю мою признательность. Теперь все душевное самочувствие стало другим. Я вновь наслаждаюсь внешним миром и с вдохновением пишу акварели сегодня. Спасибо.

Новый председ<атель> Кооператива – очень маленький любезный и разговорчивый еврей по фамилии Лифшиц. Он сегодня говорил, что голода мы не должны опасаться ни в коем случае. Но что летом будет туго. А теперь есть толко урезка, потому что в феврале (при Мутиеве) – были большие растраты в смысле хлеба (т.е. когда мы были совсем лишены).

О Курбатове – до нас доходили очень хорошие отзывы как о деловом человеке и идейном коммунисте. Лично он к нам с твоего отъезда не заглядывал. Шлю тебе и Елене Карловне[5] акварелек.

Макс.

[1] См. п. 544, примеч. 2.

[2] Пария (*тамильск.*) – представитель одной из каст «неприкасаемых» в Южной Индии; иносказательно – отверженный, бесправный человек.

[3] Обыгрывается рефрен «Вот приедет барин» из стихотворения Н. А. Некрасова «Забытая деревня» («У бурмистра Власа бабушка Ненила...», 1855)

[4] Дмитрий Васильевич Мутиев (ок. 1898 – после 1941) – председатель Коктебельского кооператива, которого в марте 1931 г. сменил Лифшиц.

[5] Е. К. Добраницкая.

550. А. М. ПЕШКОВСКОМУ

12 марта 1931 г. Коктебель

12/III 1931.

Мой милый Саша,

твое письмо меня очень обрадовало и тронуло глубоко.[1] Ты прав – общаться с людьми по-настоящему – я могу только зимой: летом меня разрывают на части.

А зимой я голодаю по людям. Эта же зима была особливо тяжела и мрачна. Хотя я физически был и остаюсь значительно бодрее, чем все эти годы. Но в своей диете я гораздо менее стеснен, чем ты.[2] Хотя, очевидно, и мне скоро придется плохо, т<ак> к<ак> мне обязательно в питании молоко.

Но на эту зиму пожаловаться не могу: правда, были очень трудные периоды. Но моя коммунистическая теория в том, что человек жив в меру той любви, которую он внушает окружающим, блестяще себя оправдала: когда мне было очень плохо, я получил неожиданно письмо от мало мне знакомого юноши (я его знал почти мальчиком),[3] который мне написал, что наша встреча в те годы (в 1924 г.) на него произвела большое впечатление, что он недавно утратил отца, который бросил его, мать и семью и ушел на старости лет строить себе новую жизнь с советской барышней. И спрашивал, не хочу ли я его «усыновить» и что он обещает быть самым внимательным и послушным сыном. Он приехал нас навестить в конце января,[4] в тот момент, когда наше положение было самое отчаянное – мы были лишены хлебных карточек, керосина и т. д. безо всяких юридических обоснований по одному капризу местных властей. В несколько минут Казик (та<к> зовут моего названного сына) уладил все эти безвыходности: нам начали давать хлеба и все отношение к нам сразу переменилось.

Позже он взял на себя хлопоты о моей пенсии.[5] И может, как кому-нибудь, ему удастся то, что другим не удавалось.

Он за те 5 дней, что пробыл у нас, совсем переменил все наше самочувствие. Своим <*1 нрзб*> искренностью и романтизмом.

Мар<ья> Степановна – врач, фельдшерица, и забыть этого нам невозможно благодаря пациентам, которые тревожат ее днем и ночью.

Но она много лет служила в земстве,[6] потому оплаты врачебного труда совершенно не признает. Раньше она была на службе в Здрав-Отделе[7] и, конечно, могла бы туда вернуться каждый день и ее бы приняли с радостью. Но она ведь прачка и дворник и поломойка в доме вплоть до стекольщика и кровельщика, и оставить дом без себя ей совершенно немыслимо.

Привет Людмиле Сергеевне.[8] Посылаю ей и тебе по весеннему коктебельскому акварельному привету.

Макс.

[1] Имеется в виду письмо А. М Пешковского от 7 марта 1931 г. – ответное на неизвестное нам письмо Волошина: «То, о чем ты пишешь, именно жгучее желание восстановить нашу близость, я испытал гораздо раньше тебя, и мой приезд тогда этим и объясняется. Но ты оказался в непрестанном "окружении". По-видимому, единственный способ это сделать – это приехать зимой, но при теперешнем снабжении и моем желудке это совершенно невозможно. Я и в Москве-то еле живу, несмотря на вполне приличный заработок. Белого хлеба дают только 1/2 ф<унта> в день, а черный я могу есть только с большим вредом для здоровья. Без сливочного же масла (которого у Вас там, наверное, ни за какие деньги не достанешь) я совершенно не могу существовать» (ДМВ, № НВ–15343). В тексте упоминается пребывание Пешковского в Коктебеле летом 1928 г.

[3] Имеется в виду письмо К. М. Добраницкого от 18 ноября 1930 г. (см. п. 521, примеч. 2, 9).

[4] Неточность; Добраницкий приезжал в Коктебель в середине февраля 1931 г. (см. примеч. 2 к п. 544).

[5] См. примеч. 4 к п. 547.

[6] Сведения о многолетней работе М. С. Заболоцкой (Волошиной) в земских медицинских учреждениях не установлены.

[7] М. С. Заболоцкая (Волошина) работала лекпомом в феодосийском Здравотделе с 18 марта 1922 г по 1 марта 1923 г. (см.: Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе. Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текста и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.. Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 314).

[8] Л. С. Пешковская.

551. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

17 марта 1931 г. Коктебель

17/III 1931.

Дорогой Казик,

Сегодня пришли твои письма от 8 и 13/III. После весенних дней – северный ветер, и в воздухе белые мухи.

На душе нерадостно. То, что нам лично хорошо – не радует, потому что столько горя и несправедливости кругом, что это не только не радует. Но скорее обессиливает к творческой работе. Стихов я не пишу.

Взял<с>я доканчивать «Черубину» – день поработал и опять отложил.[1] Как я ни протестую всей душой против актуальности в искусстве: но когда ее нет – мне не работается совсем.

Твоя точка зрения мне близка и вдохновляет меня. Но тебя нет, и мне ею трудно овладеть без тебя.

Твоей занятости и практической работе – я завидую.[2] Ее у меня совершенно нет. Я весь день в отвлеченных мыслях, которым нет исхода в творчестве.

Твоя теперешняя работа в Геофизическом исс<ледовательском> институте, вероятно, очень интересна по существу. И мне кажется гораздо более захватывающей, <чем> в Ко<о>пер<ативном> комбинате. На какой же точной науке хочешь ты специализироваться? Твои письма в нашей жизни – тоже события. И если почта их не приносит – мы унываем на весь день.

О твоем приезде с Ел<еной> Карл<овной>[3] мы очень мечтаем. Когда это может быть приблизительно – в начале или в ко<н>це лета?

.... Мы пообедали, и во время обеда весь Коктебель занесло снегом. Подобные неожиданности у нас бывают в марте. Относительно передачи «Дома Поэта» Союзу с<оветских> пис<ателей> – нам пишут все друзья и (что то же – обычные наши гости) и торопят нас. Советуют отдать флигель. А Дом и мастерскую после смерти. Я ничего не имею против. Тем более что у нас сношения с Союзом были зимой о передаче им моего архива. С Союзом п<исателей> я предпочитаю иметь дело. Ведь он сам материально самостоятелен, а Лит<ератур-

ный> фонд зависит от него. По крайней мере, нам так утверждали, настаивая на его приоритете. И потом Союз писателей мне уже зимой помогал денежно единовременным пособием. Так что я каким-то образом ему обязан, и архив уже обещан ему.

Но я ничего без твоего совета и одобрения решать не буду. Кроме всего, у меня такое соображение: никто в этом году, очевидно, жить не сможет из-за питания, так что необходимо, что надо что-нибудь организовать при доме же, а это возможно только с фирмой С<оюза> писат<елей>.

Т<ак> к<ак> все, кто когда-нибудь занимался кормлением, все – сейчас социально изничтожены. Вот все это и заставляет меня торопиться с выяснением моих отношений с С<оюзом> пис<ателей>. Делал ли ты что-нибудь относительно пенсии? Ведь я тебе писал относительно надежд, которые мне сообщал Матв<ей> Ник<анорович> Розанов о Луначарском?[4] Котор<ый> хотел все это дело лично передать в Сов<ет> нар<одных> ком<иссаров>?

Крепко тебя обнимаю, привет Ел<ене> Карл<овне>.

Max.

[1] Речь идет о работе над воспоминаниями о Черубине де Габриак, которую Волошин начал в январе 1931 г.; сохранились незаконченные наброски (см : Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 477–483).

[2] В письме к Волошину от 8 марта 1931 г. Добраницкий сообщил, что его назначили директором учебного комбината промышленной кооперации с пятьюстами студентами, а в письме от 13 марта – уже о новом назначении: «У меня эти дни – сумасшедший дом. Вместо учебного комбината, о котором я тебе писал, меня назначили Зам. Директора Геофизического Научно-Исследов<ательского> Института. Директора нет и не будет, так что хозяином быть приходится мне. Институт большой с 200 чел<овеками> работников, с бюджетом в миллион рублей. Дела невероятно много. Чуть я войду в норму, я хочу начать переквалификацию – специализироваться по одной из точных наук. Это необходимо. *Наших* работников в этих отраслях у нас совсем нет. Интересно очень, но очень и утомительно. Я выезжаю из дома в 8 ч. утра и редко к 8 вечера возвращаюсь домой» (ДМВ, № НВ–6982).

[3] Е К. Добраницкая.

[4] См. примеч. 5 к п. 547.

552. А.А. ДЕМИДОВУ

22 марта 1931 г. Коктебель

22/III 1931.

Многоуважаемый Алексей Алексеевич,

Как я Вам писал зимой[1] – Ваш приезд на апрель – май для работы над романом нам очень желателен и приятен.[2] Но условия питания сильно изменились: здесь ничего нельзя достать из продуктов. Кооператив пуст: здесь очень трудно и с хлебом и с сахаром и с керосином. Необходимо захватить с собою продукты на все пребывание. Женщины, которая Вас бралась питать зимой, – давно уже нет: вообще все, которые когда-нибудь отпускали обеды, давно раскулачены. Летом, очевидно, будет какая-нибудь Обществ<енная> Столовая. А теперь об ней еще и разговоров нет.

Раньше здесь действовал курорт-трест. Теперь все перешло в руки Сель-Совета. Я передаю половину своей дачи в пользование Союза Писателей, и он собирается устраивать здесь Дом Отдыха. Если Вы имеете отношение к этому союзу, то зайдите с ними переговорить (Тверской бульвар, 25). Это их может заставить поторопиться... За мной задержки не будет.

Если привезете круп, жиров, керосину, то наверное найдется кто-нибудь, кто возьмется Вам готовить.

Главное, не забудьте керосин, т<ак> к<ак> без него невозможна вечерняя и ночная работа.

Максимилиан Волошин.

P.S. Попробуйте списаться сами с местным Коктебельским кооперативом относительно керосина.

[1] См. п. 517.

[2] Видимо, речь идет о романе А. А. Демидова, опубликованном под заглавием «Лес» (<М.:> Московское товарищество писателей, 1933). 13 марта 1931 г. Демидов писал Волошину: «По возвращении из архангельских лесов в Москву, я хотел бы поехать в Коктебель – поработать в тишине над романом. Вы любезно предлагали мне приехать к Вам зимой, и потому прошу Вас известить меня, нашлась ли бы у Вас комната на месяц-два числа с 10–15 апреля? И будет ли

теперь отпускать мне обед та татарка, которая питать меня обеща<ла> зимой?» (ДМВ, № НВ–6893).

553. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

23 марта 1931 г. Коктебель

Рукой М. С. Волошиной:

23/III 31.

Милый и хороший Казик, вот опять перерыв в несколько дней, а обещала тебе писать часто. Но теперь с весной столько у меня забот и хлопот и в саду и по дому, что, несмотря на то, что день в моем распоряжении, мне его никак не хватает, а к в<е>черу я устаю. Но в продолжение дня мысленно пишу тебе несколько раз и беседую с тобой.

Сейчас у нас решается с Союзом п<исателей> судьба дома. Пока еще ничего официального нет, но переговоры наши друзья начали. Мы отдадим им большой флигель, а все остальное остается у нас. Наши друзья сейчас поторопились, и мы не противимся п<отому>, ч<то> уж давно так решили, но не знали, кому лучше подарить, а раз за нас решили Союзу, то это и лучше. Очень верим, что все будет хорошо. Сейчас тебе не напишу складного письма, п<отому> ч<то> тороплюсь, и уже два раза меня отрывали.

Умер мой пациент-старичок от рака, и все время прибегают: то гвоздей, то доску на гроб, а письмо нужно отправить сегодня, а то опять останется неотосланным. Сейчас передаю Масеньке, он тебе допишет, а я целую крепко, будь здоров и не забывай нас.

Твои письма нам тоже очень большая радость. Привет маме.

Маруся.

Рукой М. А. Волошина:

23/III 1931.

Дорогой Казик,

У нас холод и весна. Это в Коктебеле нормально: южный ветер здесь весною приносит со студеного моря – холод. И

только вечером, когда начинается береговой бриз с разогретых холмов, теплеет.

Студеная солнечная весна, когда днем мер<з>нешь.

Кажется, вопрос о передаче Дома «Союзу писателей» решается и, увы! без твоего посредства.

Мы еще непосредственно от них ничего не имели. Но наши московские коктебельцы нам пишут, что принципиально это уже решено.[1] И мы на днях будем запрошены телеграммой. Вопрос идет об уступке Союзу п<исателей> каменного флигеля, в котором Союз собирается устроить платный Дом отдыха. Следовательно, и *питание*, что для этого лета имеет первостепенную важность.

Иначе к нам никто и не попадет в текущем году. Я остаюсь хранителем архива и библиотеки на жаловании. Вероятно, к нам скоро приедет от них кто-нибудь для бы<т>ового устройства.

Очень жаль, что не можем толком сговориться с тобою и посоветоваться, как следует.

Недаром я так торопился с этим делом и заранее писал, прося тебя потолковать обо всем этом с Леоновым.[2]

О тебе мы постоянно в разговорах упоминаем, ждем твоих писем и с твоим возможным мнением очень считаемся.

Тебя очень любим.

Макс.

[1] Подразумевается информация, почерпнутая из письма Е.О. Сорокиной от 17 марта 1931 г.: «Было назначено заседание правления, и после некоторой обработки и хлопот удалось добиться вот каких результатов Союз берет дом Юнге; архив и библиотека остаются на местах, но числятся за Союзом, их оценка произойдет в ближайшем будущем. Пока Союз обязуется выплачивать М<аксу> ежемесячно 100 руб. Завед<овать> домом Юнге посылают Черкасского, котор<ый> заведовал Узким и Домом ЦеКубу в Кисловодске. Очень приятный, говорят, человек. Они устраивают платный Дом Отдыха для Союза. Построят свою кухню и ремонтируют дом. Их можно отгородить от других домов изгородью Вчера Союз потребовал, чтобы Е Н. <Чеботаревская. – *Ред* > послала вам телеграмму с оплаченным ответом. Но я решила послать вам спешное письмо, чтобы хоть немного все объяснить» (ДМВ, № НВ–15344)

[2] В письме к Волошину от 18 марта 1931 г. К. М. Добраницкий сообщал: «Был у меня вчера Леонов. Сидел с 7 до 1 ч. ночи. Много говорил, – конечно, главным образом о себе. Он любит о себе рассказывать Но рассказывает он интересно, а я люблю слушать, так что встречи наши нас обоих вполне устраивают. Он уже говорил с Халатовым о пенсии. Тот обещал со своей стороны где надо надавить» (ДМВ, № НВ–6984).

554. М. А. ПАЗУХИНОЙ

24–25 марта 1931 г. Коктебель

Рукой М. С. Волошиной:

24/III 31 г.

Милая Мария Александровна, хотела тебе написать длинное письмо. Но два часа тому назад пришло известие, что умер Семен Иванович 17/III.[1] Горю нет слов. Незаменимая непоправимая утрата. Писать ничего не могу, убиты мы.

Маруся.

Рукой М. А. Волошина:

25 III 1931.

Дорогая Мария Александровна,

Маруся не может продолжать этого письма. Со вчерашнего дня она не говорит, а только криком кричит, как от нестерпимой физической боли. Она говорит, что это такое ощущение, что спина обварена кипятком.

Вместе с Марусиными (Хохлаткиными) яйцами я прилагаю еще: два пакета акварелей: один для Вас и для Ваших, а другой для Варвары Дмитриевны[2] (для продажи).

Маруся просит передать яйца ребятишкам (Алеше Остр<оумову>, Сереже и Наташе Сор<окиным>[3] и Коту Эфр<ону> по 5-ти), а остальные все оставить себе.

Это у нее уже давно было задумано на оказию: отъезд Сергея Алекс.[4] в Москву. Он Вам по приезде позвонит.

Она очень смущена, что Вам придется самой разъезжать и развозить дары адресатам. Но здесь ничего спешного (кро-

ме свежести яиц) нет. Вы просто оповестите через кого-нибудь матерей, и они сами зайдут к Вам.

Акварели предназначаются тем же адресатам, что и яйца. Варваре Дмитриевне прилагаю письмо.

Шлю Вам всем привет. Обнимаю В<асилия> Ал<ександровича>.[5]

Макс.

[1] С. И. Златогоров, арестованный ОГПУ в Ленинграде 19 декабря 1930 г. по обвинению во вредительской деятельности в составе контрреволюционной организации врачей-микробиологов, содержался в Доме предварительного заключения («Кресты»), где, тяжело заболев, не получал надлежащего лечения; в указанный день смерти был переведен из тюремной больницы в городскую больницу им. тов. Первухина (см.: *Козовенко М. Н.* Последняя командировка профессора С. И. Златогорова // Вестник Российской Академии наук. 1997. Т. 67. № 9. С 819–823). Ранее (вероятно, в первой половине января 1931 г.) Т. С. Салтыкова писала Волошину, что Златогоров лишен передач и о нем не дают справок (Труды и дни-2. С. 479). М. С. Волошина слушала лекции Златогорова в Психо-неврологическом институте в 1910–1911 гг. Отклик Волошина на смерть Златогорова – стихотворный набросок «Революция губит лучших...» (1931 // Т. 2 наст. изд. С. 568).

[2] В. Д. Финкельштейн.

[3] Дети Е. О. и Т. И. Сорокиных.

[4] Неустановленное лицо.

[5] В. А. Пазухин.

555. А. П. и Т. М. БОБКОВЫМ

28 марта 1931 г. Коктебель

28/III 1931.

Дорогие Александр Петрович и Татьяна Михайловна,

Спасибо за Ваше такое хорошее, ласковое и внимательное письмо.[1] В нашем доме известная модификация. Мы уступаем флигель Союзу писателей, и он этим летом устраивает у нас Дом отдыха. Скоро к нам приедет его представитель – Черкасский – организатор домов отдыха Ц.К.У.Б.У. в Узком и в Кисловодске.

Тогда выяснятся все виды на лето. Спешу Вам сообщить это. Потому что, с одной стороны, возможно, что будет питание у нас же на даче, с другой стороны, наша площадь сокращается. Но наш личный дом и домики остаются в нашем распоряжении. Только в июле, августе мы будем располагать меньшим числом комнат.

Так что в нормальное время это ничем не скажется на нашем гостеприимстве. Я боюсь, что Вы как-то преувеличиваете шумную молодость нашей жизни. Ведь люди такого почтенного возраста, как В. М. Шервинский и Сем<ен> Иван<ович> Златогоров (какая страшная потеря)[2] – жили же у нас, были довольны и Коктебелем, и образом жизни. Впрочем, я очень Вас понимаю и ничем настаивать не буду. Поступайте, как Вам лучше. Только предупредите вовремя о своих планах. Думаю, что в Султановке в смысле продовольствия не может быть лучше, чем в Коктебеле.[3]

Смерть Сем<ена> Ив<ановича> нас как громом пришибла. Мы не знаем никаких подробностей, но слишком хорошо и интимно его знали и его семью.

М<ария> С<тепановна> была его ученицей и всегда относилась к нему с благоговением.

Шлю Вам и Тат<ьяне> Мих<айловне> акварельные приветы.[4]

Макс<имилиан> Волошин.

[1] Подразумевается письмо А. П Бобкова от 19 марта 1931 г. (ДМВ, № НВ–6702)

[2] См. п. 554, примеч 1.

[3] В упомянутом письме Бобков сообщал: «Мы ведем переписку с Султановкой по поводу пищевых запасов на лето, но пока не особенно успешно».

[4] О судьбе отправленных в Москву волошинских работ Бобков писал Волошиным 30 апреля 1931 г.: «Я не отвечал Вам, хотелось подождать, пока хотя бы отчасти наметилась судьба Ваших оставшихся этюдов. Они были выставлены у нас в комнате; все наши друзья и знакомые перебывали у нас за зиму, без конца спорили, и любовались ими. Взяв сколько могли и что оказалось каждому близким по душе. Оставаться и дальше им у нас в комнате, по-видимому, было излишне, и мы стали хлопотать о перемене резиденции. С этою целью

нам посоветовали обратиться к Евдоксии Федоровне Никитиной, основательнице и председательнице “Никитинские Субботники” Живет она около нас, на Тверском бульваре 26. Татьяна Михайл<ов-на> <Бобкова-Баранова. – *Ред.*>, направившись к ней с этюдами, попала в барский особняк из какого-то другого старого мира Все там было архивно-таинственно. Громадная зала-комната, заставленная старинной стильной мебелью, была украшена мраморными изваяниями античной красоты и стены увешаны красивыми картинами выдающихся старых и современных художников. Таинственный полусвет из больших полузавешанных окон придавал всей этой обстановке милый колорит далекого прошлого и, к несчастью, очень далекого от современной действительности.

Дома была не сама хозяйка, а ее мать, приветливая, интеллигентная дама. Ее пытливое и строгое выражение лица сразу прояснилось и повеселело. “Ах, Максимилиан Волошин! Мы все хорошо знаем и любим его!”. “Так это он прислал нам свои этюды и просил выставить их в нашем кружке. Мы с величайшим удовольствием сделаем это и надеемся, что нам удастся пристроить их среди наших членов и друзей” <...> Татьяна Мих<айловна> оставила хозяйку в приятном заблуждении, что картины эти прислали им лично Вы Не удивляйтесь, если Вы получите от них какое-либо извещение, а может быть, и деньги за проданное» (ДМВ, № НВ–6703).

556. М. В. ДОРОГОВОЙ

28 марта 1931 г. Коктебель[1]

28/III 1931.

Дорогая Мария Вадимовна.

Получили Вашу посылочку с умилением. Вам ли заботиться о нас? Мы тронуты до глубины души Вашим вниманием при всех Ваших собственных горестях. Маруся едва ли сможет сама Вам написать: она эти дни совсем раздавлена известием о смерти Сем<ена> Ив<ановича> Златогорова.[2] Это был профессор Маруси, большой ученый и человек редкой деликатности, отзывчивости, который всю жизнь провел на эпидемиях в разных концах земли, – и читать о смерти такого человека, – а умер он в тюремной больнице – нестерпимо. Маруся последние дни ни с кем не разговаривает, а воет по-звериному от боли.

Как складывается судьба Вл<адимира> Ник<олаевича>? Как Кирилл?[3]

У нас в распорядке дома – перемена. Мы отдали флигель Союзу Писателей, и они, кажется, там устраивают Дом Отдыха для писателей. Это радостное событие, т<ак> к<ак> это даст кому-то возможность приехать к нам летом; иначе при теперешнем состоянии продовольствия к нам летом никто и не решился бы приехать.[4]

Большой и глубокий наш дружеский привет Вам, В<ладимиру> Н<иколаевичу> и Кириллу.

Макс и Маруся.

[1] Текст на обороте акварели «Бухта тихая» Помета: «MW 27 III 31».

[2] См. п. 554, примеч. 1.

[3] В. Н. и К. В. Дороговы – муж и сын Дороговой.

[4] В. П. Купченко зафиксировал позднейший рассказ Дороговой: «Летом 1931 г. я все-таки посетила Максимилиана Александровича и Марию Степановну, – но очень коротко. Помню даже выступление кого-то из писателей. Нашла их очень изменившимися. Это было последний раз, что я их видела».

557. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

28 марта 1931 г. Коктебель

28/III 1931.

Милый Казик,

Я дня два <назад> послал тебе с одним знакомым письмо, тревожное.[1] Но оно было вызвано крайней тревогой Маруси, которая и вообще находится в крайне подавленном состоянии духа после смерти Татиного отца.[2] О которой ничего, кроме самого факта, не знаем до сих пор. Так что сегодня же Мар<уся> посылает тебе телеграмму, чтобы ты не реагировал слишком энергично на это письмо. Мы эти дни узнали, что слухи такие действительно существуют, но что они исходят не от К<ооператива?>, не от С<ель>сов<ета>, а представляют толки деревенской молодежи.

А между тем мы вчера получили телеграмму от Союза писателей, что он устраивает у нас этим же летом Дом отдыха для писателей и высылает к нам на днях представителя (по-видимому, т. Черкасского — вот если ты его повидаешь перед отъездом и несколько его подготовишь о Коктебеле и о нас, то это будет очень хорошо). Вероятно, у тебя теперь уже был наш знакомый С. А.[3], и ты с ним поговорил. На всякий случай: он нам не близкий человек, но, на мой взгляд, человек добрый и исполненный самыми лучшими намерениями, у которого за несколько дней в Коктебеле скопилось много материала о произволе и о бесправии здешнем, он даже хотел писать личное письмо Сталину обо всем, чему он был свидетелем. Поэтому я просил его зайти к тебе раньше и, кроме моего письма, передать на словах все, чему он был свидетелем. Так как ты сам видел Коктебель, то тебе не будут неожиданностью его рассказы. И из них ты поймешь и наше душевное настроение, и панику Маруси, и психологию моего письма — нам всегда приходится принимать защитные меры *заранее*, т.е. по слухам, иначе будет поздно. К счастью, на этот раз тревога наша оказалась преждевременна. Крепко обнимаю тебя. Прости за тревогу.

Макс.

[1] Это письмо (с сообщением о новых угрозах со стороны местных властей), видимо, не сохранилось.

[2] Имеется в виду С. И. Златогоров — отец Т. С. Златогоровой. См. п. 554, примеч. 1.

[3] Сергей Алекс. (упоминаемый в п. 554).

558. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

1 апреля 1931 г. Коктебель

1/IV 1931.

Милый Казик,

у нас очень грустные дни. Я уже дня четыре тебе не писал. Очень трудно тебе писать. Марусино бурное отчаяние утомилось, но не кончилось. Она уже не кричит криком, а молчит

часами, иногда всхлипывает и бормочет: «такого человека... такого человека...»[1] Из Питера вестей и подробностей никаких.

Мы остаемся перед голым фактом смерти... и никаких комментариев... Погода – не радует: весна, т. е. последние пароксизмы зимы: ветры, вихри, метели, снежные ураганы, несвоевременные холода... Словом: цветет миндаль, этот момент по местной метеорологии всегда сопровождается холодами.

Теперь-то ты уже повидался с С. А.[2] и побеседовал с ним, и можешь себе представить стиль и склад нашей жизни и ежедневных впечатлений. Не хочу углубляться и входить в подробности. Я целиком погружен во внутреннюю борьбу с действительностью – своим методом – весь день молюсь за насильников.

Вчера было последнее письмо твое от 23/III. С тех пор ты уже получил письмо от С. А.[3] и мою телеграмму, чтобы удержать тебя от чересчур быстрой и энергической реакции на это письмо. И мое следующее письмо,[4] разъясняющее нашу тревогу и наше успокоение за собственную судьбу.

От Союза писателей больше ничего. Ждем приезда их представителя т. Черкасского. Да еще пришло от них переводом 100 р. – очевидно, первое жалование как хранителю архива.

Ждем с нетерпением приезда Черкасского, т<ак> к<ак> с ним выяснится вопрос и <о> летнем питании в Доме отдыха, и о возможности наших летних гостей.

Из письма д<окто>ра Саркизова узнал, что ты каким-то образом с ним встретился. Это прекрасный и добрый человек, редкой импульсивности и энергии. Я его очень люблю и уважаю, и ценю его, и очень тебе его рекомендую. Очень ценю его дружеское расположение ко мне, но несколько опасаюсь его импульсивности и слишком энергичных и быстрых действий.

Шлю тебе акварельный привет и призыв.

Max.

[1] Реакция на известие о смерти С. И. Златогорова (см. п. 554, примеч. 1).

[2] Сергей Алекс. (упоминаемый в п. 554 и 557).

[3] См. примеч. 1 к п. 557.

[4] Имеется в виду п. 557

559. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

4 апреля 1931 г. Коктебель[1]

4/IV 1931.

Милый Казик,

несколько дней мы не имеем писем никаких и ни от кого. Это крайне удручает. Но вчера пришло твое письмо от 28/III, и стало немного легче. Но на душе очень скверно.[2] Я тебе не писал несколько дней. У нас нет душевного спокойствия и равновесия. Маруся внимательно следит за моей корреспонденцией и, если в письме моем есть какие-нибудь намеки на волнующие нас дела, то налагает цензурное veto, это, конечно, разумно, но я невольно теряю равновесие, ибо нет ничего более нудного и досадного, чем переписывать вновь дружеские и небрежные строки.

Зима кончается, но весна приходит студеная и ветреная и пока доносит к нам с севера клубы неистовых снежных вьюг, которые изнемогают на берегу белыми саванами по горам и вокруг дома.[3] Зима эта была очень душная и волнучая, и тот воздух, который привозят в складках одежды приезжающие с севера друзья, не только не облегчает, но привносит новые тревоги. Я пишу общими словами, а о местных делах ты уже знаешь из бесед с С. А.,[4] который в Москве с 29/III.

Что Ася Г<инцбург> в Москве, я уже подозревал по ее словам в письме о неизбежном отъезде из Казани.[5] В Москве ее ждет мое письмо у Жени Ребиковой. Я думаю, что она после него скоро соберется к нам.

Посылаю тебе акварельный привет. В этих текущих и ежедневных впечатлениях окружающего все-таки как-то отражается состояние души больше, чем в словах.

Рекомендую тебе и Е<лене> К<арловне>[6] эти акварельки окантовывать, взявши предварительно в паспарту – цветное сероватое – дополнительного тона к самой акварели. Так они становятся гораздо красочнее и красноречивее.

Спешу сейчас закончить это письмо, чтобы оно сегодня ушло. Очень жду от тебя малый запас конвертов в 1/8 писч<его> листа, о которых как-то просил. У меня иссяк запас.

Твой Макс.

[1] В подборке писем Волошина к К. М. Добраницкому сохранился незаконченный предварительный текст этого письма, датированный 2 апреля 1931 г

[2] В предварительном тексте письма: «Вообще сейчас на душе очень скверно, т<ак> к<ак> не проходит дня без горестных вестей, подымающихся кругом. Об них я не пишу тебе потому, что дружеская и родственная цензура М<арии> С<тепановны>, внимательно и настороженно следящая за моей корреспонденцией, восстает против них, и я, не покорствуя и в гневе, я сам истребляю их... Такова судьба моего вчерашнего письма»

[3] В предварительном тексте письма: «Время уже кому-нибудь из желанных гостей нарушить наше затянувшееся и нервное всезимнее tête à tête».

[4] Сергей Алекс. (см. п. 554, 557, 558).

[5] В письме к Волошину от 28 марта 1931 г. Добраницкий сообщал о Р. М. Гинцбург: «Вчера я узнал потрясающую новость: приехала в Москву Ася. Я ее еще не видел. Пока что она ко мне не звонила» (ДМВ, № НВ–6987). 18 марта 1931 г. Р. М. Гинцбург писала Волошину из Казани: «...думала на днях ехать в Москву, но задержалась <...> 23-его я еду в Москву, почти наверняка» (ДМВ, № НВ–6847).

[6] Е. К. Добраницкая.

560. С. Н. ДУРЫЛИНУ

14 апреля 1931 г. Коктебель

14/IV 1931.

Дорогой Сережа,

твое письмо, написанное на Благовещенье,[1] дошло до нас лишь сегодня на III-ий день Пасхи, и наше настроение до полного тождества соответствует твоему... И лист не лист... и цвет не цвет... как я писал в 1915 году в самом начале войны.[2] Томление невыразимое и тоска – кругом и в нас. У нас пробовали провоцировать весну: скворцы, солнце, цветущий миндаль... Но все кончалось северным ветром, стужей. И северными мятелями, которые одна за другой приходят к нам засыпать нас белыми цветами и изнемогать на берегах теплого моря.

Ждать к себе летом при местном голоде и при теперешних тарифах не приходится. Для полноты аналогии – я на

Страстной[3] распростудился <?> и всю Пасху не покидаю комнаты. Питаемся мы слабо – посылками. Нас не забывают...

Но все относительно – на праздники к нам пожаловал неожиданный гость: пес Мамет из Султановки. Мы ему всегда рады. Но вот он у нас провел три дня, и мы уже думаем, как отказать ему от дома, – нечем его кормить – хлеба так мало, что на его здоровый аппетит не хватает – это уже объективный признак нищеты и ущерба.

Вообще Коктебель без людей очень уныл. Письма приходят, но какие-то пустые, точно выжатые.

Новых книг совсем нет. Всю зиму довольствуюсь старыми залежами собственной библиотеки: перечитываю классиков, старые журналы – французские и русские.

Личное творчество и работа (даже живопись) идут на ущерб. Очень, очень грустно. Эту зиму чувствовал себя не в любимом Коктебеле, а в очень глухой и далекой ссылке. Очень удручают вести о распространении эпидемических болезней среди знакомых.

Лично к нам судьба благосклонна – она нас охраняет среди общего разгрома. Но мы себя чувствуем всегда висящими на волоске. Творческого и душевного спокойствия – нет. Но часто бывает страстное и молитвенное уныние.

Очень рад, что тебе полюбились стихи Вс. Р<ождественского>.[4] Я его очень люблю как поэта. Маруся его теперь поет <?> и очень удачно. Если успеет, она в это письмо вложит тебе еще его стихов. Посылаю тебе и Ирине[5] еще акварелек.

Крепко Вас обоих обнимаю, люблю и тревожусь.

Макс.

[1] Благовещение – 25 марта / 7 апреля.

[2] «И лист – не лист, и цвет – не цвет» – строка из стихотворения Волошина «Весна» («Мы дни на дни покорно нижем...», 26 апреля 1915 // Т. 1 наст. изд. С. 237).

[3] Страстная неделя в 1931 г.: 5–11 апреля.

[4] «Я не знаю стихов Рождественского и буду рад их получить», – замечал Дурылин в недатированном письме к М. С. Волошиной (начало января 1931 г. // ДМВ, № НВ–7584). В упомянутом выше Волошиным, также недатированном, письме Дурылин признавался: «Сти-

хи Рождественского о Коктебеле чудесны. Я давно не читал таких прекрасных, ярких и вместе лирически-чистых стихов. Я, к сожалению, плохо знаю поэзию Рож<дественско>го» (Там же, № НВ–7593). «Чудесные стихи Рождественского» Дурылин упоминает еще в одном (недатированном) письме к Волошину (Там же, № НВ–7583).

[5] И. А. Комиссарова.

561. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

27 апреля 1931 г. Коктебель

27/IV 1931.

Дорогой Казик,

Прошло много дней – ты вернулся из Ленинграда, прислал телеграмму – мы ответили, и вот уже 2 недели от тебя нет ни строчки. Собственно, нет ни строки со времени твоего свидания с С. А., приезжавшим из Коктебеля.[1] Что с тобой? Занят ли ты так зверски, что нет минуты на несколько строк письма, или ты изменился к нам? и наши письма тебе надоели? Последнее считаю вполне возможным, потому что нахожу, что письма мои это время очень докучны и нудны, как вообще все письма, что мы получаем эту зиму. Вероятно, это зависит от одних причин, и причины эти лежат в том критически-цензурном взгляде, которым каждый просматривает свои письма, прежде чем их опустить в почт<овый> ящик, и это сказывается на общем обес<ц>вечивании писем. Это создает (у меня лично) страшную тоску по человеку. Сейчас весна, и мне не с кем побеседовать обо всем, что накопилось за эту зиму. А приедет ли кто из знакомых этим летом – совершенно неизвестно. Вопрос о питании общественном в Коктебеле совершенно открыт, и только на днях пронесся более или менее достоверный слух, что в мае откроется общест<венная> коммерческая столовая. Недавно, когда было особенно одиноко, к нам неожиданно заявился: «писатель».[2] Я его не называю и не особенно долюбливаю и знаю как человека крайне бестактного и «пьющего». Литературу его за общее его направление недолюбливаю. Но нахожу в ней иногда совсем

неожиданную тонкость и деликатность образа. Он начал свою беседу к<онтр>революционными речами в таком стиле, что от него бы павианы покраснели.

Много говорил об общих знакомых. Но так, что я чувствовал себя оскорбленным за людей. Есть разные основные тонусы зрения. Художники это знают и походя, говоря друг о друге, выражаются «он видит приземисто», «он видит удлиненно». А этот видел всех «подло». Темы его разговора сводились к тому, как тот или этот «подлизывается» или «подыгрывается». И подразумевалось, что он-то, «говорящий», никогда и <ни> к кому не приспосабливается. Все время он свои мнения запивал глотками из бутылочки, которую доставал из бокового внутреннего кармана, где бумажник. Это давало ему неиссякаемо-скучный и однообразный подъем красноречия. Пробку из бутылки он вынимал тех<н>иче<с>ки ловким жестом: подшлепником... Я иногда не выдерживал и начинал на него кричать. Тогда он съеживался и робким голосом говорил: «Я же Ваш – гость... на гостей нельзя кричать». М<арию> С<тепановну> он заставлял три раза подряд ставить самовар: «Я хочу крепкого чаю и горячего. Я живу только нервами. Мне их надо все время взвинчивать». Он остался у нас ночевать. Мы его положили в столовой, и он ночью нагадил во все ведра с чистой водой для питья. Это был финал. Провожая его, я ему сказал: «Я вас всегда рад видеть, но те бутылочки, что Вы носите в кармане, мне глубоко неинтересны: они всегда говорят одно и то же во всех, кем бы они ни были выпиты. Я сам не пью и беседовать с ними из чужих уст считаю очень скучным». «Словом, – сказал он, – Вы деликатно высказали мне, что меня трезвого вы с радостью принимаете, но пьяного вовсе не хотите меня видеть».

– Вы меня поняли совершенно точно.

Потом он распростился, но из Коктебеля ему не удалось уйти. Он зашел еще раз в Кооператив, и ночью мы узнали, что просил приюта на ночь у одного из наших соседей, но к нам уже не появлялся.

Так была удовлетворена судьбой моя жажда «человека».

Сейчас я чувствую себя пресыщенным людьми, впечатлениями, разговорами...

Заканчиваю письмо и, чтобы дать тебе немного понятия, о чем я молчу весь день, ходя по горам и по берегу моря, вкладываю тебе несколько акварелей.

Крепко обнимаю тебя. Не изменяй нам.

Макс.

[1] Сергей Алекс., доставивший К. М. Добраницкому неизвестное нам письмо Волошина (см. примеч. 1 к п. 557).

[2] Имеется в виду живший с 1930 г. в Старом Крыму прозаик Александр Степанович Грин. Он посетил Волошина 22 апреля 1931 г. и ушел от него утром следующего дня См.. *Купченко В.* Второе «я» Александра Грина // Брега Тавриды. 2003. № 1 (66). С. 249–254. Как известно из письма Грина к И. А. Новикову, он приходил пешком из Старого Крыма в Коктебель через Амеретскую долину (*Сандлер Владимир.* Вокруг Александра Грина: Жизнь Грина в письмах и документах // Воспоминания об Александре Грине. Л.: Лениздат, <1972>. С. 558).

562. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

4 мая 1931 г. Коктебель

4/V 1931.

Дорогой Казик,

отсутствие писем от тебя нас так переволновало, что мы не знали, что и думать, и решили – если ничего не получим, то сегодня 4/V писать письмо Елене Карловне[1] – с запросом о тебе. Но вчера, к счастью, пришло письмо твое (после болезни), и все выяснилось.[2] Бедный Казик! Я не испытывал сам боли в печени, но не раз был свидетелем припадков и представляю, как это мучительно, особенно когда приходит в самый разгар интересной и захватывающей работы. Меня очень обрадовало твое назначение в Худ<ожественный> полит<ический> совет МХАТ. Очень радуюсь за этот театр, который вырос и создался на моих глазах и сторонником которого я всегда был.[3] Я думаю, что твое близкое участие в его делах много ему поможет и облегчит.

Твое письмо меня вообще очень порадовало. Какое счастье работать с таким настроением над любимым широким и живым делом!

И свое-то бессилие в творческой работе я объясняю полным расхождением общей работы с личными моими устремлениями. К сожалению, прекрасно сознавая все, чем ты сейчас трепещешь и звенишь, я в окружающей действительности не вижу ничего из идей, тебя одушевляющих. Напротив, самим нам приходится видеть кругом только эгоистическую тупость, которая давит и убивает все живые ростки живой жизни.

Ты сам отчасти видел Коктебель и можешь продолжить ту же линию к задачам текущей минуты сообразно юридическому пунктиру, который тебе наметил наш знакомый С. А.,[4] которого мы просили тебе рассказать о своих впечатлениях. Хотя я себе совсем не представляю, как именно он это исполнил, и что-то мне подсказывает, что это было выполнено неудачно (ни он сам, ни ты — ни слова об этом не написали).

Словом — я очень рвусь из Коктебеля и надеюсь, что зимой из Москвы (с твоей помощью) вынесу совершенно иные мысли и впечатления, и настроения.

Думаю, что ты сам чувствуешь, какую громадную роль ты играешь в нашей жизни.

Когда от тебя не приходило писем, то мы были совсем как потерянные. А когда нам приходило в голову, что ты нас разлюбил, то это была целая катастрофа жизни.

Вообще ты для нас стал некое лекало правоты советской власти и, если случается на наших глазах нечто вопиющее, то первое слово наше: «А Казик...»

Сейчас весною Коктебель начал наполняться «домами отдыха», но наш дом пока пуст. И едва ли он этим летом оживет. Очень трудно с питанием. Ни на какую общественную столовую рассчитывать нельзя. А без нее к нам никто приехать и не решится.

С «Союзом писателей», очевидно, ничего не вышло. Они, было, решили устроить у меня Дом отдыха для писателей и собирались прислать к нам представителя. Но представитель

не приехал, а теперь время упущено. В течение мая должна приехать Ася.[5] Я ей написал, чтобы она до отъезда зашла к тебе (1/ помириться, 2/ передать от тебя порученья и книги, если будут). Крепко тебя обнимаем. Ждем в июле.

Макс.

[1] Е. К. Добраницкая.

[2] В письме от 27 апреля 1931 г. К. М. Добраницкий просил извинить его за долгое молчание, вызванное болезнью («фантастический припадок печени»), а также сообщал о своей новой службе: «За время моего припадка <...> получил я письмо о назначении меня членом художественно-политического совета Моск<овского> Художественного Театра. Худ<ожественно>-полит<ический> Совет – это контрольный орган при дирекции Я доволен этим назначением, хотя оно и сваливается на меня вдобавок к моей работе в Институте в качестве бесплатной общественной работы. Именно в Худ<ожественном> Театре, мне кажется, я смогу принести определенную пользу» (ДМВ, № НВ–6989).

[3] Московский Художественный (до 1901 г. – Художественно-Общедоступный) театр был основан К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко в 1898 г. Волошин в это время жил в Москве; известно, что 25 октября 1898 г. он смотрел в этом театре постановку пьесы Г. Гауптмана «Потонувший колокол», в начале ноября – комедию У. Шекспира «Венецианский купец» и 17 декабря – пьесу А. П. Чехова «Чайка» (Труды и дни. С. 62).

[4] Сергей Алекс. (см. примеч. 1 к п. 561).

[5] Р. М. Гинцбург.

563. Л. Д. ПАВЛОВОЙ

10 мая 1931 г. Коктебель[1]

Дорогая Лидия Дмитриевна,

вместо слов приветствую Вас этими акварельными видениями Коктебеля. Сейчас в полной изоляции от всех друзей вспоминаем прошлогодние дни с особенно умиленным чувством.[2]

MAX.

[1] Текст на обороте акварели, датированной 5 мая 1931 г.

[2] Л.Д. Павлова приехала в Коктебель 30 мая 1930 г (Труды и дни-2. С. 458). 3 октября 1930 г. Волошин надписал акварель: «Милой, деликатной и памятливой Лидии Дмитриевне – память о прекрасных днях начала лета 1930 года в Коктебеле» (ГЛМ // Там же. С 472).

564. Н. И. ТЮТЧЕВУ

11 мая 1931 г. Коктебель[1]

11/V 1931.

Многоуважаемый Николай Иванович,

только что до меня дошло горестное известие о кончине Феодора Ивановича.[2] Я его очень мало знал лично. Но он несколько раз писал.[3] И я сквозь редкие слова его имел возможность почувствовать его строгую, стыдливую и сдержанную душу. Как всегда в эти дни, когда узнаешь о смерти человека, которого знаешь и уважаешь, невольно приходит мысль: «Счастливец... От скольких оскорблений... болестей... и компромиссов он избавлен теперь...»

Насколько хуже тем, кто пережили его!

Максимилиан Волошин.

[1] К письму приложена пояснительная записка М.С. Волошиной: «Это письмо на акварели Мак<симилиана> Ал<ександровича> было написано им же Ник<олаю> Ив<ановичу> Тютчеву после смерти Федора Ивановича Тютчева, его брата. Я испугалась за последние строки письма – стала протестовать, сердиться, что Макс так пишет. Максу этот гнет и цензурный и мой был нестерпим. Он судорожно скомкал свою акварель и швырнул в корзинку. Мне очень было жалко его и стыдно и досадно за все. Мася быстро отошел, а я выгладила акварельку и сохранила. Письмо Ник<олаю> Ивановичу было написано другое. М. Волошина. 1937 г. Коктебель».

[2] Ф. И. Тютчев, внук поэта.

[3] Письма Ф. И. Тютчева в архиве Волошина не выявлены

565. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

12 мая 1931 г. Коктебель

12/V 1931.

Дорогой Казик,

все твои новости (письмо от 7/V) нас очень радуют. Ася – здесь.[1] Очень мила и в хорошем расположении к Коктебелю и к нам.

Тяжелая болезнь преобразила ее к лучшему. Радуется Коктебелю, морю и т.д.

Весьма сожалеем, что летом Елены Карловны не увидим и не узнаем до Москвы.[2] Куда зимой неизменно надеемся быть.

Твоему приезду в начале июня радуемся очень.[3]

В наших письмах естественно будет перерыв, соответствующий твоему отъезду в СПб.[4] Потому что были дни, когда я, устав ждать известий от тебя, совсем тебе не писал несколько дней.

Сейчас и настроение внутри, и настроение вне (погода) значительно улучшились. Настали благодатные, теплые и цветочные дни весны. В Коктебеле стало дивно хорошо. Но не радуют Дома отдыха, которые держатся группами, играют в городки во всех неудобных для этого местах и поют хором... по вечерам...

Увидать тебя в июне будет для меня громадная радость. И это будет как раз ко дню моего рождения (Духов день) в этом году около 1 июня.[5] Заранее тебя приветствую и обнимаю.

МАХ.

[1] Р. М. Гинцбург.

[2] Е. К. Добраницкая. 7 мая 1931 г. К. М. Добраницкий писал Волошину о ней. «Елена Карловна летом едет не в Ессентуки и Коктебель, а в Париж, Дакс, Киссинген» (ДМВ, № НВ–6991).

[3] В том же письме Добраницкий сообщал: «Буду в Симеизе 2 июня – и на 1–2 дня приеду».

[4] В том же письме Добраницкий сообщал о предстоящей поездке в Ленинград.

[5] Духов день в 1931 г. – 19 мая / 1 июня.

566. М. А. ПАЗУХИНОЙ

22 мая 1931 г. Коктебель

22. 5. 1931.

Милая Мария Александровна,

было бы очень хорошо, если бы все-таки решились приехать.[1] Я уверен, что если бы Вы были в Коктебеле, всё бы очень упростилось. Сейчас все бабы крайне напуганы, но у них к Вам большая симпатия и они очевидно сделают все, чтобы Вас не оставить без молока. Писать об этом неудобно.

МАХ.

[1] В письме из Москвы от 2–17 мая 1931 г. М. А. Пазухина сообщала М. С. Волошиной: «Увы, Марусенька, ваш голод и железнодорожный тариф удерживают нас здесь, для многих тариф является прямо заградительным. Я все-таки не теряю надежды осенью попасть к Вам Тянет уже сейчас, как весна, так всегда появляется это чувство. Ребята уже заявили, что никуда не хотят ехать, кроме как в Коктебель» (ДМВ, № НВ–14755). В другом письме к М. С. Волошиной (13–16 мая 1931 г.), известив о своем намерении провести лето в Доме отдыха Малого театра (в имении А. Н. Островского Щелыково под Кинешмой), Пазухина добавляла: «Я не оставляю надежды съездить <...> к Вам хоть на несколько дней, не могу я вернуться в Москву, не повидав Вас» (ДМВ, № НВ–14758).

567. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

24 мая 1931 г. Коктебель

24/V 1931.

Дорогой Казик,

твое письмо пришло в радостную минуту, мы дождались, наконец, представителя Союза с<оветских> писателей, и передача флигеля состоялась.[1] Дом отдыха для писателей будет и вместе с ним питание: они входят в договор с Домом Наркомпроса относительно его, и это, по-видимому, устроится. Теперь все будет выяснено в Москве.

Сам представитель – Островер – человек средний, но нам было очень радостно с ним проговорить двое суток – уж очень мы изголодались по людям за всю зиму. Ася[2] же мало удовлетворяла нашу жажду. С<оюз> С<оветских> П<исателей> пошел на все наши желания. Он сулит мне, как хранителю и заведующему архивом, 150 р. в месяц. Что нам вполне достаточно на жизнь. Марусю просит пока остаться заведующей домом. Это ее не радует (т<ак> к<ак> на нее ложатся новые заботы), но для начала это необходимо, чтобы утвердить наши традиции и провести наш испытанный служебный персонал.

Так что хотя у нас в беседе случалось много этических неувязок, но, в общем, мы разошлись дружески и, по-видимому, остались друг другом довольны, и сейчас у нас большое успокоение и радость. Теперь твой приезд в начале июня, т. е. не за горами, дополнит ее вполне.

Кроме того, «Союз» сулит нам комнату в своем доме на зиму. Это нас еще более устраивает.

«Писатели» к нам начнут приезжать с 1 июня.

Всему, что ты пишешь о своем отношении к институту,[3] – я глубоко и сердечно радуюсь, но об этическом значении положения «цель оправдывает средства» мы еще много будем говорить, но это только при свидании.

Ася... Я определяю ее жизненную функцию как замащивание Ада (в ударном порядке) (благими намерениями). Сейчас она спешно мостит Коктебель. Но я все-таки очень учитываю благость и возвышенность ее намерений и мало раздражаюсь, чего не могу сказать про Марусю. Пока Ася – наша единственная гостья. Но с первого начнут приезжать на<м> неведомые «писатели», и начнется новая волна отношений. Маруся вложит в это письмо свое приложение, каковое было вложено и в прошлое. Неужто не дошло?

Отобрал ли ты акварели из тех, что я послал тебе для художеств<енного> магазина? Крепко обнимаю. Жду.

MAX.

[1] Имеется в виду письмо К. М. Добраницкого от 15 мая 1931 г 21 мая 1931 г. в Коктебель приехал Л. И. Островер в качестве представителя Союза писателей (Труды и дни-2. С. 489). В тот же день

М. С. Волошина писала М. А. Пазухиной. «Флигель мы подарили Союзу писателей, сейчас у нас был представитель; возможно, что они для питания соединятся с наркомпросовским домом отдыха Мейерхольда для кормежки < ..> – и тогда живущих у нас тоже можно будет включить хотя бы на обед» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 245). Волошин подписал два приводимых ниже документа (оба – машинопись, подпись и дата – автограф // ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 65, л. 5, 4):

Я Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин – поэт, художник и критик приношу в дар Всероссийскому Союзу Писателей каменный флигель моей дачи, утвержденной за мною постановлением Крым-ЦИК'а (от 29/I 1925 за номером 03945), для устройства дома отдыха писателей под именем «ДОМ ПОЭТА».

Максимилиан Волошин.
22/V 1931.

Я Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин – поэт, живописец приношу в дар Всероссийскому Союзу Писателей мой литературный архив, состоящий из двух ящиков писем моих современников, полученных в течение сорока лет моей жизни, с тем, чтобы архив перешел в полное распоряжение лишь после моей смерти. До этого я остаюсь его хранителем и в качестве такового прошу с<оюз> п<исателей> выдавать мне прожиточный минимум в количестве ста пятидесяти руб. в месяц.

Кроме переписки и черновиков моих произведений в архив входят рукописи иных писателей.

То же самое относительно моей библиотеки численностью приблизительно от 8 до 9 т<ысяч> томов (больш<ей> частью на французском языке)

В случае моей смерти моя жена должна быть привлечена к разбору и определению судьбы моего архива.

Максимилиан Волошин.
23 V 1931.

[2] Р. М. Гинцбург.

[3] Речь идет о Геофизическом научно-исследовательском институте (см. примеч. 2 к п. 551). 15 мая 1931 г. Добраницкий писал Волошину. «Устал невероятно. Но это хорошо, потому что раньше я тратил на Институт меньше времени, т<ак> к<ак> был только администратором. Теперь же я и администратор, и хозяин Института. Я начинаю понимать, *зачем* делается та или иная работа, *нужна* ли она.

И к Институту у меня большая нежность. 22-го я уезжаю на 4 дня в Ленинград по делу, и меня заранее тревожит вопрос о том, как я оставлю Институт» (ДМВ, № НВ–6992).

568. Е. Я. АРХИППОВУ

25 мая 1931 г. Коктебель

25/V 1931.

Дорогой Евгений Яковлевич,

получил Ваше письмо от 13/V.[1]

Конечно, жду Вас с нетерпением и радостью. Но должен сказать, что Вы не могли выбрать эпохи более неудобной в экономическом смысле: в Крыму голод. В Кооперативе не дают приезжим ни хлеба, ни керосина. Обществ<енных> столовых нет в К<октебе>ле.

«Дома Отдыха», которых несколько, питаются, но на питание не принимают.

Эти дни я занят с головой: передаю свой флигель Союзу Писателей,[2] который под моей фирмой «Дом Поэта» – открывает Д<ом> отд<ыха> для писателей (пока входя в договор с Дом<ом> отд<ыха> Наркомпроса). Чтобы получить питание там, надо войти в сношения с Союз<ом> Писателей (Тверской бульв<ар>, д<ом> Герцена). Но это сложно. Пожалуй, для Вас будет проще получить *питательную путевку* в Д<ом> отд<ыха> Наркомпроса. А поселитесь у нас. Но об этом надо Вам с ними списаться заранее и вовремя известить нас, т<ак> к<ак> мы сильно сокращаемся в смысле жилплощади.

Привет от нас Клавдии Лукьяновне.[3]

Ждем от Вас вестей и Вас лично.[4]

Волошины.

[1] 13 мая 1931 г Е. Я Архиппов писал Волошину: «Приближается мой отпуск, и мы только и думаем, что о Коктебеле, о Вас, о “доме поэта”. Этим письмом я хочу просить у Вас разрешения приехать к Вам в начале июня... Все еще не верится, что я буду в Киммерии, увижу Вашу мастерскую, статую Таиах, Ваши акварели .. Скажите, сколько следует прожить в Коктебеле, чтобы видеть *всё внимательно*,

и вместе, не обеспокоить Вас. Хотелось бы спросить Вас, дорогой Максимилиан Александрович, об *экономической* стороне жизни в Коктебеле... Всеволод Александрович <Рождественский. – *Ред.*> мне ничего не рассказывал именно об "экономике". можно ли достать хлеб, молоко и проч....» (ДМВ, № НВ–6629).

[2] См. примеч. 1 к п. 567.

[3] К.Л Архиппова.

[4] Е Я. и К.Л. Архипповы приехали в Коктебель 8 июня и прожили там до 23 июня 1931 г. Их пребывание у Волошиных подробно описано в дневнике Архиппова (см.: Воспоминания о Максимилиане Волошине / Составление и комментарии В. П Купченко и З.Д. Давыдова. М.. Сов. писатель, 1990. С. 595–608)

569. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

3 июня 1931 г. Коктебель[1]

3/VI 1931.

Дорогой Казик,

мы уже начали тебя поджидать из Симеиза в первых числах июня. И думали: «А, может, уже сегодня!» и вдруг получаем твое письмо от 29/V, в котором нет ни намека о твоих сборах в Крым. Это разочарование. То, что ты пишешь об Анне Андревне – очень печально.[2] Мы уже столько раз пытались ее заманить к нам.

Ася[3] исполнена *благих намерений* и мостит ими Ад в ударном порядке. И т<ак> к<ак> мостовая вся приходится всё на наш дом, то у него иногда проскальзывает неожиданно сходство с этим Учреждением.[4]

Мое настроение сильно повысилось. Но одиночество полное, хотя и Кокт<ебель> переполнен отдыхающими.

Очень жду и жажду тебя.[5] Крепко тебя обнимаю.

Мах.

Приписка М.С. Волошиной:

Мы сегодня утром ждали тебя, и стало очень грустно, когда получили письмо и ни намека в нем, что ты будешь на

днях. Когда же приедешь? Целую. Маруся. Спасибо за хорошее чувство и ласку к нам. Ждем. Маруся.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 3. 6 31; Москва. 8. 6. 31.

[2] В письме от 29 мая К М. Добраницкий сообщал о своей поездке в Ленинград и о встрече с А. А. Ахматовой: «Видел я в Ленинграде Анну Андреевну Ахматову. Она очень больна. (Туберкулез). Вряд ли доживет до осени. Она похожа на чахлую больную птицу Сказать Вам не могу, как мне ее жаль. Я очень доволен, что здесь, в Москве, могу помочь ей в одной мелочи» (ДМВ, № НВ–6993). В следующем письме, от 31 мая, Добраницкий добавлял: «Привет Масе от А. Ахматовой. Она очень больна» (ДМВ, № НВ–6994). На фотографии, наклеенной на верхний форзац второго тома машинописного сборника ее стихотворений, Ахматова сделала надпись: «Казимиру Мечеславовичу Добраницкому на память о нашей второй встрече – Анна Ахматова. 1931. 22/5». На первом томе того же машинописного сборника – надпись: «К. М. Добраницкому с приветом Ахматова» (Автографы поэтов серебряного века: Дарственные надписи на книгах. М.: Книга, 1995. С. 38).

[3] Р. М. Гинцбург. Добраницкий писал о ней Волошину 7 мая 1931 г.: «Насколько мне известно, Ася находится у Вас. Как Вы справляетесь. Мне рассказывали, что она ходит невероятно злая, раздраженная, вечно на всех обиженная. Вам, очевидно, суждено этой весною излечиться от тоски по людям» (ДМВ, № НВ–6991)

[4] В ответном письме к Волошиным от 31 мая Добраницкий замечал: «Очень зло Мася написал об Асе и ее благих намерениях».

[5] В письме к Волошину от 31 мая Добраницкий выражал сомнение в том, что выберется в Крым в июне.

570. С. Н. ДУРЫЛИНУ

5 июня 1931 г. Коктебель

5/VI 1931.

Дорогой Сережа,

весна наступила – цветущая, влажная, вся зеленая. Коктебель полон Домами Отдыха. Но для меня длится зимнее безлюдье, и едва ли мы дождемся за лето кого-нибудь из обычных гостей: голод и то, что приезжим не выдают хлеба, всех отпугивает.

Это и подступившая к нам наконец вплотную индуст<р>иализация Карадага совершенно изменяет смысл и сущность Коктебеля и превращает его для меня в место ссылки. Мне это грустно тебе писать, но ничего не поделаешь.

Крепко обнимаем тебя и Ирину[1] и шлем вам одновременно то, что сохранилось от старого Коктебеля: цветущие маслины.

Запахи Коктебеля остались прежними. Плохие вести о здоровьи А. Ахматовой – она (пишут) едва ли дотянет до осени.[2]

А сколько я делал попыток раньше заманить ее в Коктебель.

Max.

Приписка М. С. Волошиной:

Дорогой Сергей Николаевич, посылаю Вам запах нашей земли, она сейчас вся им благоухает. И это последний запах – потом только полынь. А то цвели травы, дрок, ирисы <*нрзб*> сено. Весна была буйная <?>, цветная. Мы одни. Макс грустит. У меня масса долга, с 15 VI приезжают писатели, мы ведь каменный флигель подарили С<оюзу> п<исателей>. Но дом привожу в порядок я. Немного тревожно, что будут эти «писатели». Я физически стала с весной крепче. А Макс – нет, апатичный, быстро устает, бывают сердечные перебои. В общем, живется тяжело и очень, очень одиноко. Не забывайте нас, пишите. Обнимаю Вас и Ирину крепко, будьте здоровы. Всего, всего доброго.

Маруся.

[1] И А. Комиссарова.
[2] См. примеч. 2 к п. 569.

571. М. С. АЛЬТМАНУ

18 июля 1931 г. Коктебель

18/VII 1931. Коктебель.

Дорогой Моисей Семенович,

получил Ваше письмо, книгу Филострата и обещание самого себя на сентябрь.[1] За все благодарю с нежностью.

Тоже и за судьбу моего «Сурикова».[2] На все «искажения» согласен, т<ак> к<ак> слишком долго ждал. Но если поправки коснутся слов самого Сурикова, то не скрою, что буду очень огорчен и возмущен. Впрочем, все это доверяю Вашему дружескому такту. Все материалы о биографии Сурикова были мною использованы в посмертной статье, появившейся в «Аполлоне».[3] И больше у меня не найдется ни одной черточки, т<ак> к<ак>, составляя монографию, я использовал всё до последней крупицы.

Вообще ее текст мною многократно читался и исправлялся, и на него можно смотреть как на *дефинитивный.*

Отвечаю Вам с некоторым запозданием, которое указывает, что с приездом Тамары[4] наша жизнь приобрела обычные летние темпы после вынужденной человеческой диеты и безлюдья. Положение питательное такое же, как было: в Коктебеле — голод, и приезжим ничего не дают – надо устраиваться в Домах Отдыха. Сделать это в Центре очень просто – стоит лишь купить «путевку». Здесь – невозможно. Но Тамаре повезло – она устроилась.

Теперь, когда у нас живут многие питающиеся в Дом<е> Отд<ыха>, то наше положение с Марусей значительно улучшилось, хотя часто бывает, что с утра у нас на обед не бывает *ничего.* Итак, жду Вас с величайшим нетерпением и ревную к Батый-Лиману. До свиданья. Получил письмо о<т> Таты Шлипс о скором приезде.[5] Приедет ли Эльга?[6] Привет им и Вас обнимаю.

MAX.

[1] Имеется в виду недатированное письмо М.С. Альтмана к Волошину, в котором он сообщал: «Я <...> буду еще в Ленингр<аде> до 1 августа < ..>. После этого срока я, может быть, поеду в Бати-лиман. Если это будет так, то я к Вам приеду хоть “на минуточку” в начале сентября» (ДМВ, № НВ–6603. Батилиман – урочище и бухта под Балаклавой; в 1924 г. там был организован дом отдыха для ученых). Упоминается издание: *Philostratus Flavius.* Apollonius de Tyane: Sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate et ses letters / Ouvrages traduits du grec avec introduction, notes et éclarissements par A. Chassang. Deuxième édition. Paris: Didier et Cie, 1862. Экземпляр, хранящийся в библиотеке Волошина, – с дарительной надписью на авантитуле: «Дорогой

Максимилиан Александрович, Вас достойный собеседник Аполлоний Тианский наконец к Вам прибывает.. С сердечнейшим приветом М. Альтман. 26/VI 31» В книге имеются пометы Волошина. См.: Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 343–344 (надпись Альтмана воспроизведена факсимиле).

[2] О монографии Волошина «Суриков» Альтман писал ему еще 12 января 1931 г.: «Вашу рукопись о Сурикове так долго задержал, хлопоча, не удастся ли ее пустить в печать Очень мало надежд, ибо хотя всем нравится, но своенравна и далека от задач ближайшей пятилетки» (ДМВ, № А–1282). В цитированном выше письме Альтман развивал ту же тему: «Три месяца, как я с одного срока на другой откладывал Вам письмо. Откладывал потому, что мне казалось – еще немного, и я смогу, наконец, сделать Вам определенное сообщение по поводу Вашей работы о Сурикове, которую я предложил издательству Союза писателей. Мои ожидания увенчались успехом. Ваша работа, если Вы на то согласны, будет издательством напечатана, вопрос прошел уже все главные инстанции. Единственное, о чем Издательство, пожалуй, будет Вас просить, это – разрешить ему, или сделать самому, кое-где некоторые *несущественные* и *незначительные* изъятия для *цензуры*. Зато Вы вправе увеличить материал, характеризующий Сурикова по Вашим личным впечатлениям, эта сторона Вашей работы заинтересовала многих, и меня спрашивали, использован ли Вами всецело имеющийся у Вас материал и, в частности, Ваша статья в “Аполлоне”? Если Вы согласны (а не согласиться нет никаких оснований: издательство относится и к Вам и к Вашему труду с уважением и полным, ему отпущенным, вниманием), напишите, пожалуйста, мне, и тогда я двину дело дальше. Мое обращение к Вам по этому вопросу исходит не от меня только, но и ответственных лиц издательства. Поэтому Ваш ответ приму как полномочие действовать в том или ином направлении» (ДМВ, № НВ–6603). Очередная попытка опубликовать книгу Волошина «Суриков» не привела к положительному результату.

[3] Имеется в виду статья «Суриков (Материалы для биографии)» (Аполлон. 1916. № 6/7. С. 40–63). См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 560–591.

[4] Т. С. Салтыкова. Она приехала в Коктебель 10 июля и привезла письмо Альтмана и книгу Филострата (Труды и дни-2. С. 495).

[5] В недатированном письме к М. С. Волошиной Т. А. Шлипс извещала: «Выезжаю из Ленинграда 17-го июля, следовательно у Вас буду верно числа 20-го, если сделаю остановку у <М. И.> Коссич, то

21-го» (ДМВ, № НВ–24013). Приезд Т.А. Шлипс отмечен в записи Волошина от 24 июля 1931 г. (Труды и дни-2 С. 496)

[6] Эльга – Любовь Григорьевна Альтман (урожд. Морейно; 1897 или 1898–1976), жена М.С. Альтмана.

572. К.М. ДОБРАНИЦКОМУ

28–29 июля 1931 г. Коктебель

Рукой М.С. Волошиной:

28/VII 31 г. 11 ч<асов> ночи.

Милый, хороший, видишь, как я консервативна, привыкла, что ты тут около нас и что нужно с тобой поделиться своими огорчениями, – ты еще до дома не доехал, а я тебе вдогонку уже пишу.[1] Сейчас Мася лег, Тамара[2] давно уже спит у меня в комнате на диване.

День был длинный нудный – ничего не успела сделать, а огорчений масса. Уехал ты, пусто – привезли дрова, но, увы, это не дрова, а хворост, и я их не взяла. Это солома, порох, но не дрова для зимы. Очевидно, произошло какое-то недоразумение, и я их взять не могу, это мне не нужно. Завтра с утра пойдет объясняться Тамара. Я совершенно огорчилась и в отчаянии. Это просто издевательство то, что они доставили. Дальше, но это огорчение Мася меня огорчил тоже.

На его вечерней прогулке к нему подошел домотдыховец и стал его интервьюировать, и он вспылил, и я опять, как тогда при тебе два дня тому назад, его грызла. И жалко мне его и устала я от всего этого очень. Сейчас нервы страшно вздернуты, и ни умилительный спящий Мася, ни длинноногая девченообразная спящая тут сбоку Тамара меня не успокаивают. Вот когда был тут ты, было спокойнее. Понимаешь, я подсознательно на тебя складывала свои опасения, заботы, тревоги. А ты ушел, и действительность вступила в свой черед.

Милый, милый, пусть тебе будет хорошо. Полюбил ли ты нас? Стал ли Коктебель тебе домом? Будешь ли стремиться сюда? Сейчас я очень устала и хочу заснуть.

Твою бутылку «Нарзана» поставила на погреб и думала вечером устроить красивую жизнь. Посидеть, поговорить о

тебе. Но. Тамара залегла спать. Островерица[3] привела девочку с ухом: что-то случилось – пришлось смотреть; затем Катя,[4] и вечер весь ушел.

Спать я не могу и вот, видишь, села побеседовать с тобою. Пиши нам чаще о себе и все. Будь счастлив и благополучен. До завтра, покойной ночи. Целую.

Маруся.

Рукой М. А. Волошина:

29/VII.

Милый Казик,

Маруся тебе написала, как прошел первый день без тебя. С дровами очень досадно: но Маруся права – это прутики – летом ими можно топить. Но на зиму они не годятся совсем. Сейчас Маруся с Тамарой пошли в колхоз и Сельсовет объясниться, но едва ли что удастся уладить.

Вечером я, к сожалению, очень ого<р>чил Марусю: ко мне во время прогулки подошел отдыхающий и начал говорить о коктебельском пейзаже (как<ой> хороший). А потом совсем неожиданно стал мне задавать вопросы о том, что же я хочу сказать своими пейзажами «рабочему классу». Я ему сперва ответил по-хорошему о теории цветов Гете и процитировал его слова, что живопись есть «трагедия солнечного луча, проникающего сквозь полупрозрачную среду»[5] и что другой темы для живописи быть не может.

Он же совсем для меня неожиданно стал рассуждать о том, что у Гете было классовое сознание эпохи и т. п. современные общие места. Я разозлился, стал фыркать. Но подошедший А. В. Потоцкий стал спасать положение и, по-видимому, спас своей деликатностью и мягкостью. Но Маруся, узнав, совсем разогорчилась: «Значит, тебя теперь нельзя даже гулять отпускать одного» и педагогически пилила меня весь вечер, а я просил прощения и смиренно обещал, что «больше никогда не буду».

Сейчас утро... Мы вернулись с прогулки с Арк<адием> Вас<ильевичем>... Маруся ушла в деревню говорить и попытаться уладить недоразумение (как она надеется) с дровами. А я подымусь и буду рисовать в ожидании П<отоцк>ого...

[1] Приезд К М Добраницкого в Коктебель отмечен в записи Волошина от 24 июля 1931 г. Уехал он из Коктебеля 28 июля (Труды и дни-2. С 496).

[2] Т. С Салтыкова.

[3] Подразумевается жена Л. И. Островера Рита Яковлевна Островер (урожд Каганова, 1897—1960-е гг.). Семья представителя Союза писателей Л. И. Островера жила в Коктебеле с 21 мая 1931 г.

[4] Е. О. Сорокина.

[5] Ср. фразу из автобиографии Волошина «О самом себе» (1930): «К акварели больше, чем ко всякой иной живописи, применимы слова Гёте, которыми он начинает свою “Теорию цветов”, определяя ее как трагедию солнечного луча, который проникает через ряд замутненных сфер, дробясь и отражаясь в глубинах вещества» (Т 7, кн 2 наст. изд С 270). В трактате Гёте «К учению о цвете» («Zur Farbenlehre», 1810; см.: *Гёте Иоганн Вольфганг.* Избранные труды по естествознанию / Перевод и комментарии И. И Канаева <М.; Л.>: Изд-во Академии наук СССР, 1957. С. 259—358) этого или сходного с ним по смыслу и образному строю высказывания не обнаружено.

573. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

5 августа 1931 г. Коктебель

5/VIII 1931.

Дорогой Казик,

Сегодня мы получили утром твою телеграмму — ответ на Марусино письмо от 1/VIII из Феодосии[1] и сразу успокоились и за себя, и за тебя, потому что отсутствие от тебя вестей с дороги начинало нас (всех 3-х)[2] беспокоить, т<ак> к<ак> думалось, что письмо Маруси, сунутое тебе в миг отъезда, которое ты прочтешь в вагоне, заставит тебя ответить сейчас же. Что по приезде в Москву ты сразу замолчишь, мы не сомневались, т<ак> к<ак> ясно себе представляли, сколько срочных дел обрушится на твою голову в миг приезда.

Ласковая, но настойчивая и краткая записка от фининспектора – нас (меня) очень встревожила, т<ак> к<ак> опять-таки мне приходилось доказывать свое непонятное, необъяснимое отношение к собственности людям, меня не знающим и не имеющим никаких резонов мне доверять и принимать

всериоз мои фантастические утверждения, что я принципиально не торгую и денег не беру.

После твоего отъезда была тревожная ночь: Тамара[3] была отравленной питанием в Д<оме> отд<ыха> и извивалась от боли всю ночь. А мы все не спали около нее. На рассвете Маруся после бессонной ночи пошла к фининспектору в город. И естественно встретила у него самое скептическое отношение к своим утверждениям о бесплатности нашего Дома и о том, что нам денег на уплату налогов и взять негде. Но заявление мое он принял и обещал дать ответ через Сельсовет числа 5–6<-го>. Теперь, после твоей телеграммы, буду ждать этого ответа без волнения, которое меня и Марусю подкалывало все эти дни.

Неясно вижу, что именно ты сделал. Но думаю (т<ак> к<ак> здесь мне советовали отправить заявление в КрымЦИК), что ты телеграфировал об этом казусе Шаповалову.[4]

Сейчас Тамара уже здорова, а Маруся, отправив тебе письмо из Феодосии, пешком же вернулась в Коктебель, отдохнула, а вчера ходила под проливным дождем в сопровождении Кати, Островерицы и Симпатяги[5] в Отузы говорить с лесником. Но лесника не было дома.

В Дом писателей приехала еще одна жертва: беллетрист и детский писатель Лебеденко, которому Островер еще месяц назад собственноручно выдал путевку. Но, кажется, ни Лебеденко, ни его жена жертвами быть не собираются, а хотят только наслаждаться Коктебелем.

Милый Казик, спасибо. Крепко тебя обнимаю.

Макс.

[1] Это письмо с просьбой о помощи М. С. Волошина отправила К. М. Добраницкому после визита к фининспектору, которому было подано заявление, в очередной раз извещавшее о бесплатном проживании гостей в доме Волошина

[2] Кого именно из постояльцев дома подразумевает здесь Волошин третьим, неясно.

[3] Т. С. Салтыкова.

[4] К этому ответственному работнику Добраницкий обращался, хлопоча о пенсии для Волошина, в марте 1931 г. (Труды и дни-2 С. 485)

[5] Е. О. Сорокина, Р. Я. Островер, А. И. Якубчик.

574. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

20 августа 1931 г. Коктебель

20/VIII 1931.

Дорогой Казик,

на днях состоялось 17 августа – б<ольшой> центр<альный> день коктебельского лета.[1] Теперь он был ослаблен. Спектакль был, но очень тощий. Маленький детский спектакль, мало напоминавший блестящие и великолепные постановки прошлых лет. Пьеса остроум<н>ая и веселая была написана Лимпопо.[2] Режиссером был А. В. Потоцкий, но матери и автор не дали ему довести работу до конца.

Да и времени было слишком мало, чтобы из ребятишек выявить творческих актеров. Так что он просил не считать его ответственным за результаты: он хотел применить теорию М. А. Чехова – надо ставить водевили и фарсы со всею серьозностью драм и трагедий: только тогда их легкомысленная сериозность выявится до конца. Но «матери» не оценили на репетициях его замыслов и помешали им.

На «именинном столе» среди подарков, конечно, самым ценным был твой: fac simile рукописей Пушкина.[3] Он для меня был самым радостным и милым сюрпризом и рождал во всех восторг и благоговение.

Крепко тебя обнимаю и благодарю и за внимание, и за угадливость. Лучшего ты придумать не мог. Тоже меня очень порадовал скромный подарок Тамары:[4] светильник (лампочка), очень необходимая в нашем зимнем бескеросинном быту. Остальные дары были флорой и помоной: цветы, арбузы, дыни и «Эссентуки»:[6] возвышенное и полезное. Кроме того, было получено 23 телеграммы от отсутствующих друзей со всех концов Союза (от Владивостока до Харькова).

Накануне мне судьба послала особливый подарок: пару (муж и жена) моих давнишних заочных поклонников из Одессы,[7] которые меня знают только по выставкам и уже 5 лет мечтали меня навестить. Они ко мне приехали, возвращаясь с Кавказа, накануне именин на 3–4 часа и одарили меня восторгом и благодарностью (за подаренные акварели).

Это была для меня очень большая радость. С Потоцким мы по-прежнему гуляем, молчим <?>, делаем гимнастику. Живот цел. Но самочувствие великолепно. И я чувствую, что буду осенью писать стихи.

У меня не замыслы, но определенное чувство успешной работы.

Твое письмо (тоже без числа!), полученное накануне именин, тоже подарок судьбы и радость.[8]

Стих<и> Гумилева («Из логова змиева...») я знаю, и, по-моему, они были напечатаны в сборничке его *«Посмертных стихов»*.[9] Ты помнишь такой?

За твою помощь в смысле «фининспекции» глубокая тебе благодарность![10] Эта радость просто была заслонена именинами и их окружением. Но важность и первостепенность ее остаются все время на дне сознания.

В общем, чувствую сейчас победительным и цветущим. Давно этого состояния (обычного для меня) у меня не было.

И ты, милый Казик, для меня одно из необходимых и неизбежных звеньев радости бытия.

Макс.

Сейчас получил твое письмо от 16/VIII.[11] Очевидно, ты не получил отдельного (и очень хорошего) пи<с>ьма Маруси, тебе отосланного до именин. Она беспокоится об его судьбе. Вчера *Гуна,*[12] умудрившая<ся> вчера нам прислать одновременно и письмо из Владивостока и телеграмму из Харькова, сегодня приехала сама к нашей большой радости.

Приветствую приезд Елены Карловны.[13]

Ася вновь на берегу «показывает самолюбие»[14] и прислала мне цветы на именины.

Макс.

[1] 17 августа праздновались именины Волошина.

[2] Прозвище Е. Я. Тараховской.

[3] Подразумевается издание: Рукописи Пушкина. Вып. 1. СПб., 1911

[4] Т. С Салтыкова.

[5] Помона – в римской мифологии богиня плодов.

[6] Минеральная вода.

[7] Подразумеваются Александр Ильич и Олимпиада Федоровна Стояновы.

[8] Это письмо Добраницкого из Москвы не сохранилось.

[9] Стихотворение «Из логова змиева» было впервые опубликовано в журнале «Русская Мысль» (1911. № 7) и вошло в третью книгу стихов Н. Гумилева «Чужое небо» (СПб.: Изд. «Аполлона», 1912); в упомянутой Волошиным книге Гумилева «Стихотворения. Посмертный сборник» (Пг.: Мысль, 1922; изд. 2-е, доп. – 1923) оно, закономерным образом, отсутствует

[10] См. п. 573, примеч. 1.

[11] Это письмо Добраницкого не сохранилось.

[12] Прозвище К. П. Девлет-Матвеевой.

[13] Е К Добраницкая

[14] Р. М. Гинцбург. В дневниковой записи от 5 июля 1931 г. Волошин изложил ее конфликт с М. С. Волошиной, в результате которого произошло ее «окончательное изгнание» из дома (Т. 7, кн 2 наст изд. С. 195).

575. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

22 августа 1931 г. Коктебель

22/VIII 1931.

Дорогой Казик,

вероятно, обстоятельства жизни не дадут мне в этом году сосредоточиться на творческой работе. Только что я начал успокаиваться, поправляться физически и чувствовать необходимую творческую прозрачность духа, как все это было сорвано новым billet doux* от Сельсовета: новое обложение и такое, от которого не отвертишься: страховка. Мы до сих пор принимали страховку как беду неизбежную и добросовестно платили, но размеры ее были в пределах возможности (нашей) – рублей 12-20 и последний год 57 руб. А в этом году нам прислали требование на *357 р.* Это превышает наши возможности совершенно.

Вообще налог на страх<о>вание в этом году повышен сразу на 300%. В данном же случае еще больше – почти на

* Любовное письмо (*фр*)

1000%. Прежде всего нам пришло в голову то, что часть налога, во всяком случае, теперь приходится на Союз писателей. И мы сейчас же пошли к Островеру (пользуясь его присутствием в Коктебеле). Но ценность флигеля (страховая) не так велика, он страхуется в 9 тысяч, а остальные 12 тысяч приходятся на наш дом и пристройки. И Островер берется долю Союза уплатить, но только после годичного собрания дирекции, которое назначено на 10 сент<ября>, а с первого уже начинают на нас расти пени. (Требование нам представлено уже после назначенного срока взноса).

Сегодня (сейчас) Тамара[1] с Островером идут в Сельсовет говорить об уменьшении платы и об отсрочке. Боюсь, что у них ничего не выйдет: Сельсовет не имеет обыкновения учитывать собственные просрочки и уменьшать назначенные цифры взысканий. Во всяком случае, мы будем употреблять все силы, чтобы требуемую сумму выплатить, и решили *тебя* о заступничестве не просить.

А если бы ты случайно оказался при деньгах и хотел бы нам помочь денежно, то мы это будем считать *долгом*, подлежащим выплате в ближайший срок. Если это возможно, принимая во внимание те 150 р., что я получаю от Союза как хранитель библиотеки и архива ежемесячно. Конечно, в рассрочку.

Но во время беседы с Островером выяснилось более важное обстоятельство: Союзу писателей — подаренный нами дом совсем не нужен. Оборудовать его он и не собирается. Этим летом он будет окончательно пустовать, но и в будущем году, если положение останется таким же и частных столовых не будет, как теперь, он устраивать кухни и не собирается: слишком хлопотно: игра не стоит свеч — они признают только доходные предприятия, как их ресторан на Тверском бульваре.

Буду дописывать письмо, когда Тамара вернется с ответом из Сельсовета.

Приписка М. С. Волошиной:

Кончаю я, дорогой мой, п<отому> ч<то> Островер и Тамара пойдут в С<ельский> с<овет> только в 4 часа, а я хочу,

чтобы письмо пошло до 3-х: уходит почта. Целую тебя и напишу сама вечером. Скучно, Казик, неуютно.

Маруся.

[1] Т. С. Салтыкова.

576. В ФЕОДОСИЙСКИЙ РАЙФИНОТДЕЛ

26 августа 1931 г. Коктебель

В Феодосийский Райфинотдел
поэта Максимилиана Волошина,
Коктебель

Заявление:

Зная, что страховка — это совершенно иное, чем налоги, я никогда не пытался от нее освободиться, пока она была в размерах для меня возможных. Но в этом году обложение настолько неожиданно и чрезмерно, что считаю необходимым напомнить Фининспекции, что я с самого начала Советской власти счел нужным отказаться от всякой художественной собственности, от литературных гонораров и живу только на прожиточный минимум (раньше 60 р. в месяц — академическое обеспечение от ЦЕКУБУ, а теперь в 150 р. от Союза Писателей, как хранитель музея). Поэтому прошу Фининспекцию внимательно отнестись к моему материальному положению и справедливо взвесить мои платежные возможности.

Считаю нужным напомнить, что дача за мною закреплена в январе 1925 г. Крым-ЦИК'ом и дохода мне не приносит никакого, т<ак> к<ак> отдана мною в бесплатное пользование поэтов, художников, ученых и их семей, а половина ее передана мною Союзу Советских Писателей для устройства Дома отдыха и это лето фактически в моем распоряжении уже не находится.

Мне вручено 22/VIII платежное извещение за № 27а об уплате 357 р. 16 к. страховых платежей. По наведенным в Сельсовете справкам оказывается, что дача моя оценена в 63 тыс.

140 руб., что считаю суммой чрезмерной и не соответствующей действительности.

Прошу поэтому прислать специалистов для переоценки переданной мне Крым-ЦИК'ом дачи.

Максимилиан Волошин.
26/VIII 1931.[1]

[1] На копии заявления, представленной в коктебельский Сельсовет, наложена резолюция его председателя Д. С. Мавродиева «Ввиду того, что дача передана писателям, вы от уплаты госстраха освобождаетесь 29/VIII 31» (ДМВ).

577. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

29 августа 1931 г. Коктебель

29/VIII 1931.

Дорогой Казик,

вчера неожиданно нам пришел ответ от Сельсовета: «Страховка с вас по распоряжению Фининспекции снимается, т<ак> к<ак> нам известно, что ½ дома Вами подарена Союзу писателей».[1] Глубокая радость и успокоение. Думаю, что здесь не без тебя: это наголосок телеграммы от Наркомфина, тобою посланной в прошлый раз.

Сегодня же Маруся получила от тебя сто рублей, и, т<ак> к<ак> в них нет никакой надобности в настоящую минуту — мы сообразили и мобилизовали все деньги, у нас имевшиеся, и были готовы уже *платить* в случае крайности. Так что не удивись и не рассердись, когда получишь эти деньги обратно.

Прости: это наш пакт с судьбой — никогда не принимать ничего больше, чем необходимо в данную минуту.

Дорогой Казик, спасибо: действительно мы себя чувствуем как за каменной горой под твоею защитой.

И если зимой творчество ко мне вернется, то это будет только твоя заслуга.

Вчера уехал Аркадий Васильевич.[2] И мне немножко странно и пусто без него на прогулках, когда я хожу походкой «по Станиславскому» без его наблюдения и указаний.

Вчера же вечером приехала новая партия гостей: Зоя Лодий с мужем,[3] Лидой,[4] ученицами <и> прочей свитой. Дом переполнился новой суетой.

Третьего дня приходил из Коз Винавер и на другой день ушел обратно. Словом, жизнь кипит среди людей, разговоров, отъездов. Не писал тебе ни слова о Лебеденко – детском писателе и коммунисте, с которым мы сошлись эти дни. Перед отъездом у него вырвалось несколько таких дружеских и растроганных слов, что мы почувствовали, что в его лице «Дом Поэта» приобрел нового доброго и верного друга.

И было радостное и удовлетворенное чувство. Как всегда, когда находишь нового человека.

К Потоцкому у меня очень горячее и благодарное чувство – он очень хороший, иск<р>енний и крайне простодушный человек, которому я очень многим это лето обязан: он мне вернул голос и возможность снова читать и говорить; быть немым очень тяжело и безвыходно. А у меня именно это чувство после зимы было. И на голос, мне возвращенный, я смотрю прямо как на чудо исцеления.

Теперь я совсем по-иному вернусь в Москву. Потому что к этой поездке я все время мысленно возвращаюсь и думаю, что она состоится.

Теперь мы на днях ждем тетю Сашу (Домрачеву), это будет великая радость и для нас, и особенно для Маруси, потому что нет на свете людей, которых она любила бы больше, чем семью Домрачевых: это единственные люди, которые у нее остались ото всей ее юности. Пока из Домрачевых у нас только один отпрыск: Ирка (16 лет).[5]

Да еще наш друг Варвара Дмитриевна Финкельштейн. Пожилая и больная дама (друг М. А. Винавера[6]), о которой я тебе говорил и просил.

Вот и все наше население. Пока. Милый Казик, крепко тебя обнимаю и уступаю место Марусе, которая сейчас будет тебе писать о том же самом, но своими словами. Она сегодня

очень счастлива, т<ак> к<ак> наконец-то утром прибыли в наш двор дрова...

Макс.

[1] См. п. 576, примеч. 1.

[2] А. В Потоцкий.

[3] Муж З. А. Лодий – Сергей Александрович Адрианов (1871–1942), литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик.

[4] Лидия Аполлоновна Аренс.

[5] Ирина Петровна Домрачева (1912–?), студентка, позднее инженер-электрик.

[6] Подразумевается М. Л. Винавер.

578. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

6 сентября 1931 г. Коктебель

6/IX 1931.

Дорогой Казик,

какое прекрасное письмо ты мне написал! (от 29 VIII).

От него у меня осталось ощущение света, осенней тишины и бодрости.

Письмо написано в ответ на наш беспомощный вопль о новом обложении.[1] Теперь (как ты уже знаешь из наших последующих писем) все это миновало и с нас «страховку сняли». Как это случилось, не знаю и не спешу узнавать – очередное чудо.

Жизнь наша идет от чуда до чуда, и это измерение времени не так уже плохо.

В теперешних днях уже много осени с ее похолоданием, бодростью, неустойчивостью погоды и с минутами той солнечной тишины, когда душа замирает от предчувствия творчества. Жду того момента, когда схлынут люди и можно будет на целые дни запереться в кабинете со своей заветной тетрадкой, куда я вписываю новые стихи и обрывки образов.

Пока же чувствую, как новая струя хлынула в мои акварели. На днях я отбирал акварели для М. Л. Винавера –

он гостил в Козах по соседству и приходил к нам пешком на сутки.[2]

Я давно собирался отобрать ряд акварелей, чтобы их реализировать в пользу Кр<асного> Креста, который всегда нуждается в средствах. Но за этим занятием меня осенила радостная и плодотворная мысль: а какую радость мои акварели могли бы принести самим арестованным, если их раздавать по узилищам или давать как напутствие ссылаемым на север. В<инавер> отнесся к моей идее благожелательно, и это мне придало творческой силы: я всегда смотрел на картину, как на малое оконце, распахнутое из темницы на волю.

И такой план мне показался очень плодотворным и «гаазовским».[3] Такая аудитория дает моей работе новый стимул, и мысль о ней и тех глазах, которые будут смотреть на мои акварельки, меня переполнила жадной творческой радостью, и думаю, что это зарядит меня живописно на всю зиму и будет моим настоящим ответом на современность. А ведь художнику, как и поэту, необходим свой зритель, как искушатель и читатель... Я чувствую наступающую зиму радостной и плодотворной. Какой она, конечно, и будет.

Мне жаль, что я не могу еще послать тебе в письме ни одного нового стихотворения, но и это скоро будет — я чувствую.

А пока посылаю тебе акварелек.

Нежно и крепко тебя целую.

Привет Елене Карловне.[4]

Макс.

[1] Имеется в виду п. 575.

[2] М.Л. Винавер пришел в Коктебель 27 августа и возвратился в Козы на следующий день.

[3] Имеется в виду врач-филантроп, прозванный «святым доктором», — Федор Петрович Гааз (1780—1853), главный врач московских тюрем (с 1828 г.), добившийся улучшения содержания заключенных, организации тюремной больницы, школ для детей арестантов.

[4] Е. К. Добраницкая.

579. Е. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ

7 октября 1931 г. Коктебель

7/X 1931.

Милая Женя, приветствую тебя великолепными днями стеклянной коктебельской осени, которая, очевидно, наконец установилась-таки сегодня – с первого приезда Тихона.[1]

Маруся тебе пишет одновременно о наших <*нрзб.*> Союзом С<оветских> П<исателей>. Я тоже чувствую потребность написать в Союз от себя. Но кому именно? Мне было бы удобнее всего Леонову. Но не имею понятия, остается ли он председателем?[2] Напиши мне об этом.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Т. И. Сорокин.

[2] Подразумевается: председателем Всероссийского Союза Писателей. Л. М. Леонов возглавлял его в 1929–1932 гг.

[3] Ответного письма Е. Н. Чеботаревской в архиве Волошина не выявлено.

580. А. В. ПОТОЦКОМУ

15 октября 1931 г. Коктебель

15/X 1931.

Дорогой Аркадий Васильевич,

я до сих пор получил от Вас только одну записку, написанную в Феодосии пред отъездом[1], и, думая, что Вы сейчас по возвращении в Москву будете крайне заняты (поездкой МХАТ'а в СПБ),[2] не писал Вам еще ни разу.

Сейчас я из письма Казика вижу, что Вы ему подарили мою фотографию, что Вы в Москве. И посему пишу Вам письмо в Москву, чтобы переслать его с Тамарой.[3]

Мы все ждем приезда Евг<ении> Конст<антиновны>,[4] но, очевидно, он не состоится. Погода установилась прекрас-

ная, ровная, безветренная, но с питанием плохо. Последний дом «МЕИ»[5] закрывается. «Коммуна» закрылась уже.

Мы питаемся пока в МЕИ, что же будет дальше – неизвестно. Обычных зимних запасов сделать в этом году нельзя. Нет ни картофеля, ни муки, ни керосина, ни овощей. Единственная надежда на друзей и на посылки.

Мейерхольдовцы (Коренев и Петр Иванович[6]) разъехались. С П<етром> Ив<ановичем> мы успели заняться дикцией только 2 раза.

Теперь гуляю регулярно и все упражнения на ходу проделываю старательно. Гимнастика в одиночестве хромает. Но я все-таки многие упражнения проделываю в интервалах живописи, чтобы не засиживаться.

Одна знакомая, только что приехавшая из Москвы,[7] рассказала о панике С<аши> Габрич<евского>, которому звонил неизвестный человек от Вашего имени и предлагал принять участие в распространении моих стихов.[8]

Это произвело впечатление и на меня. Дорогой Арк<адий> Вас<ильевич>, я Вам очень верю и знаю, что Вы ничего не хотите сделать мне во вред. Но такое распространение моих стихов мне нежелательно и определенно опасно: и для меня, и для распространяющих. Я Вам это объяснял в свое время. И не хочу повторяться, но очень и очень прошу об осторожности и благоразумии: я живу только потому, что обо мне никому и ничего не известно. Раньше я ареста не боялся, а теперь – боюсь. Потому что я в первую же ночь задохнусь от курева – ведь от папиросного дыма у меня делается астма. Я и по жел<езной> дороге теперь избегаю ездить. А в тюрьмах и арестных домах табачного дыма не избежать никак. Поэтому я ареста боюсь... Вообще и арест и высылка уже не в моих средствах.

Посылаю Вам кое-что из текущих акварелей – по датам вы видите, что я делаю и что вижу последние дни.

У нас <в> доме всё по-прежнему: Островерица[9] дотягивает свой тиф. Маруся ее лечит и изводится, но радуется питанию МЕИ и боится, что оно закроется раньше срока.

Союз Писателей не посылает денег под предлогом, что Маруся не дала отчета в 200 р., присланных неожиданно вес-

ною «на покупку коровы», хотя это никакого отношения ко мне и к литерат<урному> архиву, мною им подаренному, не имеет, а я получаю от них 100 р. в месяц как хранитель архива.

Все это досадная ерунда, которой автор больше всего Островер. Остальное пока благополучно.

Привет Евг<ении> Конст<антиновне> и Евг<ении> Ивановне.[10]

Жалею, что с первой мы, очевидно, так и не увидимся в этом году. Всего лучшего. Крепко Вас обнимаю.

MAX.

[1] В недатированном письме из Феодосии А. В. Потоцкий просил Волошина прислать «оглавление стихов <...> переплетенного экземпляра» его машинописного сборника, а также замечал: «Буду счастлив, если Вы будете продолжать занятия голосом, артикуляцией и гимнастикой» (ДМВ, № НВ–20184).

[2] Гастроли МХАТ 2-го, в труппе которого состоял А. В. Потоцкий, проходили в Ленинграде с 20 августа по 18 сентября 1931 г. (см.: МХАТ Второй. Опыт восстановления биографии. М.: Московский Художественный театр, 2010 С. 768).

[3] Т. С. Салтыкова.

[4] Жена Потоцкого Е. К. Збруева-Штембер (1898–?), актриса.

[5] Санаторий Московского энергетического института им. В. М. Молотова (МЭИ).

[6] Либо П. И. Старковский (Староверкин; 1884–1964), актер ГосТИМа в 1924–1937 г., либо П. И Егоров, помощник режиссера.

[7] Подразумевается Ольга Федоровна Головина (в замужестве Альбрехт)

[8] Реакция А. Г. Габричевского была, безусловно, дополнительно обострена тем обстоятельством, что полутора годами ранее, в марте 1930 г., он был арестован и 29 апреля того же года освобожден из тюрьмы, дав подписку о невыезде из Москвы (см.: Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 76).

[9] Р. Я. Островер.

[10] Е. И. Збруева (1868–1936), оперная певица.

581. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

16 октября 1931 г. Коктебель

16/X 1931.

Милый Казик,

осень с каждым днем вступает в свои права: стоят дивные стеклянные дни, и Коктебель пустеет с каждым днем, так же как наш дом. Завтра уезжает Тамара[1] и тебе лично передаст это пи<с>ьмо. Так что мы совсем осиротеем. Зима предсто<ит> очень запустелая и голодная. Сейчас еще время от времени наезжают неожиданные, а иногда и ожидаемые гости. Завтра мы ждем из Судака – Ольгу Константиновну Толсту<ю> – мать Сони Есениной. Она приедет со своим внуком и останется дня 2–3. На днях неожиданно приехала О. Ф. Головина на месяц. Но это, вероятно, уже последние птицы с севера. И скоро наступит полная пустыня – ничем не нарушимая. Все грозит большим кризисом питания.

Сейчас нас питает МЕИ,[2] но каждый день прих<о>дят слухи, что он не дотянет до ноября, но закроется раньше, именно ввиду недостатка продуктов. У нас единственная надежда на питательные посылки и помощь друзей. Обычных зимних запасов (картофеля, овощей, муки, круп...) сделать не удалось и, очевидно, не удастся.

Т<ак> к<ак> это письмо пойдет к тебе не по почте, а будет передано из рук в руки, то хочу тебе написать некоторые наши новости, что доверять почте (здешней) неудобно. Дело Павловых В.Ц.И.К. разрешил в их пользу. Дом и вещи им возвращают, а местные власти отдаются под суд. Данька уже смещен.[4] (Правда, не по этому делу). Брянцев (пред<седатель> комсомола) арестован за бандитизм. Вообще предстоит большая смена еще многих лиц (даже в РИК и в Крым-Цике). Немного стыдно, но это дает большое моральное удовлетворение («есть судьи в Берлине!»[5]). Пишу тебе это, потому что ты знаешь сам местные нравы.

Из письма твоего вижу, что ты видаешься с Ар<кадием> В<асильевичем> Потоцким.[6] До нас дошли слухи, что он распространяет мои стихи в Москве. Пожалуйста, при случае

расспроси его и, если это так, – пожури и попроси его быть осторожнее: одному моему приятелю – человеку крайне паническому – недавно звонил по телефону ему неизвестный человек и от имени П<отоцкого> предлагал ему принять участие в распространении моих стихов. Мой друг пришел в ужас [и поспешил меня об этом осведомить]. Я лично очень люблю Ар<кадия> Вас<ильевича>, но совершенно не доверяю его такту и думаю, что он способен очень подвести и меня, и самого себя и только из любви ко мне (помнишь его нелепый спор об М. А. Чехове весною?)

Поэтому я (и особенно Маруся) несколько озабочены его действиями в мою пользу. И я очень прошу тебя, когда увидишься с Арк<адием> В<асильевичем>, с ним об этом поговорить и посоветовать.

Крепко тебя обнимаю.

МАХ.

Получил ли ты прошлое мое письмо с акварелями?[7]

[1] Т. С. Салтыкова.

[2] См. примеч. 5 к п. 580.

[3] Павловы – коктебельские дачевладельцы, соседи Волошина (см.: *Жарков Евгений.* Страна Коктебель: Культурные очаги. Середина XIX – середина XX веков. Киев: Болеро, 2008. С. 57–63). Дело было возбуждено в связи с конфискацией коктебельскими властями их дома и имущества.

[4] Подразумевается председатель коктебельского Сельсовета Даниил Степанович Мавродиев (1906 – ок. 1986).

[5] Крылатая фраза, применяемая иронически для характеристики судебного произвола, из рассказа французского писателя Франсуа Андрие «Мельник из Сан-Суси» (1797): «Есть еще судьи в Берлине» (*фр.*: «Il y a des juges à Berlin»). В основе сюжета – история о том, как прусский король Фридрих II пожелал снести мельницу в своей резиденции Сан-Суси; мельник, ее владелец, обратился в суд, и дело было решено в его пользу, король подчинился решению суда. См.. *Ашукин Н С., Ашукина М. Г.* Крылатые слова. Изд. 4-е, доп. М : Художественная литература, 1988. С. 114.

[6] 24 сентября 1931 г. Добраницкий писал Волошину из Москвы. «Позавчера был у меня Потоцкий. Он привез мне прекраснейшую твою фотографию. Она стоит у меня на столе и смотрит на меня как моя совесть» (ДМВ, № НВ–7009).

[7] Имеется в виду п. 578.

582. И. В. ЕВДОКИМОВУ

25 октября 1931 г. Коктебель

25/X 1931.

Многоуважаемый Иван Васильевич!

Мне стало известно, что заведование хозяйственной частью ВССП передано Союзом Вам.[1]

Считаю необходимым поставить Вас в известность, что у меня есть договоренность с Союзом, согласно которой я приношу в дар ВССП мой архив после моей смерти. До моей смерти я назначен правлением Союза его хранителем с ежемесячной платой мне Союзом прожиточного минимума 100 р. в месяц, впоследствии эта сумма была увеличена до 150. Это предложение Союза мной было принято. Таким образом, с марта месяца я получал от Союза по 100 р., а с июля по 150 р. в месяц. Но ввиду того, что эти ежемесячные уплаты производились крайне неаккуратно, а последние два месяца и совсем не присылались, я прошу Вас принять это к сведению и, если возможно, распорядиться, чтобы бухгалтерия дослала то, что мне причитается на основании постановления правления ВССП, начиная с марта 1931 года.

Кроме того, мной также был принесен в дар ВССП каменный флигель моей дачи в 11 комнат для дома отдыха для членов Союза. Это предложение было принято Союзом телеграфно. Однако предоставленный мной дом не был использован в достаточной степени. Мне бы хотелось знать, намерен ли Союз использовать в дальнейшем предоставленное мной в его распоряжение помещение. Тогда следовало бы теперь же озаботиться приведением помещения в порядок, т. е. оборудовать недостающим инвентарем, мебелью и произвести легкий ремонт.

Если бы Вам понадобились бы более точные сведения о ремонте и мебелировке дома, то можно сообщить дополнительно. Дом имеет 11 комнат, где можно разместить до 35 кроватей.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме к М. С Волошиной от 21 октября 1931 г. Е О. Сорокина сообщала о И В Евдокимове: «. .он новый человек, попал на полный разгром и полную распущенность и поэтому ко всему подозрителен» – и советовала: « ..пришли ему чисто формальный запрос о положении дел, т. е. дома и денег. Он будет вынужден поставить его на заседание комиссии, и все пойдет уже оформленным путем. Относительно денег сошлись на постановление правления относительно Архива и Библиотеки» (ДМВ, № НВ–19841).

583. С. Е. МОТОЛЯНСКОМУ

25 октября 1931 г. Коктебель

25/Х 1931.

Дорогой Семен Ефимович,

обе Ваши присылки аквар<ельной> бумаги в руло своевременно получил и тогда же Вас благодарил открытками, больше же ничего от Вас не получал, если не считать открытки от 2/Х, на которую сейчас и отвечаю.[1] Сведения от Веры Инбер верны приблизительно. Я весною чувствовал себя неважно. Но летом все обошлось благодаря рациональной гимнастике, которую я делал под руководством моего приятеля (артиста МХАТ'а[2]).

Теперь я снова могу говорить и читать стихи (он мне поставил голос). Материально мое положение улучшилось – весною я отдал Союзу Писателей мой литературный архив с условием, что я остаюсь его хранителем (до смерти) и получаю как таковой 100 р. в месяц. Мне этого было бы довольно, если бы условие это в точности исполнялось, но вот уже ряд месяцев мне денег не высылают и я себе не представляю, как это будет зимой.

Кроме того, я подарил Союзу флигель моей дачи под Дом Отдыха для писателей. Мы рассчитывали, что это облегчит нам существование: они будут кормить, мы сможем к ним направить наших личных гостей (не членов Союза), что у нас живут бесплатно.

Но это не удалось: они не стали учреждать кухни у себя, а предпочли согласоваться с имеющимся в Коктебеле техническим Дом<ом> Отдыха. И вообще отданного им дома совсем

не использовали, оставаясь все лето истинными собаками на сене.

Произошло это благодаря исключительной деловой беспомощности их представителя,[3] кот<орый> поспешил перевезти к нам свою семью. Но не в подаренный Союзу дом, а к нам лично.

Посылаю Вам в этом же конверте ряд акварелей этого лета: отберите себе 5 штук, а остальные (если возможно) продайте, как прошлою зимой. Цена минимальная (10–20 руб.). Ввиду большой неустойчивости и зыбкости моих материальных дел это мне необходимо.

Пока Ц.К.У.Б.У. выплачивало мне Акад<емическое> Обеспечение и существовали выставки, я не продавал своих вещей, а теперь приходится прибегать к таким просьбам.

За аквар<ельную> бумагу и краски буду всегда очень благодарен, ибо и то и другое быстро истощается. Простите за такие поручения.

Спасибо за Ваше внимание.

Максимилиан Волошин.

[1] 2 октября 1931 г. С. Е. Мотолянский писал Волошину: «В Одессе была Вера Инбер, и от нее я узнал, что Вы в этом году болели, но что Вам теперь лучше, и что приняты меры к Ва<ше>му материальному обеспечению. Хочу надеяться, что это так» (ДМВ, № НВ–12304).

[2] Подразумевается А В. Потоцкий.

[3] Подразумевается Л. И. Островер

584. Е. В. ГЕНИЕВОЙ

28 октября 1931 г. Коктебель[1]

Елене Васильевне Гениевой.

28/X 19<31>.

Дорогая Елена Васильевна,

Твое письмецо с Марф<ой> Х<р>истоф<оровной>[2] было для нас большой радостью. Завтра М<арфа> Хр<истофоровна> уезжает, и я не смогу тебе ответить большим письмом. А

ограничиваюсь акварелькой и несколькими словами. У нас в личной жизни <...> Но мы не живем личной жизнью, а жизн<ью> <...> <наш?>их друзей.

Об этом ты знаешь еще подробнее нас. Мы очень волновались <...> С. Мих.[3] Но твои слова подтвердили все <...>* в Крыму. Целую всех друзей. <....>и Юрию.[4]

<Макс.>

[1] Текст на обороте акварели; поврежден, ряд фрагментов прочтению не поддается.

[2] Неустановленное лицо.

[3] Имеется в виду Сергей Михайлович Соловьев. Он был арестован в ночь с 15 на 16 февраля 1931 г. и в ходе следствия и допросов заболел психически; 18 августа 1931 г. был приговорен к 10 годам лагерей с заменой на ссылку, но вместо этого направлен в психиатрическую больницу на станции Столбовая под Москвой. Замена ссылки на спецлечебницу произошла благодаря хлопотам Е. В. Гениевой.

[4] Георгий (Юрий) Николаевич Гениев, сын Е. В. Гениевой.

585. В КОКТЕБЕЛЬСКИЙ СЕЛЬКООПЕРАТИВ

1 ноября 1931 г. Коктебель[1]

Коктебельскому СЕЛЬКООПУ
Поэта М.А. Волошина,
Коктебель

Заявление.

Прилагая при сем справку Горкома писателей от 26/10 1931 г. за ном<ером> 795[2] и отношение от 26/10 за ном<ером> 333, прошу снабжать меня и моего иждивенца[3] наравне с индустриальными рабочими и прикрепить меня к Андезитной столовой[4] на право получения питания. Кроме того, прошу выяснить, имею ли я право на основании приложенных спра-

* *Не поддаются связному чтению две строки автографа*

вок на получение наравне с индустриальными рабочими также мануфактуры, обуви и других промтоваров.

1 нояб<ря> 1931.

[1] Машинописная копия заявления без подписи.

[2] Текст этой справки, обращенной «в закрытую рабочую столовую» (подписи: Предгоркома Лишкевич. Секретарь Касимова). «Горком писателей просит прикрепить к столовой писателя Волошина, состоящего на учете горкома. Писатели распоряжением Наркомснаба от 21 августа <1931> приравнены в снабжении к индустриальным рабочим» (ДМВ).

[3] Подразумевается М. С. Волошина.

[4] Андезит – горная вулканическая порода. Возможно, речь идет о столовой для рабочих, начавших разрабатывать эту породу на скале Исипана-Карана (плато Тепсень), которую геологи называли Андезитовой сопкой, или о столовой для рабочих Трассовых копей (Труды и дни-2. С. 502).

586. Л. М. ЛЕОНОВУ

2 ноября 1931 г. Коктебель[1]

Дорогой Леонид,

когда весною этого года я приносил в дар Союзу Писателей флигель моего Дома в Коктебеле для устройства дома Отдыха для членов Союза, я никак не оговаривал своего дара, но присланный Союзом представитель Л. И. Островер оказался человеком настолько не подходящим и для Вас и для Коктебеля своей крайней непрактичностью, фанфаронством, легкомыслием и иными качествами, что я вынужден тебе писать и просить тебя (частным образом) ни в коем случае не оставлять его в Коктебеле представителем. Это настолько же невыгодно для Союза, как и мало приемлемо для нас. Его действия этого лета достаточно красноречивы.

[1] Незаконченный и, возможно, неотправленный текст, адресованный Л. М. Леонову как председателю Всероссийского Союза Писателей.

587. С.А. ТОЛСТОЙ

3 ноября 1931 г. Коктебель

Соне.

Милая Соня,

пишу тебе с оказией. В первый раз я почувствовал Ольгу Константиновну такой близкой, милой, родной, домашней – как в этот приезд.[1] Как ты счастлива, что у тебя такая, хорошая Мама. Правда, ты мне всегда это говорила, но только теперь я почувствовал это непосредственно – до восклицательного знака! Об нашей жизни все тебе расскажет она сама. В жизни все у нас складывается благоприятно и благополучно. Только настанет завтра то глубокое зимнее одиночество, которое с каждой зимой становится все отчужденнее и холоднее, так что делается жутко в ожидании зимы.

До свиданья, крепко тебя обнимаю и целую.

Max.

Коктебель. 3/XI 1931.

[1] О. К. Толстая приехала в Коктебель с внуком Сашей (Александр Ильич Толстой (1921–1997), впоследствии геолог) 17 октября 1931 г., уехала в Москву в начале ноября (Труды и дни-2. С. 501, 503).

588. М.С. ВОЛОШИНОЙ

17 ноября 1931 г. Феодосия

17/XI 1931. Вторник, вечером.

Милая Маруся,

Нам вчера не повезло: мы первым делом заехали к Берману, его не было дома.[1] Мы не решились ждать – нас смущали вещи и крутизна уличек, где Берман живет. Мы просили Островерха (так зовут извозчика) провезти нас к Ол<импиаде> Никит<ичне>,[2] а оттуда мы не решились уж карабкаться назад в другую часть города.

Вечер я провел у Богаевских, и ночью было очень хорошо – я спал более сладко, чем дома, и совсем не задыхался.

Только что был у Бермана. Он долго качал головой и говорил о том, что зубы очень запущены и что всё закончить он не может раньше 3-х дней. Татьяна Руф<овна> же обратилась по совету Липочки <не> к Берману, а к дантис<т>ке Вейцман, которая вскрыла ей больной зуб. Но пока улучшения нет. Все выяснится завтра. Но мы раньше пятницы не вернемся. Очень много времени мы потеряли на переговорной станции.

Приписка Т. Р. Златогоровой:

Маруся дорогая, Макс в Феодосии гораздо лучше, чем в Коктебеле: бодрый, энергичный, моложе, по крайней мере, лет на 15. А я совсем никуда не годна.

Ваша Т. З.

[1] 16 ноября 1931 г. Волошин повез Т. Р. Златогорову (приехавшую в Коктебель 8 ноября. – Труды и дни-2. С. 503) в Феодосию к дантисту Н. Н. Берману.

[2] О. Н. Сербинова.

589. М. С. ВОЛОШИНОЙ

19 ноября 1931 г. Феодосия[1]

Четверг. Утро. В мастерской.[2]

Милая Маруся, надеюсь, что все известия и письма наши получила. В первый день Т<атьяна > Р<уфовна> говорила с С. Гр. по телефону.[3] Он передал тебе. Вчера, наконец, выяснилось более точно с нашим отъездом: мы оба будем освобождены в субботу.

Т<атьяне> Р<уфовне> лучше, боли прошли. Сейчас я к ней зайду. Я, идя в город, по утрам к ней захожу ежедневно. И еще, возвращаясь от Бермана, тоже захожу к ней. Ей в Феодосии хорошо. Мне тоже, только я прихожу в ужас от того, как я отвык от города и как состарился. Но все мои сверстники еще хуже, чем я.

Получила ли мое письмо с оплатой? Это я тебе отправил вечером, идя от Ол<ьги > Ник<олаевны>.[4] У нее не было марок. А хотелось опустить в этот же день.

МАХ.

[1] Открытка. Дата почтового штемпеля: 19. 11. 31.
[2] Мастерская К Ф. Богаевского.
[3] Т. Р. Златогорова и неустановленное лицо. См п. 588, примеч 1.
[4] Неустановленное лицо.

590. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

19 ноября 1931 г. Феодосия

Милый Костя, проводя эту (б<ыть> м<ожет>, последнюю) ночь в твоей мастерской,[1] я все время молил о том, чтобы она осталась неприкосновенной и судьба бы ее сохранила от нашествия варваров и иноплеменников.

Макс.
19 XI 31.

[1] Волошин ночевал у К. Ф. Богаевского с 18 на 19 ноября 1931 г.

591. С. Я. ПАРНОК

23 ноября 1931 г. Коктебель[1]

Читал и перечитывал «Вполголоса»,[2] завидовал гармонии Ваших «последних снов».

[1] Текст на обороте акварели; в полном объеме оказался недоступным, печатается по опубликованному ранее фрагменту.

[2] Книга Софии Парнок «Вполголоса. Стихи. 1926–1927» (М.: Узел, 1928).

592. Т. Р. ЗЛАТОГОРОВОЙ

25 ноября 1931 г. Коктебель[1]

Милая Татьяна Руфовна.

Мне захотелось Вам дать эту книгу, когда Вы мне с такой значительностью говорили о короле сельдей величиной в сажень, что плывет во главе своей стаи.

MAX.
25/XI 1931.

[1] Текст на авантитуле книги: *Maeterlinck Maurice.* La vie des termites. Paris: Bibliothèque-Charpentier, 1928 (ДМВ; Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 299 — факсимиле).

593. С. А. ТОЛСТОЙ

29 ноября 1931 г. Коктебель[1]

29/XI 1931.

Дорогая Соня,

спешу тебе ответить на твой запрос сегодня же, тем более что список вовсе невелик:[2]

С 1917 года у меня были такие издания:

«Иверни» (избранные стихи), изданные в издатель<стве> «Творчество» в 1919 году.

«Демоны глухонемые» (стихи о Революции), изд<атель-ство> «Камена». Харьков, 1919 год.

Переводы из Е. Верхарна, изд<ательство> «Творчество», 1919 год.[3]

Ряд отдельных стихов и фрагментов из книг и поэм был напечатан в журналах «Красная Новь», «Недра» и т. д.

Отдельные выставки моих акварелей были в 1928 году в Москве и Ленинграде. Устроен<н>ые ГАХН'ом и Обществ<ом> искусства и литературы. Кроме участия моего на отдельных выставках в Москве, Одессе, Севастополе, Феодосии.[4]

Ты пишешь, что это нужно для проведения дела о моей пенсии. Думаю, что это *уже* не нужно, потому что на этих днях я получил от Лит-Фонда газетную вырезку с извещением о том, что Совнарком 20 ноября постановил выдавать мне (и Андр<ею> Белому и Геор<гию> Чулкову) персональную и пожизненную пенсию.[5] До тебя это, верно, еще не дошло, потому что твое письмо датировано 24/XI.

Спасибо. Я очень счастлив.

Мах.

P. S. Привет от нас Ольге Констант<иновне>.[6] Ждем письма.[7]

[1] Почтовый штемпель: Коктебель. 1. 12. 31.

[2] В письме к Волошину от 24 ноября 1931 г. С. А. Толстая передавала запрос от Всероссийского Союза Писателей· «Пришлите, пожалуйста, библиогр<афический> список своих произведений (отдельные издания и в журнале), напечатанные в советское время. Пожалуйста, пришлите поскорей, на мое имя на адрес Союза или домой. Сейчас идет вопрос о пенсии для Вас, и для этого нужны эти сведения. Хорошо было бы, если бы Вы прислали тоже сведения о своих выставках картин» (ДМВ, № НВ–24871).

[3] Имеется в виду кн.: *Волошин Максимилиан.* Верхарн: Судьба. Творчество. Переводы. М.: Творчество, 1919.

[4] См. перечень выставок, в которых участвовал Волошин, в кн.: Максимилиан Волошин – художник: Сб. материалов. М.: Сов. художник, 1976. С. 221–223

[5] В газете «За коммунистическое просвещение» 20 ноября 1931 г. (№ 271) было опубликовано сообщение: «Совнарком РСФСР удовлетворил ходатайство Федерации объединений советских писателей о назначении писателям А. Белому, М. Волошину и Г. Чулкову персональной пожизненной пенсии в размере 225 рублей в месяц каждому». В тот же день в газете «Красный вечер» то же сообщение (в рубрике «Новости столицы») было напечатано с уточнением, что пенсии начисляются с 1 ноября 1931 г.

[6] О. К. Толстая.

[7] С. А. Толстая откликнулась письмом от 3 января 1932 г.: «Милый Макс, я не поблагодарила Вас за такой быстрый и аккуратный ответ на мой деловой вопрос о Вашей библиографии. Мне сказали, что этот запрос – это обычная формальность, но что вопрос о пенсии для Вас решен положительно и окончательно. Мы все очень за Вас рады» (ДМВ, № НВ–24876).

594. С. Н. ДУРЫЛИНУ

4 декабря 1931 г. Коктебель

4/XII 1931.

Дорогой Сережа,

получили твою открытку от 28/XI.[1] А первые с новым адресом так и не дошли. У нас завернула ранняя и совсем не <у>ютная зима: морозы по 10–12°. Если так будет всю зиму без перерывов, то будет плохо. У нас дрова и антрацит есть, но как исключение – кругом все сидят без топлива. И ежели так все и будет, то и у нас топливо очень скоро истощится. Здоровье мое в общем благополучно. Но появилась неожиданная одышка: все время задыхаюсь. Верно от мороза. Это что-то новое.

Но думая о тебе, часто приходит на ум: мы-то здесь мерзнем, и это редкость, а Сережа уж который год непрерывно переносит и не такую, а более лютую зиму, и не как исключение, а как правило. Материально нам будет теперь лучше и гораздо: в газетах было известие, что трем писателям: Андр<ею> Белому, Г. Чулкову и мне назначена Совнаркомом персональная пожизненная пенсия (225 р. в месяц).[2]

Хлопоты об это<м> велись очень давно, но всегда неудачно. Откуда и как тепереча такая благодать – не знаю, и скоро ли получу реально <?> деньги – тоже.

Пока же – жизнь сурова по-прежнему в смысле питания. Нас поддерживают только посылки от друзей из центра. А все остальное плохо: за водой приходится ходить самим с коромыслом к Дейше в цистерну. Это очень трудно по теперешним морозам. Но счастье, что снята с души хозяйств<енная> забота о деньгах.

Привет Ирине.[3] Только что Маруся понесла тебе весточку. Чулки и полынь. Хоть она и собрана уже под снегом, но аромат у нее солнечный.

Крепко тебя обнимаю.

Мах.

P. S. Конст<антин> Феод<орович>[4] ездил это время в художеств<енную> командировку в Баку и вернулся полный материалов и замыслов.[5]

[1] 28 ноября 1931 г. С. Н. Дурылин писал М. С. Волошиной: «Милая Маруся, наконец-то известие от Вас! Мы посылали Вам 2 открытки с новым адресом (*Ленинградская*, 74) – верно, они затерялись» (ДМВ, № НВ–7591)

[2] См примеч. 5 к п 593.

[3] И. А. Комиссарова.

[4] К. Ф. Богаевский.

[5] Ср письмо Богаевского к А. В. Григорьеву из Феодосии от 2 ноября 1931 г: «Доволен очень <. .> своим пребыванием в Баку и на промыслах. Материалу как будто привез не мало; написано мною 45 этюдов акварелью; маслом же там работать было невозможно» (*Бащенко Р.Д.* К. Ф. Богаевский. М.: Изобразительное искусство, 1984. С 143).

595. М. С. ВОЛОШИНОЙ

7 декабря 1931 г. Коктебель

7/XII 1931.

Милая Маруся,

Сегодня во время нашей вечерней прогулки по вечерней снежной равнине у нас был страстный и напряженный мучительный разговор. Ты мне говорила (как всегда, страстно и мучительно жутко в своей искренности): «Я не могу жить и отдавать всю свою жизнь на обслуживание стареющего и опускающегося с каждым днем идиота. Я тебя люблю. И видеть ежедневно человека, кот<орый> ничего не делает и не хочет делать. Когда все для него предоставлено для работы, и видеть, что он хочет и может только писать акварельки. В громадном количестве, которые есть уже у всех, и все уже ими пресыщены и немного стесняются их, потому что они их знают наизусть и ждут от него чего-то, но другого – не акварелек... Это невыносимо. И я чувствую, что скоро мне нужно будет уйти и искать себе другую более полезную жизнь и работу.

Прости меня, но я должна тебе все это сказать. Я с каждым днем все больше и больше понимаю Пра,[1] которая так мучилась этим и так часто мне говорила и предупреждала меня о тебе».

— То, что ты говоришь, мне страшно знакомо и меня глубоко раздражает и бесит, как бесило и раздражало в устах Пра.

Главное то, что я чувствую совершенно бесцельными и ненужными все мои возражения.

Дело в том, что для Пра мои стихи были таким же выражением безделья, как для тебя «акварельки». Пра не видела и не хотела видеть никакого усилия <?> и преодоления в моих стихах. Ей они казались идущими по линии наименьшего сопротивления, как тебе «акварельки». Она никогда никого не слушала, тех, кто ей говорили о громадных преодолениях в моих стихах. Т<ак> к<ак> ее главный упрек был в том, что я ничего не зарабатываю и живу на ее счет — старой, уже больной женщины, то это и было истоком (отчасти) моей живописи: мне захотелось создать для себя материальную базу — вне литературной работы. И когда во время Революции я заметил, что мои акварели — нужны и любимы многими, то я пошел в эту сторону с радостью.

У меня была и такая мысль: все стремятся теперь украсить свое тесное жилище какими-нибудь окошками на волю. И лучше, если у них будут подлинные рисунки художника, а не мелкие воспроизведения картин от жизни<?>.

Отсюда и возникла моя страсть уменьшить формат и упростить форму моих акварелей. Которая одновременно с экономией и отсутствием материала — красок и бумаги — привела меня к той миниатюрной форме, к которой я пришел теперь.

Твой протест против моей живописи ставит меня в отчаянное положение: мне необходимо рисовать: за эти 10 лет безвыездной жизни в Коктебеле мой глаз привык разрисовывать, наблюдать, комбинировать.

У меня выработанные элементы, которые я комбинирую, строя из них новые пейзажи.

Может, они и приелись для глаза моих зрителей, потому что мои зрители не обновляются, как и не обновляются эти годы и мои зрительн<ые> впечатления. И у тех и у других нет возможности обновиться.

Я, конечно, хотел бы обновить свою живопись, но для этого мне необходимо изучить новые области видимого, а не

только пейзаж, который я имею возможность наблюдать и изучать ежедневно.

Тут, Маруся, ты встала неожиданно <и> мне сказала: «Прекратим пока разговор. Ты сейчас мне был убедителен. Мне надо подумать о том, что ты мне сказал».

[1] Прозвище Е. О. Кириенко-Волошиной, матери Волошина.

596. Д. Д. ПЛЕТНЕВУ

Декабрь 1931 г. Коктебель

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

на днях мы проводили из Коктебеля вдову покойного Семена Ивановича Златогорова – Татьяну Руфовну, недели 2 гостившую у нас.[1] Из разговоров с ней я узнал, что она пенсии не получает и что ее единственный источник существования (кроме службы) – издание оставшихся после Сем<ена> Ив<ановича> его научных трудов. Узнав, что кое в каких она связана с Вами, очень за нее порадовался: «Вот здесь у Вас не может быть никаких недоразумений – я хорошо знаю благородство и бескорыстность Дм<итрия> Дм<итриевича>» – и поспешил ее успокоить в этом отношении.

От нее же узнал, что Ваши личные неприятности уже давно окончились и что жизнь и деятельность Ваша возобновлены.

Шлем дружеский привет Мар<ии> Петр<овне>[2] и Вам.

Помня Вашу благосклонность к моему искусству, позволяю себе послать Вам 2 акварельки на память.

Максимилиан Волошин.

[1] Т. Р. Златогорова выехала из Коктебеля в Ленинград 24 ноября 1931 г. (Труды и дни-2. С. 504).

[2] М. П. Плетнева (урожд. Андриевич, в первом браке Досекина), жена Д. Д. Плетнева.

1932

597. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

1 января 1932 г. Коктебель

1. I. 1932.

Дорогой Иван Михайлович,

с Новым годом поздравляю Вас и Софью Анастасьевну.[1] Ваше письмо и посылку получили вчера и приносим Вам благодарность.[2] Но хотя мы теперь и обеспечены пенсией, но принуждены радоваться, как и прежде, всякой съестной посылке, потому что голод царит в Крыму по-прежнему, и несмотря на то, что я имею документ, что помимо пенсии приравнен в получении жизненных и съестных благ к индустриальным рабочим [3] – что было бы для центра великое благо, здесь это не имеет на нашу судьбу никакого влияния и не производит на местные власти никакого впечатления, и мы бы форменно голодали, если бы не посылки наших далеких друзей, нас не забывающих и зимою. За Вашу посылку – Вам большое и низкое спасибо – она угадывает наши нужды.

Что касается до пенсии, то, судя по газетному извещению, сомневаться в ней нельзя. Но из какой скалы прольется этот благодатный ключ, для нас неизвестно. Мы смиренно ждем.

Были в городе:[4] Славолюбов нашел у Маруси острое малокровие на границах злокачественного, у меня миокардит с ослаблением сердечной мышцы (отсюда – одышка).

Мне надо сидеть дома, а Марусе – питаться и отдыхать. Но текущая жизнь отдыхать ей не дает.

Она очень ослабла за лето. Спасибо за Ваши указания мне – я их приблизительно все и выполняю в смысле питания. На ужин только простокваша. И это вызвало небольшое, но постоянное похудание, что меня радует.

Посылку Вашу, по Вашим указаниям, взвесили и проверили: убыли не оказалось.

Ваше впечатление от Феодосии очень верно:[5] я только что вернулся из города, и каждый раз то же впечатление медленного умирания и засыхания на корню.

Привет Софии Анастасьевне. Спасибо.

Max.

Приписка М. С. Волошиной:

Дорогой Иван Михайлович,

Шлю Вам и Софье Анастасьевне сердечную благодарность за память и неизменное внимание. Оно очень согревает, и радует, и облегчает жизнь.

Всего доброго.

М. Волошина.

[1] С. А. Саркизова.

[2] Подразумевается письмо И. М. Саркизова-Серазини от 24 декабря 1931 г. (ДМВ, № НВ–17058) – ответное на неизвестное нам письмо Волошина от 18 декабря 1931 г.

[3] См. п 585, примеч. 2.

[4] Волошины ездили в Феодосию около 24 декабря 1931 г. (Труды и дни-2. С. 505).

[5] 24 декабря Саркизов-Серазини писал Волошину: «На меня Феодосия произвела ужасное впечатление своей нищетой, голодом и убогим видом своего населения. Я знал ее в другие времена, когда город был сытый, радостный, веселый, опрятный». Сходные впечатления – в более раннем письме Саркизова-Серазини к Волошину, от 24 августа 1931 г.: «Только что приехал с Кавказа и остановился у К. Ф. Богаевск<ого>. Думаю прожить недельку у него, а затем бежать в Севастополь из этого забытого людьми, голодного, разрушенного города. Точно Тамерлан прошел по этому когда-то оживленному уголку. Оборванные, босые и голодные жители, изгаженный порт, антигигиенический пляж, тучи пыли. Не узнать Кафы – любимого города патрона старой владычицы Понта – св. Георгия» (ДМВ, № НВ–17056).

598. В СЕЛЬКООПЕРАТИВ

1 января 1932 г. Коктебель[1]

Коктебель. 1/I 32.

Уважаемый товарищ!

Прошу принять меры и дать распоряжение по следующему поводу.

2/X 31 г. мною было подано заявление в Селькооператив о зачислении меня и моей жены на рабочий паек на основании справок №№ 795, 333, приложенных к заявлению.[2] Не получая месяц никаких разъяснений, в декабре было подано вторичное заявление с запросом, и опять прошел месяц, ответа нет. И на мой запрос Селькооператив предложил мне лично для объяснения отправиться в Ст<арый> Крым, не имея ни времени, ни средств и не считая нужным при существовании почты ездить там, где можно обойтись письменно. Принужден обратиться к Вам лично, а если и это не поможет, то очевидно придется уже в РИК.[3] Так из-за простой формальности разводится бюрократизм.

[1] Текст рукой М. С Волошиной.
[2] См. п. 585.
[3] РИКК (см. примеч. 3 к п. 539).

599. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

4 января 1932 г. Коктебель

4/I 1932.

Дорогая Анна Петровна,

до нас дошли тревожные слухи о твоем здоровье.[1] Хочется знать от тебя лично, что с тобою в действительности.

Стороною слухи, весть о тебе и о С. В.[2] доходят постоянно. Наша жизнь течет по-прежнему. Я рисую, пишу. Но кроме стихов.

Богаевский этой осенью ездил в Баку в командировку. Вернулся в восторге. Он написал ряд этюдов — вероятно, тех

мест, которые писала когда-то ты, но Баку за эти годы изменился: совсем нет копоти и ничего, что было в твоих этюдах.[3] Привет С. В.

Макс.

[1] Из письма М. С. Волошиной к А. П. Остроумовой-Лебедевой от 30 января 1932 г. известно, что у Остроумовой-Лебедевой была сломана рука.

[2] С. В Лебедев

[2] А. П Остроумова-Лебедева ездила в Баку вместе с С. В Лебедевым в 1916 г., тогда же были выполнены 24 вида Баку (подкрашенные рисунки). См : *Остроумова-Лебедева А. П.* Автобиографиеские заметки. Т. III...С. 500 – 506). Этюды, написанные Остроумовой-Лебедевой в Баку, см: А. П. Остроумова-Лебедева. К 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности. Каталог выставки. Л., 1951.

600. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

18 января 1932 г. Коктебель

18/I 1932.

Милый Казик,

Сегодня получили твое письмо (от 9/I) и Мурино, и карточки (от 8/I).[1] Все очень радостно и хорошо. Мурино лицо по карточкам нам очень нравится. Главное хорошо, что в нем не видно никакой женской (дамской) элегантности. Это лицо очень милого доброго и непосредственного ребенка, который выглядывает и из своих карточек, и из своего письма – смело, искренно, прямо и с некоторой чисто детской неловкостью и угловатостью. Очень рад твоему решению к нам приехать. Жаль, что ты не назначаешь, хотя бы приблизительно, времени приезда. Думаю, что это будет очень хорошо и станет для нас, как и в прошлом году, центром нашей зимы.

У нас последние дни вообще поворот к лучшему: Марусе стало немного лучше в смысле здоровья: у нее ее острое малокровие последние дни очень усложнилось состоянием желудка: и это уже выправилось. На рабочий паек нас пер<е>вели

сегодня и приняли, наконец, в рабочую столовую. Но это еще не разрешает вопроса о питании по ликвидации Марусиного малокровия. В этом отношении моя надежда на твой приезд: твоя мысль привезти продуктов очень хороша. И вот некоторые указания, что нам особенно надо: Марусе необходимо поднять питание – поэтому предпочтительны не лакомства и сладости, а нечто более солидное и сытное: сыр, ветчина, рыба (но *не консервы!*) и вообще то, что можно достать в *Торгсине*.[2] Твоя мысль достать мне жалованье в Союзе писателей через Леонова очень хороша. Если она удастся. Я вообще думал и сам совершенно отказаться от получки денег из Союза, но только когда наладится получение пенсии. Пока же это невозможно, т<ак> к<ак> мы сейчас (уже 2 месяца) ниоткуда денег не получаем и живем только посылками от друзей (т.е. одними кашами и крупами). Я-то питаюсь, а Марусе ничего в горло не лезет.

У нас эти дни был неожиданный гость – Юра Беклемишев – заменил нам Асю в прошлом году.[3] Мы были ему очень рады и встретили его радостно и ласково. Неловкие воспоминания прошлого были помянуты и улажены.[4] Он мне много напомнил о тебе и напомнил хорошо.

Пенсия вот в какой стадии: в местной сберегательной кассе (на почте) получена моя пенсионная книжка и мне передана. Пока ждут приказа, чтобы ее выдавать. Так что здесь нить найдена, и ежедневно все может разрешиться.

Крепко тебя обнимаю.

МАХ.

[1] Еще в письме от 25 декабря 1931 г. К. М. Добраницкий сообщал о своей женитьбе:

«Моя жена – Мария Анатольевна – еще почти девочка (18 лет), молодой химик, очень молодой, горячий, темпераментный и чистый человек.

Я как-то очень вырос и очень счастлив. Во мне было слишком много силы и слишком мало обязанностей и ответственности (личных, конечно).

Мне кажется, что я не стою ее. <. .>

С нежностью я смотрю на нее. И мне страшно, когда я думаю, что я могу покалечить ее.

Сложно тут с Еленой Карловной <Добраницкой. – *Ред.*>.

Ей я пока еще не сказал о моей женитьбе. Она не верит во взрывы, а я не верю в постепенность.

Я готовлю ее постепенно. Это очень тяжело и гнусно, но (я знаю Е К.) – это необходимо.

Мура много слышала о тебе и Марусе от меня, любит тебя и твое творчество

Я хочу и сделаю так, чтобы Мура была тебе и Марусе такой же любящей дочерью, как я – сын.

Макс – ты рад за меня?

Я очень счастлив, счастлив, не шумно, бурно, а тихой, внутренней радостью, которая заставляет человека быть сдержаннее и молчаливее, чем обычно.

Марусенька! Люби Муру Она очень настоящая и очень молодая. Как цветок – веселая и радостная» (ДМВ, № НВ–7013).

Продолжение той же темы – в письме Добраницкого от 9 января 1932 г.: «Посылаю тебе письмо Муры Она раньше не хотела дать мне его прочесть, потом все же дала. Посылаю тебе и две наших фотографии. <...> Мечтаю о возможности в феврале на 5–7 дней приехать с Мурой к Вам, в Коктебель» (ДМВ, № НВ–7014).

[2] Торгсин – созданное в январе 1931 г. Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами; занималось также обслуживанием советских граждан, имеющих «валютные ценности».

[3] Ася – Р. М. Гинцбург.

[4] Юрий Соломонович Беклемишев (1908–1941) – сын С. Ю. Копельмана, в прошлом руководителя издательства «Шиповник», и В. Е. Беклемишевой, студент, впоследствии – прозаик, выступавший под псевдонимом Ю. Крымов. По свидетельству Л. П. Домрачева, Волошины считали, что он (друживший с местной деревенской молодежью), будучи ранее в Коктебеле, навел на Дом поэта воров (Труды и дни-2. С. 506).

601. МУРЕ[1]

19 января 1932 г. Коктебель

19/I 1932.

Милая Мура,

Спасибо за хорошее письмо и за карточку.[2] Мне понравилось на ней Ваше лицо. Понравилось то, что в нем совсем

нет того, чего я для Казика боялся – женской элегантности. Я боялся, что увижу на фотографии «красавицу» с распущенными волосами, а увидел хорошее и трогательное детское лицо.

Эти же черты для меня подтверждаются и Вашим письмом. Я верю всем Вашим написанным словам, и мне радостно будет вскоре Вас увидеть и узнать и, значит, полюбить... В Ваших словах есть та неловкость и угловатость, которую не подделаешь и не придумаешь.

[1] Фамилия адресата (Мария Анатольевна, жена К. М. Добраницкого с декабря 1931 г.) не установлена

[2] См. п. 600, примеч. 1. Мура писала Волошиным 8 января 1932 г: «Хотелось мне также сказать несколько слов о нас с Казей! Я понимаю Вашу боязнь о возможной ошибке с Казиной стороны: обещаю, что ее не будет. Что я отдам всю свою молодость, энергию и любовь ему. Он не будет больше одиноким, все мои силы пойдут на постройку светлого и долгого счастья. Сейчас мы оба очень счастливы, думаю, что это не только медовый месяц нашей любви, но крепкое и сильное чувство. Дорогие, Вы нас увидите вместе и тогда сами поймете и почувствуете, стою ли я Кази и дам ли я ему то, чего он стоит! Я его очень ценю, очень глубоко ценю и люблю! Надеюсь на скорую встречу» (ДМВ, № НВ–7014).

602. А. И. ЯРОЦКОМУ

а. 20 января 1932 г. Коктебель[1]

20/I 1932.

Дорогой Александр Иванович,

Ваше письмо дошло до меня только вчера и произвело, и тоном и окликом, светлое и бодрое впечатление: думаю, что сейчас – Вы единственный нисколько не поддавшийся горестному склонению времени пожилой человек.[2] Этого я не могу сказать про себя: несмотря на то, что эти последние годы прошли над нами сравнительно благополучно, несмотря на то, что и этот второй крымский голод мы, кажется, проскочили благополучно, но все-таки я чувствую себя очень постарев-

шим и пожилым. И о Вашем чтении греческих поэтов в подлиннике слушаю с вожделением, но у меня не хватает духу и знания, хотя их тексты (в издании, Вами же подаренном <?>[3]) стоят мирно на полке в моем кабинете, рядом с любимыми поэтами Франции, к которым я подхожу очень часто и перечитываю всегда.

Эти годы (с закрытием ЦКУБУ) мы сидели сперва без какого бы то ни было постоянного прихода — жили только нерегулярными присылками съестных посылок от наших летних друзей и отклоняя все искушения местного начальства, которое, лишая нас хлеба, говорило — пусть сами достают: у них 30 комнат свободных. Вольно же их даром отдавать!

Но я на эти соблазны не пошел и вот неожиданно этой зимой я прочел в газетах:

«Сегодня 20/XI – Совнарком утвердил выдачу пожизненной пенсии писателям Макс<имилиану> Волошину, Андр<ею> Белому и Геор<гию> Чулкову».[4]

Мы, конечно, очень счастливы с Марией Степановной. Тем более, что на ней недоедание последних лет сказалось острым малокровием (на границе злокачественной) и еще осложнилось катаральным состоянием желудка. Но сейчас с пенсией сложно: хотя нам должны по постановлению Совнаркома платить пенсию с ноября прошлого года, тем не менее нам еще ничего не прислали и мы совсем сидим 2 месяца без денег, тем более, что все друзья, оповещенные газетами о пенсии, радуются, поздравляют, но это от малокровия не помогает.

Переписка если и не сократилась, то очень разжидилась: я стал писать все более и более неразборчиво: надо писать, как Вы, письма на машинке.

Это единственный способ не приводить своих корреспондентов в полное отчаяние безвыходными палимпсестами своих писем.

Мое здоровье в общем лучше: я понемногу и очень медленно и постоянно худею: теперь я держусь на весе около 90 кило (еще год назад было 110—115 кило). Последствия моего парэза благополучно ликвидировались. Только стихов больше никак не могу начать писать. Может быть, это не послед-

ствия удара? Может быть, эта уединенная совершенно зимой жизнь в Коктебеле без книг и без газет так действует на меня, но у меня эти годы наступила творческая старость. Даже живописью, которая эти годы мне во многом помогла материально, я стал меньше заниматься. М<ожет> быть потому, что она вызывает страшно энергичное противодействие в Марусе, которая не хочет, чтобы я «писал акварельки» малого формата. Т<ак> к<ак> это «слишком легко» и тебе никакого труда не составляет.

Вы спрашиваете о Елисавете Сергеевне?[5] Она по-прежнему преподает гравюру в Академии Художеств и имеет частную мастерскую, принимающую заказы. Многих ее учеников, работающих в ее мастерской, я знаю и иногда видаю. От них знаю, что работа там идет успешно и зарабатывают там хорошо, но среди ее учеников и сотрудников против нее подымается оппозиция. Ее адрес прежний: *Ленинград.* Площадь Александринского Театра (сейчас площадь Островского), д. 9.

Прошлым летом у нас в Коктебеле почти никого не было. Дело в том, что я подарил второй дом (каменный флигель) Союзу Писателей, чтобы он открыл свой Дом Отдыха. Но они прислали сюда человека, крайне непрактичного и нелепого Островера, который поспешил устроить у нас свою жену и младенцев и вошел в договор о питании с имеющимся здесь Д<омом> Отд<ыха> МЕИ (Моск<овский> Энергетический центр).

Потом его жена заболела тифом.[6] Маруся пожалела ее, оставила у нас в доме и выходила. Летом было всего 4 случая тифа, и из них выжили только те, что не были отвезены в больницу.

В этом году Союз Писателей хочет осуществить собственный Дом Отдыха и обещается принять на питание и наших личных гостей.

Так что пути в Коктебель вновь открываются. Повидайтесь с Правлением Союза и сговоритесь предварительно. И спишитесь с ними о сроке приезда. Это необходимо, т<ак> к<ак> наша летняя жилая площадь очень сокращается и нам надо точно знать приезды и отъезды гостей, чтобы все сообразить.

Пока до свидания. Надеюсь, что осенью свидимся. И во всяком случае, что наша переписка не оборвется. Привет от нас обоих Вам и Нине Владимировне.[7]

МАХ.

P. S. Имеете ли какие-нибудь вести о Гольштейнах?
Я – ничего не знаю.

6. 23 января 1932 г Коктебель

23/I 1932.

Дорогой Александр Иванович,

Вчера пришло Ваше письмо – светлый и бодрый оклик. Вы сейчас редкий человек, не поддающийся склонению эпохи. Не могу, к сожалению, похвастать тем же. Не во внешней жизни – в ней здесь больше чем благополучно, но я чувствую, что быстро и неудержимо старею и физически и духовно. Все-таки полуудар, что у меня был года полтора назад, сказался на творчестве: стихов я почти не пишу. Живопись иссякает. Мускулы слабеют. Голова часто кружится.

На чтение и перечитыванье греческих поэтов в подлиннике не хватает знания языка и воли его возобновить. Французских новых книг нет.

Эти годы мы жили без всяких регулярных доходов – случайными посылками друзей и случайною продажей акварелей. Этой зимой – месяца два назад, – я прочел в газетах, что мне дана пожизненная пенсия. Но это абстрактное газетное сведение еще не стало жизненною конкретностью. Но, конечно, нас очень ободрило. Почти одновременно с этим у М<арии> С<тепановны> обнаружилось острое малокровие, как результат переутомления и недоедания последних лет. У меня в речи от малейшего утомленья стала появляться шепелявость, почерк стал неразборчивым, так что я вынужден писать письма на машинке. Неожиданные симптомы старости и упадка проявляются со всех сторон. А может быть, то все только следствие зимнего уединения на берегах безлюдного Понта-Ак-

синос?[8] и все это пройдет к лету, когда появятся первые люди и наступит весна.

Вы спрашиваете адрес Елисаветы Сергеевны? Я думаю, старый: «Ленинград. Площадь Островского 9». Я же года три ее не видал и об ее жизни ничего не знаю.

В прошлом году я в предвиденьи летнего безлюдья и голода подарил каменный флигель дома Союзу писателей, в надежде, что они устроют сво<й> Дом Отдыха. Но они поручили это лицу крайне неудачному, и из этого ничего не вышло. Этим летом я надеюсь, что это будет поставлено иначе и что двери в Коктебель будут вновь раскрыты.

Тогда милости просим к нам с Ниной Владимировной, но необходимо заранее списаться о точном сроке приезда и пребывания, т<ак> к<ак> мы будем стеснены этим летом в смысле жилплощади.

Нине Владимировне и Вам — привет нас обоих! Имеете ли какие-нибудь сведения о Гольштейнах? Я — нет.

Максимилиан Волошин.

[1] Письмо сохранилось в двух вариантах — неотправленном пространном (*а* — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 2; ошибочно атрибутировано как письмо к А. И. Анисимову) и более кратком, отправленном адресату и хранящемся в общей подборке писем к нему (*б*).

[2] В письме к Волошину от 12 января 1932 г. А. И. Яроцкий рассказывал о своей текущей научной работе («работа единственное прибежище для души») и отмечал: «В 1920 г. я с ноября по июль забросил всякую научную работу и другое чтение и читал только греческих авторов в подлинниках и перечел много. Сейчас я опять очень близок к этому настроению и уже недели две, как забросил всякое другое чтение и принялся за чистую математику. Я представлял, что это должно необыкновенно благотворно действовать на мозги — совершенно также, как если бы их вынуть на тарелку и хорошенько помыть и почистить их зубной щеткой. Только вряд ли у меня сейчас хватит характера так оторваться надолго от текущей жизни» (ДМВ, № НВ–25354).

[3] Имеется в виду издание: Anthologia lyrica graeca / Edidit Ernestus Diehl. T. 1–2. Leipzig: B. G. Teubner, 1925. Сохранилось в библиотеке Волошина, дарительная надпись: «Дорогому Максимилиану Александровичу Волошину в знак старой дружбы и глубокого уважения от А. Яроцк<ого> 8. IX. 28» (Мемориальная библиотека М. А. Воло-

шина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 69).

[4] См. примеч. 5 к п. 593.

[5] Е. С. Кругликова. «Не знаете ли Вы, что поделывает Е. С. Кругликова и какой ее адрес?» – спрашивал Яроцкий Волошина в цитированном выше письме.

[6] Р. Я. Островер заболела брюшным тифом на третьей декаде августа 1931 г., болела более двух месяцев.

[7] Н. В. Яроцкая (урожд. Винберг).

[8] Понт Эвксинский (букв. – гостеприимное море) – древнегреческое название Черного моря.

603. К. Л. ЗЕЛИНСКОМУ

25 января 1932 г. Коктебель

25/I 1932.

Дорогой Корнелий Люцианович,

Благодарю за Ваше такое дружеское и заботливое письмо.[1] Мы за эти годы, как закрылось ЦКУБУ и прекратилось академическое обеспечение, уже привыкли к совершенно случайной и очень ограниченной жизни, в которой нас выручали только питательные посылки от друзей, живших в Коктебеле. В прошлом ноябре, прочтя в газетах, что мне назначена пожизненная пенсия, мы несказанно обрадовались и стали ждать, надеясь на Союз Писателей, который мне обещал платить по 150 р. (а не по 250) в месяц не за подаренный Дом, а как жалованье хранителю подаренного мною Архива. Но с начала ноября не прислал ни копейки, что сейчас меня крайне подводит. Т<ак> к<ак> мы сидим всю зиму без денег и оба больные: у меня сильнейшая астма от малейшего движения (доктор говорит: ослабление мускула сердца. А у Маруси хуже: острое малокровие на границе злокачественного). Ей необходимо питаться. А питаться сейчас совершенно нечем. Причина – переутомление и недоедание.

Островер нам лично вреда не наделал, если не считать тог<о>, что жена его летом у нас болела брюшным тифом[2] и они напортили и сгноили массу необходимейших медицин-

ских вещей. Но это на нашей личной ответственности: Маруся, когда констатировала у нее брюшной тиф, ввиду того, что из десяти сл<уч>аев тифа этим летом три — отправленных в город в больницу были смертельны, настояла, чтобы оставили дома. Для нее это было очень утомительно, но «Островерицу» удалось выходить. Но вещей они напортили изрядно. Клялись возместить по приезде в Москву, но ничего до сих пор не сделали.

На этих днях мы ждем из Москвы одного друга К. М. Добраницкого, он пред отъездом хотел поговорить с Леоновым и предложить ему отвезти нам должные Союзом деньги. Добраницкого я хорошо знаю и надеюсь, что Николай Максимович[3] ему не откажет оказать нам эту услугу.

Карточку на права получать паек по первой категории, как рабочий, я получил[4] и с большим трудом добился (на это понадобилось полтора месяца) их осуществления, но это дает право получать обед в местной рабочей столовой, что при общем положении Крыма дает мало радости и питания.

Еще раз большое спасибо, милый Корнелий Люцианович, за Ваше милое и внимательное письмо.

Наш привет Кине Михайловне и Каю.[5]

[1] В письме к Волошину от 19 января 1932 г. К.Л. Зелинский выражал озабоченность его материальным положением («Нельзя допустить, чтобы писатель в нашей стране находился бы на пороге форменной нищеты и голода»), а также сообщал: «Я говорил о Вашем тяжелом положении с председателем ВССП Леоновым и с председателем нашей хозяйственной комиссии Евдокимовым. Они заверили меня, что те 250 рублей, которые Союз писателей обязался Вам выплачивать за предоставление своего дома под дом отдыха писателей — ежемесячно Вам аккуратно высылаются. <...> Мы можем легко организовать регулярную посылку Вам необходимых продуктов, которые трудно или нельзя достать в Коктебеле (как масло, муку, консервы и т.д.) в счет сумм, которые Вам следуют от ВССП. <...> Наконец, можно, я думаю, увеличить и улучшить формы действительной помощи Вам». В заключение Зелинский упомянул о Л.И. Островере, представлявшем Союз писателей в Коктебеле: «Это была крайне неудачная кандидатура. <...> Мы этого прохвоста исключили из состава ВССП. <...> Вообще Вы должны помнить, что у Вас есть друзья в

Москве, которые всегда хотели бы помочь Вам и оградить Вашу творческую деятельность» (РГАЛИ, ф. 1604, оп. 1, ед. хр. 234).

[2] См. примеч. 6 к п. 602.

[3] Ошибка. Леонов – Леонид Максимович.

[4] См. п. 584.

[5] Жена и сын Зелинского.

604. Е. Ф. НИКИТИНОЙ

30 января 1932 г. Коктебель[1]

30/I 1932.

Глубокоуважаемая и милая
Евдоксия Феодоровна,

только вчера из письма д<окто>ра Бобкова я узнал, что Вы принимаете большое участие в продаже моих акварелей.[2]

Приношу Вам живейшую благодарность, но в августе прошлого года никаких присылок от Вас не имел и поэтому ничего не писал и не благодарил.

Сейчас мое материальное положение несколько улучшилось: на этих днях мне стали наконец выдавать «пенсию».

Спасибо за все хлопоты и беспокойства.

Максимилиан Волошин.

P. S. Если Вы в августе мне высылали деньги, то пришлите, пожалуйста, более точные данные для того, чтобы навести справки на почте.

М. В.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 31. 1. 32; Москва. 2. 2. 32.

[2] См. примеч. 4 к п. 555. 22 января 1932 г. А. П. Бобков сообщал о судьбе акварелей Волошина: «Евдоксия Федоровна Никитина сказала, что на днях она разыграет их на собрании Общества Писателей. Чтобы узнать о результатах, нас просили зайти 1–2-го февраля. Она сообщила нам, что в середине августа послала Вам за этюды 60 рублей. Получили ли Вы их? Мы были в это время у Вас и ничего от Вас не слыхали» (ДМВ, № НВ–6705).

605. А. П. и Т. М. БОБКОВЫМ

30 января 1932 г. Коктебель[1]

30/I 1932.

Дорогой Алекс<андр> Петрович и Татьяна Михайловна, Ваше милое и подробное письмо о Москве получили дня 2 назад,[2] и оно, очевидно, принесло с собою счастье, нам в тот же день в первый раз выдали пенсию. От Зернова я получил деньги и письмо.[3] От Никитиной не получил ничего ни осенью, ни теперь. Ваше описание Москвы очень красочно, и я радуюсь, что я сейчас не там: меня удержали в этом году от поездки страх трудности выезда и переезда. Сегодня написал Евдоксии Федоровне...[4] В этом году зима была в Коктебеле морозная только осенью: ноябрь и декабрь. Все ожидают ранней весны. И теперь уже иногда погода и дни весенние. Сегодняшний день, например: мы пили утренний кофе на балконе, и было жарко....

Спасибо за память и хлопоты.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 31. 1. 32; Москва. 3. 2. 32.

[2] Подразумевается письмо А. П. Бобкова от 22 января 1932 г. (ДМВ, № НВ–6705).

[3] Сохранился талон к почтовому переводу В. Д. Зернова Волошину от 4 января 1932 г. (ДМВ, № НВ–8300).

[4] См. п. 604, примеч. 2.

606. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

30 января 1932 г. Коктебель

30/I 1932.

Дорогая Анна Петровна,

С глубоким душевным волнением пишу тебе это письмо.

Мы так давно не виделись. Прошлый год был у нас ужасен. Этот год намечается совсем по-иному.

Внешне – у нас все блестяще: нам дали персональную пожизн<енную пенсию> (225 р<ублей> в месяц). Так что мы себя после этих более чем скудных лет чувствуем себя <*так!*> разбогатевшими.

И это уже перестало быть фикцией: на днях нам даже выдали денег.

Но морально мы чувствуем себя неважно: я чувствую, что с каждым днем подступают ранние неожиданные симптомы старости: нездоровье, упадок творческих сил, не могу писать стихов, нет прежней неудержимости и настойчивости в живописи.

У Маруси – разные симптомы острого малокровия: головокруженье, раздражительность. Общий отлив друзей от Коктебеля... Но не от нашего дома: причина внешняя – голод в Крыму и отсутствие столовых для курортных.

Все, кто попал сюда прошлым летом, были или связаны с Домами Отдыха, или более смелые – были «самотеком».

Прости меня за такое незначительное и отрывистое письмо. Привет Сергею Васильевичу.[1]

Мне очень радостен самый факт переписки с тобой. Как поживает твоя рука?[2] Всего лучшего.

Макс<имилиан> Волошин.

[1] С. В. Лебедев.
[2] См. примеч. 1 к п. 599.

607. О. Ф. СТОЯНОВОЙ

30 января 1932 г. Коктебель[1]

30/I 1932.

Дорогая Олимпиада Феодоровна,

Спешу Вас известить, что Ваша посылка с бумагой мною получена и что я глубоко Вас за нее благодарю от всей души.

Мои денежные дела стали сразу лучше: я на днях наконец получил «пенсию», фактически. Как Ваше и Алекс<андра> Ильича[2] здоровье? Посылая Вам мои «акварельки», я со-

вершенно позабыл приписать Вам просьбу выбрать для себя и Алекс<андра> Ильича по своему вкусу по 2 штуки. У меня кончаются краски. Нельзя ли в Одессе купить акварельных красок (хотя бы Гюнтер-Вагнер – кругленьких плоских под маркой «Пеликан»)? Раньше это были единственные заграничные, что были в продаже в центрах. Если возможно, напишите: я Вам вышлю список палитры и деньги.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовый штемпель получения: Одесса. 3 фев. 1932.
[2] А. И. Стоянов.

608. В. В. ВИШНЕВСКОМУ

11 марта 1932 г. Коктебель[1]

11/III 1932.

Милый Всеволод,

спасибо большое за пачку журналов, что мы получили вчера от Вас при безлюдьи и бескнижьи Коктебеля. Это большая радость. Вчера весь вечер я их с жадностью проглядывал и перечитывал. Я точно всласть наговорился и наслушался современных московских разговоров. Спасибо, буду очень благодарен за всякие текущие новинки. Старые иностранные газеты и журналы начала века начинают уже не насыщать меня.

М. Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 13. 3. 32; Москва. 15. 3. <32>.

609. А. А. КИПЕНУ

11 марта 1932 г. Коктебель

11/III 1932.

Дорогой Александр Абрамович,

Большое спасибо за деньги и за письмо.[1] Сейчас у меня нет острой нужды в деньгах: мне дали снова пожизненную пенсию, и я могу не продавать своих акварелей, а опять дарить их. Но беда, что кончились мои запасы заграничных красок. Я знаю, что в России сейчас английской акварели не купишь. Нельзя ли в Одессе достать хотя бы немецкой. Кажется, Гюнтер-Вагнер в России есть. Мне нужна коробочка с акварельными красками (для школы) очень яркими и мылкими. Нельзя ли их достать в Одессе? Посылая деньги, Вы писали, что скоро напишете подробное письмо. Его я еще не получил и жду. Эти деньги, что Вы послали, вероятно, плата за какую-нибудь акварель?

М. Волошин.

[1] Высылая Волошину 60 руб., А. А. Кипен добавлял в письме от 1 февраля 1932 г.: «На днях напишу Вам большое письмо, а сейчас не имею ни минуты свободного времени» (*Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп. Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 91).

610. М. А. ПАЗУХИНОЙ

13 марта 1932 г. Коктебель[1]

13/III 1932.

Дорогая Мария Александровна,

спасибо Вам большое за все Ваши посылки. Как раз сегодня мы их вспоминали: Маруся делала блины и давала к ним все остатки Ваших рыбных присылок.

Их уже осталось немного – это показывает их успех. Я этой зимой мало что делал в смысле искусства: стихи не могу

писать. Боюсь, что уже совсем. Хотя и раньше у меня бывали перерывы. Напр<имер>, перед «Владимирской»[2] я года 2 ни строчки не писал. Так и теперь. Акварелей я тоже мало писал. Я в прошлом году еще Вам адресочек <?> сообщал, что у меня английские краски (ваши) истощаются. Теперь они совсем кончились. Помню, как Вы покачали головой и сказали: «Теперь английских красок не достанешь. А Вам Богаевский ничего не говорил?» После этого я был в Феодосии и виделся с Богаевским. Нарочно начал с ним разговор о красках. Спросил: «Как ты устраиваешься?» Он ответил: «Тот прежний запас, конечно, кончился, но вот как-то Мар<ия> Алекс<андровна> мне еще прислала». Но больше ничего не прибавил, и я, ничего из Ваших слов не зная, ни о чем больше его спрашивать не решился. Мария Александровна, я знаю, конечно, что сейчас английских акварелей не достанешь и в Россию не привезешь. Но помню, что раньше в худож<ественных> магазинах рядом с очень плохими русскими красками были немецкие Гюнтер-Вагнер (Пеликан), и помню *детские* краски, что были у Всевы, а позже и у Алика и у Дима.[3]

Они (не знаю их сохранности), но в размывке были очень ярки и хороши. Кажется, они продаются в готовых металлических коробочках и называются красками для этюдов (для худ<ожественных> школ Берлина). Фирма Гюнтер-Вагнер (Вена и Ганновер). Этим краскам я был бы бесконечно рад. Кажется, эти краски бывают и отдельно в виде кругленьких плиток или монеток.

Тоже был бы Вам очень благодарен за бутылку чернил: у нас вчера совсем истощились последние в доме (ваши же). Не влагаю никаких акварелей – их нет.

Всего лучшего и простите за просьбы и поручения.

Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к письму М. С. Волошиной, датированному тем же днем.

[2] Подразумевается стихотворение «Владимирская Богоматерь» (26 марта 1929 г. // Т. 2 наст. изд. С 128–130).

[3] Всеволод Николаевич Чернов, племянник М.А. Пазухиной, и ее сыновья Александр и Вадим Пазухины.

611. О. Ф. СТОЯНОВОЙ

18 марта 1932 г. Коктебель[1]

18/III 1932.

Дорогая Олимпиада Феодоровна,

большое спасибо за перевод в 50 р., кот<орый> получил на днях. Это, конечно, деньги за акварели? Если это еще не все, то очень прошу Вас остальные обратить или в акварельные краски (сижу без возможности работать), кажется, в России есть краски «Pelikan»? или в продуктовую посылку. У нас большая нужда в гречневой крупе. Есть ли она в Одессе? Если есть, то пришлите, пожалуйста, несколько фунтов. Оставили ли Вы себе несколько из продажных акварелей на память? Простите, что загружаю Вас порученьями. Но это всё предметы первой необходимости. Деньгами я сейчас более или менее обеспечен. Пенсию получаем! Привет Вашему мужу.

Волошины.

P. S. Заедете ли к нам этим летом? Были бы очень Вам рады.

[1] Открытка.
[2] О продаже акварелей Волошина О. Ф. Стоянова сообщала в трех недатированных письмах к нему (ДМВ, № НВ–20221, 20222, 20223).

612. М. А. ПАЗУХИНОЙ

24 марта 1932 г. Коктебель

24 III 1932.

Дорогая Мария Александровна,

Как глубоко тронуло Ваше письмо и Ваша забота о моем красочном голоде. Вы совершенно правы, оказывая предпочтение Богаевскому – я, конечно, сам бы предпочел отдать ему хорошие <?> акварели – если бы они у меня были, чем использовать их самому.[1] Английские мои краски еще не исто-

щены до конца. Но у меня уже нет полной палитры. В ней есть пропуски и пробелы, которых пополнить уже нельзя.

Этой зимой я чувствую себя физически очень плохо: задыхаюсь от каждого малого движения.[2] Это напоминает мне последние годы жизни моей матери. Этими напоминаниями о смерти полна вся эта зима: каждый взрыв в горах во мне отзывается сердечным припадком. Ведь общий окружающий нас пейзаж – это внутренний пейзаж моей души. Поэтому каждое разрушение горы во мне отражает<ся> новою болью.[3] И вся эта зима для меня постепенное и безжалостное умирание моего лирического мира. Постепенное и неуклонное отнятие моих различных душевных способностей: слова, зрения, слуха. Судьбы Ольги Эрастовны, Анны Петровны,[4] Воли Попова... и целого ряда людей моего поколения.

Разве это не приближение смерти?

Записки-воспоминания я теперь неуклонно веду изо дня в день.[5] Сперва я диктовал их Марусе, теперь стал их писать сам...

О моем здоровье доктора говорят благоприятно: один харьковский врач – д<окто>р Лященко, пользующий меня и Марусю <за>очно <?> – и очень удачно, обещает мне за один сезон в Эсентуках не только полное выздоровление, но помолодение до 35 лет. Так что этим летом я сделаю все, чтобы попасть туда. Так что мы, должно быть, летом встретимся, если Вы будете жить на «Минутке», как мне пишет Воля.[6] Я очень радуюсь, что Вам нравится Софья Яковлевна.[7] У нее удивительный тембр голоса. А Вы полюбили ее стихи? По-моему, это не менее прекрасно, чем она сама. А это очень много.

Мы живем с Марусей тихо: каждый вечер читаем вслух, и это для меня двойная радость: я по-новому переживаю любимых французских авторов и наслаждаюсь восторгом Маруси.

Недавно мы прочли А. Франса «Преступление Сильвестра Боннара».[8] Теперь будем читать его «La Vie Littéraire», которую удалось достать и по-русски.[9] Маруся читает «Жизнь Лазара Гоша» Жирара – это очень хорошая книга из «Les Vie Romançier's».[10]

Сейчас Саркизов прислал нам ряд книг – это очень наполняет нашу жизнь.

Еще нас ждет «Фуше» Цвейга[11] и много других богатств.

В поисках за акварелями очень рекомендую Вам заехать в кооперативный магазин «Художник» (Кузнецкий Мост, д. 11).

Там я, если не ошибаюсь, состою членом, это – на всякий случай. (Тел<ефоны> 5-95-19 и 4-81-83).

Там найдется все, что разрешено в России из красок.

Привет Алеку, Дыму и Василию Александровичу и Дане.[12]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 17 марта 1932 г. М.А. Пазухина сообщила Волошину, что вышлет ему немецкие акварельные краски из своего запаса, добавляя: «Конст<антину> Фед<оровичу> год назад мы действительно достали акварелей, причем заказ выполнялся год <...>. Сразу обоим Вам это сделать было трудно по многим соображениям <...> теперь же я постараюсь сделать это для Вас, надо ждать случая, кот<орые> бывают очень редки. <...> Не думайте, дорогой Максимилиан Александрович, что я о Вас тогда не подумала. Вы знаете, что Вы с Конст<антином> Фед<оровичем> оба мне дороги, но для него это источник его дохода, и я считала, что важнее сделать это в первую очередь ему. Теперь я сделаю для Вас, только Вы мне напишите, что Вы не сердитесь на меня и не считаете это обидой для Вас» (ДМВ, № НВ–14903).

[2] Ср. сообщение в письме М.С. Волошиной к Пазухиной от 11 февраля 1932 г.: «Макс <...> – день ничего, день плохо; у него головные боли, одышка, апатия. Сейчас даже не рисует, а целый день за книгой и больше молчит. Ему трудно даже письмо писать» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 246).

[3] Ср. фрагмент из чернового текста этого письма: «Так всю зиму я присутствую при постепенном разрушении пейзажа моей души» (Труды и дни-2. С. 511).

[4] О.Э. Озаровская, А.П. Остроумова-Лебедева.

[5] См. мемуарные записи, которые Волошин вел со 2 марта по 5 мая 1932 г. (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 345–446).

[6] В.И. Попов. В данном случае Волошин имеет в виду, скорее всего, сообщение М.А. Пазухиной в письме к М С. Волошиной от

21 марта 1932 г. о намерении «в этом году ехать на Минутку»: «Я хочу попробовать дать детям Сев<ерный> Кавказ, уж очень пленил меня тот воздух <...>» (ДМВ, № НВ–14904). Минутка – предместье Кисловодска.

[7] С. Я. Парнок. О ней Пазухина упомянула в письме от 17 марта 1932 г.: «Меня совсем очаровала С. Я. Парнок, хотя у нас знакомство пока еще телефонное, летом на Минутке мы встретимся».

[8] Роман Анатоля Франса («Le crime de Sylvestre Bonnard», 1881).

[9] «La vie littéraire» (1888–1892) – «Литературная жизнь», собрание литературно-критических статей А Франса в четырех сериях; в библиотеке Волошина имеются все четыре серии (см.: Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 190–191). Избранные статьи в русском переводе: *Франс Анатоль.* Полн. собр. соч. Т. 20: Литература и жизнь / Пер. и примеч. К. Г. Локса. С предисл. А. В. Луначарского. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1931.

[10] Издание, имеющееся в библиотеке Волошина: *Girard Georges.* La vie de Lazare Hoche. 11 édition. Paris: Gallimard, 1926 (Vies des hommes illustres; № 3) (Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. С. 206). Издание в русском переводе: *Жирар Жорж.* Жизнь Лазаря Гоша / Пер. с франц. В. В. Фроловой. Л.: Прибой, б. г.

[11] Исторический роман-биография Ст. Цвейга «Жозеф Фуше» («Joseph Fouché», 1929). См.: *Цвейг Стефан.* Собр. соч. Т. IX. Жозеф Фуше: Портрет политического деятеля / Пер. П. С. Бернштейн под ред. Б. М. Эйхенбаума. Л.: Время, 1931.

[12] А. В., В. В., В. А. Пазухины, Д. Н. Часовитина.

613. И. В. ЕВДОКИМОВУ

31 марта 1932 г. Коктебель

31 мар<та> 32 г.

Многоуважаемый Иван Васильевич,

Ваша телеграмма повергла меня в глубокое уныние и составлена из мне малопонятных слов.[1] Я совершенно не знаю, что такое слово «партизат»,[2] которому Вы отдаете дом на десять (лет? мест?). Но очень понятно слово «аренда», против него все во мне протестует. Никогда моего дома я не отдавал внаймы, и когда приносил его в дар ВССП, то не ставил ни-

каких условий, но надеялся, что мои коллеги по перу сами будут считаться с моими принципами.

Мой принцип ничего не продавать и личных выгод из дома не извлекать. Я этого придерживался, и мой дом так существовал в течение тридцати лет и был всегда переполнен. Расходы же по дому оплачивались только из моих личных средств, которых у меня всегда было слишком мало. Организация ВССП имеет, конечно, возможностей и права <больше,> чем я. Дом ВССП подарен, и я своего слова назад не беру, но прошу ВССП считаться с моими склонностями, так как у меня были возможности «пристроить» дом выгодно. Летчики, которые бывают обычными моими гостями каждую осень,[3] мне предлагали уступить дом или часть его, обещая арендную плату, комнату в Москве и много других современных и завидных благ. Но я предпочел подарить дом ВССП, чтобы он продолжал служить тому, которому я служил всю жизнь – литературе. Не считаю себя вправе протестовать против каких бы то ни было комбинаций, которые ВССП считает для себя более выгодными, но сам бы ни на какие «выгодные» комбинации не соглашался и не согласился бы. Одно слово «аренда» мне претит, а «партизат» я не понимаю ни смысла, ни содержания этого слова.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Текст полученной Волошиным телеграммы от Всероссийского Союза Писателей (31 марта 1932 г.): «Мы решили на десять отдать дом партизату за наем 30 мест в лето арендатор оборудует дом превосходно всем выгодно телеграфируйте ваше мнение – Евдокимов» (Труды и дни–2. С. 511). В тот же день Волошин отправил ответную телеграмму: «Очень опечален желательно только литературные организации подробности письмом – Волошин» (Там же. С. 512).

[2] Искаженное при телеграфной передаче слово «Партиздат». Дом творчества Партиздата был открыт в доме Волошина и флигелях в 1933 г.

[3] После Первых Всесоюзных планерных испытаний, состоявшихся в ноябре 1923 г. на горе Узун-Сырт близ Коктебеля, подобные слеты планеристов стали ежегодными. См.: *Жарков Евгений.* Страна Коктебель: Культурные очаги. Середина XIX–середина XX веков. Киев: Болеро, 2008. С. 268–281.

[4] Ср. свидетельства М.С. Волошиной (в мемуарных очерках «Макс в вещах») о реакции Волошина на телеграмму от Евдокимова: «“Не позволю, не хочу, как смеют издеваться! Я дом дарил писателям, а не каким-то партизанам” (текст телеграммы был перепутан, и выходило не Партиздату, а партизанам). Но дело не в том было — кому, а сам факт сдачи в аренду дома, который Макс с такой любовью подарил Союзу писателей, его оскорбил. Очень это было мучительно. Макс ударил палкой об конторку со страшной силой, ручка отлетела. Макс еще больше рассердился и растерялся. Он завыл: “а! а!” и выбежал из мастерской бегом по лестнице вниз. Я за ним “Пусть меня убьет солнце, хватит удар — я хочу умереть. Я не позволю над собой издеваться.” Был апрель месяц, и солнце жарко пекло. Это один из ударов, которые сильно подорвали Максино здоровье и послужили началом его последней болезни» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текстов и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 126).

614. И.М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

2 апреля 1932 г. Коктебель[1]

2. IV. 1932.

Милый Иван Михайлович,

спешу Вас известить и поблагодарить по получении очевидно последней досылаемой посылки с книгами, где «Космополис» Бурже и «Павел и Вергиния» Б<ернардена> де Сен-Пьер.[2] Очень благодарю Вас за все присылки, совершенно не входя в их оценку. Теперь я книжно обставлен. А мне книг стало очень нужно из-за бессонных ночей: я теперь часто не сплю из-за задыхания, которое у меня так и не прошло за зиму и с весною не уменьшается. Когда я сижу в кресле до утра — для меня книга необходима и книга лучше всего русская, переводная. Не считая нашего чтения вслух с Мар<ией> Степ<ановной>. Но теперь бывает, что и для чтения вслух у меня голоса не хватает. К этому у меня теперь еще присоединились артритические боли в суставах. Один врач в Харькове — д<окто>р Лященко — лечит нас с М<арией> С<тепановной> заоч-

но и обещает мне, если я поеду в Эсентуки – полное выздоровление и <*1 нрзб*>.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 3. 4. 32; Москва. 5. 4. 32.

[2] Романы «Cosmopolis» (1893) Поля Бурже и «Paul et Virginie» (1787) Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера. См.: *Бурже Поль.* Космополис: Роман / Под ред. и с биографич. очерком П. С. Когана. СПб.: Просвещение, <1913>. Под заглавием «Павел и Виргиния» роман Бернардена де Сен-Пьера издавался в русских переводах К. Льдова (1890) и Ек. Бекетовой (1892).

[3] Предписания доктора М. Я. Лященко относительно лечения передавала Волошиным в письмах А. А. Виноградова; в частности, в письме к М. С. Волошиной от 12 марта 1932 г. она сформулировала рекомендации для Волошина: «Зачем нужны Ессентуки? Я спросила, – ответил: “Там, у источника № 17, за № Г ключ, который может сделать его 35-летним”. А еще прежде он говорил, что Макс “в Ессентуках оставит все свои болезни и станет здоровым”. И “если хочет еще долго быть молодым и творить, пусть едет в Ессентуки”. Вот и все. Стоит ведь съездить туда, – не правда ли?» (ДМВ, № НВ–6765).

615. О. Ф. СТОЯНОВОЙ

2 апреля 1932 г. Коктебель

2/IV 1932.

Милая Олимпиада Феодоровна,

как я Вам благодарен за присланные Вами краски – я и сказать не могу. Конечно, они не заменят английских – но это именно то, что, допустив все компромиссы, о которых я мечтал: Гюнтер-Вагнер (Вена, Ганновер) для школ, т. е. одобренные германским правительством для художеств<енных> школ Берлина. Я именно такие умолял достать мне в Москве. Не знаю их постоянства, но их свойства – яркость и милкость <?> мне хорошо известны. Очень благодарю Александра Ильича[1] за участие в этом деле.

Вы, конечно, их нашли не в магазине... А купили «по случаю» у любителя. Хватило ли имеющихся у Вас моих денег или я Вам должен еще?

Мне краски очень нравятся. Нет ли в магазинах таких же красок не в коробочке, а в розницу?

Я с получения красок уже акварелей шесть новых написал.

Максимилиан Волошин.

[1] А. И. Стоянов.

616. Л. М. ЛЕОНОВУ

3 апреля 1932 г. Коктебель[1]

3/4 – 32 г.

Дорогой Леонид Максимович.

Пишу тебе, как председателю ВССП, но тем не менее предуведомлю об исключительном характере письма. Я получил от И. В. Евдокимова очень странную телеграмму, очевидно перепутанную телеграфистом: «Мы решили на десять отдать дом партизату за нами 30 мест в лето арендатор оборудует дом превосходно всем выгодно телеграфируйте ваше мнение Евдокимов».[2]

Я в глубоком недоумении относительно этой депеши. Когда я приносил «Дом Поэта» в дар ВССП, я оговаривал, что он будет использован согласно принципам его тридцатилетнего существования обслуживания поэтов-писателей. А теперь вижу, что независимо от меня, за моей спиной дом передается другим организациям. Для меня совершенно непонятно слово «партизат», факт передачи подаренного мною дома мне враждебен: я никогда не стремился к извлечению выгод из моего дома, предназначая его для пользования товарищей поэтов-писателей совершенно бесплатно. Союз, в сущности, моего дома даже не принимал, т<ак> к<ак> прошлогоднее хлестаковское пребывание Островера считать приемкой не могу. И тем не менее считает возможным отдать дом в аренду

какой-то другой организации, извещая меня об этом телеграфно, вводя в заблуждение непонятными именами! Отправляя в прошлом году текст дарственной, мне и в голову не приходило оговорить передачу Дома Поэта в другие руки. С юристом же не посоветовался, т<ак> к<ак> мне казалось, что с ВССП недоразумения на этой почве быть не может.

Кроме того я связан с ВССП еще одним даром: я завещал после моей смерти мой литературный архив – 30 лет жизни! И сейчас опасаюсь за его судьбу – не найдет ли ВССП «выгодным» переуступить его к<акой->н<ибудь> организации, я заранее испуган и спрашиваю тебя, что ты об этом думаешь?

Вообще <выбор лиц,> с которыми мне приходится сноситься в ВССП, неудачен: в прошлом году Островер – элемент комический, теперь Евдокимов, человек несомненно умный и талантливый, судя по его книгам, но бесцеремонный по отношению к Дому Поэта.[3]

Дорогой Леонид Максимович, даря Дом Поэта ВССП, я имел в виду «выгоды» писателей и их семей, а другим организациям отказывал, несмотря на предлагаемые разные блага для меня.

Привет Михаилу Васильевичу и Тане.[4]

[1] Машинопись. В архиве Волошина сохранился карандашный черновик этого письма (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 71).

Волошин обратился к Л. М. Леонову по совету Т. И. Сорокина, подробно осветившего в письме к М. С. Волошиной от 31 марта 1932 г. ситуацию, сложившуюся вокруг передачи дома арендатору: «Из обстоятельств дела вытекает, что передачу дома устроил по своей инициативе Евдокимов. Устроил это, конечно, в связи с отсутствием средств у Союза, но больше из побуждений, котор<ые> на простом языке называются подхалимством перед высшими Еще накануне я специально <навестил> Лидина и вел с ним продолжительную беседу о нецелесообразности передачи дома др<угой> организации <...> Лидин согласился с моими доводами и сказал, что на заседании правления он будет поддерживать точку зрения, чтобы дом не передавать. <...> Оказывается, это совсем не входило в планы Евдокимова. На заседании правления, когда Лидин стал возражать ему и отстаивать дом, когда, по словам Евг<ении> Ник<олаевны> <Чеботарев-

ской – *Ред.*>, даже Павленко, глава и фактический хозяин Союза, заметил, что ему не понятен образ действий Евдокимова, он, Евдокимов, заявил. “О чем может быть разговор Все уже сделано, договоренность уже состоялась и что кроме *выгоды* от этого ничего не последует”. Вопрос был снят, и Сулимова выехала в Коктебель. <...> если бы Макс написал Леонову откровенно, что из его дарственной ясно вытекает, что он передает дом *именно* Союзу и что, если он не оговаривал, что дом нельзя передавать, перепродавать или эксплуатировать на коммерческих началах, то это потому, что он понимал, что все это само собой разумеется. Что ему теперь трудно возражать, так как он поставлен перед совершившимся фактом, но что о всех подобных фактах следовало бы предварительно уведомлять его заблаговременно. Это, м<ожет> б<ыть>, несколько одернуло <бы> Евдокимова» (ДМВ, № НВ–19871).

[2] См п. 613, примеч. 1.

[3] Приводим аналогичный фрагмент в черновике:

«Вообще выбор лиц, с которыми мне приходится сноситься с Союзом, был очень неудачен. В прошлом году – Островер (в сущности – элемент комический, образчик хлестаковщины). В этом году Евдокимов – человек несомненно умный и талантливый, судя по его “Колоколам”, но по отношению к Дому Поэта – бесцеремонный.

[В этом году я уже, к счастью, не так стеснен средствами – мне дана пожизненная пенсия, это меня очень освобождает в моих дарах, и я считаю долгом быть совсем бескорыстным. Поэтому я прошу твоего дружеского совета и прошу письмо это не считать официальным, а чисто интимным.]». В тексте упомянут роман И В. Евдокимова «Колокола» (М.: Земля и Фабрика, 1926; изд. 2-е и 3-е – 1927).

[4] М. В. Сабашников и его дочь Татьяна Михайловна Леонова (урожд. Сабашникова; 1903–1979) – жена Л. М. Леонова.

617. А. И. ЯРОЦКОМУ

5 апреля 1932 г. Коктебель

5/IV 1932.

Дорогой Александр Иванович,

Всю эту зиму я чувствовал себя больным – одышка от малейшего движения, боли во всех суставах: словом, старость пришла. Меня со всех сторон посылают в Эссентуки и уверя-

ют, что № 17 будет для меня Fontaine de jouvence.* Что мне после курса лечения будет не только лучше, но я помолодею до 35 лет.

Что Вы об этом думаете? Особенно на этом настаивает один – харьковский врач, который меня лечит заочно, по диагнозу – феодосийских врачей.[1] Но лучший мой врач Марья Степановна, которая вместо всяких лекарств посадила меня на молочную диету, и одышка у меня уже прошла. Она сама была всю зиму очень больна – малокровие, истощение, пересыхает язык, ломит ночью руки. Но харьковский врач своим лечением сильно ее подправил.

Но об Эссентуках, как о панацее для моих старческих недугов, мне начал говорить еще раньше Семен Иванович[2] – покойный. Но тогда у меня не было возможности ехать в Эссентуки, а теперь есть: я получаю пожизненную пенсию.

Это было радостное событие этой зимы. Но до этого был ряд отказов, пока хлопотала за меня Академия наук. Сейчас мне надо получить путевку в Эссентуки, и прошу Вас мне содействовать в этом, и мне и Марье Степановне – она меня одного не отпустит – а ей тоже следует пожить в Эссентуках. Мы располагаем 225 р. в месяц.

Нам нужно медицинское свидетельство и направление, потому что мы не знаем даже, кому писать в Эссентуки и в какую санаторию проситься. Санатория, конечно, предпочтительнее, чем частная квартира. Харьковский врач советует нам ехать на август (ст<арый> стиль), но если будет невозможно, то июль или сентябрь (тоже ст<арый> ст<иль>). Не знаю, насколько для Вас моя просьба приемлема и удобна, но нам советуют в Эссентуки пробираться через Москву и говорят, что московские врачи имеют возможность прямо покупать путевки в Москве. Если Вам трудно или неудобно, то придется обратиться к Василию Дмитриевичу,[3] хотя очень не хотелось его затруднять такими пустяками и еще заочно. Мне гораздо более ловко попросить об этом Вас, Александр Иванович, чем подымать из-за этого на ноги такого патриарха рус<ской> медицины.

* Источником молодости (*фр*)

Получили ли Вы мой ответ на Ваше зимнее и такое интересное письмо?[4] Относительно Дома летом еще сами не знаем. Союз Писателей (В.С.С.П.) собирался устраивать сам свой Дом Отдыха, но сейчас у него не хватило денег, и он переуступает подаренный ему флигель какой-то другой организации.

Но мой Дом всегда открыт для друзей, и о лете ходят слухи, что будет функционировать ряд публичных столовых. Во всяком случае если соберетесь, то известите заранее, т<ак> к<ак> жилплощадь у нас сейчас сокращена, и надо точно знать, кто? Когда? и на какой срок?

Привет всем Вашим.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду М. Я. Лященко. См. п. 614, примеч. 3.
[2] С. И. Златогоров.
[3] В. Д. Шервинский.
[4] Подразумевается п. 602 б.

618. ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

7 апреля 1932 г. Коктебель

В Союз Всероссийских Советских Писателей
поэта Максимилиана Волошина
(Коктебель. Крым)

Заявление.

Прошу ВССП предоставить мне и моей жене место в одной из санаторий или доме отдыха в Ессентуках, куда меня и ее направляют врачи, обещая мне полное восстановление сил. Указывая месяц июль, курс лечения 4 недели.

Если это почему-либо невыполнимо, прошу направить меня на соответствующий путь.

Максимилиан Волошин.
7/IV 1932.

619. В ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

11 апреля 1932 г. Коктебель

В Правление В. С. С. П.

поэта Максимилиана Волошина

Заявление.

Известие о передаче подаренного мною дома ВССП в другую организацию меня глубоко поразило и взволновало.[1] Мой дар ВССП не случаен, как не случайно существование в Коктебеле «Дома Поэта» в течение 30 лет. У него есть ряд традиций, которые не соответствуют, судя по письму, тем порядкам, которые собирается вводить И. В. Евдокимов.

Первый и общий принцип Дома Поэта – его бесплатность (помещение). Второй не только для писателей, но и для их семейств. Последнее даже важней, т<ак> к<ак> для самих писателей скорее найдется место в любой санатории. А в Доме Поэта за это время уже выросло два поколения. И это нисколько не мешало быть Дому Поэта больше домом работы, чем домом отдыха. Сошлюсь на слова В. Брюсова, проведшего в Коктебеле последний месяц творческой жизни: «Раньше в России была Ясная Поляна, теперь есть Коктебель. Писатели шли в Ясную Поляну исповедоваться, а сюда идут вдохновляться и работать».[2]

Принося Дом Поэта в дар ВССП, я надеялся, что его традиции будут соблюдаться здесь лучше, чем в иной организации. Тем более что большая часть друзей Дома Поэта – члены ВССП. Поэтому прошу Правление ВССП обсудить факт передачи Дома Поэта совместно с теми из своих членов, которые являются гостями Коктебеля.

Я глубоко изумлен, что мне приходится обращаться с этим заявлением в Правление ВССП при моей жизни. Дом Поэта пустовать не будет ни в коем случае, как не пустовал даже в прошлом году, во время полной бесхозяйственности т. Островера.*

* *Последующий машинописный текст утрачен, окончание заявления приводится по черновому автографу*

В Москве сейчас находится и часто бывает в Союзе С. С. П. мой старый парижский друг Т. И. Сорокин. Прошу Правление Союза С. С. П. смотреть на него как на моего представителя.

Максимилиан Волошин.

11/IV 1932.

[1] См п. 613, примеч. 1

[2] Эти слова Брюсова (относящиеся ко времени его пребывания в Коктебеле в августе 1924 г.) Волошин зафиксировал в мемуарных записях о нем (Т. 7, кн. 2 наст. изд С. 336).

620. В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД

12 (?) апреля 1932 г. Коктебель

В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД

поэта М. А. Кириенко-Волошина

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять меня членом Л<енинградского> О<тделения> Лит<ературного> фонда, т<ак> к<ак> я, несмотря на свое постоянное проживание в Крыму, связан давними традициями с Ленинградом больше, чем с Москвой.[1]

Максимилиан Волошин.

[1] По всей вероятности, это заявление написано в результате общения с председателем ленинградского Литературного фонда Е М. Лаганским.

621. И. В. ЕВДОКИМОВУ

14 апреля 1932 г. Коктебель

Уважаемый Иван Васильевич,

Вчера у меня была т. Сулимова и передала изумительную «служебную записку» от Вас.[1] Я ей сказал: «Зачем вам, т. е.

партиздату, иметь дело с союзом писателей, а не со мной — фактическим владельцем дома. Владельцем, п<отому> ч<то> хотя я им дом подарил, но они его не приняли, юридически не оформили, я так возмущен их бесцеремонностью и неделикатностью, что при таких условиях считаю себя вправе этот дом подарить вам. Если вы действительно собираетесь сделать все то, о чем вы говорите, то я предпочитаю оформить юридически дарственную с вами и не понимаю, при чем здесь передаточная роль ВССП».[2]

Я думаю, что Вы, Иван Васильевич, как человек ученый и деловой, сами понимаете, что мне ничего другого не оставалось делать в той дилемме, в которую Вы сами неожиданно меня поставили. Будьте добры сообщить это письмо[3] на заседании правления ВССП, которое, вероятно, должно состояться по поводу «Дома поэта», столь неудачно подаренного ВССП.

В Вашем предыдущем письме, ничего не выясняющем и не говорящем, я усмотрел несколько глубоко мне враждебных положений:[4] вы собираетесь в «Доме поэта» устраивать «Дом творчества» и не собираетесь пускать детей писателей и их семейств, между тем как эта традиция давать летнее убежище детям писателей существует тридцать лет и является требованием жизни, так как для них нет места в казенных домах отдыха.

Кроме того, я считаю нужным Вас уведомить, что здесь сейчас находится председатель Ленинградского Литфонда,[5] хлопочущий о даче Манасеиных для такой же цели, и очень огорчен, что ВССП не только не предупредил эту действительно родственную организацию, но в прошлом году нескольким поэтам из Ленинграда не только было отказано в путевках, но и самое существование «Дома поэта» отрицалось. Своего слова о даре я не беру обратно только в том случае, если ВССП согласится этот дар в ближайший месяц оформить, и принять целый ряд требований с моей стороны, в числе которых будет пункт о недопустимости никаких афер и передач «Дома поэта» ни при моей жизни, ни после моей смерти.

Максимилиан Волошин. 14/IV 1932.

[1] М.Л. Сулимова выступала как представительница Партиздата. В письме на бланке правления ВССП от 7 апреля 1932 г. И. В. Евдокимов сообщал Волошину: «Ваше письмо я получил и сделал для ВССП один вывод, что Вы всячески хотите нашей организации добра, но просто не совсем точно представляете, что же такое она наделала с коктебельским домом. В.С.С.П. сам не в состоянии оборудовать дом – просто нет денег. Пустовать же дому не годится. ВССП могут обвинить – и совершенно законно, – что он не пользуется домом. Мы решили, не теряя дома, до лучшего финансового положения, сговориться с родственной нам организацией (партийное издательство – партиздат) и организовать владение на выгодных для себя условиях. <...> Парт-издат великолепно оборудует дом в Коктебеле, не как дом отдыха, а как дом творчества. Это значит – в Коктебель будут приезжать (без детей и жен) отдельные товарищи, которые будут писать книжки. Каждому одна комната. ВССП получает 5 комнат ежемесячно, в лето 30 ком<нат>. Договор на 10 лет. ВССП имеет 300 комнат. Это нас очень устраивает, и я думаю, Вы вместе с нами порадуетесь рациональному использованию пустующего дома. Возиться самим с кухней, со штатом, с бухгалтерией и противно, и не безопасно от злоупотреблений» (ДМВ, № НВ–7640).

[2] Ход беседы с Сулимовой передает М. С. Волошина в мемуарном очерке «История дарения дома». «...Макс ей сказал. – Зачем же Вам брать мой дом в аренду у СП? Раз он им не нужен и они его сдают, так лучше я Вам его подарю.

Радости ее не было границ. Она начала нас умасливать и неприлично льстить. Стала говорить, кого они сюда будут присылать жить “Не думайте, не какую-нибудь шушеру <...>, а знатных людей”

На что я, со свойственной мне горячей поспешностью, сказала: “А мы терпеть не можем генералов и принимаем только «шушеру»”.

Вообще у Сулимовой столько было недоумения. Для нее было полным откровением, что у Союза советских писателей даже договора с нами не заключено, что дом передан только на словах. Но человек она <была> сильно практический и смекалистый. Она учла все. И безалаберность и незаинтересованность Союза писателей, и нечестность Евдокимова, и нашу непрактичность, и идеализм Макса, и усталость мою, и болезнь Макса. А главное – свое имя и положение (брат ее мужа Сулимов – секретарь Сталина)» (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Составление, подготовка текста и примеч. Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003. С. 163).

[3] Имеется в виду п. 619.

[4] Предыдущее письмо Евдокимова – от 29 марта 1932 г., с просьбой принять Сулимову и определить на месте «все, что потребно для организации нашего владения» (ДМВ, № НВ–7639).

[5] Подразумевается Е. М. Лаганский. См. п. 620, примеч. 1.

622. ВОРОНОВУ

17 апреля 1932 г. Коктебель[1]

17/IV 1932.

Т. Воронов,

я недавно получил из Санатории Гаспры письмо, где мне заведующий Санаторией сообщает, что он держит паек весом в 300 кило в моем распоряжении и что я могу его получить в любой день, «прислав ответ». Это в Крыму не так просто, т<ак> к<ак> в Крыму перевозочных средств, т. е. лошадей, больше нет, достать их для частного человека невозможно. Да и если бы были, послать подводу из Коктебеля в Гаспру – приблизительно 250 верст – это за Ялтой, а Коктебель – около Феодосии (совсем иная сторона Крыма: Киммерия, а не Таврида) – невозможно.

Из письма о пайке я понял, что в Гаспре есть собственные перевозочные средства, на которых мне ЦКУБУ (Гаспра) доставит эти 300 кило в Судак. Но это невыгодно – лучше если б они переслали морем в Феодосию – оттуда же, хотя это и трудно и дорого, но возможно переправить в Коктебель.

Я им написал об этом, но ответа еще не имею.

Т<ак> к<ак> почта у нас ходит обычно со скоростью, обратно пропорциональной расстоянию, и письма в Ялту идут значительно дольше, чем в Ленинград.

Кроме того, хочу напомнить Вам, что я очень долго получал Ак<адемическое> Обеспечение по III разряду[2] и был членом ЦКУБУ. Потом мне <*так!*> без всякого уведомления лишили Ак<адемического> Обеспечения, т. е. фактически перестали его высылать.

Теперь по постановлению Совнаркома мне дана пожизненная пенсия.

Я очень томлюсь зимой <?> без возможности получать и выписывать франц<узские> книги и журналы. Кот<орые> я когда-то получал через ЦКУБУ. Существует ли еще при Комиссии Сод<ействия> Ученым Книжная палата? И имею ли я право, как писатель и гос<ударственный> пенсионер, выписывать заграничные книги? И на какую сумму в год?

Буду Вам крайне признателен за ответ.

Максимилиан Волошин.
Коктебель (Крым).

[1] Под текстом письма — рукописная резолюция: «Возвращается Вам за невозможностью прочесть его. 25/IV» (подпись неразборчива).

[2] В действительности Волошин был зачислен на академическое обеспечение по IV разряду.

623. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

18 апреля 1932 г. Коктебель[1]

18. IV. 1932.

Дорогой Иван Михайлович,

с громадной радостью получил Максимова.[2] Вот это подарок!

Спасибо. Крепко Вас обнимаю. Лучшего Вы не могли придумать: это целая энциклопедия русского фольклора, книга на много лет. Ее много раз надо перечитывать и всегда иметь на письменном столе. Это драгоценнейшее пособие для языка и работы. Эти дни у нас цветут ландыши <?>. Весна поздняя. В какую часть республики Вы устремляетесь этим летом?

Привет Софии Анастасьевне [3] от нас обоих.

Макс, Мария Волошины.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 19. 4. 32; Москва. 21. 4. 32.

[2] Имеется в виду книга очерков С В. Максимова «Бродячая Русь Христа-ради» (СПб., 1877)

[3] С А. Саркизова.

624. А. И. ЯРОЦКОМУ

28 апреля 1932 г. Коктебель

28/IV 1932.

Дорогой Александр Иванович,

получил Ваше письмо от 23 апреля и очень тронут им и «консилиумом».[1] Уже часть Ваших советов исполнена: в Ц.К.У.Б.У. я уже написал. Но совет приехать в Москву показаться самому меня поверг в ужас. Во-первых, всякое путешествие по ж<елезной> д<ороге> само по себе является очень опасным заболеванием с возможным смертельным исходом. А для меня сейчас совсем немыслимо пускаться в такие авантюры: я и в мирное время пускался в вагоны, переполненные курящими, с ужасом, т<ак> к<ак> для меня каждый переезд был неизбежно соединен с припадком астмы, а теперь, когда я задыхаюсь в обычной домашней обстановке в Коктебеле, — это стало добровольным самоубийством. Потом ценность этой поездки: пенсия (225 р.) нам дает возможность предпринять такую экскурсию в Эссентуки, оплатить туда нашу дорогу и, вероятно, санаторию, а оплачивать нашу дорогу в Москву при теперешних ценах для нас немыслимо. Что же у нас останется на Эссентуки? и на лечение?

Очень Вас благодарю, милый Алекс<андр> Иван<ович>, и Ваших коллег по «консилиуму». Но от советов Ваших отказываюсь, как от невыполнимых для меня. Простите и спасибо.

Максимилиан Волошин.

Привет Шервинским. Надеюсь их, как и Вас, видеть у себя этой осенью в Коктебеле.

P. S. Марья Степановна, прослушав мое письмо, сказала: очень глупо написал. И ничего не понятно. Нужно просто спросить:

1) Нужно нам направление врачей?

2) Можно ли 2 путевки купить через какие-нибудь учреждения.

3) Может, нужно действовать через Союз Писателей?

4) Я – государственный пенсионе<р> – может, имею какие-нибудь права на лечение?

5) Нам все говорят, что надо хлопотать заранее? Но где, о чем и как?

[1] В указанном письме А. И. Яроцкий сообщил, что по вопросу о состоянии здоровья Волошина он устроил совещание с В. Д. Щербинским и его ассистентом Л. М. Ивановым, которое пришло к выводам: «Ничего нельзя сказать о состоянии Вашего здоровья, не видав Вас в продолжение столь долгого срока, заглазно. Нельзя сказать, что Вам полезно, что вредно, что показуется и т. д. Из этого вытекает, что Вам необходимо приехать в Москву, где Ваши друзья подвергнут Вас необходимым исследованиям и консилиуму и назначат Вам необходимый курорт и лечение. <...> Принимая во внимание высокий авторитет лиц, входивших в состав совещания, я надеюсь, что и Вы склонитесь к тому же решению» (ДМВ, № НВ–25355).

625. Е. Я. АРХИППОВУ

4 мая 1932 г. Коктебель

4/V 1932.

Дорогой Евгений Осипович <*так!*>,

Письма, кот<орые> Вы мне писали, я получил и сам написал Вам одно – на имя Меркурьевой. Оно верно пропало. А может – я не знал тогда еще о переименовании Владикавказа.[1] Может, почта его нарочно не доставила – с педагогическими целями. Зима была очень нерадостная – я болел (начал задыхаться от каждого движения). Это было тяжко. Этим летом меня врачи посылают лечиться в Эссентуки и обещают не только выздоровление, но и обновление сил. Ибо этой зимой мне пришлось убедиться, что я стихи писать совсем не могу, так что Ваши строки о том, что Вы и Вера Алекс<андровна> читали зимой мои стихи,[2] произвело на меня радостно-грустное впечатление – вести из-за могилы.

Я думаю, что в Эссентуки мне не удастся попасть раньше осени. Так меня известило КСУ[3] о свободных местах в санатории.

Скоро будет ровно год, как Вы гостили у нас,[4] и мы эти дни с Марусей об этом вспоминали, и нам все эти дни чудилось Ваше письмо. И вот оно пришло.[5]

У меня в жизни ряд событий и радостных и грустных. Радостное — мне дали пожизненную пенсию. Грустное: «Дом Поэта», подаренный мною Союзу Писателей, Союз, не спрашивая меня, отдал в аренду Партиздату, который здесь устраивает *Дом Творчества*. Обидно и несправедливо. Если Партиздат будет кормить гостей Дома Поэта, то они многое этим искупят...

Но пока никого нет, ждем с нетерпением предст<авителей> той и другой организации, чтобы выяснить собств<енную> свою судьбу.

Рисую я по-прежнему — старательно и много. Но иссякли заграничные краски (они *теперь* в России запрещены). Этому никак не поможешь. Я об этом уже взывал ко всем друзьям.

Всеволод Рождественский ко мне приезжал в прошлом году осенью.[6] Он каждый год, хотя на короткие дни, в Коктебель заглядывает. Это для меня большой праздник. Кочеткова я буду ждать с радостью.[7]

Привет от нас Клавдии Лукьяновне.[8] Мы ее также часто поминаем, как и Вас, Евгений Осипович.

Прошлое лето было хорошее, в конце концов, оно мне принесло и хороших людей — интересных для меня.

Мне все глуше и глуше становится без людей. Я в жизни всегда был избалован их обилием, а теперь рад всякому живому лицу, которое судьба заносит в Коктебель, и безлюдие становится для меня мучительным.

До свиданья.

Люблю и часто вспоминаю.

Максимилиан Волошин.

[1] Владикавказ был переименован в Орджоникидзе 2 сентября 1931 г. Архиппов жил там по адресу: Линейная, 3. Волошин, определенно, адресовал свое письмо во Владикавказ. В. А. Меркурьева жила во Владикавказе в 1921—1932 гг. (см.: *Гаспаров М. Л.* Вера Меркурьева (1876—1943). Стихи и жизнь // Лица: Биографический альманах. Вып. 5. М.; СПб : Феникс — Atheneum, 1994. С 57, 71).

[2] Упоминается В. А. Меркурьева. 25 апреля 1932 г. Е. Я. Архиппов писал Волошину· «Имя Ваше и Ваши стихи не сходят с моего языка... Если умолкну я: – имя Ваше с тревогой и болью поднимется из сердца Клоди <К. Л. Архиппова. – *Ред.*>... Если замолчим мы оба: – Имя Ваше с благоговением поднимет на своих слабых руках Вера (Меркурьева), наконец, – Кочетков, Слободской, который высоко чтит Ваш “Дом Поэта”.. Так, – в сфере Вашего имени и в лучах образа – мы провели жестокую зиму» (ДМВ, № НВ–6634).

[3] Комиссия содействия ученым.

[4] См. примеч. 4 к п. 567.

[5] Имеется в виду цитированное выше письмо от 25 апреля 1932 г.

[6] В. А. Рождественский провел у Волошина 5 или 6 дней на третьей декаде октября 1931 г. (Труды и дни-2. С. 502).

[7] В письме от 25 апреля Архиппов сообщал Волошину: «.. к Вам собирается, хоть на кратчайший срок, Кочетков Александр Сергеевич и профессор-биолог ГСХИ Тарноградский Д. А.». Приезд А. С. Кочеткова в Коктебель летом 1932 г. не состоялся.

[8] К. Л. Архиппова.

626. А. М. ПЕШКОВСКОМУ

8 мая 1932 г. Коктебель[1]

8/V 1932.

Милый Саша,

зачем ты в письме пишешь такую ерунду: «Сдаешь ли ты еще комнаты?»[2] Ты же знаешь, комнат *я никогда* не сдавал, и из-за этого даже была наша размолвка. С этого мне приходится начать свое письмо. Ответить мне на твой вопрос – сейчас невозможно. Сейчас у меня <*1 нрзб*> история очень запутанная: год назад я подарил каменный флигель Союзу Писателей, рассчитывая, что они устроят «кухню» и будут нас кормить. Что я не имею права. А они – учреждение. Но в прошлом году из этого не вышло ничего благодаря личности их представителя писателя Островера, который оказался вполне Хлестаковым – поселил прежде всего свою семью и не в подаренном им доме, а именно у нас. Жена почти немедленно заболела брюшным тифом,[3] и нам пришлось с нею возиться до поздней

осени (т. е. не мне, а Марусе). И оправдываться перед остальными гостями. Но положение было безвыходное: в Коктебеле это был 4-й случай за лето, и тех больных отправляли в боль<ни>цу. И исход был одинаково смертельным благодаря больничным условиям. Так что нам отправлять на верную смерть мать семейства было невозможно. К счастью, у Маруси был большой опыт в смысле выхаживанья тифозных. Ее удалось выходить, но нам это стоило целого ряда необходимейших вещей.

Теперь «Союз С<оветских> Писат<елей>» не нашел ничего лучшего, как сдать наш Дом в аренду – учреждению денежному, но нам чуждому: Партиздату. Он начал с того, что отменил «Дом Поэта», учреждает «Дом Творчества». Кот<орый> будет существовать круглый год.

Это для нас некоторое удобство.

Но едва ли нам удастся здесь оговорить нужды Дома Поэта. Т<ак> к<ак> их никак не квалифицируешь. Они очень различны – мои гости. И принадлежат к разным союзам, а здесь необходимо известное официальное однообразие. А среди моих гостей есть и медицинские знаменитости (Шервинский, Яроцкий), и художники (Остроумова), и химики (Лебедев), и профессора (Габричевский), и поэты (Рождественский), словом, публика очень знаменитая и крайне пестрая.

Словом, это все не выяснено. Но твой племянник может устроиться в одном из имеющихся в Коктебеле Домов Отдыха. Напр<имер>, в МЕИ,[4] где мы сами берем обеды за 150 р. в месяц (пенсия моя уже стала реальным фактом).

Здоровье мое плохо: я неудержимо старею, и этим летом меня врачи посылают в Ессентуки и обещают полное омоложение <?>. Главная причина <*1 нрзб*> дряхлости: плохой обмен. Привет Людмиле Сергеевне.[5]

Макс.

P. S. Твоему племяннику хорошо сговориться в Москве с МЕИ – это «электро-центр». И вообще сюда нужно приезжать, все сделавши заранее в Москве. А у нас выяснится положение в конце мая, когда приедут представители Союза и Партиздата.

[1] Почтовый штемпель получения: Москва. 15. 5. 32.

[2] 1 мая 1932 г. А. М. Пешковский писал Волошину: «Сдаёшь ли ты этим летом свои комнаты? Если да, то не смог ли бы ты приютить моего племянника (сына покойного Давида Самойловича Хайкина) с женой на время с половины июля до половины августа? Наконец, если и на это ты ответишь “да”, то каковы предполагаются условия *кормёжки* в Коктебеле вообще и на твоей даче в частности на этот период?» (ДМВ, № НВ–15344).

[3] См. примеч. 6 к п. 602.

[4] См. примеч. 5 к п. 580.

[5] Л. С. Пешковская.

627. К. М. ДОБРАНИЦКОМУ

13 мая 1932 г. Коктебель

Рукой М. С. Волошиной:

13/V 32 г.

Ах ты, блудный сын!

За что же ты нас так долго мучил и поверг в полное недоумение?[1] Нам было и больно и грустно, и не знали мы, что думать и предположить. Переживали твое молчание с затаенной болью. И у нас одна реакция в таких случаях – молитва. Может, тебе это неприятно (прости) и не нужно. Но ведь мы тебе поверили, и наше отношение к тебе было не случайно. Писали, телеграфировали – справлялись. Узнали, что ты жив и здоров. Значит, не хочешь, отошел – замолчали и мы, и Масино письмо было бы последним, если б ты на него не откликнулся.[2]

И сейчас так радостно. Притча о блудном сыне жива. Нам сейчас очень, очень радостно и легко стало от твоего письма и от желания приехать к нам. Конечно, приезжай, хотим и ждем и с Лелей, конечно. Мы верим тебе и примем тебя всегда со всеми твоими «увлечениями <и> особенностями» – как же может быть иначе. Очень будем тебя ждать, напиши, когда приедешь. Сейчас у нас очень хорошо. Правда, холодновато, но зелено, тихо и очень, очень хорошо. Масеньке было худо, почти всю зиму задыхался. Сейчас ничего. Лечу его я.

Устала мучиться за него, устала думать о всех. А тебе спасибо, что написал. А то ты лежал очень тяжелым бременем, мы ничего не могли предположить. И это очень мучительно, когда не знаешь, в чем же дело. Обнимаю тебя нежно и с любовью.

Леле привет.

Маруся.

Рукой М. А. Волошина:

Дорогой Казик,

Твое письмо нас несказанно обрадовало. Самим фактом, что ты нам написал, ибо пустота по<ро>ждает массу призраков. В данном случае все призраки были психологические: почему ты нам не пишешь? Но лучше об этом и не говорить, а рассказать, когда ты приедешь. Разве можно спрашивать об этом. Конечно, ждем тебя со всем нетерпением и любовью. Отношение к Леле у нас самое лучшее по твоим рассказам, и я только жалел, почему вы так скоро и без всяких стоящих причин расстались.

Чем раньше Вы приедете, тем лучше.

Пришлешь ли к нам этим летом Елену Карловну?[3] Мы ее по-прежнему очень ждем.

Сейчас мы еще ничего не знаем о своей судьбе и ждем на этих днях представителей от Союза пис<аталей> и от Партиздата, которые должны встретиться у меня для окончательного соглашения и подписания договоров.

Но и то, что между нами нет никакого недоразумения, — это очень хорошо...

Крепко тебя обнимаю, милый Казик.

Макс.[4]

[1] Написано по получении письма К. М. Добраницкого от 6 мая 1932 г. (после длительного перерыва в общении), в котором он извещал о расторжении своего брака с Мурой (в марте — первой половине апреля) и о заключении семейного союза с Лёлей. Опасаясь, что Волошины воспримут Лёлю как «очередное, случайное» его увлечение, Добраницкий просил разрешения приехать с нею летом в Коктебель (ДМВ, № НВ–7015).

[2] Возможно, подразумевается п. 600.
[3] Е. К. Добраницкая.
[4] М. С Волошина сделала впоследствии приписку к тексту: «Это последнее Масино письмо». (В данном случае она определенно исходила из того комплекса писем, который был сосредоточен в доме Волошина).

628. А. А. КИПЕНУ

13 мая 1932 г. Коктебель

13/V 1932.

Дорогой Александр Абрамович,

благодарю Вас за ласковые слова и за перевод (10 р.), буду с нетерпением ждать Вашего письма.[1]

О «Кадмии» – специально я никогда не просил Вас доставать: я просил вообще о коробочке акварельных красок, но и эта нужда сейчас временно удовлетворена – Клеопатрой Федоровной Стояновой,[2] которая мне прислала коробочку Гюнтер-Вагнер – «Für die Schule».* Это меня сейчас удовлетворяет. Если что-нибудь в этом роде попадет, то буду очень благодарен. Но сейчас и сим удовлетворен. Была бы нужна акварельная кисть – о двух концах.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме к Волошину от 8 мая 1932 г. А. А. Кипен сообщал, что не мог достать для него кадмия, и обещал «в ближайшие дни» написать подробно (*Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь. Таврия, 1999. С. 91).
[2] Подразумевается Олимпиада Федоровна Стоянова.

* «Для школы» (*нем*)

629. С. Н. ДУРЫЛИНУ

16 мая 1932 г. Коктебель

16/V 1932.

Дорогой Сережа,

спасибо за твое такое хорошее и такое настоящее письмо, где ты пишешь, как ты умирал, что только «любовь» тебя удержала здесь.[1]

Мне это очень знакомо и созвучно: эта зима мне много раз напоминала о смерти: у меня очень обострилась «астма». И часто приступает ко мне вплотную и сжимает горло мертвой хваткой: вот вчера, как раз, я (а больше – Маруся) пережил один из сильнейших припадков удушья. Вызывали врача. Но Мар<уся> еще раньше помогла мне, вспрыснув мне «астмомзин», коробку, когда-то подаренную ей для меня покойным Сем<еном> Ивановичем.[2]

В весеннем Коктебеле не хватает «благолепия».

Еще зимою меня глубоко удручали постоянные и регулярные взрывы в горах – индустриализация, которая дошла вплотную до Карадага.

Теперь он расцветает. Немногая зелень, кот<орая> здесь есть, зазеленела под обильными дождями этой влажно-благодатной весны. Но люди, обильно нахлынувшие этим летом в Курорт-Трест, поражают своей <о>собливойдикостью. Прежние и обитатели НЕП и Ком-мужи <?> сравнительно с ними – образцово воспитанные и лощеные юноши. Травка перед домом стала определенно «предбанником». Удивительно много есть манер у людей быть голыми. Теперешние посетители Коктебеля удивительно умеют сохранить «свой стиль».

Хотя это отнюдь не представляет чисто-русскую особенность. Я помню с детства картины деревенского купания на берегах средне-русских рек и озер. Там не было никакой стыдливости, но ничего не напоминало о «предбаннике».

Спасибо большое за твое уведомление и напоминание о 70-летии Михаила Васильевича.[3] Конечно, я ему к 1-му июня напишу хорошее письмо.[4]

Приветствую Ирину. Марусе для письма оставляю оставшиеся страницы.[5]

Макс.

[1] Речь идет о недатированном письме С. Н. Дурылина, обращенном к Волошиным (ДМВ, № НВ–7598): «Это – малое (а, может быть, и большое: кто мерил?) чудо, что я пишу Вам. Я едва не умер – после тяжких 2–3 сердечно-мозговых припадков.

Умирать было легко (все, что полагается, уже было: t° – 35,5, неслышный пульс, останавливающееся сердце), но не хотелось еще уйти от всех, кого люблю, и вместе радостно было ощущение этого "не хотелось": удерживала меня на земле не забота, не жажда жизни, не труд, – а любовь, одна любовь – к близким и дорогим; – умирая, я понимал, какое счастье любить и как я счастлив, что меня любят. Я прощался мысленно с Вами обоими нераздельно и мысленно же просил Вас обоих и Марусю особо – не оставлять Ирину <И. А. Комиссарова. – *Ред.*> своей любовью и памятью... Это и вообще была одна моя просьба ко всем. Всё остальное было во мне, и я был насыщен всем, что было мне нужно, а всё и сводилось к одному: к любви».

[2] С. И. Златогоров.

[3] М. В. Нестеров. В цитированном письме Дурылин сообщал: «19/V с/с / 1/VI н/с исполняется 70-летие рождения Михаила Васильевича. Старее его теперь только Аполлинарий Васнецов. Рождение его и это 70-летие не будет, по его желанию, отмечено ничем официальным. Когда праздновать готовились 40-летие его худож<ественной> деятельности, он просил меня "отставить" все "чествования", сказав. "Вот когда будет справляться 100-летие моей деятельности, тогда устраивайте юбилей. Я даже явлюсь сам, сяду – и выслушаю все речи и все адреса. Даю в том слово".

Но тем паче следует нам всем, его друзьям, вспомнить его в этот день – письмом, приветом, подарком. Я думаю, он был бы тронут, если б ты прислал ему книжку стихов с надписью или акварель с надписью. Старик трогательно бодр, ясен, умен. Он написал превосходный портрет академ<ика> И. П. Павлова для его Института. К тебе он расположен, вспоминает, ценит. Очень бы хорошо тебе порадовать его. Итак: *1/VI* н./с. – *первого июня.* Адрес его: Арбат, Сивцев Вражек, д. 43, кв. 12».

[4] См. п. 631.

[5] Приписки М. С. Волошиной к письму нет.

630. А. А. КИПЕНУ

20 мая 1932 г. Коктебель[1]

20/V 1932.

Дорогой Александр Абрамович,

Спасибо большое за полученные вчера краски (они меня обрадовали несказанно) и за мои собств<енные> акварели.[2] Я пожалел, что Вы не взяли еще с СПБ из тех, что были отобраны на выставку.[3] А то они большею частью пропали и домой не вернулись. Но это дело по нынешним временам частное и привычное мне, жаль только среди них целой серии, написанной в период моего удара (декабрь 1929*). Она была совсем особенная. Ростовский кустарь, делающий краски, меня очень заинтересовал.[4] Те краски, что я получил вчера, от старинной париж<ской> фирмы: «Буржуа». Я эти краски знаю и люблю. Эта фирма считается не хуже Лефрана. А ростовские Вы видели сами уже? А кто это А. Ф.? Я не узнаю инициалов.

Я чувствую себя всю зиму и теперь неважно: очень допекает астма. Посылают врачи в Эссентуки. Думаю, что удастся поехать в октябре. Все теперь невероятно <?> сложно.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 21. 5. 32; Одесса. 27. V. 32.

[2] В письме от 10 мая 1932 г. Кипен извещал Волошина, в частности, о встрече минувшей зимой в Одессе с О. Ф. Стояновой: «Стоянова рассказала мне о своей встрече с Вами в Коктебеле и очень обрадовала меня, а через меня и всех других одесских друзей Ваших, сведениями о Вас, полностью рассеявшими нашу тревогу. Одновременно с этим, она рассказала, что привезла много Ваших акварелей и была бы рада, если бы я взялся ей помочь в исполнении Вашего поручения. <...> Мы условились, что она известит Вас о передаче мне 15 акварелей <...> К сожалению, я был лишен возможности приобрести все и выслал Вам сначала 60 рублей за 6 акварелей малого размера, а теперь еще 10 руб. за одну такую же акварель. Оставшиеся 8 акварелей (5 большого размера и 3 меньшего) я вчера отправил Вам

* *В автографе описка*: 1932

ценной посылкой» (*Михаленок Д К* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь. Таврия, 1999. С. 92–93).

[3] Имеется в виду несостоявшаяся выставка акварелей Волошина в Ленинграде, которую осенью 1930 г. пытался организовать И. И. Рыбаков Откликаясь на просьбу Волошина (см. п. 525), Кипен сообщил в цитированном выше письме, что ему не удалось встретиться с Рыбаковым (тот был арестован): «Исполняя Ваше поручение в Питере, я встретил там не Вашего знакомого, а г<оспожу> Соколову, которая сообщила мне, что знакомый Ваш уехал, что вследствие этого выставка Ваших акварелей не состоялась и не состоится. <...> Соколова уверила меня, что о судьбе акварелей она позаботится, и посоветовала Вам не телеграфировать. Объяснения ее на этот счет были настолько убедительны, что я понял всю невозможность ни телеграфировать Вам, ни писать» (*Михаленок Д К.* Карадагский калейдоскоп. С. 91–92).

[4] В том же письме Кипен сообщал со слов А. Ф. Гауша: «...в Ростове появился какой-то кустарь, приготовляющий недурные краски, в особенности кадмий. А<лександр> Ф<едорович> обещал написать Вам об этом мастере и сообщить его адрес» (Там же. С. 93).

631. М. В. НЕСТЕРОВУ

27 мая 1932 г. Коктебель[1]

Дорогой Михаил Васильевич,

Позвольте мне в эту знаменательную дату Вашей жизни и Русского искусства присоединить и мой голос к хору Ваших друзей. Вы в свои семьдесят лет сохранили нетронутым все свое творчество.[2] Я же, увы, растерял многое и даже не могу написать Вам стихов, так как вот уже два года перестал их писать. Позвольте мне крепко Вас обнять и пожелать Вам продолжения бодрой и творческой старости.

Максимилиан Волошин.
27/V 1932.

[1] Машинопись; подпись и дата – автограф. В архиве Волошина сохранился черновик этого письма (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 79). См. примеч. 3 к п. 629

[2] М. В. Нестеров родился 19/31 мая 1862 г. в Уфе. 17 июля 1932 г. С. Н. Дурылин писал Волошину: «Михаил Васильевич, по словам Ирины <И. А. Комиссарова. – *Ред.*>, бывшей у него в день 70-летия, был очень тронут твоим письмом и подарком. Он собирается тебе писать» (ДМВ, № НВ–7588).

632. М. С. АЛЬТМАНУ

8 июля 1932 г. Коктебель[1]

8/VII 1932.

Дорогой Моисей Семенович,

Таиах Вас всегда ждет в своем алькове и удивляется, и печалится, что Вас так давно не видала.[2] Я тоже. Но должен Вас предупредить, что на август мы уезжаем в Эссентуки (лечиться).[3] Это крайне необходимо. И неизбежно именно в это время. Удалось устроить поездку с большим трудом. Вы можете приехать и в мое отсутствие: я оставлю распоряжение о мастерской. А Вас попрошу наводить там порядок до моего возвращения. Впрочем, дом Вы застанете населенным знакомыми.

Максимилиан Волошин.

P. S. Рукописи («Сурикова») получил.[4] Спасибо. Но очень меня смущает отсутствие другой рукописи «Киммерия» (о Богаевском), кот<орая> означена как посылаемая мне в письме Г.А.Х.Н.'а.[5]

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 9. 7. 32; Ленинград. 14. 7. 32.

[2] Имеется в виду копия (гипсовый слепок) скульптурного изображения царицы Древнего Египта Таиах (Тайа), установленная в доме Волошина (в мастерской). Ср. дневниковую запись М. С. Альтмана о пребывании в Коктебеле в августе 1929 г.: «...в мастерской <...>, на ложе, над изголовьем которого "огромный лик царицы Таиах", – мое местопребывание. Такого поэтического угла и придумать трудно» (Воспоминания о Максимилиане Волошине / Составление и комментарии В. П. Купченко и З. Д. Давыдова М.: Сов. писатель, 1990. С. 586. Неточно цитируется заключительная строка («Бледный лик

царевны Таиах...») стихотворения Волошина «В мастерской» (1905), см.: Т. 1 наст. изд. С. 71).

[3] В первой половине июля М. С. Волошина телеграфировала в Москву Воронову (ответственному секретарю Комиссии содействия ученым): «Положение здоровья серьезно Просим путевку Ессентуки 17 августа. Жду ответа – Волошина» (Труды и дни-2. С. 521). Замысел поездки в Ессентуки остался неосуществленным из-за предсмертной болезни Волошина, начавшейся около 24 июля воспалением легких, усугубившим астму и сердечную недостаточность. 11 августа 1932 г. (в 11 ч.) Волошин скончался. См.: Последние дни и смерть М. А. Волошина по письмам Л. Аренс / Публ. А. Сергеева и Ж. Шерона // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 264–268.

[4] См. примеч. 6 к п. 525.

[5] Упомянутое письмо от ГАХН'а не выявлено.

ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМАМ 8, 9, 10, 12

633. Я. А. ГЛОТОВУ

5/18 марта 1902 г. Париж[1]

<...> О Москве первые осмысленные сведения получил только вчера от одного приехавшего сюда московского студента, который все начало беспорядков до 20 февраля провел в Москве.[2] Я только от него узнал впервые о той борьбе между политиками и академистами, которая велась с самого начала этого года. И, выслушав его, я подумал, что все-таки, будь я теперь в университете, я бы склонился на сторону академистов.[3] Мне кажется, что И<сполнительный> К<омитет> сделал ошибку, перейдя к политической программе. Уличные демонстрации от этого бы не пострадали: они бы все равно шли бы своим путем, а студенческое движение, не смешиваясь с тем, ударяло бы с другой стороны и приобретало бы тем большую силу. Сила революционеров не в их численности, а в страхе правительства. Собирать все силы для того, чтобы сразу ударить в одну точку, – бессмысленно, так как все равно «все силы» вместе будут в миллион раз слабее одной силы правительства. А когда движение идет в одно время с разных сторон, правительство скорее теряет голову, так как ему приходится разбрасываться. В этом отношении полковник Гримм,[4] может быть, окажет неизменимую помощь Родине.

Когда в 99 году мы поставили беспорядки на чисто академическую почву, они сразу почувствовали у себя под ногами крепкий фундамент и разрослись до грандиозных политических размеров, как показал этот год. Я боюсь, как бы они снова не потеряли этой точки опоры.

Требование только тогда имеет силу, когда оно является выражением назревшей потребности, а когда студент требует 8-мичасового рабочего дня — это нелепо и комично, а революционеру можно всё, но только не быть смешным — это смерть...

В России между отдельными классами лежит расстояние в несколько столетий. Поэтому, когда сделаешь прыжок через одно или два столетия и попадешь в Париж, то поневоле то, что делается ныне в России, в глубине столетия кажется абстракцией. Реально мне близки только несколько лиц: Пешковский был одним из самых близких, поэтому его арест[5] для меня гораздо реальнее, чем все русские побоища...

Ничего не имею против того, что ты показываешь мои письма Ал<ександре> Мих<айловне>.[6] Это письмо непременно покажи ей. Имей в виду, что в Феодосии есть еще одно лицо, с которым я постоянно переписываюсь: это Вера Нич. <...>

[1] Выписка из полученного агентурным путем письма, хранящегося в фонде Департамента полиции в деле «О студенте Московского Университета Михаиле <*так!*> Александровиче Волошине, он же Кириенко-Волошин». На выписке — помета заведующего Отделом: «В каком положении у нас Макс Волошин, он заслуживает серьезного внимания» (ГАРФ, фонд Департамента полиции, 00, 1902 г, ед. хр. 380, л. 1 об.). Там же Волошин поименован в списке «лиц, за коими по возвращении в пределы России надлежит установить секретное наблюдение» (л. 5).

[2] Подразумеваются волнения в Московском университете (февраль — март 1902 г.), поводом для которых стало утверждение (22 декабря 1901 г) «Временных правил» министра народного просвещения генерала П С. Ванновского о студенческих организациях. С кем из студентов Московского университета встречался 4/17 марта 1902 г. в Париже Волошин, не установлено.

[3] Академисты — студенты, являвшиеся сторонниками исключительно академической борьбы, ограничивавшиеся кругом сугубо профессиональных интересов, вне политических целей; в Московском университете организацией академистов была группа «Сторонники университетской свободы». На собрании в актовом зале Московского университета 9 февраля 1902 г., в котором участвовали 629 студентов, 111 академистов отказались поддержать политическую

резолюцию и покинули университет. Остальные 518 человек «единогласно постановили: считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию академической борьбы и выставляем знамя общеполитических требований», — следовали требования гарантий прав личности, политических свобод и т д (Красный архив. 1938. № 4/5. С. 279).

[4] Неустановленное лицо.

[5] А М. Пешковский был арестован в феврале 1902 г., выпущен из тюрьмы 22 июля того же года (см. Т. 8 наст. изд. С. 756).

[6] А. М. Петрова

634. В. Л. БУРЦЕВУ

15/28 июня 1905 г. Париж[1]

24 Rue Octave Feuillet. Passy.

Многоуважаемый г<осподи>н Бурцев!

(простите, не знаю Вашего имени и отчества)

«De profundis» — книга или, скорее, письмо Оскара Уайльда, написанное из Рэдингской тюрьмы, появилась в России одновременно в журнале «Весы» и в отдельном издании книгоиздательства «Гриф».[2] В отдельном издании она полнее, т<ак> к<ак> к ней присоединены еще другие письма и воспоминания об Оск<аре> Уайльде. Но этого издания у меня нет. Номер же «Весов» я Вам доставлю через несколько дней, т<ак> к<ак> у меня в настоящее время его взяли.

Но не думаю, чтобы именно эта книга дала бы Вам именно то, что Вы от нее ждете, — это скорее исповедь, чем воспоминания. Воспоминания же о тюрьме Оск<ар> Уайльд более подробно и художественно воплотил в своей поэме «Баллада Рэдингской тюрьмы».

Если мне удастся найти ее (она была переведена по-русски Бальмонтом),[3] то я ее доставлю Вам тоже. Она больше удовлетворит Вас в этом отношении.

С глубоким уважением

Максимилиан Волошин.

[1] Датируется по почтовому штемпелю· Paris 28. 6. 05.

[2] Пространное исповедальное письмо к лорду Альфреду Дугласу, написанное в заключении, О. Уайльд передал в 1897 г. Роберту Россу, который в 1905 г. опубликовал его с сокращениями под заглавием «De profundis» (*лат.* «Из глубины»; по первой строке библейского псалма: «Из глубины взываю к Тебе, Господи» – CXXX (CXXIX), 1). Упоминаются издания в русском переводе: De profundis. Отрывки из тюремных записок Оскара Уайльда / Пер. Е. Андреевой // Весы. 1905. № 3. С. 1–42; Памяти Уайльда: De profundis. Письма. Афоризмы Стихотворения в прозе / Пер. Е.А Андреевой; Из предисловия М. Мейерфельда к нем. изд. М.: Гриф, 1905.

[3] «Баллада Рэдингской тюрьмы» («The Ballad of Reading Gaol», 1898) в переводе К.Д Бальмонта была опубликована отдельным изданием (М.: Скорпион, 1904. Художник М. А. Дурнов).

635. В.Л. БУРЦЕВУ

Между 16/29 июня и 20 июня / 3 июля 1905 г. Париж[1]

Многоуважаемый г<осподи>н Бурцев!

Посылаю Вам «De profundis» Оскара Уайльда с моим приятелем Иваном Константиновичем Тимковским, хорошим знакомым А. В. Амфитеатрова.[2] Он очень хочет с Вами познакомиться.

«Балладу Рэдингской тюрьмы» я, к сожалению, не нашел.[3]

С глубоким уважением

Max Volochine
Correspondant de la «Rouss» (St-Pétersbourg)
Paris, Rue Octave Feuillet № 24.[4]

[1] Написано на французской визитной карточке (заключительная часть записки – подпись и пояснение «Корреспондент "Руси" (Санкт-Петербург). Париж» – печатный текст; название улицы и номер дома вписаны от руки).

[2] См. п. 634, примеч. 1. В письме к М.В. Сабашниковой от 21 июня / 4 июля 1905 г. Волошин сообщил, что послал В.Л. Бурцеву «De profundis» Уайльда «по просьбе Амфитеатрова» (Т. 11, кн. 1 наст. изд. С. 216).

[3] См. примеч. 2 к п. 634.

[4] В письме к Волошину от 20 июня / 3 июля 1905 г Бурцев обещал возвратить журнал «Весы» (с публикацией «De profundis») при личной встрече; там же он писал: «Я постараюсь быть у Вас в среду в одиннадцать часов или около этого» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 303). Встреча с Бурцевым состоялась у Волошина утром 23 июня / 6 июля; Волошин описал ее в письме к М. В. Сабашниковой в тот же день (см : Т. 11, кн. 1 наст. изд. С. 225).

636. П. А. ФЛОРЕНСКОМУ

31 января 1917 г. Москва [1]

Глубокоуважаемый отец Павел,

Ваши брошюры большая для меня радость. Я давно обо многих из них слышал, но не имел в руках. Еще большая радость – те слова, что Вы написали на них, т<ак> к<ак> Ваше мнение и доброе расположение мне глубоко ценны.[2] Мне очень хотелось бы еще встретиться с Вами, если Вы будете в Москве. Я остаюсь здесь до 15 февр<аля>. Затем еду в СПб. на месяц и конец марта снова буду в Москве.[3]

Максимилиан Волошин.

Москва, Б. Ржевский 7, кв. 3.
Тел 5-68-98 около 11 ч. утра.

[1] Отправлено из Москвы в Сергиев Посад 1 февраля 1917 г. (Труды и дни-2. С. 12).

[2] Подразумеваются оттиски статей П. А. Флоренского из «Богословского Вестника» (сохранившиеся в библиотеке Волошина в Коктебеле) с дарительными надписями (в качестве подписи использована напечатанная на титульном листе фамилия автора, в тексте выделена курсивом): «Не восхищение непщева. (К суждению о мистике)» (1915. № 7/8) – «Глубокоуважаемому Максимилиану Александровичу Волошину с чувством признательности и за лики творчества и за лики земли – *Священник Павел Флоренский*. 1917. 1. 18. Сергиев Посад» (в тексте обыгрывается заглавие книги Волошина «Лики творчества» (СПб.: Изд. «Аполлона», 1914), под «ликами земли», видимо, подразумеваются акварели Волошина); «Приведение чисел. (К математическому обоснованию числовой символики)» (1916. № 6) – «Максимилиану Александровичу Волошину с глубо-

кою признательностью за впечатления от его мета-геологии – *Священник Павел Флоренский.* 1917. 1. 18. Сергиев Посад» («мета-геологией» Флоренский называл, по свидетельству Г. А. Шенгели, живопись Волошина; см.: Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 360); «Около Хомякова. (Критические заметки)» (1916. № 7/8): «Глубокоуважаемому Максимилиану Александровичу Волошину, плененный его мышью – *Священник Павел Флоренский.* 1917. 1. 18. Сергиев Посад» (в тексте подразумевается статья «Аполлон и мышь» из книги Волошина «Лики творчества»; см.: Т. 3 наст. изд. С. 134–157).

В библиотеке Волошина сохранились также оттиски статей Флоренского из «Богословского Вестника» без дарительных надписей: «О типах возрастания» (1906. № 7), «Служба Софии, Премудрости Божией» (1912. № 2), «Пределы гносеологии. Основная антиномия теории знания» (1913 № 1), «Вступительное слово перед защитою на степень магистра книги: “О духовной истине” М., 1912 г., сказанное 19-го мая 1914 года» (1914. № 9), а также книга Флоренского «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда» (Кострома, 1910). См.: *Никитин В. А., Купченко В. П.* К истории взаимоотношений отца Павла Флоренского и Максимилиана Волошина // Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка / Составление, подготовка текстов и комментарий Е. В Ивановой. М : Языки славянской культуры, 2004. С. 499–501.

[3] Эти планы были скорректированы: Волошин остался в Москве до 12 апреля 1917 г., после чего отбыл в Феодосию и затем в Коктебель.

637. В ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТАМИ КРЫМА (ЦУКК)

2 апреля 1921 г. Симферополь [1]

В Центральное Управление Курортов:

поэта и художника
Максимилиана Александровича *Волошина*

Заявление:

Имея в виду

1) что Крым был всегда не только здравницей, но и *мастерской* русского искусства,

2) и то, что в нем есть определенные места, привлекавшие к себе художников и писателей, к числу которых принадлежит Коктебель,

предлагаю:

Устроить в Коктебеле художественную *колонию*,[2] которая будет преследовать две задачи:

1) Быть *санаторией* и *домом отдыха* для художников, писателей, музыкантов и артистов, нуждающихся в лечении.

2) Быть художественной колонией, имеющей специальные художественно-научные задания, программа которых мною представлена в Крымский Отдел Искусств и одобрена им,[3] и сообщена в Московский Экспериментальный Институт Искусств. (Выработка программ и таблиц для преподавания художественного естествознания).

Относительно этого проекта я уже говорил 2 месяца назад с Феодосийск<им> Курорт<ным> Санатор<ным> Управ<лением> (д<окто>рами Криловым и Малышевым) и получил их принципиальное согласие и одобрение.

Поэтому прошу Цен<тральное> Упр<авление> Кур<ортов>:

1) Подтвердить постановление Крым-Наробраза об отведении моей бывшей дачи в Коктебеле (за исключением моей мастерской и 3-х комнат) под устройство Художественной Колонии-Санатории (основания: местоположение, 20 комнат, двадцатилетняя традиция летнего съезда ко мне писателей, художников и артистов с севера, наличность моей обширной художествен<ной> библиотеки, необходимой для предполагаемых работ). О том, что бывший мой дом отводится исключительно под нужды худож<ественной> колонии, сделано Крым-Наробразом распоряжение Феод<осийскому> Наробразу и Коктебельс<кому> Рев-Ком'у.

2) Принять в ведение Ц.У.К. хозяйственную часть колонии и питание ее обитателей на общих основаниях.

3) Право на пользование Санатор<ной> Колонией установить на основании рекомендаций Наробраза Всерабиса или иных художественных или литературных союзов и санкции Ц.У.К.

4) Утвердить меня, как организатора и идейного руководителя Колонии, ее Заведующим. Феод<осийский> Отдел Ц.У.К. меня уже просил быть его консультантом по делам Коктебеля.

Максимилиан Волошин.

2 апреля 1921.
Симферополь.

[1] Неизвестно, передал ли Волошин этот документ по назначению. Каких-либо бумаг, исходивших в 1921 г. от ЦУКК, в архиве Волошина не выявлено.

[2] 22 марта 1921 г. заведующий Крымнаробразом подписал «Охранную грамоту» за № 3885 на дом Волошина, отведенный (за исключением трех комнат) «для устройства Коктебельской художественной колонии для членов Всерабиса» (Труды и дни-2. С. 120).

[3] Подразумеваются составленные Волошиным «записки» – «о направлении народной художественной школы», «об учреждении народной литературной школы и мастерской», «о музее киммерийской живописи» (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 510–516).

ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМУ 6, КН. 2

R. DE GOURMONT

Умер Р<еми> де Гурмон.

Смерть, которая не находится ни в какой связи с текущими событиями.

Она не входит в рубрику опустошений, производимых войной в рядах литературы. Она в стороне, и ей суждено, конечно, <пройти> почти незамеченной.

Между тем в лице Р<еми> де Г<урмона> уходит большая фигура.

Поэт, беллетрист, критик. Но прежде всего и во всем – книжник.

Большой, четкий, хорошо дисциплинированный, истинно латинский мозг, ощетиненный всеми шипами Вольтера, при этом еще отравленными Бодлэровским ядом.

Ум разлагающий, анализирующий – «диссоциирующий» – по его собственной терминологии.

Верный химический реактив на все банальности, пошлости, общие места как словесности, так и жизни.

Хорошо вооруженный иронией и сарказмом.

Ум отрицающий и неверующий, но, как все истинно латинские умы, воспитавший себя и закаливший в дисциплинах теологии и догматики.

Влюбленный в глубине души в схоластику, как самое стройное и законченное построение логики и разума, всю жизнь на ней оттачивавший свои зубы, всегда отдававший ей драгоценнейший яд своих змеиных желез – кощунство.

Написавший эротический роман про Христа в Люксамбурском саду[1] и лучшее исследование о средневековой литургической поэзии – «Мистическая Латынь».[2]

В литературе он был критиком, теоретиком и обоснователем символизма. Начиная с «Книг Масок»[3] и кончая сериями «Литературных прогулок»,[4] он в целом ряде томов проделал драгоценную работу: дал ряд определений, поставил ряд вех, подчеркнул важное и нужное в своем поколении.

Для символистов он сделал ту же работу, что Сен<т->Бёв сделал для романтиков, но так же, как и Сен<т->Бёв, был скоро уведен от современности, к старым книгам и авторам, к переоценкам неисчерпаемого литератур<ного> наследия Франции, инстинктом выбирая забытое, недо<о>цененное, не воспринятое. Он любил «подземных классиков».

При складе своего ума он не мог не быть чужд научному движению французской мысли в тех формах, которые оно приобрело в руках Ан<ри> Пуанкаре, Г. Лебона, Кентона.

Три серии его «Философических прогулок» и «Опыт о половом инстин<кте>»[5] являются выражением этой стороны его интересов. Но большей заслугой его является издание журнала «Обозрение идей»,[6] посвященного переводным движения<м> во всех областях науки.

Кроме того он является еще журналистом (эпилоги).[7]

Но едва ли не самыми ценными его книгами останутся его исследования о языке и о стиле (Эстетика французского языка и «Проблема стиля») и две его ранние книги «Культура идей» и «Новые диссоциации идей»,[8] в которых намечена вся программа его литературн<ого> и философ<ского> метода.

Он жил на улице Святых Отцов в квартале ученом и церковном, где книгоиздательские склады чередуются с магазинами церковной утвари, филология с «bondieuseries».*

Квартира его в глубине старого, темного и неприветливого двора XVII века казалась подземными ходами, прорытыми в толще книжных залежей. Книги не только скрывали стены, но лежали грудами на полу, подымались сталагмитами, наполняя воздух запахом едкой пыли <и> плесневеющей кожи.

Он сам в халате монашеском, потертом, грязном, с головой умного спрута, органически сросся со своим пещерным

---

* Дешевые предметы религиозного культа (*фр*).

логовом. Страшная накожная болезнь, превратившая его лицо в чудовищную и патетическую маску, приковывала его к раковине, и только в сумерках можно было встрет<ить> его около книжных ящиков на берегу Сены и под аркадами Одеона.

Он был похож на чудовищного моллюска, лишь изредка показывавшего из глубины своей раковины свои большие умные и злые глаза, но пристально* вникавшего во все окружающее своими зоркими щупальцами.

Война была стихией, в которой для Реми де Гур<мона> было нечем дышать.

Он не мог не отозваться на войну, т<ак> к<ак> он был журналистом, вернее, не мог не записывать ежедневных своих мыслей о современности.

За несколько недель до его смерти вышла его книга «Во время грозы».[9]

«Между моей теперешней жизнью и прошлой легла завеса тумана, которую я иногда стараюсь раздвинуть резким движением на мгновенье. Но туман так плотен, что мне редко удается в нем приоткрыть узкую бойницу, сквозь которую на один миг я могу увидеть вещи и дела прежних дней. Но отбрасыва<я> этот образ, который трудно сделать точным, я бы сказал прямо, что прошлое, которого я касался еще вчера, с которым я жил без всякого напряжения, которое отзывалось <?> послушное каждому моему знаку, что это прошлое, без которого настоящее не имеет усеста и крепости – больше не существует – и, поразительно, никогда не существовало.

Но тогда каким же образом я живу, раз настоящее обусловлено прошлым, подобно сыну отцом? Это очень просто: я не живу, я только призрак, реющий в воздухе без сущности, вне определенн<ой> формы, как просто проекция жизни, как ее осадок.

Когда этому призраку кажется, что он овладевает воспоминанием, свидетельство вчерашнего дня еще не расслышавшим <?>, оно вьется у него между пальцев призрака, и сам призрак обращается в пар, в нечто рассеянно текучее, исчезающее.

---

* *Незачеркнутый вариант.* внимательно

Иногда это существо, потерпевшее крушение, берет книгу своей библиотеки, книгу когда-то любимую, от которой он ждет большого наслаж<дения>. Но по мере того как он читает эти страницы прошлого, наслаждение искажает<ся>, как аромат, котор<ый> мало-помалу становится зловоние<м>. Существа, которых он встречает, говорят его замогильными голосами: “Мы все так, со всем<и> нами приключилось то же, мы все <*нрзб*> реем и будем <?> реять”. Это кошмар. Конечно, это кошмар. И я проснусь от него, если толь<ко> надо, чтобы я проснулся».[10]

П<исатель?> Р<еми> Г<урмон> проснулся от него в смерть. Он задохнулся в атмосфере, созданн<ой> войной, как в безвоздушном пространстве.

Печатается впервые по черновому автографу – по верхнему слою правки (ИРЛИ, ф. 840, собрание М. С. Лесмана).

Набросок некрологической статьи о Реми де Гурмоне, умершем в Париже 17 сентября 1915 г.

[1] Имеется в виду роман Реми де Гурмона (Remy de Gourmont) «Une Nuit au Luxembourg» (1907), которому Волошин посвятил специальную статью из цикла «Лики творчества» (см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 82–92).

[2] Книга Гурмона «Le latin mystique: Les poètes de l’antiphonaire et la symbolique au Moyen Âge» (Paris· G. Crès et Cie, 1913); сохранилась в библиотеке Волошина (Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 219).

[3] Книги Гурмона «Le livre des masques: Portrait symbolistes: Gloses et documents sur les écrivains d’hier et d’aujourd’hui» (Troisième édition. Paris: Mercure de France, 1896) и «Le II^{me} livre des masques» (Deuxième édition. Paris: Mercure de France, 1898) сохранились в библиотеке Волошина (Там же. С. 219, 218).

[4] Книги Гурмона «Promenades littéraires» (Paris: Mercure de France, 1904–1913; sér. 1–5) сохранились в библиотеке Волошина (Там же. С. 220–221).

[5] Книги Гурмона «Promenades philosophiques» (Paris. Mercure de France, 1905–1908; sér. 1–3) и «Physique de l’amour: Essai sur l’instict sexuel» (Cinquième édition. Paris: Mercure de France, 1903) сохранились в библиотеке Волошина (Там же. С. 221–222, 219–220).

[6] Журнал «Revue des Idées», выходивший в Париже в 1904–1915 гг.

[7] Книги Гурмона «Épilogues· Réflexions sur la vie» (Paris. Mercure de France, 1903–1905; sér. 1–3) сохранились в библиотеке Волошина (Там же. С. 218–219).

[8] Эти четыре книги Гурмона – «Esthétique de la langue française» (Paris: Mercure de France, 1899), «Le problème du style· Questions d'art, de littérature et de grammaire» (Paris: Mercure de France, 1902), «La culture des idées» (Troisième édition Paris: Mercure de France, 1900), «Le chemin de velours; Nouvelles dissociations d'idées» (Paris: Mercure de France, 1902) – сохранились в библиотеке Волошина (Там же. С 217–220).

[9] Книга Гурмона «Pendent l'orage» (Paris. Mercure de France, 1916).

[10] Цитата из статьи «Vielles choses» (11 décembre 1914), входящей в ту же книгу (Р. 92–94). Краткий ее пересказ Волошин включил в статью «Илья Эренбург – поэт» (1916); см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд С. 596

ШАРЛЬ ПЕГИ

5 сентября в день Марнской битвы исполнилась годовщина со смерти Шарля Пеги.[1]

Победа на Марне была чудом. Таким же чудом, как спасение Парижа молитвами св. Женевьевы,[2] как победы Иоанны Дарк, как <*нрзб*>* Когда всякое сопротивление было сломлено, когда немецкая волна докатила до самых ворот Парижа, произошла чудесная перемена положения и полчища были обращены в бегство. Внешнее положение вполне ясно теперь, прозорливый и мудрый план Жоф<ф>ра.[3] Новая армия выдвинется в том месте, где германцы не ожидали никакого сопротивления, – все это вполне выявляет механику события.

Но за внешними события<ми> лежит моральный момент. План Жоф<ф>ра был мудр, прозорлив и удался. Но он мог и не удасться. Исход Марнской битвы долго висел на волоске. И когда победа была окончательно выявлена, то дальнейшее преследование немецких войск было приостановлено истощение<м> боевых снарядов. Это показывает, насколько Марна – была последней картой.

Сами участники боя не были посвящены в тактические планы главнокомандующего. Просто вместо приказов

---

* *Текст частично утрачен под чернильным пятном*

пре<ды>дущих дней: наступать – был отдан приказ: держаться. Держаться до конца. До последних сил. Сверх сил. Если все будут перебиты – все-таки держаться. И держались. И выдержали и опрокинули. И погнали назад германскую волну.

Боевой подготовки не было. Все, что было до Марны, было полным разгромом – разгром<ом> еще более молниеносным и решительным, чем разгром 70 года. Всюду была полная растерянность. Она ярко освещается известным оправдательным письмо<м> генерала Персена, которого безвинно хотели сделать козлом отпущения.

Ген<ерал> Персен (известный теоретик – автор книги «Le Combat»[4]) назначается комендантом Лиля в начале августа. Только приняв должность, он узнает, что Лиль, как крепость, деклассирован уже год тому назад и <*нрзб*> разоружен. Он сообщает об этом минист<ру>.[5] Вооружает Лиль, выписывает артиллер<ию>. Но лильские граждане осведомлены уже о судьбе Намюра и Льежа,[6] просят его оставить Лиль открытым городом. Он продолжает вооружен<ие>. Тогда забегают к Мессими с заднего крыльца. Персена смещают. Он еще не успевает сдать должности, как его преемник генерал д'Амиди <?>[7] получает приказ разоружить Лиль. Лиль сдается без боя.[8] Общественное мнение, считающее Лиль первоклассной крепостью, обвиняет Персена в государс<твенной> измене, и ему 10 января 1915 года не позволяют публично оправдаться.

Вот один краешек занавесы, приподнятый над тем, что делалось во Франции в августе. По нем можно судить об общем положении дел.

Париж до 2 сентября предполагал, что немцы еще на бельгийской границе, ничего не знал о разгроме под Шарлеруа,[9] и вдруг узнал, что немцы уже под Парижем, когда через него хлынула и в течение суток шла непрерывная волна солдат от Западного к Северн<ому> вок<залу,> к Восточному вокзалу, запылен<н>ы<х>, усталых, которые через час должны были уже быть в огне. Это была армия Модюи, созданн<ая> Жоф<ф>ром из ничего, появившая<ся> для тыла у Клука и решившая судьбу Марн<ской> битвы.[10]

Так вот, если нарисовать себе всю эту картину в ее целом, то Марнская победа является действительн<ым> чудом. И

если за разумной руководящей и планирующей волей Жоффра мы будем искать морального порыва народного, сделавш<его> возможным осуществление по предначертанию, то этот момент сосредоточится, как в фокусе, в личности и в смерти поэта Шарля Пеги, пораженного пулей под Вильруа на Марне 5 сент<ября> посреди поля со свеклой, в то время как <он> вел в атаку свою роту. Его труп был найден <через> 4 дня Клод<ом> Каз<имир->Перье – убит <*так!*>.[11]

Среди современной французской литературы Шарль Пеги был диким анахронизмом.

В его проповеди «нищей и кроткой Франции» среди изощренного и пресыщенного всякой роскошью Парижа наших дней, среди богатейшей страны мира – соврем<енной> Франции, было нечто безумное, сбивающее с толку: и юродство, и пророчественность, и святая наивность спутников святого Франциска. В течение 14 лет (1900–1914) упорно и упрямо он вел свою проповедь на Rue de Sorbonne. Его делом были «Cahiers de <la> Quinzaine».[12]

Небольшие книжки, на серой бумаге, в серой обложке, выходившие 2 раза в месяц, упорно прокладывали путь к французскому сознанию. Он сгруппировал вокруг себя нескол<ько> писателей, которые действительно являются в настоящее время сознанием и мыслью Франции: Клоделя, Ромэн Ролана, Сюареса.

В книжка<х> «Revue de la Quinzaine» появились 10 томов «Жана Кристофа», драмы Сюареса, о Достоев<ском> Сюареса.[13] Каждая книж<ка> заключала целое произведение одного автора. И это все проплетено <?> политически-моральным дневником Пеги и его поэмами.

Остался только один его портрет, написанн<ый> Е. Лорансом (тоже убитым).[14] Пеги сидит на стуле – в синем дождевом плаще. Руки на коленя<х>. Без шляпы в пейса<х>. Когда видишь этот большой обнаженный лоб, бороду, растущую как придется, тонкие редкие недлинные волосы, слипш<иеся> прядями, и верно очень мягкий, этот внимательный, только что оторвавшийся от рукописей взгляд, то в этой очень простой, скромной, демократической наружности начинает сквозить что<-то> очень знакомое, личное <?>, близкое. Русские

учителя такие бывают. Потом вдруг понимаешь, что в этом лице есть что-то от Достоевского. И тогда тетради Пеги начинают напоминать по духу «Дневник писателя».[15] Сходство только внутреннее, отнюдь не внешнее, лежащее за всеми внешними формами лика, стиля, идей, расы. Но оно есть, как это ни странно.

Дух Франции мы привыкли себе представлять по Романти<зму> Революции, XVIII веку, в крайнем случае по XVII, еще реже по Плеяде.[16] Все это законченный, определившийся в своих строгих и четких формах дух. Но мы забываем о совсем другой Фран<ции> – Франции XII и XIII века, которая тож<е> стояла во главе мысли тех времен, о Париже, в который ехал учиться Данте и умирать Кампанелла.[17] А между тем, как ни далеко отодвинули от нас эту Францию Век Классический и Век Разума, – она есть, и ее видишь не только в готичес<ких> памятниках, но и в чертах многих современ<ных> лиц в старых кварталах Парижа. Эту Францию носил в себе Пеги.

Он был верующим католиком. Но странным католиком. Он защищал церковь. Но никогда не посещал ее. Говорят, что когда его однажды спросили о причине этого, он долго молчал, а потом разрыдался. Противоречие между историческим националь<ным> идеалом Церкви, пасомой двумя великими пастушками – Женевьевой и Иоанной, и современ<ным> католицизмом было для него слишком несовместимо. Он верил иначе и <в> иное, но имени друго<му> этому не было. Старые имена наполнились иным смыслом. Церковь и не знала и не хотела знать его при жизни. Хотя после Верлэновской «Sagesse»[18] французская поэзия не создавала ничего более католического, чем его «Tapisserie de Notre Dame» и «Tapisserie de Saint-Geneviève et de Jeanne d'Arc».[19]

Теперь после смерти Церковь хочет приобщить его себе. Но он оказывается слишком колючим и угловатым.

Так, эпизод его смерти, когда он вел свою роту в атаку, ругаясь «Ah sacré nome de Dieu!..»,* старались уже исправить в том смысле, что он умер, призывая имя Божие.

---

* Святое имя Божие! (*употребляется в значении:* Проклятие!) (*фр.*).

Литературный стиль Пеги так же не современен, как его душа.

Почти невозможно поверить, что это пишет человек нашего времени, привыкш<его> к строгой экономии слов и четкости речи.

Пеги бесконечно многословен и бесконечно повторяет себя. Но вместе с тем в этих повторения<х> его сила.

Надо забыть, что это написано. Надо представить, что это говорит живой голос, обращаясь к многотысячной толпе. И тогда все становится ясно. Он десятки раз повторяет одну и ту же фразу, каждый раз меняя какое-нибудь одно слово, прибавляя один эпитет.

Точно вращает тяжелое колесо дороги<?>, становится убедителен, запечатляет<ся> в мозгу каждого, а поэмы становятся молитвами, литаниями, магическими заклинаниями, гипнотизирующ<им> песнопением.

Смерть Пеги ярким светом озаряет его анахроническую фигуру, выясняет смысл его появления во французской поэзии и отводит ему определенн<ое> место в истории. Моральный смысл Марнской битвы как в фокусе сосредоточен в фигуре Пеги. А если вспомнить, что пароль, данный Жоф<ф>ром армии 5 сентя<бря>, был «Jeanne d'Arc», то смысл этого историческо<го> момента освещает<ся> еще глубже: организатором победы был Жоффр, но победил и спас Париж – древний дух героической и смиренной Франции, носителем которого был Пеги. Вся его поэзия отныне становится мистическим прологом к Марнскому Чуду.

Печатается впервые по черновому автографу – по верхнему слою правки (ИРЛИ, ф. 840, собрание М. С. Лесмана).

Датируется предположительно осенью 1915 г.

Некоторые темы и образы, обозначенные в этом наброске, развиты Волошиным в одноименной статье, опубликованной в газете «Речь» 25 мая 1916 г. (см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 547–553, 821–822).

[1] Ш. Пеги, пошедший добровольцем на Первую мировую войну, погиб в бою 5 сентября 1914 г., в ходе сражения на реке Марна между англо-французскими и германскими войсками (5–12 сентября), закончившегося контрнаступлением англо-французских войск.

[2] Святая Женевьева (*лат.* Геновева, ок. 422 – ок. 500), покровительница Парижа. В 451 г. предсказала, что Париж будет спасен от угрожавших ему орд Аттилы; после этого Аттила отвел свое воинство в сторону Каталаунских полей, где и был разбит.

[3] Маршал Франции Жозеф Жак Сезар Жоффр (Joffre; 1852–1931) – с начала Первой мировой войны главнокомандующий армиями Севера и Северо-Востока Подробное описание Марнской битвы и предшествовавших ей военных действий в Бельгии и Франции см. в кн.: *Галактионов М.* Темпы операций. Ч. 1. Париж – 1914. М.: Воениздат, 1936; *Галактионов М.* Марнское сражение. М.: Воениздат, 1938; *Новицкий В.* Мировая война 1914–1918 гг. Кампания 1914 года в Бельгии и Франции. Т I–II. М. Воениздат, 1938.

[4] «Бой» («Le Combat». Paris: F. Alcan, 1914). Автор книги – Александр Персен (Percin; 1846–1928), французский генерал, военный писатель. Волошин ссылается на эту книгу также в статье «Адские войны» (1915; см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 533).

[5] Подразумевается военный министр генерал Адольф Мари Мессими (Messimy; 1869–1935).

[6] Эти бельгийские города были заняты германскими войсками в ходе первых недель боевых действий.

[7] Имеется в виду Альбер Жерар Лео д'Амад (d'Amad; 1856–1941), дивизионный генерал; в начале войны возглавлял группу из четырех территориальных дивизий, действовавших в полосе 5-й армии генерала Ш. Ланрезака.

[8] Германская конница беспрепятственно вступила в Лилль (французский город на границе с Бельгией) 26 августа 1914 г. Ср. изложение предшествовавших событий у военного историка: «Постройка в Лиле крепости предусматривалась общим планом укрепления восточной и северо-восточной границы Франции, составленным ген. Серэ-де-Ривьером, но за недостатком средств была выполнена лишь отчасти. Лиль считался крепостью второстепенного значения. За несколько лет до мировой войны представителями крупной французской промышленности, заинтересованными в работе лильских фабрик, начались хлопоты в парламенте и в министерствах об упразднении крепости в Лиле с целью предотвратить разрушение фабрик от неприятельской бомбардировки. Эти хлопоты увенчались успехом, и 7 ноября 1911 г. состоялось распоряжение военного министра Мессими об упразднении крепостной ограды и фортов, вопреки мнению многих военных специалистов К началу мировой войны эти меры еще не были полностью проведены, и в августе 1914 г. Лиль признавался крепостью еще вполне годной для обороны. С прибытием в ее район территориальных войск ген. д'Амада явилась мысль использовать укрепления Лиля, ввиду чего с 21 августа они начали восста-

новляться и снабжаться гарнизоном, доведенным до 18000 чел. Между тем лильские фабриканты возобновили свои хлопоты, и 24 августа комендант Лиля ген. Эрман получил приказ французского главного командования “считать Лиль открытым городом и вывести войска из всех его укреплений”» (*Новицкий В.* Мировая война 1914—1918 гг. Кампания 1914 года в Бельгии и Франции. Т. I. С. 288—289).

[9] Сражение при Шарлеруа (Бельгия) состоялось 21—25 августа 1914 г.

[10] Генерал-полковник Александр фон Клук (Kluck; 1846—1934) — командующий 1-й германской армией. Генерал Модюи возглавлял с сентября 1914 г. 10-ю французскую армию. В данном случае, скорее всего, Волошин подразумевает маршала Франции Жозефа Мишеля Монури (Mauneury; 1847—1923), получившего в командование 27 августа 1914 г. создаваемую 6-ю армию, которая была направлена для защиты Парижа. В сентябре Монури начал сражение на Марне, успех которого во многом был обязан действиям его армии

[11] Клод Казимир-Перье (Casimir-Perier, 1880—1915), друг Пеги, сын Жан-Поль-Пьера Казимир-Перье, президента Французской республики в 1894—1895 г.; погиб на фронте 12 января 1915 г.

[12] «Cahiers de la Quinzaine» («Двухнедельные тетради») — журнал, издававшийся Шарлем Пеги с 5 января 1900 до 1 августа 1914 г. (до ухода Пеги на фронт).

[13] Роман Р. Роллана «Жан-Кристоф» («Jean-Christophe», 1904 — 1912) занимал целиком 17 выпусков «Двухнедельных тетрадей», выходивших с февраля 1904 по октябрь 1912 г. «Трагедия Электры и Ореста» («La tragédie d’Electre et Oreste») А. Сюареса была опубликована в 11-й книге 6-й серии «Двухнедельных тетрадей» (1905), его статья «Достоевский» («Dostoïevsky») — там же в 8-й книге 11-й серии (1911). Изложение этой статьи Сюареса Волошин дает в своем газетном обзоре «Достоевский во Франции» (1911; см.: Т 6, кн. 1 наст. изд. С. 447—449).

[14] В статье «Шарль Пеги» Волошин называет Эрнеста Лоранса (Ernest Joseph Laurent; 1859 — 1929) автором портрета Пеги. В действительности автор этого портрета — Жан-Пьер Лоран (Laurens; 1875—1932). См. воспроизведение этого портрета Пеги в кн.: История французской литературы. Т III. 1871—1917 гг. М.: Изд-во АН СССР, 1959 С. 544.

[15] «Дневник писателя» — «моножурнал» Ф. М. Достоевского (1876—1877, 1880, 1881), включавший его публицистические статьи, очерки, фельетоны, полемические выступления, мемуарные и художественные произведения.

[16] «Плеяда» («Pléiade») — французская поэтическая школа третьей четверти XVI в.

[17] Данте, согласно утверждению Дж. Боккаччо, побывал в Париже в 1307 или 1308 г. Томмазо Кампанелла последние 10 лет жизни провел во Франции, умер в Париже в 1639 г.

[18] Книга стихов Поля Верлена «Мудрость» («Sagesse», 1881).

[19] Поэтические произведения Пеги «La tapisserie de Notre-Dame» («Изображение Богоматери») и «La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc» («Изображения св. Женевьевы и Жанны Д'Арк»), опубликованы в «Двухнедельных тетрадях»: первое – в 10-й книге 14-й серии (1913), второе – в 5-й книге 14-й серии (1912). Книга «La tapisserie de st. Geneviève et de Jeanne d'Arc» (Paris: Cahiers de la Quinzaine, 1912) сохранилась в библиотеке Волошина (Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 340)

ВЕРХАРН

В жизни поэтов повторяется судьба Кассандры: в годы глубокого мира и благоденствия они пророчат беды и ужасы, которым никто не верит. Когда же земля потрясается войной* и с неба сыплется серный дождь, их уста немеют.

Почему в годы спокойного расцвета, богатства и мира Бельгии в душе Верхарна, как в морской раковине, звучали гулы и топоты апокалиптических конниц, рушились небеса, разверзались бездны, текли кровавые реки?

Почему он пел в те годы вечера, распятые на сводах небосклона, черные катафалки в глубине вечеров, где покоятся тела не победителей, с наглыми глазами, а побежденных, чьи руки, как безумные ветви, были всегда простерты к далям мечты, а сердце переполнено пеплом печали; черные факе<лы>, черные голгофы в свитках пламени, источники талых вод, которые кровавятся червонными струями...?[1]

А потом, по мере того как катастроф<а> реальной жизни надвигалась, эти видения и тени <?> меркли, гасли, отходили на задний план и сменялись радостью бытия и благословением земли и миру и человечеству. 1½ года назад Верхарн сам

* *Надписан вариант*: грозой

с удивлением, читая лекцию в России,[2] говорил о перемене, совершившейся с ним.

Пророчество – естественное нормальное чувство человека. Оно дальнозорко. Близкого не видно. Отдаленное ясно. Но пророчество еще не знание, а только чувство, общее, цельное, не разложенное на составные части. Оно вне идеи деления числа. Для него нет расстояния.

Пророчественность – основное свойство мечты искусства слова – т. е. поэзии.

Рассказать о прошлом, о пережитом – это будет только рассказ, описание, подобие действительности, только напоминание.

То же, что в искусстве является воплощением, воззыванием (évocation) – это не бывшее, а возможное, еще не истощенное никаким переживанием.

Верхарн в первую половину своей жизни был полон голосами и предчувствиями.

Живя в годы самого тихого и самого сытого благополучия своей страны, блуждая среди чудовищных форм Города и машин, которые в ту пору наивно принимались за символы и закон вечного мира, он бывал ежеминутно охвачен ужасом прозрения тех диаболических* сил, которые скрывались в каждой из форм жизни.

Города – осминоги,[3] чудовищный организм машинного царства, – все это было ясно его пророчественному основателю.

Но по мере того как катастрофа надвигалась – пророк слеп.

Теперь, когда ужасы исполнились, – об них совершившихся говорит не пророк, а гражданин разоренной и поруганной страны. В нем глубокое сознание своего человеческого достоинства, большое мужественное сердце, чувство попранной справедливости. Но он, как будто, сам ничего не знает о собственных своих пророчествах.

Это поражает, это кажется невероятным, но это так.

Книга «Окровавленная Бельгия»[4] прекрасна по силе слепого чувства, но в ней нет ни одной пророчественной молнии.

---

* *Надписан вариант* катастрофиче<ских>

Он подымает свой голос — не одинокий, а один из множеств, чтобы сказать: Ненавижу.

«Тот, кто написал эту книгу, в которой он не хотел скрывать своей ненависти, был некогда мирным человеком. Он удивлял<ся> многим народам, некоторые он любил. Среди них была Германия. Не была ли она силой плодоносной, трудолюбивой, зачинательной, смелой и размеренной из всех? Не давала <ли> она посещавшим ее ощущение безопасности в силе? Не заглядывала <ли> она в будущее глазами более острыми, более горящими, чем другие?

Настала война.

Германия мгновенно стала другой.

Сила ее стала несправедливой, подлой, свирепой. В ней не осталось иной гордости, чем гордость методической тирании. Она стала бедствием, от которого надо защищаться, для того чтобы человеческая жизнь не изникла на земле.

Для написавшего эту книгу не было разочарования ни более великого, ни более неожиданного. Оно его поразило так, что он перестал себя чувствовать тем человеком, что он был.

А так как в том *исступлении гнева, в котором он живет сейчас, его сознание кажется ему как бы замутненным, то он с глубоким волнением посвящает эти страницы тому человеку, которым он был когда-то.*

19 апре<ля> 1915».[5]

Как ясно отношение граждан<ина> к пророку.

«Наш инстинкт национально<го> самоохра<нения> диктует нам отныне один долг — ненависть.

Только любовью и ненавистью народы совершают великие деяния. Но Германия не оставила нам выбора между любовью и ненавистью».[6]

«Они вызвали наше правитель<ство> в заднюю комна<ту> и произнесли одно слово: сколько? И ожидали, что им ответят тотчас же: 30 серебреников».[7]

Печатается впервые по черновому автографу — по верхнему слою правки (ИРЛИ, ф. 840, собрание М. С. Лесмана).

Тематика и образный строй этого наброска нашли отражение в статье Волошина «Верхарн. “La Belgique sanglante”», опубликован-

ной в «Биржевых Ведомостях» (Утр. вып. 1915 № 15031, 17 августа). См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 501–504.

[1] Обыгрываются образы из стихотворений Э. Верхарна «Человечество» («Humanité») и «В сумерки» («A ténèbres»), входящих в его книгу «Вечера» («Les soirs», 1887), а также заглавие его поэтической книги «Черные факелы» («Les flambeaux noire», 1890). Ср. перевод стихотворения «Человечество», выполненный Волошиным (Т. 4 наст. изд. С. 31).

[2] Верхарн пробыл в России с 23 ноября по 12 декабря 1913 г., сначала в Петербурге, а потом в Москве, где выступал в Московском Литературно-художественном кружке (28 ноября), в «Обществе свободной эстетики» (3 декабря) и в обществе «Alliance Française» (7 декабря). Волошин в это время находился в Крыму.

[3] Название поэтической книги Верхарна: «Les villes tentaculaires» («Города-спруты», 1895).

[4] «La Belgique sanglante» (1915) – книга публицистических статей и стихотворений Верхарна, отразивших его переживания в связи с разгромом Бельгии германскими войсками.

[5] Цитируется авторское «Посвящение» к «Окровавленной Бельгии». Ср. перевод Н. Кончевской: *Верхарн Эмиль.* Окровавленная Бельгия. М., <1916>. С. 13–14.

[6] Фрагменты статьи «Преступления» из «Окровавленной Бельгии». Ср. в переводе Н Кончевской: «Так или иначе, но инстинкт национального самосохранения повелительно указывает нам отныне ненависть, как исполнение долга. Народы творят великие дела лишь силой любви или силой ненависти. Наше освобождение есть великое дело. Немцы не оставили нам выбора между любовью и ненавистью» (Там же. С 31).

[7] Цитата из той же статьи. Ср. в переводе Н. Кончевской (Там же. С. 33).

Ж. де ШАРМУА

Война раздавила и унесла во Франции уже столько молодых поэтов и художников, их исчезновение проходит почти бесследно. Их память пишется <?> двумя строками в «Бюллетене писателей».[1]

Уход же из жизни тех, кто гибнет не на войне, может пройти незамеченным.

Читая недавно о том, что образовывается комитет для постановки памятника в честь всех молодых поэтов, погибших во время войны, — «Le tombeau de poète» — работы Жозефа де Шармуа, я радовался тому, что это надгробие будет не простым базарным памятником, а созданием того, кто изваял патетическое и мрачное надгробие Бодлэра на Монпарнасском кладбище.

Но я не подозревал, что самого скульптора нет в живых. Случайный номер прошлогодней газеты сказал мне о том, что Шармуа умер от чахотки еще в ноябре 1914 г.[2]

За грохотом военных событий эта смерть прошла незамеченной и в свое время не дошла до меня.

Еще недавно, проходя через Монпарнасск<ое> кладбище, я остановился перед могилой Бодлэра.

Камень почернел, зарос мохом, покрылся черными подтеками — приобрел патину времени.

Но фигура Демона, в которой когда-то смущало слишком портретное сходство с лицом Де Макса, для него позировавшего,[3] стала отдаленнее, мрачнее, более призрачной, более (*На этом текст обрывается.*)

Печатается впервые по черновому автографу (ИРЛИ, ф. 840, собрание М. С. Лесмана).

Первоначальный набросок начала статьи, опубликованной под заглавием «Гробница поэта» (Биржевые Ведомости. Утр. вып. 1915. № 15095, 18 сентября). См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 504–509, 812–814 (комментарии К А. Кумпан). См. также набросок более ранней статьи Волошина о Жозе де Шармуа: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 554–556, 916–918 (комментарии К. А. Кумпан).

[1] Периодическое издание «Bulletin des Écrivains», печатавшее списки убитых и раненых писателей.

[2] Некоторые справочные источники указывают другой год смерти Шармуа — 1919 (см.: Т. 6, кн 1 наст. изд. С. 813).

[3] Та же параллель между «лицом Гения» на надгробном памятнике Ш. Бодлеру и лицом французского актера Эдуара Александра де Макса — в статье «Гробница поэта» (см.: Там же. С. 507)

АДРЕСАТЫ И ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Абрамов Соломон Абрамович (1884–1957), руководитель московского акционерного издательства «Творчество», поэт – РГБ, ф. 1, карт. 1, ед. хр. 18.

Альвинг Арсений (наст. имя Арсений Алексеевич Смирнов; 1885–1942), поэт, прозаик, критик, переводчик. – Собрание Л. В. Горнунга (Москва).

Альтман Моисей Семенович (1896–1986), филолог-классик, литературовед, поэт. – Частное собрание (п. 492); ИРЛИ, ф. 840 (архив и коллекция М. С. Лесмана; остальные письма). – Последние годы жизни Максимилиана Волошина по письмам М. Альтману / Публ. Н. Князевой, М. Ланды и Ж. Шерона // Русская литература. 1997. № 4. С. 183–189 (кроме п. 492; с неточностями).

Ангарский Николай Семенович (наст. фам. Клестов; 1873–1940), член РСДРП, советский общественный деятель, издатель, литературный критик. – РГАЛИ, ф. 1814, оп. 10, ед. хр. 511, л. 7.

Анненкова Ольга Николаевна (1884–1949), переводчица; антропософка. – Собрание проф. Л. В. Ушкалова.

Архиппов Евгений Яковлевич (1882/83–1950), критик, библиограф, поэт. – Частное собрание (п. 328, 507, 535); РГАЛИ, ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 61 (остальные письма).

Арцимович Екатерина Васильевна (урожд. Горяинова; 1876–1959), вторая жена А. Л. Толстого (отца С. А. Толстой). – ГМТ, ф. 48.

Бальмонт Екатерина Алексеевна (урожд. Андреева; 1867–1950), вторая жена К. Д. Бальмонта; переводчица, мемуаристка. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 6 (п. 196); Собрание проф. Л. В. Ушкалова (п. 480, 522).

Барсамов Николай Степанович (1892–1976), искусствовед, художник, археолог; директор Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского с 1923 г. – ФКГА. Д 105, КП 2854.

Басалаев Иннокентий Мемнонович (1897–1964), журналист, поэт. – Частное собрание. – *Жарков Евгений.* Страна Коктебель: Культурные очаги. Середина XIX – середина XX веков. Киев: Болеро, 2008. С. 231 (факсимиле).

Белецкий Андрей Александрович (1911—1995), лингвист, переводчик; профессор Харьковского и Киевского университетов. — Собрание А. А. Белецкого.

Белкин Вениамин Павлович (1884—1951), живописец, график. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 7 (п. 224); ГРМ, ф. 118, ед хр. 68 (п. 236).

Белугина Лидия Тимофеевна (1908—?), студентка Московского университета. — ГЛМ, ф. 271, оп. 1, ед. хр 12, 13, 15—17. — Звезда. 1997. № 11. С. 223—225, 227, 230—231 (в составе публикации А. Сергеева и А. Тюрина «“Удар, ее освободивший ..” Судьба поэтессы Элеоноры Буржинской в переписке Максимилиана Волошина», с неточностями).

Белый Андрей (наст. имя Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934), прозаик, поэт, критик, теоретик символизма, литературовед. — Собрание Петра Вегина (п. 103); РГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед хр. 166 (п. 495); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 8 (п. 498). — Волошинские чтения: Сб научных трудов. М., 1981. С 88—89 (в сокращении; в составе статьи С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова «Максимилиан Волошин и Андрей Белый»). То же в кн.: *Гречишкин С. С., Лавров А. В.* Символисты вблизи: Статьи и публикации. СПб : Скифия, 2004. С 127 (п. 495).

Бобковы – Александр Петрович (1863 — ок. 1948), московский врач, и **Татьяна Михайловна** (урожд Баранова), его жена — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 10.

Богаевский Константин Федорович (1872—1943), живописец, график. — Собрание Н С. Барсамова (п. 590); ФКГА (остальные письма). — Искусство. 1979 № 9. С. 66. Публ. В П Купченко (п. 281); *Барсамов Н. С.* Айвазовский в Крыму. Симферополь: Крым, 1970. С. 72 (п. 590, с ошибочной датировкой).

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), прозаик, драматург. – ИРЛИ, ф. 369, ед. хр. 371. – «Буду рад Вас видеть в Коктебеле...»: Переписка Максимилиана Волошина и Михаила Булгакова // *Волошин Максимилиан.* Избранное: Стихотворения. Воспоминания. Переписка / Составление, подготовка текста, вступ. статья и комментарии Захара Давыдова и Владимира Купченко. Минск: Мастацкая лiтаратура, 1993. С. 423, 429—430.

Буржинская Элеонора (1908—1927), студентка Московского университета, поэтесса. — ГЛМ, ф. 271, оп. 1, ед. хр. 12, 14. — Звезда 1997. № 11 С. 223, 225 (в составе публикации А. Сергеева и А. Тюрина «“Удар, ее освободивший...” Судьба поэтессы Элеоноры Буржинской в переписке Максимилиана Волошина», с неточностями).

Бурлей Надежда Николаевна (1907—1990), бухгалтер, жительница Симферополя. — Собрание Н. Н. Бурлей.

Бурцев Владимир Львович (1862—1942), публицист, издатель, деятель революционного движения. — РГАСПИ, ф. 328, оп. 1, д. 74.

Васильева Клавдия Николаевна (урожд. Алексеева, во втором браке Бугаева; 1886—1970), вторая жена Андрея Белого; деятель антропософского движения. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 8 (п. 498).

Великанова Александра Анатольевна (1886—1950), жена профессора-гидролога М.А. Великанова; антропософка. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 15 (п. 446); Собрание В. А. Колнеболоцкого (п. 326, 509). — Ригас Балсс. 1977, 4 апреля (в составе статьи Б. Куняева «Когда говорят акварели и письма»; п. 326, 509).

Вересаев Викентий Викентьевич (наст. фам. Смидович; 1867—1945), прозаик, литературовед, поэт-переводчик. — РГАЛИ, ф. 1041, оп. 4, ед. хр. 217 (п. 55); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 16 (п. 430); Собрание А. Ф. Маркова (остальные письма). — Письма из собрания А. Ф. Маркова — в кн.: *Марков Анатолий.* Магия старой книги. Записки библиофила. М.: Аграф, 2004. С. 640–659; ранее осуществленные их публикации: Дружба народов. 1983. № 9. С. 214–230. Публ. В. П. Купченко и А. Ф. Маркова (в извлечениях, с купюрами); Дружба народов. 1993. № 4. С. 222–239. Публ. А. Ф. Маркова; Новый журнал (Нью-Йорк). 1992. Кн. 186. С. 262–312; Кн. 187. С. 262–296. Публ. А. Маркова и А. Тюрина.

Винавер Михаил Львович (1880—1942, расстрелян), адвокат, секретарь Общества помощи политзаключенным. — Собрание М. А. Лентуловой.

Вихрев Ефим Федорович (1901—1935), писатель, член объединения «Перевал», исследователь искусства Палеха. — РГАЛИ, ф. 94, оп. 1, ед. хр. 314.

Вишневский Всеволод Витальевич (1900—1951), драматург, кинодраматург, прозаик. — РГАЛИ, ф. 24, оп. 4, ед. хр. 104.

Вознесенский Александр Сергеевич (наст. фам. Бродский; 1880—1939), поэт, драматург, переводчик, деятель кино, критик. — РГАЛИ, ф. 2247, оп. 1, ед. хр. 33, л. 66.

Волошина Мария Степановна (урожд. Заболоцкая; 1887—1976), акушерка, вторая жена Волошина (с 1923 г., брак зарегистрирован 9 марта 1927 г.). — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 18 (письма 1925 г.), 19 (письма 1926—1931 гг.); Там же, ед. хр. 361, л. 59 (п. 23).

Воронов, ответственный секретарь Комиссии содействия ученым. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 67.

Всероссийский Союз Писателей. — ИМЛИ, ф. 79, ед. хр. 31 (п. 352, 469), 32 (п. 510, 511); РГАЛИ, ф. 102, оп. 1, ед. хр. 15 (п. 618). — Независимая газета. 1997. № 175, 18 сентября. С. 5 (п. 58; в составе статьи Григория Файмана «“Дом поэта” и вокруг него... О Максимилиане Волошине по материалам Центрального архива ФСБ РФ»).

Габричевские — Александр Георгиевич (1891—1968), искусствовед, переводчик, историк литературы, живописец, и **Наталья Алексеевна** (урожд. Северцова; 1901—1970), его жена (с 1920 г.) артистка, художница. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 129, л. 3–3 об. (п. 32); Собрание О. С. Северцевой (Москва) (п. 321, 324, 378); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 21–22 (остальные письма). — Александр Георгиевич Габричевский. 1891—1968. К 100-летию со дня рождения М.: Сов. художник, 1992. С 145–147, 149–151, 153–155, 158–160, 163–167, 169, 170 (п. 4, 32, 41, 88, 98, 107, 117, 127, 138, 183, 188, 200, 201, 261, 407 — с купюрами и неточностями).

Галабутский Юрий Андреевич (1863—1928), педагог, преподаватель русского языка и литературы в феодосийской мужской гимназии. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 30.

Гатов Александр Борисович (1899—1972), поэт, переводчик. — ИМЛИ, ф. 208, оп. 1, ед. хр. 12.

Гауш Александр Федорович (1873—1947), живописец, педагог. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 24.

ГАХН (Государственная Академия Художественных Наук). — РГАЛИ, ф. 941, оп. 1, ед. хр. 76, л. 177.

Гейне Эдгар Фридрихович (1880—1955), филолог, художник; член Художественного общества им. К. К. Костанди в Одессе. — Частное собрание.

Гениева Елена Васильевна (урожд. Кирсанова, 1892—1980), жена проф. Н. Н Гениева. — ДМВ (п. 187); Собрание Е. Ю. Гениевой (Москва; п. 333, 379, 584).

Герцык Евгения Казимировна (Лубны-Герцык; 1878–1944), переводчица, критик. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 27 (п 65, 405, 436), Собрание Т. Н. Жуковской (Москва; п. 357, 363, 388).

Гинзбург Лев Самойлович (1879—1933), историк литературы, профессор. — РГАЛИ, ф. 1886, оп. 2, ед. хр. 1.

Гинцбург Моисей Исаакович (псевдоним — Даян; 1877—1940), журналист, меньшевик. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 144.

Главискусство. — ИМЛИ, ф 79, ед. хр. 33.

Главлит. — РГАЛИ, ф. 102, оп. 1, ед. хр. 17.

Глотов Яков Александрович (1878—1938, 10 июля, расстрелян), двоюродный брат Волошина (племянник Е. О. Кириенко-Волошиной); участник революционного движения, переводчик. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 29 (п. 46, 94, 120, 273); ГАРФ, фонд Департамента полиции ОО, 1902 г., ед. хр. 380 (п. 633).

Глотова Мария Игнатьевна (1890 — не ранее 1934), жена Я. А. Глотова. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 29.

Голлербах Эрих Федорович (1895—1942), искусствовед, литературовед, библиограф, поэт. – РНБ, ф. 207, ед. хр. 24 – «Дом Поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А. Сергеева и А. Тюрина // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 17. М , СПб : Atheneum – Феникс, 1994. С. 311–313, 315–316, 319–320, 322, 327, 333–334, 349.

Гольдовская Рашель Мироновна (урожд. Хин, в первом браке Фельдштейн; 1863—1928), прозаик, драматург. — Собрание Т. М. Митрян (п. 292); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 32 (остальные письма).

Гревс Иван Михайлович (1860–1941), историк-медиевист, педагог, общественный деятель. – ПФА РАН, ф. 726, оп. 2, ед. хр. 55.

Григорьев Александр Владимирович (1891—1961), художник, заведующий отделом изобразительных искусств Наркомпроса, один из организаторов АХРР, организатор общества Союз советских художников (1929—1931). — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 146.

Грифцовы — Борис Александрович (1885—1950), критик, переводчик, литературовед, искусствовед, прозаик, и **Мария Ивановна** (1896—1989), его жена. — ДМВ.

Гроссман Леонид Петрович (1888—1965), литературовед, критик, прозаик, поэт. — РГАЛИ, ф. 1386, оп. 1, ед. хр. 64.

Губаревич-Радобыльская Анастасия Антоновна, родственница Н. К. Пиксанова, сотрудница главного управления научных и музейных учреждений (Главнаука) Наркомата Просвещения РСФСР. – ИРЛИ, новое поступление.

Демидов Алексей Алексеевич (1883—1934), прозаик; ответственный секретарь издательского отдела ВЦСПС. — РГАЛИ, ф. 165, оп. 2, ед. хр. 17.

Дидерихс Федор Федорович (Фридрих Фридрихович; 1902 — после 1941), музыкант; муж поэтессы Л. И. Аверьяновой. – ИРЛИ, ф. 355, ед. хр. 16.

Добраницкий Казимир Мечиславович (1905—1937, расстрелян), сын дипломата, партийный работник, журналист (см. о нем: *Чудакова М. О.* Осведомители в доме Булгакова в середине 1930-х годов // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995—1996. С. 436—443). — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 38.

Долгополов Митрофан Исидорович (1890—1936), юрисконсульт Крым-ЦИК — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 39.

Долгополова Анна Васильевна (урожд. Алексеева), жена М. И. Долгополова. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 40.

Долгополовы Анна Васильевна и **Митрофан Исидорович**. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 40.

Домрачев Петр Федорович (1878—1934), юрист. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 41.

Домрачева Александра Лаврентьевна (урожд. Куницына; 1880—1967), жена П. Ф. Домрачева. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 131 (п. 39); там же, ед. хр. 132 (остальные письма).

Домрачева Надежда Петровна (в замужестве Грицай; 1901—1993), дочь П. Ф. и А. Л Домрачевых. — ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 42 (п. 96); ф. 562, оп. 5, ед хр. 131 (п. 110).

Дорогова Мария Вадимовна (1888—1970-е гг.), жена инженера-путейца В. Н. Дорогова; теософка. — Сумский художественный музей (п. 320, 385, 537, 556); Частное собрание (п. 325). — *Побожий Сергей.* «Милой и ученой Марии Вадимовне...» Акварели-письма М. Волошина из коллекции Сумского художественного музея // Крымский альбом: Составление, вступ. заметки к разделам и публикациям Дм. Лосева. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 1998. С. 166–174 (п. 320, 385, 537, 556; первоначально: *Побожий Сергей.* Невідоме листування Максиміліана Волошина // Червоний промінь (Сумы). 1994. № 2, 8 января. С. 3).

Дурылин Сергей Николаевич (1886—1954), публицист, прозаик, поэт, историк литературы и театра. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 43 (п. 534 а); РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 480 (остальные письма). — *Бащенко Р. Д.* Знаменательные встречи. Симферополь: ДиАйПм, 2004. С. 139–141, 143–146 (п. 208, 270, 386, 473, 534 б — в извлечениях, по машинописным копиям из Мемориального музея С. Н. Дурылина в Болшеве, Московская область).

Евдокимов Иван Васильевич (1887—1941), прозаик, критик, искусствовед, редактор Госиздата, председатель Хозяйственной комиссии Всероссийского Союза Писателей. — ИМЛИ, ф. 82, оп. 1, ед. хр. 35; ДМВ.

Енукидзе Авель Сафронович (1877—1937), советский политический и государственный деятель; с 1918 секретарь Президиума ВЦИК, в 1922—1935 секретарь Президиума ЦИК СССР. — ГМТ.

Заболоцкая Мария Степановна. См.: Волошина Мария Степановна.

Зеленина Клавдия Алексеевна (1892—?), искусствовед; сотрудница Музея нового западного искусства — ГТГ, ф. 4, ед. хр. 2565.

Зелинская Кина Михайловна (1901—1960), служащая; жена К. Л. Зелинского. — Частное собрание. – *Варава Борис.* Воспоминания сибирского книжника и антиквара (в поисках Серебряного века). М.: Среди коллекционеров, 2013. С. 99 (п. 384, 545 – факсимиле)

Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970), литературовед, критик — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 47.

Зернов Владимир Дмитриевич (1878—1946), физик, профессор. — *Зёрнов В. Д.* Записки русского интеллигента. М., 2005 (факсимиле автографа на вклейке).

Златогоров Семен Иванович (Гольдберг; 1873–1931), микробиолог, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук (1929). — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 48.

Златогорова Татьяна Руфовна (1880–1951), жена С. И. Златогорова. – ДМВ.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, филолог, теоретик символизма, религиозный мыслитель, переводчик. – Римский архив Вяч. Иванова.

Ивановская Надежда Ивановна (1867–1956), компаньонка Р. М. Гольдовской. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 50.

Кандауров Константин Васильевич (1865–1930), театральный художник, осветитель Малого театра в Москве, организатор художественных выставок. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 52.

Кандауров Леонид Васильевич (1877–1962), педагог, физик и астроном; брат К В. Кандаурова. – Архив семьи Кандауровых-Чернышевых (п. 83); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 53 (п. 235, 396). – Грани. 1998. № 186. С. 234–235. Публ. Татьяны Кандауровой-Чернышевой (п. 83).

Кипен Александр Абрамович (1870–1938), прозаик, агроном; профессор Одесского сельскохозяйственного института. – Собрание В. А. Рождественского (Санкт-Петербург) (п. 293); ИМЛИ, ф. 27, оп. 2, ед. хр. 30 (п. 630); Национальный художественный музей Украины (Киев), ф 15, ед. хр. 211–223, 225, 226, 229 (остальные письма). — *Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 75–94 (письма из Национального Художественного музея Украины).

Киреевская Галина Сергеевна (1897–1987), актриса Камерного театра; антропософка. – Частное собрание.

Коган Петр Семенович (1872–1932), историк литературы, критик, переводчик; президент Государственной Академии Художественных Наук (ГАХН). – РГАЛИ, ф. 941, оп. 1, ед. хр. 76, л. 178 (п. 34), РГАЛИ, ф 237, оп. 2, ед. хр. 90 (п. 163).

Коктебельский Селькооператив. – ДМВ.

Корнилов Петр Евгеньевич (1896–1981), педагог, искусствовед, музейный работник. – Частное собрание; ДМВ (машинописные копии).

Костенко Константин Евтихиевич (1879–1956), художник-график. – Музей А. А. Ахматовой (Фонтанный Дом) в Санкт-Петербурге.

Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941), художник-график, мастер офорта, монотипии и силуэта. – РГАЛИ, ф. 2833, оп. 1, ед. хр. 622.

Крымнаркомпрос. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 62, л. 12–12об. (п. 351); ДМВ (п. 486).

Кудашева Мария Павловна (Майя; урожд. Кювилье, во втором браке Роллан; 1895–1985), поэтесса. – РГАЛИ, ф. 102, оп. 2, ед. хр. 8.

Лавренёв Борис Андреевич (наст. фам. Сергеев; 1891–1959), прозаик, драматург. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 69.

Лазурский Владимир Федорович (1869–1943), литературовед, педагог. – Национальный художественный музей Украины (Киев), ф. 15; ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 54, л. 5 (машинописная копия).

Ланн Евгений Львович (наст. фам Лозман; 1896–1958), переводчик, прозаик, поэт. – Собрание В. М. Волосова (п. 387); Коллекция Дома-музея Марины Цветаевой (остальные письма). – «...Темой моей является Россия»: Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы / Составители Д. А. Беляев, Г. П. Мельник. Предисл. В. С. Баевского. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007.

Ленинградский Литературный фонд – ДМВ.

Леонов Леонид Максимович (1899–1994), прозаик, драматург, публицист. – ДМВ.

Лидин Владимир Германович (наст фам. Гомберг; 1894–1979), прозаик. – РГАЛИ, ф. 3102, оп. 1, ед. хр. 406.

Лобанов Сергей Иванович (1887–1943), искусствовед, художник. – ГМИИ, ф. 13, коллекция С. И. Лобанова.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), советский политический деятель, народный комиссар просвещения (1917–1929); критик, публицист, литературовед, искусствовед, драматург, переводчик. – РГАЛИ, ф. 279, оп. 2, ед. хр. 338 (п. 461); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 72 (п. 472).

Лямина Елена Сергеевна (1870—1952), двоюродная сестра Волошина, сестра Л С. Шмелевой. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 73, л. 33

Манджос (Манжос) Екатерина Алексеевна (1869–1952), врач; теософка. – Копия из собрания А. Ф. Маркова (Москва).

Мануйлов Виктор Андроникович (1903–1987), литературовед, поэт. – Собрание А. В Лаврова (п. 250, 327); ИРЛИ, ф 713, архив В.А. Мануйлова (остальные письма) – *Мануйлов В. А.* Записки счастливого человека: Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов / Под ред. д. ф. н. Н Ф. Будановой. СПб.: Европейский Дом, 1999. С. 170–171, 175 (кроме п. 104, с неточностями), В. А. Мануйлов в переписке с Максимилианом Волошиным / Публ. А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 427–428, 430–431, 434–435, 437, 439.

Мотолянский Семен Ефимович, сотрудник Горкомхоза, одессит. – Собрание Н. Г. Бать (Москва) (п 520), ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 145 (п. 583).

Мура (Мария Анатольевна), жена К. М. Добраницкого. — ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 38, л. 35.

Назаревская Любовь Алексеевна (1902–1980), внебрачная дочь М. Горького; статистик Госплана. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 76.

Назаров Алексей Павлович (1870 – после 1931), пчеловод, старообрядец. –ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 142.

Невский Леонид Николаевич, инспектор по делам музеев Крыма. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 64.

Нерадовский Петр Иванович (1875–1963), живописец, график, искусствовед, музейный деятель. – ГТГ, ф. 31, ед. хр. 267–269.

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), живописец. — ГТГ, ф. 100, ед. хр. 319.

Никитина Евдоксия Федоровна (1893–1974), историк литературы, глава объединения и издательства «Никитинские субботники». – РГАЛИ, ф. 341, оп. 2, ед. хр. 9 (п. 538); ГЛМ (п. 604).

Новицкая Мария Алексеевна (1896–1965), дочь А. П. Новицкого; впоследствии археолог. – Собрание М. И. Вязьмитиной (Киев).

Новицкий Алексей Петрович (1862–1934), искусствовед. – Копия в собрании В. П. Купченко.

Оболенская Юлия Леонидовна (1889–1945), художница. – РГАЛИ, ф. 2080, оп. 1, ед. хр. 20 (п. 334, 496, 500); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 85 (остальные письма).

Оболенская Юлия Леонидовна и **Кандауров Константин Васильевич**. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 85.

Овчинников Борис Михайлович (1885–1945), юрист. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 85 а.

Остроумов Лев Евгеньевич (1892–1955), прозаик, поэт, переводчик; член ГАХН. – Собрание Т. А. Антоновой (п. 70); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 87 (п. 233); РГАЛИ, ф. 1369, оп. 2, ед. хр. 1 (остальные письма).

Остроумова Валентина Павловна (урожд. Панкратова; 1888–1962), жена Л. Е. Остроумова. – РГАЛИ, ф. 1369, оп. 2, ед. хр. 3.

Остроумова-Лебедева Анна Петровна (урожд. Остроумова; 1871–1955), художница, и **Лебедев Сергей Васильевич** (1874–1934), ее муж, химик, академик. – РНБ, ф. 1015, ед хр. 516, 517. – «Дом Поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А. Сергеева и А. Тюрина // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 17. М.; СПб.: Atheneum – Феникс, 1994. С. 307–310, 314–315, 317–318, 321, 324–325, 330–344, 355–356.

Павлова Лидия Дмитриевна (урожд. Вадбольская; 1872–1952), служащая. – ГЛМ.

Пазухин Василий Александрович (1889–1972), инженер, доцент Горной академии; муж М. А. Пазухиной – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 143.

Пазухина Мария Александровна (урожд. Чернова; 1898–1967), пианистка. – Собрание М. А. Торбин – Дом-музей Марины Цветаевой, Москва (п 77, 207, 610). Остальные письма: частное собрание (автографы); ГЛМ, ф. 271, оп. 1, ед. хр. 23 (машинописные копии).

Парнок София Яковлевна (наст. фам. Парнох; 1885–1932), поэтесса, литературный критик. – Частное собрание (Москва). – De Visu. 1994. № 5/6 (16). С. 12 (в составе предисловия Е. Б. Коркиной к публикации: С. Я. Парнок. Статья. Письма. Стихи).

Петухов Евгений Вячеславович (1863–1948), литературовед. – ИРЛИ, ф. 669, ед. хр. 16.

Пешковский Александр Матвеевич (1878–1933), друг Волошина с ранних юношеских лет; лингвист. – ИМЛИ, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 26.

Платонов Константин Константинович (1906–1984), психофизиолог. – ДМВ.

Платонов Сергей Федорович (1860–1933), историк, академик. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 79 (п. 420); РНБ, ф. 585, оп. 1, ед. хр. 2556

(остальные письма) – De Visu. 1993. № 5 (6). С. 52–54 Публ. В. А. Колобкова (кроме п. 420); «Дом Поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А. Сергеева и А. Тюрина // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 17. М.; СПб.: Atheneum – Феникс, 1995. С. 326–328, 332, 343–346 (кроме п. 420); Максимилиан Волошин и академик С. Ф. Платонов. Материалы к истории взаимоотношений / Публ. А. Н. Зиневич // Русская литература. 2013. № 1. С. 187 (п. 420).

Платоновы Галина Николаевна (урожд. Сартиссон) и **Константин Константинович**. – ДМВ.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1872–1941, расстрелян), врач-терапевт – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 100.

Потапенко Елена Николаевна (урожд. Лампси; 1864 – не ранее 1928), сестра П Н. Лампси, жена И. Н. Потапенко. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 101.

Потоцкий Аркадий Васильевич (1879–1938), артист МХАТ 2-го. – Собрание А. Ф. Маркова (Москва) (п 390); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 102 (п. 580)

Правление Всероссийского Союза Писателей. – ДМВ; ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 65.

Рогозинский Владимир Александрович (1882–1951), инженер, архитектор. – ДМВ.

Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977), поэт, переводчик. – РНБ, ф. 644, оп. 1, ед. хр. 41 (п. 488); автограф из собрания В. А. Мануйлова (п. 214).

Саркизов-Серазини Иван Михайлович (наст. фам. Саркизов; 1887–1964), врач-гигиенист, коллекционер, писатель. – ГЛМ, ф. 227, оп. 1, ед. хр. 103. — «Дом поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А. Сергеева и А Тюрина // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 17. М.; СПб.: Atheneum – Феникс, 1995. С. 323, 325–326, 332, 347–354, 356–357 (с неточностями).

Сартиссон Галина Николаевна (в замужестве Платонова; 1905–2000), студентка. – ДМВ.

Селезнева Валентина Орестовна (урожд. Вяземская; 1872–1946), подруга детских лет Волошина. – Архив семьи Вяземских (Санкт-Петербург) – по копии В. П. Купченко.

Селькооператив. – ДМВ.

Семенов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич (1882–1942), географ, поэт, прозаик; профессор экономической географии в Ленинградском гос. университете. – РГАЛИ, ф. 1316, оп. 2, ед. хр. 1.

Скляренко, надзиратель 8-го участка. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 116.

Слудский Александр Федорович (1884–1954), геолог, заведующий Карадагской научной станцией. – Собрание Е. А. Он (Симферополь).

Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович; 1888–1926), прозаик, деятель революционного движения (эсер). – ИМЛИ, ф. 180, оп. 1, ед. хр. 24.

Сологуб Федор (наст. имя Федор Кузьмич Тетерников; 1863–1927), поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик. – ИРЛИ, ф 289, оп 3, ед. хр. 148. – Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л.: Наука, 1976. С. 164. Публ. В. П. Купченко

Стоянова Олимпиада Федоровна (урожд Косолапова; 1889–1969), художница. – ДМВ.

Сухарев Анисим Иустинович (1886–?), врач-хирург, феодосиец. – РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 191.

Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864–1950), дочь Л. Н. Толстого; художница, директор музея Л. Н. Толстого в Москве. – ГМТ.

Тараховская Елизавета Яковлевна (урожд. Парнох; 1895–1968), поэтесса, переводчица; сестра С Я. Парнок. – РГАЛИ, ф. 2527, оп. 1, ед. хр. 19.

Тарловский Марк Ариевич (1902–1952), поэт, переводчик. – РГАЛИ, ф. 2180, оп. 1, ед. хр. 232.

Толстая Ольга Константиновна (урожд Дитерихс; 1872–1951), мать С. А. Толстой, первая жена А. Л. Толстого. – ГМТ, ф. 48. – Звезда. 1991. № 6. С. 178 (п. 136, с купюрами; публ. К. М Азадовского).

Толстая Софья Андреевна (в первом браке Сухотина, во втором – Есенина; 1900–1957), внучка Л. Н. Толстого; музейный работник. – Собрание А. А. Саакянц (Москва) (п. 587); ГМТ, ф. 48 (остальные письма). – Звезда. 1991. № 6. С. 176 (п. 101, без приписки; публ. К. М Азадовского).

Тюлин Юрий Николаевич (1893–1978), музыковед, педагог, композитор. – Собрание Ю. Н. Тюлина (Москва) (п. 344, 529); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1484 (п. 359).

Тюлина Софья Викторовна (урожд. Штембер; 1895–1946), жена Ю. Н. Тюлина, певица. – Собрание Ю. Н. Тюлина (Москва).

Тютчев Николай Иванович (1876–1949), внук поэта Ф. И. Тютчева; директор и хранитель музея в Муранове. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 124.

Успенская Вера Глебовна (1877–1942), дочь писателя Г. И. Успенского, 1-я жена Б. В. Савинкова – ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр 138.

Федорченко София Захаровна (1880—1959), прозаик. – ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 127; ДМВ (п. 87); РГАЛИ, ф. 1611, оп. 1, ед хр. 78 (остальные письма). – Время и мы (Тель-Авив), 1978. № 28. С 208–210 (п. 87, по неавторизованной копии).

Фельдштейн Ева Адольфовна (урожд. Леви; 1886–1964), художница. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 126 (п. 368); Архив Т. М. Митрян, урожд Фельдштейн (Москва) (п 374)

Фельдштейн Михаил Соломонович (1884–1939), юрист, педагог; сын Р. М. Гольдовской. – РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 192 (п. 156); ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 125 (п. 367); Частное собрание (п. 339).

Феодосийский исполком. – ДМВ

Феодосийский райфинотдел. – ДМВ.

Финкельштейн Варвара Дмитриевна (урожд Синайская; 1872 – ок. 1940), педагог – ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 128.

Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник (с 1911 г.), богослов, философ, искусствовед, математик, поэт. – Архив П. А. Флоренского (Москва) – Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные. Статьи. Переписка / Сост., подгот. текстов и коммент. Е. В. Ивановой. М.: Языки славянской культтуры, 2004. С. 501 (в составе статьи В. А. Никитина и В. П. Купченко «К истории взаимоотношений отца Павла Флоренского и Максимилиана Волошина»).

ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых). – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 155.

Цемах Татьяна Давидовна (прозвище и литературный псевдоним – Татида; 1890–1943), бактериолог, поэтесса – РГАЛИ, ф 102, оп. 3, ед хр. 11 (п. 356, 375), 15 (п. 530).

Центральное управление курортов. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 62, л. 2–2 об.

Часовитина Дарья Николаевна (1896–1966), машинистка; антропософка; внебрачная дочь великого князя Николая Константиновича. – Частное собрание.

Чеботаревская Евгения Николаевна (в замужестве Ларионова; 1892–1972), директор Дома писателей в Москве. – Собрание В. К. Карасева (Москва).

Чулковы — Георгий Иванович (1879—1939), прозаик, поэт, драматург, критик, литературовед, и **Надежда Григорьевна** (урожд. Петрова, в первом браке Степанова; 1874—1961), его жена – РГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 311.

Шамурин Евгений Иванович (1889—1962), библиограф, книговед, педагог; сотрудник Российской центральной книжной палаты. – Собрание А. Ф. Маркова (Москва).

Шепеленко Дмитрий Иванович (1897—1972), поэт, лингвист. – РГАЛИ, ф. 102, оп. 2, ед. хр. 11.

Шервинская Мария Сергеевна (урожд. Соловьева, во втором браке Протасьева; 1899—1973), жена С. В. Шервинского. – РГАЛИ, ф. 1364, оп. 4, ед хр. 255.

Шервинский Сергей Васильевич (1892—1991), переводчик, литературовед, поэт, прозаик. – Собрание Шервинских (п. 223); РГАЛИ, ф. 1364, оп. 4, ед. хр. 255 (остальные письма).

Шмелева Любовь Сергеевна (урожд. Лямина; 1874—1957), двоюродная сестра Волошина, сестра Е. С. Ляминой. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 73, л. 33.

Шмелева Тамара Владимировна (1903—1994), дочь Л С. Шмелевой, двоюродная племянница Волошина. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 134 (п. 109); ДМВ (п. 199).

Шпаро Борис Александрович, управляющий делами Центральной Комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 135.

Эфрон Вера Яковлевна (1888—1945), актриса, режиссер художественной самодеятельности. – Собрание Р. Б. Вальбе (п. 318); РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 383 (остальные письма).

Эфрон Елизавета Яковлевна (1885—1976), педагог, режиссер, актриса. – РГАЛИ, ф. 2962, оп. 1, ед. хр. 43.

Якубчик Анастасия Иосифовна (Осиповна; 1894—1973), химик, педагог. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 139.

Яроцкий Александр Иванович (1866—?), московский врач. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 2 (п. 602 а); РГБ, ф. 461, карт. 1, ед. хр. 8 (остальные письма).

Ярхо Борис Исаакович (1889—1942), литературовед, переводчик; член ГАХН. – РГАЛИ, ф. 2186, оп. 1, ед. хр. 178.

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

** Книги I и II тома 13 обозначаются римскими цифрами Аннотируются только имена, употребляемые в основном корпусе публикуемых писем. Адресаты писем отмечены астериском (*) Страницы, на которых содержатся дополнительные сведения о данном лице, выделены курсивом Мифологические имена, имена литературных персонажей, а также фамилии, стоящие в названиях издательских фирм и организаций, не учитываются*

СОДЕРЖАНИЕ

1929

1930

1931

1932

Дополнения к томам 8, 9, 10, 12

Дополнения к тому 6, кн. 2

В оформлении переплета
использована акварель М. Волошина
«Здесь берега...» 1929 г.

Волошин, Максимилиан Александрович
В68 **Собрание сочинений.** Т. 13, кн. 2. Письма 1929–1932. Максимилиан Волошин: Сост. А. В. Лавров, подгот. текста А. В. Лаврова, И. Н. Палаш, Г. В. Петровой, Р. П. Хрулевой; коммент. А. В. Лаврова, Г. В. Петровой. Под общей ред. А. В. Лаврова. – М.: Азбуковник, 2015. – 506 с.

ISBN 978-5-91172-106-0
ISBN 978-5-902152-05-4

В настоящем томе завершается публикация эпистолярного наследия Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932). В том вошли письма за 1925–1932 годы, дающие развернутое представление о драматической судьбе мастера в последние годы его жизни, о его контактах с современниками — друзьями «Дома Поэта», о многих обстоятельствах литературно-общественной жизни в эпоху укрепления советского режима.

Большинство писем публикуется впервые по автографам, извлеченным из различных архивных фондов.

ББК 84(Рос=Рус)-4
УДК 821.161.1-95

Максимилиан Александрович Волошин

Собрание сочинений
под общей редакцией А. В. Лаврова

Том тринадцатый
Книга вторая

Письма 1929–1932

Художественный редактор
В.Н Сергутин

Корректоры
М. Танасейчук, *Е. Стрючкова*

Издательский центр «Азбуковник»
119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр. 2

Подписано в печать 27.04.2015 г
Формат 84 × 108/32 Бумага офсетная
Печ. л 16 Тираж 1500 экз
Заказ № 270

ISBN 978-5-91172-106-0



Отпечатано в ООО «Чебоксарская типографии № 1»
428019, г. Чебоксары, пр И. Яковлева, 15
Тел.· 8 (8352) 28-77-98, 57-01-87
Сайт www volga-print.ru

